



Аркадий Ваксберг

Ж Е Н Щ И Н А - М И Ф

ВАЛЬКИРИЯ РЕВОЛЮЦИМ



Аркадий Ваксберг

**ВАЛЬКИРИЯ
РЕВОЛЮЦИИ**



А. М. Коллонтай

Аркадий Ваксберг



ЖЕНЩИНА - МИФ

ВАЛЬКИРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Смоленск, «Русич»
1997

Серия основана в 1995 году

Ваксберг А. И.

В 12 Валькирия Революции: Роман. — М.: Олимп, Русич, 1997. — 560 с. — («Женщина-миф»).

ISBN 5—7390—0153—6 («Олимп»)

ISBN 5—88590—664—5 («Русич»)

Александра Коллонтай — одна из неразгаданных загадок России. Первая в мире женщина-посол прожила уникальную жизнь на главной исторической сцене в эпоху социальных потрясений и соединила в одном лице несоединимое: утонченный аристократизм и революционный романтизм, безоглядную храбрость и ловкий прагматизм, подлинную эрудицию и фанатичный догматизм. До глубокой старости она осталась магической женщиной, сводившей с ума и юных, и седовласых.

Ее биография, лишенная умолчаний и фальсификаций, — потрясающей силы роман — светский, политический, любовный, детективный, сентиментальный... И роман ужасов — в конечном счете...

ББК 84

© «Олимп», 1997

© Разработка серии. «Русич», 1997

© Оформление, Барило А. И., 1997

От автора

Роману не положено предисловия. Авторского — по крайней мере. Но эта книга и не задумывалась как роман. Она неизбежно им стала, подчиняясь реалиям, из которых сложилась.

Меня давно привлекала судьба его главной героини. Не могу точно объяснить — чем именно. Скорее всего, тайной, которая ее окружала. Явным несовпадением яркости и многообразия личности с плоским и скучным имиджем «видного деятеля большевистской партии», созданным в литературе.

На родине — полное забвение до середины пятидесятых годов, а затем — плакатно канонический образ «первого в мире женщины-посла». И только!

На Западе — ничуть не менее плоский образ пламенной феминистки и марксистского теоретика «свободной любви», глашатая «сексуальной революции», опередившей в своих прогнозах и социально-исторической аргументации самого Вильгельма Райха. И только!

О ней написано много книг. На разных языках. Есть даже пьесы. И кинофильмы. Но подлинная драма этой незаурядной женщины уходящего века, ее настоящее место в истории России и еще многих стран никому не известны. Об этом можно было до-

гадываться, но лишь обращение к наконец-то открывшимся документам превратило догадку в реальность. Скажу больше: приступая к изучению ее архива, я, уже осведомленный о многом, даже не предполагал, какая бездна откроется предо мной.

Теперь в нее сможет заглянуть и читатель. Он познакомится с человеком легендарной судьбы, соединившей в одном лице поистине несоединимое.

Персонаж античной трагедии.

Неистовый революционный романтик.

Кумир молодежи двадцатых годов.

Магическая женщина, до глубокой старости сводившая с ума и юных, и седовласых.

Фанатичный догматик, втискивавший все реалии жизни в узкие схемы идеологических стереотипов.

Безоглядно храбрый солдат — не в метафорическом, а в буквальном смысле этого слова.

Искусный и ловкий прагматик, безоговорочно принимавший быстро меняющиеся правила «партийного» поведения.

Страстный борец за свободу и равноправие женщин, считавший их главной обузой семье и детей.

Эрудит и полиглот, ревностно служивший на Западе декоративной витриной большевизма.

Плодовитый писатель, чьи книги, переведенные на множество языков, читались взахлеб, а сегодня поражают элементарностью мысли, бедностью языка и катастрофическим отсутствием вкуса.

Несравненный оратор на многотысячных митингах, способный мгновенно зажечь любую аудиторию и повести ее за собой.

Дипломат Божьей милостью, за дружеским обедом добивавшийся того, что и непомерной ценой нельзя было выиграть на полях сражений.

Чарующий собеседник в элитарных салонах, легко вступавший на равных в профессиональный диалог с самыми блистательными интеллектуалами своего времени.

Дисциплинированный исполнитель кремлевской

воли, прикрывший собой одно из крупнейших гнезд советского шпионажа.

Одинокая старуха посреди кровавой сталинской пустыни, панически боящаяся каждого стука в дверь.

Природная грация, аристократические манеры и сохранявшаяся долгие годы очаровательная миловидность в сочетании с живым умом, светскостью и эрудицией привлекали к ней каждого, с кем — пусть мимолетно — пересекались ее пути.

Ее сочинения о свободной любви — за десятки лет до свершившейся сексуальной революции — создали ей славу проповедника распутства.

И все это она, Александра Коллонтай, Валькирия Революции, — одна из неразгаданных загадок России.

С ранней юности она свято берегла то, что составит впоследствии ее гигантский личный архив: письма, обрывочные записи в блокноте, документы, газетные вырезки, записные книжки, не говоря уже о своих дневниках — подлинных, подправленных, отредактированных, подчас даже фальсифицированных, но в любом случае представляющих огромный интерес, поражающих своей откровенностью в обычно скрывааемых политических деятелями описаниях личной жизни и интимнейших переживаний. Остался даже набросок ее неопубликованного эссе об историческом значении каждого письменного свидетельства прожитой жизни. Она была достаточно высокого мнения о себе и о своем месте в истории, но не только эти амбициозные соображения повелевали ей позаботиться о судьбе своего архива. Коллонтай четко осознавала, что она является очень крупной фигурой на главной исторической сцене в момент эпохальных преобразований и социальных потрясений и что уже поэтому принадлежит не столько самой себе, сколько будущему. Благодаря этому мы имеем сегодня возможность шаг за шагом реконструировать не только ее жизнь, но и жизнь

ее спутников, и многие вехи новейшей истории, так или иначе связанные с ней.

В этом романе нет никакого вымысла. Даже прямая речь, даже диалоги воспроизведены по сохранившимся документам, мемуарам, свидетельствам участников событий и их очевидцев. Там, где не хватало документов, я позволял себе додумать лишь то, что и в этом случае опиралось, хотя бы косвенно, на подлинные документы. Без художественного воображения — в данном случае весьма незначительного — роман неизбежно что-то теряет, становится скучным и пресным. Но жизнь Александры Коллонтай настолько захватывающая, настолько значительна, что любая фантазия была бы бледнее самой правды. Лишенная умолчаний и фальсификаций, подлинная биография Александры Коллонтай — это не драма, это трагедия, которая не снилась даже Шекспиру! Каждая глава ее жизни — отдельный роман: любовный, революционный, авантюрный, сентиментальный, шпионский... И роман ужасов — в конце концов.

Его документальной основой послужили материалы, находящиеся во множестве в государственных и частных архивах, но прежде всего, разумеется, в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Этому архиву, равно как и другим хранилищам, учреждениям, лицам — всем тем, кто щедро делился с автором документами, воспоминаниями, мыслями, наблюдениями, — приношу самую сердечную благодарность.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Все автобиографии начинаются со дня рождения автора и с рассказа о его родителях. Женщина, которой посвящена эта книга, уже на склоне лет, но еще задолго до смерти, подводя итоги прожитой жизни и приступая к работе над мемуарами, изменила этой традиции. Она начала свой рассказ с тех глобальных событий, которые обозначили в истории время ее появления на свет, определив тем самым не только связь конкретной человеческой судьбы с событиями вселенского масштаба, но и — косвенно и как бы невзначай — свое право на какое-то место в длинном ряду исторических личностей. Сегодня, на рубеже двух веков и двух тысячелетий, мы вправе судить, насколько были основательными эти честолюбивые притязания.

«Я родилась в судьбоносное время, — читаем мы в черновых записях Александры Коллонтай, ставших заготовками для будущих мемуаров, — и это имеет свою закономерность. <...> Когда родители задумали мое появление, из Парижа пришли вести о крахе Коммуны и о казни коммунаров. Луиза Мишель несет в массы новое евангелие — коммунизм. Маркс и Энгельс борются против Бакунина, против

анархизма, против развала 1 Интернационала. Юный студент Карл Каутский учится в Вене. Звезда Бисмарка еще на восходе. Вильгельм Либкнехт собирает силы рабочих в Германии, а Карл Либкнехт еще даже не зачат. <...>

Дарвин еще жив. Спенсер углубляет аналитику социологии...

<...> В России растет движение за освобождение и объединение всех славян — растет вместе с ростом политической реакции, пока еще скрываемой под личиной либерализма. Но уже есть тенденция к «правизне». Первые русские социалистки «идут в народ», проповедуя социализм. Эпоха нигилизма закончилась. <...> Плеханов еще даже не студент. Ленину еще нет и трех лет <...>».

Перечень продолжается — краткий, выразительный, впечатляющий, и к концу его становится ясно, что девочка Шура родилась поистине в судьбоносное время, когда старый мир был еще крепок и устойчив, но явно уже ощущалась грядущая смена эпох. Миллионы людей познали потом на себе эти гигантские сдвиги, и лишь сравнительно очень немногим выпало на долю самим участвовать в них. Девочка Шура, став Александрой Михайловной Коллонтай, была одной из этих немногих. Но кто может предвидеть в час рождения новой жизни, какие взлеты ей готовит судьба?

Час этот пришелся на 19 марта старого стиля, или на 1 апреля по новому, 1872 года. В богатом трехэтажном особняке на одной из улиц старого Петербурга — Средне-Подъяческой, — в семье полковника генерального штаба Михаила Домонтовича, появилась девочка. Его первый ребенок. И четвертый — в семье. Полковнику было за сорок, но ни жены, ни потомства он еще не имел. Он увел из семьи 35-летнюю мать троих детей Александру Мравинскую, которая потом не один год добивалась развода со своим первым мужем, военным инженером польского происхождения. Никто не знает, на самом ли деле он «прелюбодействовал» и этим способство-

вал распаду их брака или благородно взял «вину» на себя, чтобы дать возможность супруге второй раз выйти замуж, но в семье Домонтовичей считалось, что Мравинский был «падок до баб». Вполне возможно, что мать троих детей просто влюбилась в холеного, статного украинца с черными баками, которые носили в шестидесятые годы — годы «великих реформ» императора Александра II, — и смело ринулась в новую жизнь, забрав с собой двух дочерей и оставив сына отцу.

Новорожденной дали имя матери — Александра, что, по старому поверью, не сулило добрых отношений между ними. Так оно впоследствии и оказалось. Если отец происходил из потомственных помещиков Черниговской губернии, то мать — из семьи разбогатевшего финского крестьянина, нажившегося на лесопоставках и ставшего процветающим промышленником. Рассказывали, что, когда в хозяйство Александра (тоже Александра!) Масалина внезапно нагрянула ревизия, он с перепугу тут же умер, оставив в наследство дочери (жены уже не было в живых) роскошное имение под Выборгом, на мызе Кууза: большой дом с белыми колоннами, парк с беседками и много других надворных построек.

В Александре Михайловне Домонтович, тогда еще девочке Шура, текла, стало быть, перемешавшись, русская, украинская, финская, но еще и немецкая, и французская кровь: ее прабабушка была француженкой, прадед — остзейским немцем. Видимо, такое смешение бывает действительно благотворным: никогда не пересекавшиеся друг с другом гены, соединившись, дают неожиданный результат.

Дом, где родилась Шура, принадлежал ее дяде, старшему брату отца: разница в возрасте между двумя братьями составляла почти четверть века. Дядя был очень известным в то время человеком, сенатором-либералом, чье имя связано с подготовкой закона об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Он занимал весь верхний этаж, почти целиком уставленный книгами на многих язы-

ках. Когда бы Шура туда ни поднималась, она всегда заставляла склоненную над книгой его лысую голову. Таким он ей и запомнился: человек с книгой.

Семья жила в полном достатке, но без роскоши. Роскошью считался собственный выезд. Лошадей у них не было — отец называл это излишеством и прихотью. Но его офицерское жалованье плюс доходы от родового имения на Черниговщине обеспечивали более чем сносную жизнь даже такой, как у них, семье, занимавшей второй этаж. На нижнем жили швейцар и прислуга. И приживалки-старушки: их всегда хватало с избытком. Как и всюду в мире, приживалки любили посплетничать, и еще малым ребенком Шура слышала от них, что она «дитя любви»: брак между матерью и отцом был заключен перед самым ее рождением.

На всю жизнь запомнились зеленая плюшевая гостиная с такой тяжелой мебелью, что ребенок не мог сдвинуть с места и стула, и белая изразцовая печь с горельефом. Освещался дом свечами и керосиновыми лампами. Пользовались ими весьма экономно — в сумерки весь дом погружался в полутьму. Гости бывали редко, так что спать ложились рано и вставали чуть свет.

Девочка была совсем еще маленькой, когда отцу дали генеральский чин, и весь дом сбежался смотреть на «хозяина» в полной парадной форме. С этим событием совпала и перемена жилища: видимо, между братьями возникли какие-то трения, и новоиспеченный генерал предпочел съехать на казенную квартиру в расположении Кавалерийского училища — по дороге на Петергоф. Квартира была не Бог весть, но тоже просторная, с множеством комнат, и гости к отцу зачастили, не то что на Средне-Подъяческой. Остались в памяти имена, которые не сходили тогда с уст отцовских гостей: Гурко, Радецкий, Драгомиров... И конечно же Скобелев. Прежде всего Скобелев! Все главные персонажи начавшейся тогда русско-турецкой войны. «Братья

славяне» — это выражение тоже запомнилось на всю жизнь.

Однако мисс Годжон, которую взяли в дом, чтобы учить девочку английскому языку, была иного мнения о событиях на Балканах. Ясное дело, она отражала, как сказали бы историки и политики, британскую «точку зрения». Но для девочки Шуры «мисс» была не «представителем Великобритании» в их петербургском доме, а учительницей, имевшей куда большее на нее влияние, чем мать и отец, а тем паче чем их гости.

— Башибузуки (так звали в России турок), — утверждала она, — ничуть не хуже русских. Они жестоки? Вполне возможно: на войне вообще все звереют.

— Но болгары, — повторяла девочка чьи-то слова, — не хотят жить под турками.

— Пусть сами поднимают революцию! — парировала мисс: разговор совсем как с большой — на равных. И девочка верила ей, не сознавая еще почему. Потому, что сказала мисс...

Годом патриотического кликушества назовет впоследствии 1876-й не девочка Шура, а Александра Михайловна Коллонтай. «Балканы! Освобождение славян! Единоверство!» Все эти понятия потом (но только потом!) будут вызывать у нее разве что насмешку. А тогда она скучала по отцу, которого отправили воевать в Болгарию, и желала ему, естественно, только победы. И ликовала вместе со всеми, когда русские войска взяли Плевну. Что это такое, понять не могла, но что «папа победил», усвоила сразу. Петербург был увешан флагами, толпы носились по улицам и кричали «ура», а вечерами из окон квартиры были видны отблески фейерверка — это праздновали «папину победу».

Потом появились на слуху новые имена: Тотлебен, граф Игнатъев, князь Дондуков. Имена победителей и наместников освобожденной Болгарии. Отец был дружен с ними. Настолько, что князь Дондуков «почтительно просил» семью своего друга

провести лето на его даче в Крыму. Здесь Шура впервые увидела теплое море. И в княжеском парке впервые увидела, как растет ее любимый виноград. Ждала, когда он созреет. Не дождалась — пришла телеграмма: срочно в путь! Генерал Домонтович прислал из Варны в Севастополь за своей семьей военный корабль: папу Шуры назначили губернатором старинного города Тырново — некогда столицы болгарского царства.

Но и там долго не задержались: Домонтович получил повышение, его назначили управляющим делами русского наместника и перевели в Софию, отведя лучший в городе особняк с видом на Витошу — красавицу гору, у подножья которой стоит этот город — «самый балканский из всех балканских», как было написано еще в старинных путеводителях. Впрочем, запомнила Шура не город, а ни на что не похожие кушанья, которыми потчевали семью генерала местные повара. Особенно сласти из загустевшего на солнце виноградного сока и толченого миндаля. И еще переводчика, служившего у папы, по фамилии Соловейчик. Переводчик с восторгом рассказывал, как сам рубил головы «башибузукам».

— Живым?! — ужасалась Шура.

— А как же?! — отвечивал он.

Рано вошедшая в мир взрослых, шестилетняя, а потом и семилетняя Шура жадно вбирала в себя новые впечатления и старалась осмысливать то, что ее окружало. Она замечала, что офицерство жило на широкую ногу, что вино льется рекой, гремит веселая музыка, идет разгульная жизнь. Впервые в ее словарь вошло новое слово: золото. Это то, чем платят вместо денег, — отвечала мать на ее вопросы.

— А почему не деньгами? — допытывалась Шура.

— Зачем, если есть золото...

Понять не поняла, но фраза запомнилась.

Что запомнилось еще? Гости, гости, гости — дом всегда полон ими. Душа общества — военный судья Леонид Шадурский. По натуре художник, богема, нигилист. Друг матери и отца. Женат на юной кра-

савице. Ей всего лишь двадцать три, а уже трое детей. Старшая, Зоя, на год моложе Шуры — они стали подругами. Оказалось — на всю жизнь. Играть в саду, как всем детям, девочкам не интересно — куда интереснее смотреть, как офицеры ухаживают за взрослыми сестрами Шуры, и слушать, о чём спорят повеселевшие от вина гости. А спорили они о будущем Болгарии, о ее конституции, о роли и месте России в освобожденной стране. Кто объяснит, почему ребенку запомнилась фраза одного генерала: «Болгары вовсе не хотят, чтобы ими управляли». И слова переводчика: «Освободили, и спасибо. Теперь сами справимся».

Что еще? Церемония у какого-то дома, где мать ножницами разрезает бело-красно-зеленую ленту. Много позже Шура узнала, что мать основала в Софии первую женскую гимназию и что ее имя высечено на гранитной доске...

И вдруг: посреди веселья на пикнике в горах — вестовой. Срочная депеша: отца отзывают в Россию. А ждали совсем другую депешу: о назначении отца военным министром в Болгарии — слухи об этом носились уже давно. Никто не может понять, что случилось. Никто, кроме отца: он-то знает, что Петербургу пришлось не по душе подготовленный им проект болгарской конституции — еще более либеральной, чем финская. Не обошлось и без тайных доносов: генерал «вызывающе дружен» с либералами и фрондерами и столь же «вызывающе» сторонится тех, кого императорский двор считает своей креатурой.

На домашнем совете было решено не отдавать «слишком впечатлительную» девочку в славившиеся своей рутинной и суровыми нравами русские учебные заведения. И не отправлять за границу, где нравы считались, напротив, слишком уж вольными. Решили дать ей домашнее воспитание: в русских семьях того времени — богатых и аристократичных,

с одной стороны, но и не заостеневших в своем консерватизме с другой, — это практиковалось. Мисс обучала Шуру языкам, специально взятая в дом учительница — гуманитарным наукам. Этой учительницей была Мария Страхова — из очень известной в ту пору семьи видного литературного критика, историка и публициста.

Лето проводили обычно в имении деда, которое перешло к матери после его смерти. Мыза Кууза располагалась километрах в пятидесяти — шестидесяти от Петербурга на берегу Финского залива. Дивная природа Карельского перешейка — скалы и валуны, песчаные дюны, сосновые леса — дополнялась уютом старого барского имения. Обставленные старинной мебелью просторные комнаты добротного дома из местного камня с колоннами у входа и витыми лестницами внутри вселяли чувство покоя, долгие белые ночи за окнами, пьянящий запах ночных фиалок, мокрая — от привычного в здешних краях дождя, — сочная, густая трава, красный мост через речку, на котором финские девушки и парни любили танцевать под гармошку, — все это каким-то непостижимым образом томило ожиданием неизбежного, но зыбкого счастья. Но что это такое — счастье, о котором все говорят, она еще не знала, и что означает ее томление, не знала тоже. Затанцевав до дыр свои атласные туфельки, Шура, ее сводные сестры, гостившие на даче подружки отправлялись ко сну, но спать не могли, шепотом поверяя друг другу свои девичьи тайны. «Девочки, хватит болтать! Немедленно спать», — голос мамы из-за стенки. Он запомнился ей на всю жизнь — вместе с ночным шепотом, вместе с первыми разговорами о мальчиках, уже начавших входить пока что еще не в саму жизнь, но в сладкую мечту о ней — загадочной и таинственной.

Никакие развлечения, однако, не могли отвлечь ее от подготовки к экзаменам на аттестат зрелости, преодолеть которые «вольным школьникам» было куда труднее, чем «невольным». Отец не скупился

на репетиторов, к тому же он действительно стремился дать дочери не формальное, а истинно широкое образование. Учителем словесности был приглашен один из самых известных в ту пору русских педагогов и литературоведов Виктор Острогорский, имя которого вошло во все национальные энциклопедии XIX и XX веков как редактора популярнейшего журнала «Детское чтение» и ряда других журналов, создателя первых воскресных школ в Петербурге и школ для крестьянских детей в провинции. Экзамены при шестой петербургской мужской гимназии Шура сдала лучше тех, кто учился в ней годы. Уже в шестнадцать лет она получила право сама стать учительницей.

Не имея школьных друзей, Шура общалась лишь с детьми сослуживцев отца. Одним из них был сын генерала Драгомирова Ваня — на год старше ее. Ей было шестнадцать, она уже научилась хорошо танцевать и очень полюбила это занятие, а Ваня оказался прекрасным партнером, и на всех молодежных вечеринках, которые устраивались довольно часто то у одного, то у другого из их общих приятелей (чаще всего балы затевали как раз хлебосольные Драгомировы), Шура и Ваня, к общему удовольствию, демонстрировали свое искусство и всеми безоговорочно признавались самой блистательной парой.

Ей показалось, что она влюбилась, но именно показалось: ничуть не меньше ей нравились и другие симпатичные мальчики из их общего круга, отличавшиеся от Вани лишь тем, что танцевали не так лихо и не столь страстно пожирали ее глазами. Зато сам Ваня влюбился как раз не на шутку, и однажды, когда, разгоряченные после бурных плясок, они вышли в сад, признался ей в этом, стремясь привлечь к себе и сорвать поцелуй. Она отшатнулась.

Это ничуть не помешало им остаться друзьями и неизменными партнерами в молодежных играх с танцами и песнями. Какое-то время спустя Ваня попробовал снова вернуться к прежнему своему объ-

яснению, убеждая в том, что сама судьба решила за них. Окончилось все-таки поцелуем, неумелым и робким, но, когда Ваня, увлекшись, стал запальчиво убеждать, что им надо быть вместе навеки, Шура подняла его на смех, в восторге, однако, что слова, которые до тех пор она читала только в романах — их «проходила» с ней в рамках гимназических программ Мария Ивановна Страхова, — что эти слова наяву, а не в книге обращены к ней и что произнес их такой милый, такой красивый и умный, так преданно смотрящий на нее — мечта всех барышень, которых она знала, — Ванечка Драгомиров.

Несколько дней спустя пришла страшная весть: Ваня пустил себе пулю в сердце из отцовского пистолета. Он оставил записку, которую Шуре не показали, но, как сказала ей мисс по секрету, записка эта была для нее и о ней... Какое впечатление произвел этот выстрел на разом повзрослевшую семнадцатилетнюю Шуру? Об этом мы можем только гадать: письменных свидетельств того времени не осталось. Но, судя по тому, что до конца дней она вспоминала о нем в интимных своих записках — уже не юная Шура Домонтович, а престарелая Александра Михайловна Коллонтай, — душевная рана ее оказалась глубокой, и шок — на всю жизнь.

Отец понял это, постарался отвлечь дочь от преждевременных размышлений о жизни и смерти и о роковой силе любви. Было лето, и шеф отца по службе в Болгарии генерал Дондуков, как и десять лет назад, опять пригласил семью боевого друга погостить в своем ялтинском поместье. Приехали не одни Домонтовичи: утопавший в зелени роскошный дом князя на высоком черноморском берегу принял тем летом множество гостей — цвет петербургского офицерства. Шумная компания, без различия в возрасте, блаженствовала на пляжах, каталась верхом по живописным окрестностям, устраивала пикники, уплетала каштаны и мандарины, орехи и только что созревший виноград. Впервые в жизни пригубила здесь Шура молодое вино. Звук трагического

петербургского выстрела вытеснили из памяти совсем другие, куда более приятные, звуки.

Быстро пролетевший месяц закончился прощальным балом. Весь вечер Шура протанцевала с самым знатным из гостей князя — самым знатным и самым блистательным. Адъютант императора Александра III, сорокалетний генерал Тутолмин, которого, несомненно, ожидал еще больший карьерный взлет, мало походил на военных служаек. Он был начитан и образован, говорил с Шурой на равных о политике и литературе, о музыке и истории, наизусть декламировал стихи и цитировал классиков, легко переходя с одного языка на другой. О его храбрости ходили легенды, а в танцах он был даже проворней незабвенного Вани.

Было уже за полночь, когда оркестр взял перерыв, и разгоряченные гости вышли отдохнуть на террасу. Тутолмин увлек свою юную партнершу в парк, куда доносились лишь звуки морского прибоя. Здесь Шуре привелось услышать слова, которые она тоже раньше встречала только в романах: с едва уловимой дрожью в голосе, серьезно и торжественно, генерал попросил ее руки. Уже в Петербурге Шура поняла, что это предложение не было неожиданным ни для матери, ни для отца: с ними все было стоворено раньше. Тем большим ударом для всей семьи был ее решительный — категоричный и резкий — отказ.

О предложении блестящего генерала, одного лишь благосклонного взгляда которого добивались лучшие барышни русской столицы, быстро узнал «весь Петербург». Открылся сезон, начались великосветские рауты и балы. Шура стала завсегдаем Зимнего дворца — ее представили даже императрице. На катке для избранных, где у каждого из катающихся, даже самого маленького, уже было громкое родовое имя, Шура Домонтович привлекала своим изяществом, благородными манерами и неукротимым весельем. На нее показывали пальцами, ее разглядывали в лорнеты — барышня на выданье, к ко-

торой сватается сам генерал Тутолмин! С матерью и сестрами она выезжала в театры, куда стекался аристократический Петербург, но, заточенная на несколько часов в абонированной на весь сезон ложе, не имея возможности себя проявить, Шура скучала, восприняв — увы, на всю жизнь — стойкую нелюбовь к Мельпомене. Куда больше занимала ее верховая езда — мать подарила ей «лошадку», иронизировала Шура в одном из писем, — то есть красавца рысака чистых кровей, на котором она лихо скакала по петербургским окрестностям.

Кто знает, только ли родительской любовью объяснялось то, что отец не отпускал от себя Шуру ни на один шаг. Может быть, видя ее неукротимый нрав и непредсказуемость поступков, он просто не хотел выпускать дочь из-под контроля. Так или иначе, отправляясь по делам в Тифлис, он взял ее с собой. Там жила его двоюродная сестра Прасковья, вдова ссыльного поселенца Людвиг Коллонтая, участника польского восстания 1863 года. Ребенком Прасковья воспитывалась в семье еще более прославленного, чем Острогорский, русского педагога и просветителя Константина Ушинского, восприняв от него, а потом и от мужа, либеральные идеи и тягу к свободе. В этом же духе она воспитывала и своих детей — Ольгу и Владимира.

Дочь была уже замужем — мать семейства, а Владимир — ненамного старше Шуры, черноволосый красавец и весельчак, молодой офицер — охотно проводил время со своей троюродной сестрой. Они часами гуляли по Тифлису, поднимались на гору Мтацминду, где находился Пантеон великих сынов Грузии и откуда видна вся панорама города с его черепичными крышами, куполами православных храмов и башенками мусульманских минаретов. Они катались верхом по окрестностям (никто не знал, откуда Владимир доставал деньги, чтобы нанять лошадей), раз добрались даже до древней грузинской столицы Мцхета — резиденции католикоса. Ни слова о любви произнесено не было, но, видимо,

то действительно была любовь и оттого она не нуждалась в словах.

Говорили они не о любви — о том, что обычно называют политикой. О жизни, которая их окружала. Владимир признался, что ненавидит царизм, потому что тот делает людей неравными, возмущался тем, что позже стали называть социальной несправедливостью: делением людей на богатых и бедных. Уединившись с Шурой в горах, не искал поцелуев и ласк, а вслух читал Бог весть как добытого в далеком Тифлисе потаенного, запретного Герцена — вольнолюбца, безжалостно клеймившего в своих страстных памфлетах русский царизм из своей лондонской эмиграции. Вряд ли был у Владимира специальный расчет, но именно этим путем он пробился к сердцу Шуры куда прямее и быстрее, чем мог бы сделать это объяснениями в любви.

Несколько смещая хронологию, но оставаясь верной сути происходивших в ней тогда перемен, она писала много позже в набросках к своим будущим мемуарам: «Среди беззаботной молодежи, окружавшей меня, Коллонтай выделялся не только выдумкой на веселые шутки, затеи и игры, не только тем, что умел лихо танцевать мазурку, но и тем, что я могла с ним говорить о самом важном для меня: как надо жить, что надо сделать, чтобы русский народ получил свободу. Вопросы эти волновали меня, я искала путь своей жизни. Владимир Коллонтай рассказывал о своем детстве в бедности и притеснениях царской полиции. Жадно слушая его, я полюбила трудовую жизнь его матери и сестры, хотела сама трудиться, а не ездить по балам и театрам. Кончилось тем, что мы страстно влюбились друг в друга».

Могли ли в семье Домонтовичей этого не заметить? Тем паче что после их отъезда из Тифлиса Владимир примчался вслед за ними в Петербург и поступил в Военно-инженерную академию. Теперь у него была возможность видаться с Шурой едва ли не ежедневно, но из гордости он не пожелал бывать у дяди-генерала, который жил в роскошном особня-

ке «с ковром на лестнице», — эта деталь почему-то особенно остро задевала его. Но мать нашла записку Владимира с приглашением на каток, — эпитеты, которыми он пользовался, показались ей слишком нежными и потому неуместными. Генерал пригласил племянника пожаловать в гости.

— Вы не партия для моей дочери, — заявил он без обиняков, — и ваш долг, если вы благородный человек, исчезнуть из жизни Шуры, выкинуть из головы всю эту романтическую чепуху. Если вы любите мою дочь, вы сами поймете, что не можете претендовать на ее руку.

— Мне остается подчиниться, — с достоинством ответил племянник, — но решать судьбу Александры Михайловны я не стану даже с ее отцом. Мы любим друг друга. Я буду терпеливо ждать, когда закончу академию и стану инженером.

Отнюдь не рвавшимся в гости Владимиру формально отказали от дома. Можно себе представить, какие чувства вызвал у генерала его ответ, если он решился показать на дверь своему, хоть и дальнему, родственнику. Мечта породниться с ближайшим окружением императора все еще не покидала ни мать, ни отца, желавших дочери счастья в их понимании этого слова. Но ни о каком Туттолмине Шура не хотела и слышать, а ее тайные встречи с Владимиром почти сразу перестали быть секретом для домашних. Эти встречи устраивали подруги, приглашавшие на свои вечеринки их обоих. Они же охотно исполняли роль почтальонов, разносивших записки влюбленных друг другу. «Романтика нашей несчастной любви нравилась молодежи», — писала впоследствии Александра, вспоминая свою далекую юность.

Традиционный для той поры выход был найден: барышню отправили развеяться в Париж и Берлин под присмотром старшей сводной сестры. В отличие от Шуры Адель отличалась разумностью, а еще и

верностью тем традициям, которые, по старой русской пословице, «не нами заведены». Адель к тому времени была уже замужем за двоюродным братом отца Шуры, который был старше ее ровно на сорок лет. Став в девятнадцать лет женой «первоприсутствующего в Сенате» (то есть его председателя) и, стало быть, «ее высокопревосходительством», заполучив собственный дом и пару выездных лошадей, сделав, таким образом, отличную партию, Адель могла оказаться, надеялись родители, достойным подражания примером для младшей сестры.

Но не получилось. Переписка с терпеливо ждавшим ее Коллонтаем не прекращалась — письма шли до востребования, и никакая Адель не могла этому помешать. Не увлекли Шуру ни парижские кафе, ни парижские магазины. Зато из газет и листовок набралась она знаний, которых в России не доставало: вот когда родители могли пожалеть, что обучили дочь языкам! Здесь впервые услышала Шура имена Августа Бебеля, Вильгельма Либкнехта, Клары Цеткин. Впервые узнала о существовании профсоюзов. Впервые прочитала (купила у парижских букинистов) не только Герхардта Гауптмана и Поля Бурже, но еще и Фурье, Сен-Симона и даже «Коммунистический манифест» неких Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Похоже, тогда ее увлекали еще не сами идеи, а то, что в России они считались крамолой. Сладость запретного плода на долгие годы останется для нее манящей и во многом будет определять поступки уже не юного, не восторженно романтического, а зрелого, жестоко битого жизнью человека.

И скорее всего, именно эта сладость, а вовсе не всепожирающая любовь определила стойкость ее личного выбора. «Выхожу за Коллонтая!» С категоричностью уже «прошедшей Европу», но так и не взявшейся за ум дочери родители ничего не могли поделать. Пришлось назначать свадьбу. В одной из своих «Записок на лету» Александра писала годы спустя: «Если бы мне не оказывали дома такого сопротивления, я, возможно, и отказалась бы от Кол-

лонтая». Красноречивое замечание, много говорящее о ее характере, и не только применительно к решению о замужестве...

Из Европы Шура привезла вольнолюбивые мысли и книги, а с ними и несколько своих рассказов. Детские мечты о писательстве она решила попробовать воплотить в жизнь. Среди ее знакомых был один-единственный профессиональный знаток литературы, причем очень высокого уровня. Ему она и отправила свои первые опыты. Разумеется, это был ее любимый учитель Виктор Острогорский. Ответ пришел незамедлительно. Острогорский подробно и уважительно разбирал ее незрелые сочинения. Он писал о хорошем замысле, о благородстве чувств, о точности авторского зрения, позволяющего увидеть то, мимо чего обычно проходят, не замечая. Но строго отметил и вялость слога, бедность языка, подражательство, банальности и штампы. Подтверждал наличие литературных способностей и советовал ни в коем случае не бросать «дела, которому вы предназначены». «...Как я вам благодарна, дорогой Виктор Петрович, — пылко откликнулась Шура на это письмо. — Сколько радости Вы мне доставили своим доброжелательным и, как всегда, мудрым советом! <...> Я всегда буду следовать Вашим советам. <...> Ваша Александра Домонтович».

Могла ли она предполагать, что переваливший через полувековой рубеж учитель вот уже пять лет тайно влюблен в свою ученицу, что, бездумно подписавшись «ваша» и не вложив в это слово никакого конкретного смысла, она породила у всероссийски знаменитого, европейски образованного умницы и эрудита какие-то мужские надежды? За час до того, как Владимир и Александра отправились в церковь венчаться, пришла странная и страшная весть: накануне Острогорский предпринял неудачную попытку уйти из жизни. Он отравился угарным газом, но в последнюю минуту был спасен случайно зашедшей к нему экономкой. Выжил, но остался кале-

кой... Письмо, которое перед попыткой самоубийства он отправил своей ученице, по договоренности с мужем Александра сожгла.

Молодые отправились в свадебное путешествие. Путь их, естественно, лежал в Тифлис. О том, как прошел их медовый месяц, напомнила годы спустя в письме тете Шуре племянница Владимира — дочь его старшей сестры Женя: «Живо припомнился ваш приезд с дядей Володей к нам в Тбилиси. Как мы, дети, искренне были уверены, что перед нами не просто молодая жена нашего дяди, а какая-то воздушная и лучезарная фея из сказки. Вы были восхитительно красивы, кроме того, мы все бессознательно воспринимали то молодое счастье, еще ничем не омраченное, ту необыкновенную любовь, которую вы оба излучали. <...> Помню, мы доходили до восторженного состояния, когда дядя в неудержимом порыве схватывал вас на руки и бегал, и кружился по балкону, а мы сопровождали его эволюции прыжками и радостными криками. А Вы, тетя Шура, были такая беленькая, нежная и такая счастливая <...>».

Видимо, тогда она на самом деле была счастливой, а не только казалась такой окружающим. Ожидание ребенка продлило это счастливое состояние, но уже тогда мысль о том, не сделана ли ошибка, стала приходить к ней — сначала изредка, а потом все чаще и чаще. Красавец муж был мягок и добр, старался во всем ей угодать и предвосхищать любое ее желание, он был гораздо на выдумки, стремясь ее развеселить, втянуть в домашние забавы, но чем больше он старался, тем скучнее ей становилось. Ей мечталось видеть рядом с собой человека необыкновенного, яркого, ни на кого не похожего — она же все больше убеждалась, что он зауряден. Красив? Да. Порядочен? Безусловно. Заботлив, нежен, предупредителен? Никакого сомнения. Упрекнуть его в чем-нибудь было нельзя. Но этого

ей было мало. Чего точно хотела? Кто знает? Даже себе самой она не смогла бы ответить на этот вопрос. Но — чего-то другого...

Меньше чем через год после свадьбы у Шуры Домонтович, ставшей теперь Александрой Коллонтай, родился сын, названный в честь деда Михаилом и получивший вскоре домашнее прозвище Хохля из-за сумрачности взгляда и склонности вбирать наклоненную голову в плечи, когда ему кто-то или что-то не нравилось. Заботы о новорожденном отвлекли на какое-то время молодую мать от прочих мыслей. Тем более что к этим заботам прибавились еще и другие. Мать Александры, хоть в конце концов и дала согласие на ее брак с Коллонтаем, так с ним и не примирилась. Напряженные отношения в доме, где с полным комфортом могла бы устроиться еще не одна семья, побудили молодую чету искать другую квартиру. Квартира, конечно, нашлась — на Екатерининском канале, близ Кокушкина моста, многократно воспетого в русской литературе. Отец определил дочери ежемесячное содержание в размере трехсот рублей (больше половины губернаторского оклада!), чтобы не зависела материально от мужа, так что денежной проблемы не существовало. Но теперь организация быта стала долгом жены, к чему Александра совсем не была готова. Прежде всего психологически — по складу характера, который наконец-то стал проявляться. Все то, в чем женщина обычно находит выход своим склонностям и интересам — муж и ребенок, домашний уют и устройство своего очага, — не только ее не интересовало, но, наоборот, отталкивало унылостью, ординарностью и тоской.

Примером, достойным подражания, была жизнь сводной сестры Евгении, дивное сопрано которой позволило ей стать примой императорского оперного театра. Сократив свою фамилию и приняв сценическое имя Мравина, Евгения отказалась от роли женщины в привычном смысле этого слова и целиком посвятила себя сцене.

— У нее есть дело, — многозначительно, и даже с вызовом, говорила о ней Александра мужу.

— Замечательно! — откликнулся он, не задумываясь над глубинным смыслом этого слова — тем, который вкладывала в него жена, — подхватывал ее на руки и кружил по комнате.

Еще совсем недавно это кружение доставляло ей радость, теперь, вырвавшись из его объятий, она все чаще убегала в детскую и, запершись на ключ, давала волю слезам.

На помощь пришла бывшая домашняя учительница — Мария Ивановна Страхова. Она работала поблизости — в публичной библиотеке известного русского собирателя книг Николая Рубакина. У Александры наконец появилось «дело» — читать редкие книги в этой библиотеке. На базе рубакинской библиотеки Страхова затеяла создать передвижной (Подвижной) музей учебных пособий — просветительство было тогда навязчивой идеей русской интеллигенции, — и Александра стала ей верной помощницей. Но истинное предназначение и библиотеки, и музея состояло в другом: оба эти заведения служили легальными местами сборищ столичных «вольнодумцев» — диссидентов того времени, если пользоваться современной терминологией. Там и произошла встреча, оказавшая сильное влияние на впечатлительную Шурочку Коллонтай.

Сверстницей, с которой ее познакомила Страхова, была Леля (Елена) Стасова — дочь и племянница людей, которых знала вся грамотная Россия. Дядя ее, Владимир Стасов, был, без сомнения, самым авторитетным в то время театральным, музыкальным и художественным критиком, занимал пост хранителя императорской Публичной библиотеки и имел высший гражданский чин тайного советника. Отец, Дмитрий Стасов, возглавлял Совет присяжных поверенных Петербурга, был одним из самых выдающихся адвокатов, участником крупнейших политических процессов. Он был вместе с тем и видным музыкантом, основателем Русского музыкаль-

ного общества и Санкт-Петербургской консерватории. Семья Стасовых принадлежала к высшей интеллектуальной элите России, войти в этот дом молодой женщине из совсем другой, чуждой ему среды уже само по себе означало крутой жизненный поворот, приобщение к иному кругу и, значит, к иным интересам, к иному образу мыслей.

Будь то какая-то другая подруга, ее влияние, возможно, и не было бы столь велико. Но советы Лели обладали силой едва ли не высшего авторитета. Она увлекла Александру сначала «Оводом» Войнич, потом «Спартак» Джованьоли. Это были книги, с которых для многих в России начинался путь в революцию. Но книгами дело не ограничилось: какое-то время спустя Леля исподволь, «невзначай», стала подсовывать своей новой подруге прокламации и листовки, содержание которых со всей очевидностью говорило о том, с какими кругами связана эта девушка из столь почтенной семьи.

Разрыв со своей средой ради борьбы за социальную справедливость если и не принял тогда в России массовый характер, то, во всяком случае, стал знаменем времени. О том свидетельствуют и документы истории, и воспоминания современников, но главное — художественная литература, с беспристрастностью летописца запечатлевшая этот процесс. Знаменательно, что самыми неистовыми «борцами» становились не дети «эксплуататоров», взбунтовавшиеся против участия родителей в подавлении свободы и равенства, а дети либералов и демократов, наслушавшиеся дома разговоров о несправедливости и отрицании консерватизма, набравшиеся в семье духа вольности, заразившиеся «крамолой», но со всем пылом восторженной юности устремившиеся к тем, кто звал не исправлять и совершенствовать, а низвергать и разрушать. Чем это кончилось, хорошо известно. Об этом предупреждали еще тогда истинно великие умы, способные видеть дальше ослепленных священной яростью своих современни-

ков. Но кто, где и когда слушал (и слушает!) мудрецов?

Сыну Мише не исполнилось еще и полугода, а его мать, нахватавшись первых сведений о том, что не все в этом мире гармонично и справедливо, уже была одержима жаждой участвовать в избавлении человечества от вселенского зла. Леля пригласила ее на «чашку чая» в свой дом, где регулярно собирались писатели и журналисты, адвокаты и университетские профессора, читались рефераты, велись дискуссии, шла напряженная интеллектуальная жизнь. На этот раз видный экономист и философ Петр Струве развивал и защищал реформаторские идеи Эдуарда Бернштейна. Впервые пришедшая на такие застолья симпатичная девочка, известная хозяйину дома как подруга дочери, и не больше, взяла слово и запальчиво заявила, что России нужны «не реформы господина Бернштейна, а социальная революция». Воцарилось тягостное молчание. Спорить с барышней никто не стал, дискуссия прекратилась.

С чьего голоса она пела? Что не со своего — это ясно: к тому времени ее философский и литературный багаж едва ли превысил несколько книг и брошюр, ни о каком серьезном знании не могло быть и речи, никакой системы взглядов, пусть даже ошибочных, у нее не существовало. Откуда же взялся не столько этот апломб (он от характера), не столько смелость и дерзость (они от него же), но позиция, за которой не было и не могло быть ничего личного, обдуманного, осмысленного? А уж выстраданного — тем паче...

Скорее всего, эпатирующее заявление «за чайным столом» было подсказано Лелей Стасовой, не имевшей куража лично дерзить в родительском доме, но уже ставшей фанатичной марксисткой и использовавшей положение и имя отца в злонамеренных целях друзей-нелегалов. Сыграв свою роль, Александра органично вошла в нее, как входят во вкус, впервые отведав наркотик. «Дело», о котором она так мечтала, не зная, в чем оно заключается,

вдруг обрело зримые очертания и стало путеводной звездой. Быть «против» — власти, привычек, морали, традиций, неважно чего, лишь бы против, — как известно, характерное свойство подобных натур.

Для них характерно еще и другое свойство — способствовать цепной реакции влияния, испытанного на себе. Леля имела беспрекословное влияние на Шуру, теперь Шура должна была с той же авторитарностью повлиять на кого-то еще. Таким человеком могла быть только Зоя Шадурская, ближайшая подруга детства, всегда с восторгом внимавшая каждому ее слову. Заразить Зою идеей социального равенства с помощью разрушения всей «прогнившей системы» труда не составило. Теперь у них обеих появилось общее «дело», придавшее их жизни осмысленность и цель. Какой же особенной скукой веяла на Александру атмосфера семейного дома с ее повседневностью, с непрерывной заботой о пеленках для сына, о сорочках для мужа, об уборке квартиры и закупке провизии! В доме, естественно, были горничная, кухарка и няня, но ведь ими надо было руководить, а на это ли направлено внимание женщины, у которой вдруг появилось «дело»?!

Круг знакомых между тем расширялся. Уже своих, а не полученных от родителей или их друзей. Сестра Зои Вера стала знаменитой артисткой, выступавшей под псевдонимом Юренева. Ближайшей подругой Веры была другая Вера — Комиссаржевская, еще большая знаменитость: ее появление на сцене в любой роли молодежь во всех городах России встречала громом оваций. В это трудно поверить, и, однако же, факт остается фактом: не замечательные артистки, безраздельно владевшие умами и чувствами бесчисленных своих поклонников, имели влияние на Шуру, а она на них. Вера Юренева станет впоследствии воинствующей большевичкой, Вера Комиссаржевская передаст через Александру большие деньги в партийную кассу. Впрочем, все это будет потом, потом...

О том, что влияние это было односторонним, а не

взаимным, говорит еще один факт: вращаясь с ранней молодости, когда душа особенно восприимчива, в театральной и художественной среде, в кругу знаменитостей, оставивших яркий след в русской культуре, сама Александра осталась слепа и глуха к тому, что составляло дело ИХ жизни. Подлинное, высокое ДЕЛО... Ее приобщение к литературе, к театру носило строго функциональный характер. Из прочитанного и увиденного она извлекала лишь СОДЕРЖАНИЕ: тему, проблему, вопрос, притом лишь в одном — социальном — аспекте.

Но до крутого поворота жизни еще относительно далеко. Никакое «дело» еще не вытеснило полностью заботу о семье. Миша только-только учился ходить, и, как каждой матери, это доставляло ей удовольствие. Отправляясь с утра в библиотеку, в Подвижной музей или на собрание вольнодумцев, она к вечеру все же стремилась домой. Тем более что...

Военный инженер Коллонтай работал тогда на строительстве здания Михайловского артиллерийского училища. Там же работал другой военный инженер, его одноклассник, приятель по академии, которую оба закончили в одном и том же году: Александр Саткевич. Холостяк, снимавший комнатенку в казенном доме. В огромной квартире Коллонтаев свободная комната была куда как лучше... Меж тем свободы жаждала и томившаяся в отцовском доме Зоя Шадурская, еще не нашедшая своего суженого. Так родилась идея создать «коммуну»: поселиться всем вместе, чтобы жилось веселее. Потайной надеждой Александры было попросту пристроить Зою: мысль казалась заманчивой — два друга женятся на двух подругах. Вслух это не произносилось, но замысел был понятен для всех четверых.

Какое-то время жили и вправду коммуной. Инженеры приходили вместе обедать, потом вместе же отправлялись чертить свои проекты. Чувствуя себя обязанным за оказанный приют, да и просто по до-

бrote душевной, Саткевич часто делал за Владимира его работу — весело, не задевая самолюбия и не придавая значения взваленной им на себя двойной нагрузке. Вечерами собирались уже вчетвером — читали вслух стихи и прозу, но чаще «социальную публицистику», отобранную, естественно, Александрой. Зоя слушала страстно, Саткевич внимательно, Владимир зевая. Наскучавшись вдоволь, он пытался разрядить обстановку какой-нибудь — остроумной, по его мнению, — шуткой. Никто не смеялся — от этого напряжение лишь возрастало. Так проходили вечер за вечером.

Захаживали и новые Шурины друзья — учителя, журналисты, артисты. Спорили до хрипоты: самодостаточна ли каждая личность, имеет ли право на самовыражение и самораскрытие или должна себя подчинить интересам общества, коллектива. Позиция Александры была всегда однозначна: «наш лозунг — не торжество индивидуализма, а победа общественности». Чей это лозунг, кто именно «наш», кто «не наш», что такое «общественность», кто конкретно ее составляет, кто выражает ее интересы и кто определяет, что в ее интересах, а что не в ее, — все эти вопросы оставались в стороне, поскольку казалось, что ответ на них очевиден и в обсуждении не нуждается. Зоя с восторгом всегда поддерживала подругу, Саткевич молчал и слушал, а Владимир любовался женою, пропуская разговоры мимо ушей.

Потребность в писательстве не проходила, и Александра вновь взялась за перо. Теперь она писала большие повести, где «в художественной форме» трактовала социальные проблемы — так, как она их тогда понимала. Как-то незаметно для нее самой социальная проблематика в ее повестях стала перекликаться с проблемами пола. Никакой видимой причины для этого странного симбиоза не было. Хотя проблемы пола тогдашней прессой уже обсуждались, и довольно активно, но они были полностью в

стороне от тех дискуссий на нелегальных и полупо-
пулярных собраниях, в которых Александра принимала
участие. Скорее всего, они вторглись в сферу ее
интересов отнюдь не по общественным, а по лич-
ным причинам. Много позже, вспоминая в дневнике
те годы и никак не связывая личные переживания
ни со своей общественной деятельностью, ни со
своей литературой, Александра писала: «...К Влади-
миру Людвиговичу оставалась девичья влюблен-
ность. Но «мужем» он не был и никогда не стал для
меня. В те годы женщина во мне еще не была раз-
бужена. Наши супружеские сношения я называла
«воинской повинностью», а он смеясь называл меня
«рыбой». Но я любила на него смотреть, мне он весь
нравился и был мил, и даже было жалко его, точно
жизнь его обидела».

Эта угнетавшая ее неудовлетворенность субли-
мировалась в пространных рассуждениях на сексу-
альную тему, которые она доверяла бумаге и обле-
кала в псевдохудожественные монологи и диалоги,
перемешивая их с монологами и диалогами о клас-
совом неравенстве, о борьбе за социальную спра-
ведливость, то есть с проблемами, относившимися к
сфере ее «дела». Именно так постепенно создался
литературный «стиль Коллонтай», где личное стано-
вилось общественным, а общественное личным,
скрывая, в сущности, ее потайные страсти и давая
им выход. Но эти интимные переживания оказались
созвучными столь же интимным переживаниям дру-
гих, отчего в глазах автора становились глобальны-
ми, имеющими право на самое широкое звучание.
Пробиться к читающей публике, стать кумиром всех
страдающих и неудовлетворенных женщин превра-
щалось в ее заветную цель.

Пока что это были не более чем домашние заго-
товки, которыми — из всех обитателей дома — она
могла поделиться лишь с Зоей и Саткевичем: из-за
«обилия Александров» его все называли А. А. В от-
личие от мужа, который не любил «пустословия» и
«переживаний», А. А. относился к ее писаниям со

всей серьезностью. Внимательный, сосредоточенный, уравновешенный, он обладал редкой способностью успокаивать, а не раздражать. Он не рассточал комплименты и похвалы, но настойчиво убеждал: добросовестный труд и усидчивость всегда дают результаты. По ночам, закончив чертить проекты, он четким, каллиграфическим почерком переписывал набело ее черновики, попутно их редактируя и добиваясь смысловой точности в ущерб «художественности», которую молодая авторесса считала достоинством своих повестей.

Ее планы соединить Зою с А. А. рухнули полностью: эта миловидная, умная женщина — по причинам, которые вряд ли кто-нибудь мог объяснить, — была лишена очарования, привлекающего мужские сердца. Даже некрасивый и низкорослый А. А. не пленился возможностью не то что жениться, но и просто поволочиться за молодой подругой, которая всегда была «под рукой». Зато, в полном конфликте с его щепетильностью и высокой моралью, хозяйка дома безраздельно им завладела. Он мучительно боролся с собой — боролся, чувствуя обреченность этой борьбы.

«Как это началось с А. А.? — писала Коллонтай почти сорок лет спустя в своем дневнике. — <...> Женщина чувствует, что нравится, мужчина завоевывает ее отзывчивостью и пониманием, завоевывает душу. <...> Любила ли я А. А.? В те годы мы увлекались (по Чернышевскому) проблемой: «Любовь к двум». Не чужды были этой теме Байрон и Гете. Но в жизни сложнее. На распутывание узла ушло два с половиной года. Мы все трое хотели быть великодушными друг к другу, чисты перед собою и друг перед другом, и все усложняли. <...> А. А. не мог рубить беспощадно. Он поддерживал во мне стремление, чтобы все было по-хорошему. И сам все запутывал. Виновата и я, потому что уверяла обоих, что их обоих люблю — сразу двух. Любить двоих — не любить ни одного, я этого тогда не понимала. <...> С Володей я не могла говорить об А. А., а с

А. А. могла плакать о К<оллонтае>, о моей любви к нему».

Но «распутывание узла» началось далеко не сразу. Этому предшествовали мучительные переживания втайне от мужа, который, видимо, не отличался наблюдательностью и долгое время не замечал, что происходит под общей крышей. С гораздо большей полнотой об этом критическом периоде своей жизни поведала сама Коллонтай — в том же дневнике, но в записи, отделенной от описываемых событий не сорока, а всего лишь семнадцатью годами.

Пространная цитата нужна не только потому, что очень точно воспроизводит подлинные события, определившие, по сути, всю дальнейшую судьбу Александры, но и потому, что драма безвестной ее собеседницы, о которой она повествует с элегической отстраненностью, непостижимым, почти мистическим, образом повторится, и не раз, с нею самой.

«...Кууза. Осень. Льет, барабанит дождь. Вечер. Отпили чай. Мама, прислуга улеглись. А я стучусь в заветную дверь к маминой подруге Елене Федоровне, которая часто гостит в нашем доме. Недавно овдовевшая бывшая красавица, молодящаяся, хотя ей под пятьдесят, всегда хорошо затянутая, вся в завитках и высоких воротниках с пышными кружевными рюшами — так, чтобы виден был лишь пикантный носик с раздувающимися ноздрями и огромные черные глаза. <...>

В халатике, немного сторбленная и сразу постаревшая без корсета, Елена Федоровна сидит перед туалетом и массирует лицо. «Шурочка? Вы? Вот умница, что пришли. Хотите шоколадные конфеты?» Я отказываюсь. До шоколада ли? Я переживаю свою первую серьезную любовную драму. Я мать семейства. Мой мальчик с розовыми щечками спит рядом со мной на бабушкиной половине, в которой я поселилась с тех пор, как я замужем. <...> Мой муж, еще недавно так страстно мною любимый, в командировке. А мое сердце уже отдано другому. Сердце ли? Я сама не разбираюсь, я сама не понимаю себя.

Я все еще люблю своего красивого мужа с его милой черной головкой, с его удалством, мальчишеской смелостью, с его шутками, с его любовью прокатиться на тройке, устроить пикник, с его порывами ко мне, с его любовью к своему — к нашему — мальчику.

Но рядом народилось, выросло, окрепло и другое чувство. Совсем другое. <...> Это чувство душевного родства, близости и понимания, точно у нас с ним, с тем другим, одна душа. Мы одно в мыслях, в отношениях к жизни, к людям. Он слышит меня без слов, он понимает каждое мое движение. Он так не похож на моего мужа, даже по наружности, не говоря уже о душевном складе. <...> Контрасты! И чувство к обоим уживается в душе, дополняя друг друга. Но разве это может быть, разве это бывает? Вот если бы с одним было одно, с другим другое, или даже одно и то же, но в разное время!.. Почему такая несвобода в единственный раз данной нам жизни? <...>

Считается, что любовь к двум сразу — это же ненормальность. Позор! Разврат! За разгадкой своей души я и иду к Елене Федоровне. Она должна знать. По типу она «холодная женщина» <...> не случайно ее звали «кукушкой». Народила детей от разных мужей (хотя официально была замужем только два раза) и разбросала по свету. Дети — это ненужное последствие того, что составляло центр ее жизни, — любовные переживания, страсти, муки, радости любви. У нее и сейчас роман — последний и мучительный. Он «мальчишка», годами по ней страдал. Она издевалась над ним, иногда снисходила. И вот теперь он собирается жениться на «девчонке»! Задето самолюбие отвергнутой красавицы, задета ревность. Пусть она даже не любит его — этот «мальчишка» был последний «дар жизни»...

<...> Она делится этим со мной. Я горда ее доверием. И со своей стороны именно ей рассказываю все. <...> Разве можно любить двух?

— Конечно, можно! Женское сердце такое слож-

ное! Но вы все равно проверьте себя, Шура, одного вы должны любить больше. Помните, как вы были влюблены в вашего мужа четыре года назад? В этой самой комнате, когда мама требовала, чтобы вы ему отказали, вы уверяли меня, что умрете, если вас за него не выдадут. А теперь...

— Я и сейчас его люблю. Если я с ним расстанусь, я никогда, никогда не найду покоя. Но расстаться с тем, с другим — вы понимаете, тогда жизнь сразу становится такой пустой, такой холодной. И я буду одинока, да, одинока, даже любя моего черноглазого, милого, любимого Володю. С кем бы из них я ни рассталась, все равно, я знаю, на всю жизнь буду несчастна.

— Ну, это, положим, глупости! Это не ваш первый и не последний роман. Вы очень влюбчивая натура, и у вас еще будет немало романов.

— Никогда! — Я страстно протестую, я возмущена, оскорблена. — То, что я теперь переживаю, это так глубоко, это на всю жизнь. Мое чувство к А. А. срослось с моей душой, это просто часть меня! Его я никогда не разлюблю, потому что это не просто любовь, это не роман — это нечто гораздо более глубокое, сложное...

Елена Федоровна слушает меня со снисходительной улыбкой.

— Если вас так много связывает с А. А., если это на всю жизнь, чего же вы колеблетесь, зачем тянуть эту муку? Зачем не порвете теперь с мужем? Верьте, это будет и для него легче, к чему изводить себя, его, А. А.?

— Если я уйду от мужа к А. А., счастья не будет. Я буду тосковать по мужу, мучиться. Наши отношения с А. А. совсем из другой области. Поймите: мне оба нужны! Они не исключают, а дополняют друг друга. Почему нельзя все оставить «так»? Почему надо непременно выбирать? Почему надо рвать по живому? Это жестоко. Это несправедливо.

— Вы сами виноваты, Шура, зачем вы все рассказали мужу?

— Как же иначе, ведь было бы бесчестно умолчать.

— Бесчестно? Это слова!.. Разве лучше, что вы все трое мучаетесь теперь? Добро бы еще вы забеременели... Вы гораздо больше влюблены в своего мужа, чем сами сознаете. И для чего создавать целую драму — объяснения, слезы, ревность, разрывы? Если бы вы ничего мужу не говорили, жили бы, как все эти годы, все трое, в близком общении и согласии. И вам было бы хорошо, и они оба были бы довольны. Конечно, А. А. страдал бы, но, уверяю вас, меньше, чем страдает сейчас, хоть вы и говорите, что он не ревнив, что он вас чудно понимает, но это кому же не обидно будет, что любимая женщина мечется между мужем и им, как маятник, то туда, то сюда... Погодите, еще лопнет у А. А. терпение, и уйдет он к другой.

— Никогда! При таком понимании, при такой близости!

<...> Мы говорили до полуночи. <...> Она рассказывала, как, беременная от другого, она приходила объясняться с вернувшимся из далекой поездки мужем. <...> «Когда-нибудь вы вспомните мои слова, что нет прочных отношений на свете, что чувства, желания — все преходяще». Тогда я не верила. <...> В глубине души жила надежда, вернее, юная вера: вот перескачу через пропасть, а там ждет большая, радостная, красивая жизнь. <...> Разве я не баловень госпожи жизни? <...>

На бабушкиной половине мирно спит мой мальчик. Я крадусь мимо в свою спальню. Зажигаю свечу в фарфоровом подсвечнике и ложусь на высокую, парадную, двуспальную бабушкину постель. Засыпается сладко под мирный звук осеннего дождя, с чувством снисходительной жалости и сознанием превосходства своего положения. У Елены Федоровны все хорошее позади, а у меня — впереди».

Возможно, через семнадцать лет после этих дра-

матических событий Александре несколько изменила память и произошло некоторое смещение дат. Переписки между нею и Саткевичем практически не сохранилось, хотя, судя по многочисленным свидетельствам, она была очень обильной. Трудно сказать сколько-нибудь точно, кто и когда ее уничтожил, — скорее всего, сама Александра. Тем ценнее обрывок, кажется, того единственного письма, которое чудом сохранилось. Оно датировано 6 марта 1898 года. «Умоляю Вас, — писал А. А., — берегите себя! Помните, что мне очень, очень дорого Ваше здоровье, что бы дальше ни было. Обо мне не беспокойтесь. Не надо ничего говорить Володе, Вам будет только хуже». Стало быть, даже весной 1898 года Владимир еще ничего не знал — по крайней мере, от самой Александры, хотя ее драматические отношения с Саткевичем длились уже почти три года. Оказавшись в весьма двусмысленной и деликатной ситуации, Зоя ушла из «коммуны», предпочитая снимать свою квартиру, где и встречались тайно Александра и А. А. Но, ясное дело, продолжаться до бесконечности это не могло.

В апреле 1898 года Александра покинула супружескую квартиру, обосновавшись в снятых ею для себя, сына и няни меблированных комнатах на Знаменской улице. Но покоя и здесь она не нашла. Ни о какой новой семье с другим не могло быть и речи. Пять лет супружеской жизни навсегда отбили у нее охоту создать какой бы то ни было постоянный дом — семейный уют, который в ее представлении мог быть только мещанским. Квартира существовала лишь для того, чтобы в ней можно было читать и писать (то есть «делать дело») и, разумеется, спать. Любимый был нужен для ласк и для обмена мыслями — за пределами этого он оставался всего лишь обузой, отвлекавшей от «дела».

Саткевич был желанным гостем — не более. При условии к тому же, что — редким. Легко представить себе, какую боль это ему причиняло. Семья разрушилась из-за него, но оказалось, что он был не

более чем катализатором тех процессов, которые вершились сами собой и напрямую от него не зависели. Его терпение, выдержка и стойкость позволили ему перенести и этот удар. «Это не человек, это Дяденька с Марса», — говорила о нем Зоя. Ласковое прозвище Дяденька осталось за ним навсегда.

13 августа 1898 года двадцатилетняя Александра Коллонтай покинула Петербург и отправилась за границу, оставив сына на попечение своих родителей: они уже смирились с непостижимыми для них порывами дочери.

— Ни о чем не беспокойся, — сказала Зоя. — Во всем, в чем смогу, я буду тебя здесь заменять.

— Ни о чем не беспокойтесь, — сказал Дяденька. — Я с вами всегда, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось.

И Владимир тоже сказал:

— Ни о чем не беспокойся. Я тебя понимаю и не сержусь. Устраивай жизнь так, чтобы тебе было лучше.

С этими напутствиями Коллонтай впервые отправилась одна в неизвестность. Путешествие это длилось более полувека.

ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ

В бегстве за границу не было, как оказалось, никакой импульсивности. Александра все обдумала заранее: этим шагом разрубалось сразу несколько узлов. Один из них, весьма ее тяготивший в последнее время, — отсутствие образования, что особенно ощущалось, когда ей приходилось общаться с эрудированными завсегдатаями политических сборищ и научных дискуссий.

По совету людей того круга, в который теперь вошла Александра, местом будущего обучения была выбрана Швейцария. Вероятно, потому, что именно в этом кругу зачитывались тогда трудами профессора Цюрихского университета Генриха Геркнера по рабочему вопросу, и сама Александра уже одолела его пухлые книги. У нее не было ни знакомств, ни связей, ни предварительной договоренности: просто прибыла в Цюрих, в ближайшем к вокзалу кафе узнала адрес недорогого пансиона и, забросив туда свой чемодан, отправилась на поиски профессора.

Геркнер откликнулся на просьбу молодой русской поклонницы и записал ее в свой семинар. Но внезапно охватившая ее тоска не позволила начать

учебу. Заболев нервным расстройством, которое, по медицинской терминологии, видимо, правильнее назвать депрессией, она по совету врачей уехала в Италию, поселившись на побережье Лигурийского моря, неподалеку от Генуи. Финансовой проблемы не было — отец щедро снабжал ее деньгами, и она могла позволить себе роскошь целиком отдаться писанию. Оставив на время «художественную прозу», Александра переключилась на статьи для газет и журналов, излагая свой взгляд на экономические и социальные проблемы Финляндии. Эти проблемы живо обсуждались тогда в российской прессе, Александре же, видимо, они были близки из-за ее финляндских корней. Ее эмоциональность, казалось, с лихвой компенсировала отсутствие систематических знаний, но первые опыты не нашли желанного отклика ни в одном периодическом издании, куда она рассылала свои сочинения.

Однако публикация в солидном российском журнале «Образование» одной ее статьи на педагогические темы служила стимулом для дальнейшей работы. Неудачи не отбили охоту от дальнейших попыток. Письма в Петербург отражали отнюдь не уныние от постигших ее неудач, а тоску по оставленным дома дорогим людям. Борьба с самою собой еще больше усугубила болезнь. Преследовавшие ее головные боли свидетельствовали, по диагнозу врачей, о высшей степени нервного истощения. По их же совету она отправилась в Берлин для курса лечения в нервной клинике: столица Германии считалась тогда центром высших достижений медицины, особенно в этой сфере.

Но берлинские врачи сочли, что есть более радикальный и более эффективный способ избавиться от нервного стресса, чем использование новейших медикаментов. Слегка подлечив свою пациентку, они порекомендовали ей как можно скорее возвращаться домой. Видимо, это соответствовало и ее желанию. Она вернулась в супружеский дом, и Владимир столь же безропотно принял ее, ни в чем не

упрекнув и не спрашивая о дальнейших планах. На радостях они переехали обратно к родителям, которые — оба — сильно сдали, и ее бегство за границу было тому одной из причин. Никто больше не вспоминал о семейных неладах, и Владимира, вновь обретшего жену, встретили с искренней радостью. О радости ребенка, обретшего сразу и мать, и отца, нечего и говорить.

Прежняя болезнь Владимира — хронические нарывы в горле — вспыхнула с новой силой, и Александре сразу же пришлось включиться в уход за ним. Отвыкнув от домашних забот и соскучившись по мужу, она в первые недели безропотно исполняла обязанности заботливой жены. Но лишь в первые недели... Как и следовало ожидать, эта роль ей быстро наскучила и, излечив от тоски по дому, побудила снова задуматься об учебе в Швейцарии. Нервный стресс, казалось, прошел окончательно.

Владимир снова понял ее и не осудил. Чувствовал, что быть им вместе не суждено. Лето и раннюю осень Александра с родителями и сыном провела в своей любимой Куузе, Владимир остался в городе, чтобы не докучать. Видимо, именно тогда и произошел тот доверительный разговор между Александрой и подругой матери Еленой Федоровной, который воспроизведен в предыдущей главе. Стало быть, она все еще была на распутье.

Встречи с Дяденькой по-прежнему были тайными, но зато какое счастье доставляла каждая из них! Она все отчетливей понимала, что не может остаться без этого человека, которому от нее ничего не нужно — только она сама. И которому ничего не надо объяснять: он читал ее мысли еще до того, как они к ней пришли... Но подлинной радости — полной и подлинной — не было все равно. Тайная любовь угнетала, открытая сулила ненавистный «семейный очаг», который неизбежно привел бы к окончательному разрыву. К тому же это значило затеять бракоразводный процесс, чтобы затем сочетаться новым браком. Все это было ей ни к чему,

она преспокойно жила бы и «так», но и Владимир, и Дяденька были офицерами, делали военную карьеру. Любое отклонение от «правил приличия» означало ее крушение. Растоптать две судьбы — этого позволить себе она не могла.

Тупиковая ситуация грозила новым обострением нервной болезни. Спасением снова стало казаться бегство. Это называлось «разрубить узел». Первая попытка оказалась тщетной. Может быть, удастся вторая?

И снова Швейцария, снова профессор Геркнер, снова его семинар. С прежней жизнью покончено, в этом уже не было никакого сомнения. Пора начинать новую — обрести «дело», войти в неведомую и пока еще чуждую ей среду. По совету профессора и по собственной инициативе Александра стала глотать одну за другой книги на экономические, политические, социальные темы. Она вошла во вкус, чувствуя, что именно в этом ее призвание. Первые публикации в солидных журналах — о проектируемых реформах в Финляндии, о ее экономическом положении, о рабочем движении в этом Великом княжестве — сателлите Российской империи — не только принесли деньги (она в них пока не нуждалась, зато гонорар, заработанный своим пером, возвышал ее в собственных глазах), но еще и известность. С поразительной быстротой она завоевала признание в качестве специалиста по современной Финляндии, и сколь бы узкой ни казалась эта специфика, Александра сразу же стала в ней авторитетным экспертом. Человеку без образования и без связей, да к тому же совсем молодой женщине, удалось сразу заполнить нишу, на овладение которой другим нужны были бы годы.

Наиболее значительным событием на этот раз, событием, оказавшим влияние на всю дальнейшую жизнь, стала встреча в Цюрихе с уже известной тогда немецкой социалисткой Розой Люксембург.

Обе женщины отличались неистовым темпераментом и воинственным максимализмом. Каждая беседа с Розой все больше убеждала Александру в том, что она не ошиблась, презрев домашний очаг ради борьбы за социальную справедливость.

Ей не сиделось на месте, навыков учебы не было никаких, прилежный студенческий труд казался пустой тратой времени, и, чтобы не терять его даром, она отправилась в Лондон, заручившись рекомендательным письмом профессора Геркнера к почти легендарным тогда Сиднею и Беатрисе Вебб. Прославленные супруги показались ей милыми, но полностью оторгнутыми от реальностей современной жизни стариками. Они вызвали у нее лишь снисходительную улыбку — прежде всего своей убежденностью в доброе дело постепенных реформ. Низвержение уже стало ее «пунктиком»: с тех пор как в доме Стасовых она сцепилась со Струве, а через него с Бернштейном, идея возведения чего-то нового на руинах постылого старого стала для нее навязчивой и потому любимой. Беседы с Розой Люксембург еще больше укрепили ее в том же мнении. Не терпелось поделиться своими впечатлениями, но — с кем? Во всем мире был пока лишь один человек, которому она могла доверить любую мысль, заведомо встретив полное понимание.

Вместо того чтобы вернуться в Цюрих, она вернулась из Лондона в Петербург. О каком бы то ни было сближении с Владимиром уже не могло быть и речи: навсегда отрезанный ломоть! Но встреча с Дяденькой опять превратилась в праздник, и только его сдержанность, за которой угадывались достоинство и солидность, мешали ей открыто выражать свои чувства. Впрочем, в этой открытости и не было вовсе нужды: они оба хорошо понимали, сколь прочно связывает их тяга друг к другу.

В этот приезд она испытала первое настоящее горе: умерла мать. Отношения с ней так до конца и не восстановились, но она все равно продолжала оставаться дорогим существом. Эта смерть принесла и

другую потерю: любимая Кууза, безраздельно принадлежавшая матери, досталась по ее завещанию детям от первого брака. Впоследствии у сестры и брата имение выкупила одна из сестер — певица Евгения Мравина. Но так или иначе, Кууза была потеряна навсегда. Вместе с этой потерей окончательно перевернулась страница, с которой были связаны лучшие воспоминания о детстве и юности, о ранней молодости, так много — и несбыточно — обещавшей.

Но оставался Дяденька, а с ним еще не потерянные надежды. Как была бы она счастлива, если бы он был рядом с ней за границей! Но, связанный службой по рукам и ногам, он не мог никуда поехать. Карьера его складывалась успешно: он уже был полковником, одним из лучших военных инженеров России. В каком качестве мог бы он куда-то поехать? Жениться на любимой и любящей женщине было его потаенной мечтой, но, увы, неосуществимой, — настолько очевидно неосуществимой, что оба предпочитали об этом не говорить вовсе.

Миша жил у деда, скрашивая его одинокую старость, в окружении гувернанток и нянь. Александра снимала квартиру — исключительно для того, чтобы время от времени встречаться с Дяденькой и собирать новых друзей. Жить с полковником Саткевичем в гражданском браке не позволяла военная этика, но то был скорее удачный предлог: никакая любовь не могла навязать ей роль жены и хозяйки дома.

Чтобы не втянуться в эту постылую жизнь и продолжить «дело», которое нравилось все больше и больше, она опять ринулась за границу. И опять — в уже ставшую близкой Швейцарию. Предлог — для домашних — все тот же: учеба. Европейское образование почиталось высоко, отец одобрял, а Дяденька — мог ли он возразить: диплом есть диплом. Но она-то знала, что никакой учебы — в традиционном смысле этого слова — ей было не нужно: толь-

ко встречи с людьми, чтение книг, споры о коренной переделке мира.

Профессор Геркнер посоветовал съездить в Женеву — тамошняя библиотека славилась обилием книг, которые были не доступны университету скромного Цюриха. Эта поездка принесла ей случайную — в той же библиотеке — встречу с Г. В. Плехановым, книги которого она уже читала. Русские эмигранты-революционеры, как правило, тянулись друг к другу и отличались полным отсутствием чванства. Плеханов сразу же пригласил молодую даму домой, познакомил с женой Розалией Марковной, одарил научной литературой. Его обаянию и влиянию не столько его книг, сколько тех разговоров, которые он с ней вел, обязана Александра приобщению к теории и практике марксизма — поначалу в плехановском варианте.

Георгий Валентинович не был чужд и заботы о быте. Он познакомил ее с четой других русских эмигрантов — супругов Лепешинских, — открывших на углу улицы Каруж и набережной Арвы партийную столовую для малоимущих соотечественников. Меню никогда не менялось: мадам Ольга сама готовила борщ и рубленые котлеты. Александра могла позволить себе и другую еду, пусть и не в очень шикарном, но вполне приличном женевском ресторане, однако она предпочитала столовую Лепешинских, где встречались люди, близкие ей по духу, и где вечно спорили о политике, — без этих споров, кажется, она вообще уже не могла прожить. Ленин тоже здесь иногда столовался, чтобы не выделяться из более бедной эмигрантской среды, но в тот раз за борщом и котлетами судьба их еще не свела.

Насмотревшись на европейскую свободную жизнь, Александра вернулась опять в Петербург. Как это было просто тогда... Проклятое царское самодержавие, с которым барышни из дворянских семей и фанатичные мстители из разночинцев звали

бороться не на жизнь, а на смерть, позволяло без малейших проблем своим заклятым врагам пересекать границы, набираться крамольных мыслей, обогащаться идеями разрушительства и, в сущности, распространять их на родине. Смехотворная «строгость» законов не служила ни малейшим препятствием.

Дяденька был так же ласков и предан, так же переписывал по ночам ее очередные статьи, через них постигая интересы и мысли любимой женщины. Мысли эти он не разделял, интересам ее был чужд, но ни словом, ни жестом не входил с ней в конфликт, видя свой долг в том, чтобы служить ей опорой и дать развиваться тому, к чему она так стремилась. О будущем опять не было речи, словно так и должно продолжаться всегда: жизнь на чемоданах в сборах и проводах, с короткими встречами и долгими разлуками. Ее устраивала именно такая жизнь. А устраивала ли она Дяденьку? Нет ни малейших следов, которые свидетельствовали бы о том, что она хотя бы задумалась об этом, хотя бы раз задала вопрос: не тяготит ли это его? Терпит, — значит, любит. Любит, — значит, терпит. И будет терпеть...

На этот раз петербургское ее пребывание было еще короче. Несколько дней с Дяденькой, несколько прогулок с Мишей — он ни в чем не нуждается, одет, обут и ухожен, пошел уже в школу, имеет друзей — чего же еще? Только вот Зоя, милая, милая Зоя все одна и одна. Хочет стать журналисткой — дай-то Бог!.. А у Александры иные планы: опять Европа, новые страны, манящие вовсе не тем, чем обычно за граница манит миллионы людей. Нет, не этим: теперь у нее полно адресов, нужно скорей завести новые знакомства, новые связи — ведь она уже не безвестная Шурочка, а крупный специалист по Финляндии «Эллен Молин» (под этим псевдонимом были опубликованы ее статьи в издававшемся Каутским журнале «Новое время»), знаток русского рабочего движения фрау Коллонтай.

Всего каких-нибудь два года — и какой огром-

ный путь уже ею проделан. С Карлом Каутским ее познакомила Роза Люксембург, и он сразу принял ее не только как единомышленника и друга, но и как желанного автора. В Париже ее приветили Лаура и Поль Лафарги: дочь и зять Карла Маркса, чье имя еще несколько лет назад не говорило ей ничего. Теперь она его ученица, его последовательница, страстный проводник его идей...

Жизнь полна событий, впечатлений и встреч, и, однако, в ней бы не было полноты, если бы за каждым новым витком не ждало Александру возвращение к Дяденьке, без которого тосковали и ум, и душа, и тело. Она уже приспособилась к такой жизни — разнообразной и необременительной, много дающей и ничего не требующей взамен. Мысль о том, что эта дорога ведет в никуда, конечно, ей в голову не приходила.

Внезапная смерть отца в 1902 году была, однако, ударом, который заставил хотя бы на короткое время прервать чемоданную жизнь. К отцу она была привязана больше, чем к матери, его уход впервые заставил ее почувствовать свою «взрослость». Сразу же возникло и множество бытовых проблем, от которых всегда она была так далека. Отцовское имение в Черниговской губернии переходило по завещанию только к ней, а с ним и все хозяйственные заботы. Ей досталась весьма значительная недвижимость — дом, земля, лес, большое количество различных построек, посевы, всевозможная живность, и она понятия не имела, как всем этим следует распорядиться. В своем имении она никогда не была — ни раньше, ни позже, и, читая подробные ежемесячные отчеты управляющего К. А. Свикиса, мучительно пыталась себе представить, что конкретно стоит за каждой строкой. Но вникать приходилось — ведь именно это имение и было главным (по сути, даже единственным) источником материального благополучия всей семьи. Лишь благодаря доходам с имения она имела возможность совершать заграничные вояжи, вести безбедную жизнь, целиком посвящен-

ную разрушению всех основ, которые ей эту жизнь обеспечили. Ситуация, как известно, не уникальная, но точного психологического объяснения так и не получившая.

Сохранилось множество отчетов управляющего именем, адресованных уже не генералу от инфантерии М. А. Домонтовичу, а ее высокоблагородию жене военного инженера Александре Михайловне Коллонтай. Управляющий информировал свою хозяйку о сдаче в наем дачи, о продаже овса и гречки, картофеля и проса, молока и яиц. Есть даже радостная телеграмма, извещающая о том, что после долгих мытарств ему удалось взыскать с какого-то злоумышленника один рубль штрафа за украденные дрова. Доходы Александры в эти годы колебались примерно от 1700 до 2600 рублей в месяц — деньги, вполне позволявшие жить на широкую ногу, не задумываясь о тратах.

Ей, естественно, хотелось их иметь, эти деньги, но не заниматься их добыванием и даже не обременять свою голову чтением сообщений о том, как они достаются. И эту заботу взял на себя бесконечно преданный Дяденька. Сохранились письма и телеграммы управляющего К. А. Свикиса полковнику А. А. Саткевичу в Петербург, на Бассейную улицу дом 35, с отчетами об успешной аренде дома и чуть менее успешных продажах овса. Деньги из Чернигова, минуя Петербург, регулярно следовали за Александрой в ее европейских скитаниях, какую бы страну она ни избрала. У кого еще из неистовых русских эмигрантов были такие же возможности для обеспеченной жизни? Разве что у Владимира Ильича...

Лето 1903 года она провела с Мишей на море — на французской Ривьере. Ребенок впервые попал за границу и быстро освоился в ней: он уже сносно болтал по-немецки, начал учить французский — домашнее воспитание шло впрок, мать могла быть спокойной за его будущее. О том, что вместо всех языков мира и забот всевозможных бонн ему нужна

просто материнская ласка — и не время от времени, а всегда, — об этом, судя по ее дневникам, она вспомнит гораздо позже. Вспомнит, но выводов не сделает и тогда!

Перо ее тем временем крепнет, журналы уже не отвергают ее статьи, а ждут. И не просто ждут — заказывают заранее. Продолжая оставаться специалисткой по финским проблемам, Коллонтай находит для себя новый «конек»: все больше ее начинает интересовать «женская» тема. Будучи уже автором двух книг («Жизнь финляндских рабочих» и «К вопросу о классовой борьбе»), а потом и третьей («Финляндия и социализм»), она стала писать и о женском движении, о некоей «пролетарской нравственности», которая «грядет на смену» общечеловеческой, презрительно именуемой буржуазной. Ее статьи «Роль феминисток и женщин-пролетариев в движении за эмансипацию женщин» и «Проблема морали в положительном смысле» привлекли внимание тех, кто именовал себя социал-демократами, и обильно цитировались в тогдашней политической публицистике. Начиная примерно с 1904—1905 года имя Коллонтай уже прочно вошло в список ведущих русских авторов на эти, стремительно входившие в моду, темы.

Меж тем к ее «вольному союзу» с Саткевичем постепенно привыкли не только они сами и их окружение, но даже и начальство полковника, деликатно закрывавшее глаза на то, в каком странном «браке» тот живет. Это уже не было чем-то из ряда вон выходящим и повергающим в ужас. Демонстративно открытый альянс Максима Горького с актрисой Художественного театра Марией Андреевой тоже вызывал поначалу бурную общественную реакцию, потом с этим смирились и приняли как данность.

Теперь уже Александра и Дяденька не встречались конспиративно, как пугливые любовники, а часто оставались друг у друга, не слишком афишируя свою связь, но и ни от кого не таясь. И даже

появлялись вместе «на публике». Отцовский дом был продан за хорошие деньги, Александра сняла большую квартиру на Фурштадской улице и поселилась там вместе с Зоей. От Зои не надо было ничего скрывать, пребывание Дяденьки в квартире на правах приходящего мужа никого не смущало. Зоя готовила, стирала, гладила, ухаживала за подругой, как нянька. И сама под разными псевдонимами помещала в газетах очерки, фельетоны, рецензии на спектакли и книги. Ее хватало на все. Александра же бывала в «жестокое цейтноте», даже если работала только над одной статьей. Миша жил отдельно — с экономкой и гувернанткой. Изредка Александра посещала его гимназию, поддерживая таким образом иллюзию, что у Миши, как и у всех, есть родители и семья.

1905 год стал вехой не только в истории России, но и в судьбе Коллонтай. 9 января вместе со 140 тысячами других манифестантов она участвовала в шествии к Зимнему дворцу. Расстрел мирной демонстрации не мог не потрясти ее впечатлительную натуру. Включившись в агитационную работу нелегалов, она с особенным пафосом выступает на рабочих собраниях Невской заставы, на заводах и фабриках Охты и Васильевского острова, обнаружив в себе еще один, дотоле дремавший, талант — талант оратора, умеющего зажечь толпу. Он был сразу замечен и впоследствии использовался неоднократно, принес ей и славу, и деньги. Осенью того же года на подпольном собрании в помещении Технологического института она познакомилась с только что вернувшимися из эмиграции В. Лениным и Л. Мартовым — двумя антиподами, двумя — тогда еще — приятелями и во многом единомышленниками. Это было одно из последних собраний, где русские социал-демократы, успевшие уже расколоться на большевиков и меньшевиков, заседали и спорили вместе.

На другом партийном собрании — примерно в то же время — Коллонтай познакомилась с соредак-

тором первой легальной социал-демократической «Московской газеты» Петром Масловым, который приезжал по редакционным делам в Петербург. Пухленький, рано начавший лысеть (ему еще не было сорока), похожий на капризного и ласкового мальчика, этот русский экономист уже завоевал себе прочное имя трудами по земельному вопросу и по аграрной реформе — об этом, с разных, конечно, позиций, писали тогда политики и ученые всех направлений. Маслов тяготел к социал-демократам, разделяя по всем вопросам точку зрения ее меньшевистского крыла. Его печатные и устные выступления были так убедительны, что Коллонтай решительно приняла его сторону. Огромную роль при этом играли и личные симпатии: этот ученый и лектор привлекал ее своим темпераментом, убежденностью, логикой, но еще и «каким-то магнетизмом» (так писала она впоследствии Зое), которое он излучал. Как всегда у Александры, личное слишком органично совмещалось с «общественным» — не в том, разумеется, смысле, в каком это выражение стало впоследствии употребляться большевиками.

Ленин отчаянно критиковал Маслова за «ревизионизм», за «измену марксизму» — причиной тому была не столько его программа муниципализации земли, сколько воинственная принадлежность к меньшевизму, а если точнее, воинственная антипринадлежность к большевизму. Ни одну из ленинских позиций — ни концептуальных, ни прагматических (железная партийная дисциплина с безусловным подчинением меньшинства большинству, «рядовых» — партийному начальству) — он не принимал. Произведя на Александру «неизгладимое впечатление» (из того же письма Зое), Маслов автоматически делал ее убежденной меньшевичкой: увлекаясь сердцем, она «увлекалась» и головой, разделяя взгляды того, кто имел влияние на ее чувства. Если это не относилось к Дяденьке, то лишь потому, что у того вообще не было отчетливых политических идей: он был замечательным профессионалом, чест-

ным и благородным другом, а политики сторонился, даже бежал от нее.

Появление Маслова в мыслях любимой женщины (пока еще только в мыслях) он заметил сразу — и мудро было бы не заметить, если имя его теперь не сходило с ее уст. Но и виду не подал: по-прежнему переписывал ночами каллиграфическим почерком ее сочинения — уже (еще!) не романы и повести, а грандиозные планы надеть на человечество хомут всеобщего счастья.

Вот что писала тогда Коллонтай в своей пропагандистской брошюре «Кто такие социал-демократы и чего они хотят?»: «...Всякий, кто будет трудиться, будет не только сыт, обут, но сможет пользоваться и всеми теми удобствами и радостями жизни, которые сейчас доступны лишь богачам. Само собой разумеется, что всякую работу постараются обставить как можно здоровее и лучше, а так как трудиться будут все, то на долю каждого придется вовсе не так много работы <...> Не будет ни богатых, ни бедных <...> значит — прекратится неравенство. Останется только неравенство ума или таланта <...>

Итак, чтобы прекратились все современные несправедливости и бедствия, — предлагается: 1) заменить частную собственность собственностью общественной, или коммунистической, 2) ввести совместный обобществленный труд и 3) вместо производства для продажи изготовлять продукты для общественного и личного потребления».

Утопичность этого «проекта» разумным людям была очевидна еще и тогда, его унылость тем более. На «массу» подобный бред производил впечатление, но каково все это было не только читать, а и переписывать умнице Саткевичу с его ясной головой и математически точным умом?! Отдохновением было, когда Александра затевала разговор об искусстве, о литературе. Хотя ее вкусы и рассуждения были предельно утилитарны и до вульгарности социологизированы («искусство хорошо тогда, когда оно служит делу рабочего класса»), все же разговоры на эти

темы казались музыкой по сравнению с монологами о грядущей победе «людей труда» над ненавистными эксплуататорами. Кстати, музыку Александра особенно не любила. Впоследствии так объясняла это в своих черновых заметках: «Музыка вызывала эмоции и мешала думать, а в те годы основное было думать, изучать. Для эмоций отведен был свой «ограниченный участок» — любовь к определенному человеку, роман со слезами и радостями, всевозможные оттенки переживаний». На этом «ограниченном участке» Дяденьке было тесно и неудобно, но он в самом деле любил и оттого терпеливо сносил любые «оттенки переживаний» женщины, которая менялась у него на глазах.

Легче было говорить о кубизме, внезапно ставшем увлечением Александры: сколь бы ни был он чужд консервативным вкусам полковника, но тут, по крайней мере, существовала возможность спора, тогда как о «деле» рассуждать не полагалось. Там Александра была права, потому что она была права всегда...

Ретроспективно оглядывая свой жизненный путь годы спустя, Коллонтай записала в дневнике: «Было хорошо в совместной жизни и дружбе с Дяденькой. Он меня берег и баловал. Но опять душно стало, опять ушла <...>». Перед кем она лукавила, кого хотела обмануть в записях для себя самой, тем паче наедине с Вечностью, уже на самом последнем витке жизни? «Опять» ушла она не от «духоты» жизни с Дяденькой, — жизни, измотавшей его и не давшей, как видно, никакой радости ей, а оттого, что замаячила новая страсть. Только и был теперь свет в окне: Петенька Маслов! И он тоже — степенный, расчетливый, типично кабинетный ученый, чуждый бурных страстей и порывов, — решил, презрев условности, броситься в омут новой любви.

Новой — ибо Петр Петрович состоял в законном браке, и жена его, носившая редкое даже для той

поры имя Павлина, в просторечии Павочка, неусыпно следила за мужем, не отпуская от себя ни на шаг. Ни о каком союзе, наподобие того, который Александра навязала Саткевичу, тут не могло быть и речи. Ни в Петербурге, ни даже в Москве, если бы она решилась туда переехать. Оставался единственный выход: все спасающая, разрубающая все узлы заграница. Благо — вот уж, право, везение! — Маслов получил приглашение на цикл лекций в Германии, и это давало ему возможность, пусть на короткое время, оторваться от бдительного ока жены. Надо ли говорить, что Коллонтай немедленно последовала за ним!..

Счастливое совпадение: по рекомендации Карла Каутского и Розы Люксембург германская социал-демократическая партия пригласила ее в Мангейм на свой очередной съезд. Здесь она познакомилась с Карлом Либкнехтом, Кларой Цеткин, с другим гостем съезда — Августом Бебелем. Круг ее знакомых необычайно расширился, многие из них стали не только товарищами по «делу», но и личными друзьями. Теперь уже можно было говорить, что она окончательно вошла в «высшие эшелоны» европейской социал-демократии, в ее элиту. Но главную радость доставило ей тогда вовсе не это: на обратном пути она несколько задержалась в Берлине, ощутив наконец свободу от всех и от вся, — здесь ждал ее Маслов.

От Дяденьки она вообще никогда ничего не скрывала — и на этот раз осталась верна себе. Что он мог ей сказать? Формально между ними не было никаких обязательств. Морально? Но не она ли писала, что морально все то, что служит делу освобождения пролетариата? Она служила этому освобождению — стало быть, все, что было в ее интересах, автоматически становилось и в интересах рабочего класса. И значит, было морально. Дяденька, пусть и другими словами, сказал ей то, что совсем недавно, когда он сам был в роли Маслова, сказал Владимир: поступи как знаешь, лишь бы было лучше тебе. К

тому же, зная ее натуру, допускал, что и этот роман ненадолго. Что все еще может повернуться. Он надеялся — и ждал.

Переезд Маслова в Петербург облегчил возможность их встреч, но страсть экономиста не походила на любовь полковника. Он смертельно боялся всякой огласки, оттого потайные свидания с ним никакой радости не приносили. Но тут подоспели новые приглашения популярному экономисту читать лекции в Германии, и Александра без особых хлопот устроила себе мандат петербургских работниц на очередной, уже седьмой по счету, конгресс Второго Интернационала в Штутгарте. Личное опять замечательным образом сочеталось с общественным: приехали Ленин и Троцкий, Плеханов, Луначарский, Литвинов — люди, без тесных контактов с которыми Александра, при всей своей известности, не могла бы стать товарищем Коллонтай. О том, как к ней в этой среде относились, красноречиво говорит одна фраза из письма Луначарского жене, отправленного им из Штутгарта: «В числе гостей имеется в пух и прах разодетая Коллонтайша». Этим, пожалуй, сказано все.

Она тоже писала письма отсюда — главным образом Зое, — где о своих партайгеноссен отзывалась куда более уважительно: «умный, как всегда, Ленин», «блестящий фейерверк мыслей» (о Троцком), «отягощенный своей эрудицией Луначарский». Но мысли ее были заняты все же не ими. Это видно из ответного письма Зои: «...Видела Мишку, жаловался на тебя: «Мамочка к себе на версту не подпускает, только здоровались, да прощались, да за обедом три часа сидели». — «Что ж ты ей прямо не сказал?» — «Как же скажешь, мама стала такая раздражительная. Все Маслов да Маслов...» Ревнует <...>».

Маслов путешествовал по Германии с рефератами, и она следовала за ним, во всех городах находя для себя какое-то «дело». Петенька писал статьи и тезисы предстоящих лекций, она — тоже статьи: о

том, как будет прекрасна жизнь после победы мирового пролетариата. Вот, к примеру, как представляла себе она «будущий социалистический город»: «...Красивые особняки в садах. Все особняки оборудованы всей современной техникой. <...> Каждый живет сообразно своим индивидуальным склонностям, вкусам <...>». Маслов подтрунивал над этой «наивной восторженностью гимназистки», он признавал лишь язык науки, а не лепет мечтателей и утопистов, но это не мешало ему любоваться своей «Коллонтайкой», которая была для него не ученым и не писателем, а женщиной, умевшей быть и страстной, и нежной.

Возвращение в Петербург сулило новые проблемы. Мише исполнялось четырнадцать лет — самое время было подумать, как и где ему жить дальше. Время гувернанток и бонн безвозвратно ушло. Отец предложил поселить его у себя — оставаться дальше и без матери, и без отца становилось уже невозможным. Александра не возражала: это было выходом из положения, тем паче что мысли ее были так далеко! Но что делать с Масловым? Как сложится дальше их жизнь? Его робкий намек — пора бы, дескать, «оформить» их отношения хотя бы гражданским браком — она, конечно, отвергла, но мысль о том, что пришло время принимать решение, не покидала. Какое? Оставалось опять положиться на судьбу.

Зоина сестра, актриса Вера Юренева, пригласила ее как-то в гости к знакомому врачу. Здесь Александра познакомилась с писательницей Татьяной Щепкиной-Куперник, сразу ставшей ее подругой и confidentкой. Татьяна была внучкой крупнейшего русского драматического артиста прошлого века Василия Щепкина и дочерью гремевшего тогда на всю Россию петербургского адвоката Льва Куперника. И сама она тоже была знаменитостью. Одна из самых близких приятельниц Чехова, она печатала популярные (особенно среди женщин) рассказы об удачной и неудачной любви, но главным образом была почи-

таема как талантливый переводчик, благодаря которой ожили на русской сцене многие произведения классиков западной драматургии. Ее перевод «Сирано де Бержерака» остается и поныне непревзойденным.

Щепкина-Куперник и ее муж, адвокат Николай Польшов, чуть ли не ежедневно собирали в своем доме крупнейших столичных артистов, писателей, художников, журналистов, юристов. Александра стала завсегдатаем дома, органично войдя и в этот элитарный круг. Гости были людьми с либеральными взглядами, все мечтали о демократических переменах, все подолгу жила за границей, набираясь там вольнолюбивых идей. Но никто, за исключением Александры, не мечтал о разрушении и низвержении. Сама мысль об этом казалась абсурдной и нереальной, а экстремизм новой Таниной подруги они воспринимали с той снисходительностью, с какой вообще воспитанные и толерантные люди воспринимают повышенную эмоциональность своих собеседников.

Даже в этой блестящей компании Коллонтай отнюдь не чувствовала себя человеком со стороны. Для многих ее имя не требовало никаких пояснений. Странно лишь, что такая среда, такое количество людей искусства не пробудили в ней интереса ни к музыке, ни к театру. Эта эмоциональная глухота остается до сих пор одной из главных загадок ее жизни — даже после того, как сохранившиеся свидетельства и документы позволяют восстановить ее неотретушированный образ. В том артистическом и художественном кругу ее воспринимали вовсе не как борца с самодержавием, а как писательницу и публицистку, как автора нескольких книг и многих статей.

Одна из ее книг как раз тогда вызвала громкий скандал, привлекая еще больший интерес к ее загадочной личности. Изданная двумя годами раньше книга «Финляндия и социализм» вдруг попала на глаза какому-то высокому чину, который усмотрел в

ней не просто крамолу, но призыв к вооруженному восстанию. А это деяние подпадало уже под Уложение о наказаниях, то есть, попросту говоря, под Уголовный кодекс. Началось следствие.

По счастью, совсем незадолго до этого рукопись новой книги («Социальные основы женского вопроса») она отправила Горькому на Капри и уже успела получить его вполне благожелательный отзыв. Тем самым имя ее стало ему известно. Когда до Капри дошла весть, что Коллонтай грозит предварительный арест, Горький начал сбор денег, добиваясь замены ареста освобождением под залог. Необходимые три тысячи рублей были собраны, и Коллонтай осталась (пока!) на свободе.

Однако и оказавшись под следствием, в ожидании вполне вероятного ареста, Коллонтай ничуть не снизила накала своей агитационной работы, которая пришлась ей по вкусу не меньше, чем сочинение книг и статей. Ее ораторский дар — она сама заметила это — проявлялся полнее всего при общении с совсем незрелой или едва-едва начинавшей тянуться к знаниям массой. В хорошо подготовленной аудитории ей не хватало аргументов и эрудиции передать глубину мысли. Их не было, скорее всего, потому, что не было и самой глубины. Ее суждения элементарны, выводы лежат на поверхности, идеям не хватает парадоксальности, которая всегда свидетельствует о живости ума. Зато среди тех, кто знает значительно меньше, чем выступающий перед ними оратор, кому нужны простейшие, но легко доходящие до сознания мысли, она чувствовала себя как рыба в воде. Легко зажигаясь сама, она столь же легко зажигала и публику, будучи в состоянии равно овладеть вниманием и огромного зала, и группки людей, собравшихся в тесной, прокуренной комнате при опущенных шторах.

Естественно, эта бурная деятельность не могла остаться без внимания властей прередающих. Формально получалось так, что, находясь под следствием по обвинению в совершении одного преступления,

она совершила еще и другое — публично агитировала против существующего строя. Это было — опять-таки формально — нарушением условия освобождения под залог. И стало быть, она могла быть арестована в любой момент.

Зоя первой обнаружила полицейскую слежку и сообщила об этом подруге. Такой поворот событий был на редкость некстати — через несколько дней в помещении Петербургской городской думы открывался первый всероссийский женский съезд, на котором Коллонтай должна была выступить с докладом. Собственно, она приготовила не столько доклад, сколько обвинительную речь против русских феминисток, «направляющих женское движение на служение буржуазии». Теперь стало ясно, что эту речь произнести ей не суждено: прямо в зале ее бы арестовали.

Татьяна Щепкина-Куперник предложила ей укрыться в своей квартире, столь респектабельной и известной, что она была в полиции вне всяких подозрений. Тем временем «свои люди» готовили для беглянки заграничный паспорт на другое имя, а одна из преданных ей работниц — экспедитор редакции журнала «Городское дело» Варвара Волкова, тоже делегат съезда, вызвалась огласить на нем ее текст.

Накануне бегства Татьяна устроила для Александры прощальный вечер — так провожали разве что декабристов, отправлявшихся к своим мужьям в сибирские каторжные рудники. Пришли музыканты, актеры, художники. Композитор Сергей Василенко и поэт Сергей Городецкий написали в ее честь романсы — их исполнили знаменитые певцы. Актеры читали стихи. Невзначай Александра проговорила, что вошедший в моду поэт Игорь Северянин доводится сыном ее подруги и троюродной сестры Зои Лотаревой и что когда-то он посвятил ей стихи: «О эта девочка, вся — гимн участия, вся — ласка матери, вся — человек». И другие — ей и Владимиру: «И чернотусыч, чернобрович, жених кухни —

офицер». Один из гостей — драматический артист — поднялся и торжественно произнес:

— Если бы Игорь знал, какая у него кухня, он и самые свои знаменитые тоже посвятил бы Вам, дорогая Александра Михайловна.

И с чувством продекламировал:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском!
Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно и беру за перо.

Бросили в бокалы с шампанским по куску ананаса, чокнулись, выпили, обнялись... Через час поезд уже помчал ее к финляндской границе. Несмотря на фальшивый паспорт, все обошлось.

Думалось: пройдет несколько недель, пусть несколько месяцев — и она, как бывало уже множество раз, вернется сюда, в Петербург, где хоть и не было своего дома, но были друзья, среда, «дело». Где жили Дяденька и Петенька — оба любимые, каждый по-своему. Но недели и месяцы растянулись больше чем на восемь лет.

Сначала отрыв от родных мест не казался чем-то обременительным. К тому же связь с русской средой, с близкими и милыми ее сердцу людьми не терялась. Очень скоро в берлинский пригород Грюневальд, где устроилась Коллонтай, примчалась повидаться с ней Танечка Щепкина-Куперник, а потом и Петенька, не смирившийся с разлукой. Но приехал он не один: для того чтобы надолго обосноваться в Германии, ему пришлось взять с собой и Павочку, и детей. Поездки из города в Грюневальд отнимали слишком много времени, и Александра перебралась в Берлин, хотя это значительно увеличило ее траты. Имение приносило все меньше и меньше денег — возможно, управляющий быстро понял, что ее высо-

коблагородие, даже и при помощи господина полковника, не так хорошо разбирается в финансовой отчетности, как это делал генерал Домонтович. По ее просьбе Свикис пытался продать большую часть леса, это, казалось, сулило хорошие деньги и выход из кризиса. С большим скрипом и по сниженной цене лес наконец был продан, но принес ничтожные — в сравнении с ожиданием — деньги: всего неполных три тысячи рублей. При ее тратах этого не могло хватить и на год — приходилось зарабатывать пером и трибуной. Но заказов, как ни странно, становилось не больше, а меньше.

Ее книга по женскому вопросу, а потом и «Записки агитатора» вышли в Петербурге. Ее статьи на традиционные для Коллонтай темы (плюс новая, ставшая одной из самых любимых: причины проституции и борьба с ней) печатались и в русских, и в иностранных журналах. Она состояла в дружбе и переписке едва ли не со всеми лидерами европейского левого движения, а покоя и удовлетворения все-таки не было. Ей все еще казалось, что она не нашла себя, но больше всего тревожила неустроенность личной жизни.

«Если б ты знала, милая Зоюшка, — писала она Шадурской из Берлина, — как я люблю своего Маслика, но не могу идти на замужество, мысль о совместной жизни меня прямо пугает». А «Маслик» меж тем уже и не представлял жизни без нее, был готов на разрыв с семьей, на все муки, которые ему это сулило, только бы не потерять своей «Коллонтайки». Опять она оказалась в порочном кругу, из которого не было выхода, приемлемого для обоих.

Трудно сказать, была ли их связь действительно тайной для Павочки, но то, что она не была тайной для товарищей по общему «делу», сомнению не подлежит. Ленин Маслова не выносил — не только потому, что на Четвертом (стокгольмском) съезде партии (апрель — май 1906 года) тот представил альтернативную — антиленинскую — аграрную программу и снискал поддержку хоть и не большинства, но

весьма представительной части делегатов. Он видел в нем укор себе самому — подлинно научная обстоятельность, глубина, аргументированность его позиции выгодно отличалась от более броской (и тем самым более привлекательной), явно популистской и куда менее фундаментальной позиции Ленина. Для Маслова и для тех, кто был с ним, у Ленина всегда находились самые бранные и презрительные слова. Его влияния на других социал-демократов Ленин боялся, а попавших под влияние бичевал со всей необузданностью своего темперамента.

Коллонтай как раз отличалась тем, что находилась под влиянием Петеньки. Сначала в «женском» — житейском — смысле, а потом — автоматически — и в любом другом. Очень сильно влияли на нее Плеханов и Мартов — Плеханов особенно, с ним находилась она в переписке, бывала в гостях, восхищалась его интеллигентностью, уважительным отношением к себе. Без восторга восприняв происшедший в партии раскол, она еще в 1906 году примкнула к меньшевикам и при любом подходящем случае подчеркивала эту свою принадлежность.

Среди множества поездок по разным европейским странам, которые, как всегда, давали не только моральное удовлетворение, особенно важной оказалась поездка в Швейцарию. Почитать лекции по женскому вопросу ее пригласил Фриц Платтен, известный уже тогда швейцарский социал-демократ, склонявшийся скорее на сторону Ленина. Но тогда деление на ленинцев и «неленинцев» еще не приобрело столь драматического, столь антагонистического характера, как несколько лет спустя.

В Цюрихе, в «своей» гостинице, которая уже не раз давала ей приют, Александра почувствовала подозрительное недомогание, вынудившее ее даже отложить одну из намеченных лекций. Жившая в том же отеле совершенно незнакомая норвежская певица Эрика Ротхейм, к которой она сразу почувствовала расположение, вызвалась вполне доверительно повести ее к известному в городе гинекологу, чьими

услугами она пользовалась уже не однажды. Врач констатировал беременность. Аборт в Швейцарии был сопряжен со множеством формальностей и запретов, но рекомендация фрау Ротхейм была достаточной для того, чтобы врач отважился их нарушить.

Уже через несколько дней Александра была в полной форме и продолжила свое турне. В Монтре, где она после очередной лекции и выступления на митинге сделала короткую остановку для отдыха, ее ждал сюрприз: оторвавшись от дел, сюда приехали Танечка Щепкина-Куперник и ее муж адвокат Полюнов. Вечером в гостиничном ресторане закатали шикарный ужин — Александра надела все свои меха, бриллианты и жемчуга. Кельнер чуть не пролил суп, увидев неистовую революционерку, которая накануне на пролетарском собрании держала пламенную речь о несчастной судьбе обездоленных и о священных правах рабочих.

Из Швейцарии всей компанией отправились в Мюнхен — у Танечки было там дело, а у Александры вообще дела были везде. Вечером, естественно, пошли в ресторан. Ужин закатали на славу, но шампанского оказалось так много, что не допили больше полубутылки. Такого кельнер не видел ни разу — спросил оторопело:

— Господа, вы откуда?

— С островов Фиджи, — демонстрируя завидное знание географии, ответила Коллонтай.

В Берлине Коллонтай вступила в германскую социал-демократическую партию и в качестве ее представителя поехала в Копенгаген на Восьмой конгресс Второго Интернационала (1910 г.). Этому предшествовала — в том же Копенгагене — международная конференция социалистов, где Коллонтай была делегаткой работниц-текстильщиц Северного промышленного района Петербурга. Одновременное представительство двух стран не казалось тогда чем-то необычным, ведь пролетарии всех стран должны были когда-то соединиться, и в двойной роли, ко-

торую играла Александра Коллонтай, уже можно было увидеть зародыш будущего единства.

Здесь, в Копенгагене, как раз и было принято решение о ежегодном праздновании 8 марта Международного дня женщин. И здесь же, в Копенгагене, Коллонтай позволила себе краткое приключение, отвлекшись на несколько часов от общественных дел. В тот самый день, когда в программе значилось выступление Карла Либкнехта, он вместе с Шурочкой исчез в неизвестном направлении. Его искали повсюду — и не нашли, так ловко, используя все правила партийной конспирации, они укрылись.

Тем более пылкой была встреча с Петенькой в Берлине после долгой разлуки.

ЦЕПИ ЛЮБВИ

Охота к перемене мест неудержимо влекла ее снова в дорогу. Русские эмигранты-революционеры вообще никак не могли усидеть на одном месте. Неприкаянные и бездомные, они метались из страны в страну в поисках заработка и наиболее подходящих условий для жизни. Благо проблемы виз не существовало, и они свободно передвигались по Европе и по миру.

Александра повсюду чувствовала себя как дома. Это утверждение столь же точно, сколь и абсурдно хотя бы потому, что, уйдя от мужа, она потеряла старый, не обрета никакого нового. Своего дома у нее теперь не будет почти полвека. Никакого вообще, только временное пристанище. Оно-то и было иллюзией дома. И потому таковым сразу же становился любой уголок, где она — пусть только на несколько дней — бросала якорь. Домом была она сама, да еще крыша над головой, ложе и стол для работы. Все остальное называлось мещанским болотом, засасывающим в тину обывательщины и отвлекающим от революционной борьбы. Великолепное знание языков устраняло тот главный барьер, который многим ее соотечественникам мешал адап-

тироваться к новой среде, а обилие друзей и соратников едва ли не во всех европейских столицах устраняло главную беду любого эмигранта — одиночество и тоску.

На этот раз Александру позвала в дорогу отнюдь не только потребность в непрерывном движении. Связь с Масловым — по меркам, к которым она привыкла, — сильно затянулась, он стал ей надоедать рутинностью отношений, изо дня в день похожих друг на друга, лишенных какой-либо новизны. Унижала необходимость прятаться от посторонних глаз, превращавшая искреннюю и пылкую — как всегда, как всегда! — любовь в тривиальный адюльтер, который был для нее синонимом пошлой буржуазной морали. Но еще страшнее были усилия Петеньки избавиться от этой осточертевшей конспиративности столь же ненавистным, столь же тривиальным путем: уходом от Павочки и превращением Александры Коллонтай в *madame Masloff*...

Зажить «как все — нормальной семьей»? Умный вроде бы человек, а не понимал, что эти-то узы она как раз и ненавидела, бежала от них сломя голову, и мало что могло ее повергнуть в такое отчаяние, как мысль о том, что она станет верной женой, хозяйкой респектабельного дома. Все то, что в глазах любого «нормального» мужчины должно быть вожаденной мечтой любой «нормальной» женщины, для нее, напротив, казалось величайшим несчастьем.

Она множество раз говорила с ним об этом, но, видимо, как всякий «нормальный» мужчина, он воспринимал ее страстные монологи всего лишь в теоретическом плане, никак не сопрягая с близкой, напрямую касающейся его реальностью. Александре в конце концов надоело убеждать своего наивного Петеньку в том, что ей самой казалось элементарным. Она просто перестала с ним говорить на болезненную тему, и он опять это воспринял по-своему, как «нормальный» мужчина: значит, сумел повлиять, значит, еще немного — и все образуется. Но ничего не образовалось и образоваться не могло.

Уезжая в Болонью, Александра знала, что в Берлин уже не вернется. Разве что проездом. Но все же, не раскрывая своих замыслов, не могла отказать себе в удовольствии его подразнить. Предложила составить компанию, чтобы не разлучаться. Знала, что это невозможно, что никуда от жены он не уйдет, да и не хотела вовсе, чтобы он уходил, но подразнить, поставить в смешное и неловкое положение, выслушав заодно клятвы в любви и верности, — это доставляло ей несказанное удовольствие. Остаться без Павочки, без угла и опоры, на птичьих правах, превратиться всего-навсего в спутника знаменитой Коллонтай, кочевать вместе с ней по Европе в качестве ее «чемодана без ручки» — нет, это не входило в его планы. Экономические статьи Петра Маслова публиковались в лучших заграничных журналах. Он был признанным теоретиком российской социал-демократии. Зачастили приглашения на чтение лекций по аграрному вопросу из разных европейских городов, возвышая его в собственных глазах. У каждого была своя жизнь — ни быть в подчинении у Петеньки, ни самой проявлять власть над ним ей ничуть не хотелось.

Партийную школу в Болонье создали большевики, объединившиеся вокруг газеты «Вперед» и занимавшие более радикальные позиции, чем Ленин. Более радикальные и в то же время более схоластические. Требуя отозвать рабочих депутатов из Государственной думы, прекратить всякое участие в легальных организациях, сосредоточить усилия только на нелегальной работе в строго законспирированной партии, они вместе с тем в плане теоретическом стремились к созданию новой «революционной религии», что дало повод Ленину назвать их «богостроителями». Это слияние различных и не очень стыкующихся друг с другом течений отражало метания российской социал-демократии, находившейся, по сути, в самом начале своего существования и еще не оформившейся в нечто цельное и единое. Фанатичная ленинская непримиримость мешала лю-

бому единению и не допускала никакого инакомыслия. Создатели «болонской школы», созданной на базе «каприйской», были куда более толерантны, они не только допускали, но стремились к широте и разнообразию мнений, резонно полагая, что именно в споре добывается истина. Поэтому меньшевичка Коллонтай была столь же желанным лектором этой школы, что и большевики (оппоненты Ленина, но все же большевики!) Богданов, Луначарский или Алексинский.

Здесь тоже, увы, не обошлось без интриг. «Быть активным, действующим социал-демократом, оставаясь при этом женщиной, очень трудная, иногда даже мучительная задача», — отмечала она для себя. В Болонье ее почему-то остро невзлюбила жена Богданова. Приревновала без всякой причины. «Она не женщина, — коротко объяснила Коллонтай драму этой семьи в своем дневнике. — Несчастье: она оперирована. Но при чем здесь я? При чем сам Богданов? Как он меня боялся!..» Настроение было испорчено, все пребывание в любимой Италии превратилось в пытку, и ей не раз пришлось пожалеть, что Петеньки нет рядом: его присутствие сняло бы эту несуществующую, но вдруг свалившуюся на нее проблему. Эту — да! Но зато породило бы другие: поистине все время она находилась в заколдованном кругу...

И однако же, взяла себя в руки, испорченное настроение никак не отразилось ни на содержании лекций, ни на их форме. Лекции по финляндскому вопросу, о земельной реформе, о роли крестьянства в неизбежно предстоящей революции, жаркие дебаты с молодыми социал-демократами о будущем России имели такой успех, что Эмиль Вандервельде и Камиль Гюисманс сразу же пригласили Коллонтай совершить лекционное турне по Бельгии. Приглашение было, как никогда, кстати. По крайней мере, на несколько месяцев снималась денежная проблема, и в то же время разлука с Петенькой, которая ей представлялась необходимой, получала вполне есте-

ственное обоснование: ни рвать с ним, ни ссориться она не собиралась, а выдумывать мнимую причину разлуки претило ее достоинству.

Отдохнув от берлинского повседневно, встряхнувшись, развеявшись, она вдруг снова ощутила тоску по общению с ним. С ним?.. Александра мучительно задавала себе этот вопрос, не находя ответа. Именно с ним? Или просто с мужчиной, не устало напоминающей ей о преданности и восхищении? Она сама еще не могла разобраться в своих чувствах и — главное — в своих желаниях. Его письма сулили надежду на новый взлет уже увядавшей, уже чрезмерно затянувшейся любви. Но никто другой на горизонте пока не маячил, а жить без любви, без этого постоянного допинга, возвращавшего ей энергию и работоспособность, она попросту не могла.

Она никогда не держалась за принятые решения, легко меняя их под влиянием внезапно нахлынувших чувств. Предполагала из Брюсселя сразу же уехать в Париж и там поселиться, но тоска по Петеньке вернула ее обратно в Берлин. Всего на один день! Этого дня было достаточно, чтобы она снова ощутила угрозу оказаться в плену филистерского «семейного» гнездышка, а уже испытанное чувство свободы властно подавляло проснувшуюся было тягу к привычным Петенькиным ласкам.

Опять нашелся благопристойный спасительный повод расстаться без разрыва: в Хемнице начиналась организованная социал-демократами «Красная неделя», и, ясное дело, без такого страстного агитатора, как Коллонтай, обойтись никак не могли. Клара Цеткин лично просила Александру принять участие в митингах и собраниях. Могла ли Коллонтай отказать своей любимой подруге? Прямо из Хемница она отправилась в Париж — личный багаж всегда был при ней, известное латинское изречение «*Omnia mea mecum porto*»¹ вряд ли к кому относилось столь буквально, как к ней.

¹ «Все свое ношу с собой».

С Парижем у русских всегда ассоциировался блистательный Запад. Теперь он стал еще и центром русской революционной эмиграции. Странное дело, именно Ленин, и только он, умел создавать вокруг себя незримое магнитное поле, властно притягивая и своих сторонников, и своих непримиримых оппонентов. Все противники русского царизма, полагавшие необходимым не реформировать самодержавие, а свергать его, независимо от конечной цели, независимо от методов, с помощью которых эта цель, по их мнению, могла быть достигнута, тянулись туда, где был Ленин, чтобы с упоением слушать его речи и получать ценные указания или, напротив, вступать с ним в жестокие споры, лишённые малейшего пиетета и священного почитания. Главное — быть рядом...

Уже по одному лишь количеству секретных русских агентов, наводнивших Париж, можно было определить, что главные силы русской эмиграции выбрали берега Сены, привлеченные красотой великого города, его вольным духом, его терпимостью к инакомыслию и чужой речи. Русские жили замкнуто, общались преимущественно друг с другом и озабочены были только своими делами — так, словно и не покидали Россию, а парижский силуэт служил для них не более чем условным фоном, на котором разворачивалось никакого отношения к этому фону не имевшее сценическое действие.

Коллонтай предусмотрительно заказала комнату в Пасси, в скромном семейном отеле, который, строго говоря, и отелем-то не назывался, афишируя себя как «семейный дом». Им часто пользовались не слишком богатые, но все же имеющие деньги русские эмигранты. Это был пансион «Босежур» на улице Ранелаг, номер 99. Дом этот сохранился по сей день — под тем же номером. Теперь там трехзвездный отель, сохранивший прежнее имя. И крохотная мансардная комната номер 605 со скошенным потолком сохранилась тоже. Тот же вид из окна на типично парижские крыши — все то, что

каждый день видела Коллонтай. Скрипучая витая лестница, которая, быть может, еще помнит ее шаги...

Русских, которых напрасно во всем мире считают готовыми к любым холодам, привлекало в этом доме бесперебойно работавшее центральное отопление. Промозглые и ветреные парижские зимы Шурочка переносила гораздо труднее, чем финские морозы. Возвращаться с улицы в нетопленую квартиру всегда было для нее величайшей мукой. Если и жить в Париже, полагала она, то не на скамейке же в Люксембургском саду, как запальчиво утверждали готовые к любым невздам молодые романтики, а в тепле и комфорте.

Было тепло, и комфорт был тоже. Очень скромный комфорт, но на больший она и не претендовала. Крохотная комнатка на шестом этаже «семейного дома» служила ей кабинетом. Она почти никуда не выходила, часами просиживая над рукописью новой книги «По рабочей Европе» — это были ее впечатления от поездок, от встреч с разными рабочими и профсоюзными лидерами, с виднейшими представителями европейской социал-демократии, которых — едва ли не всех! — она знала лично и дружбой с которыми гордилась. Жан Жорес и Жюль Гед, Эмиль Вандервельде, Виктор Адлер, Отто Бауэр, Камиль Гюисманс, Карл Каутский, Роза Люксембург, Клара Цеткин — это были ее друзья, ее единомышленники, иногда оппоненты, иногда идейные противники, но всегда желанные собеседники. Теперь их мысли, их идеи она пыталась перенести на бумагу, рассказать о том, как бурлит «рабочая Европа», готовая свергнуть ненавистную буржуазию и установить в своих странах — нет, во всем мире, в едином социалистическом мире! — царство свободы и справедливости.

Письмо, отправленное Маслову в Берлин — на почту, до востребования — и сообщавшее о том, что она решила поселиться в Париже, должно было больно задеть его, возмутить, заставить взорваться.

Их отношения не давали никакого повода к такому внезапному бегству. Более четверти века спустя в своем дневнике Коллонтай вспоминала: «В первый раз за годы близости с П. П. я забываю о нем и в душе не хочу его приезда в Париж. Его приезд значит, что он меня запрет в дешевом отельчике, с окнами во двор, что я не смею днем выйти, чтобы партийные товарищи меня случайно не встретили и не донесли бы Павочке. <...> Все это было столько раз — я не хочу «плена любви». Я жадно глотаю свою свободу и одиночество без мук. <...> Я начинаю «освобождаться» от П. П.».

Не тут-то было!.. Только-только она сообщила ему свой новый адрес, как пришла телеграмма: «Выезжаем в Париж». Выезжаем! Стало быть, с Павочкой. Стало быть, не к ней, а — ЗА НЕЙ. Вдогонку. Насовсем. Или, по крайней мере, на тот срок, на который она остается в Париже. Как же он решился на это? Как объяснил своей Павочке внезапность такого решения? Ведь в их узком эмигрантском кругу весть о переселении Коллонтай распространилась немедленно. Конечно, дошла и до Павочки. В ее адски ревнивое сердце подозрения не могли не закрасться. А Петенька, так получается, их презрел. Это был его подвиг. Подвиг любви...

Острое чувство недовольства написанным Коллонтай испытывала всегда — после каждой книги, после каждой статьи. Но такого недовольства, как в этот раз, ей испытать еще не доводилось. Переписав трижды всю книгу от начала до конца, она принялась за ее четвертый вариант. На это уходили все дни. Горничная приносила утром кофе с круассаном и еду на весь день, чтобы у мадам не было нужды покидать рабочее место: свежую клубнику и плавленые сырки. Еду на ужин приносил сам Петенька: хлеб, масло, сыр и все ту же клубнику, — она где-то прочитала, что клубника сохраняет эластичность кожи и хороший цвет лица. Вместе с чаем все это и составляло их обычный ужин, но Петеньку дома

ждал еще один, куда более разнообразный и плотный.

В десять часов вечера ему полагалось вернуться к семейному очагу: ни одна лекция, ни один семинар не кончались позже девяти, ни одна библиотека не работала позже чем до половины десятого, и ни одна не находилась от Монпарнаса, где он поселился, дальше чем в полчаса пути. Павочка с величайшим подозрением относилась даже к пятиминутному опозданию мужа, который все время работал дома, а тут вдруг зачастил в библиотеки, оставаясь там от темна до темна. Теперь только суббота и воскресенье безраздельно принадлежали Павлине. В другие дни и ночи, изнемогая от лекций и непосильной работы в библиотеках, он оставался к ней полностью равнодушен.

Боязнь Петеньки пробудить у законной супруги новые подозрения и тем самым подвергнуть угрозе семейное счастье сначала Александру забавляла, потом начала раздражать. Она уже привыкла было в Берлине к его двойной жизни, к тому, как он панически следит за движением часовой стрелки. Здесь, в Париже, этот страх начал казаться ей постыдным, решительно не укладывающимся в ее представления о любви, об отношениях между свободным мужчиной и свободной женщиной. Притом свободным в ее представлении обязан быть всякий, кто любит, независимо от того, какие обязанности навязала ему омерзительная и фарисейская буржуазная мораль. Конечно, Петенька, как и всякий человек, имел право жить по правилам, которые он для себя считал необходимыми, но при чем здесь она? Каким образом она, Александра Коллонтай, могла этим правилам подчиняться?!

Однако обойтись без вечерних чаепитий с Петенькой Масловым в комнатке на шестом этаже «семейного дома» она все еще не могла. Ужин быстро переходил в любимые ею споры, отвлекавшие от всяких побочных мыслей. Спорили о падении земельной ренты, о законе народонаселения, о демо-

графии, тесно увязанной с социальным неравенством и классовой борьбой. Сходились в главном: для большевиков демократия не больше чем лозунг, полемическое средство привлечь на свою сторону массы и на их плечах добраться до власти, тогда как для меньшевиков демократия не средство, а цель: без свободы, обеспеченной каждому, их политическая борьба теряет всякий смысл.

— Ты заметила, — горячился он, — что Ленин одержим только одной идеей — раскалываться, разъединяться. А Плеханов зовет к единению. Раскольники всегда думают только о себе — в истории нет ни одного примера, чтобы было иначе. Конечно, свой фанатизм и свое честолюбие они камуфлируют заботами об общем благе. Камуфлируют!.. Но общим благом там и не пахнет. Для Ленина это только фраза, не больше. Но разве может победить демократия, если все ее истинные сторонники не объединятся? Я не верю в то, что твой Владимир Ильич истинный демократ. — Взмахом руки он отверг ее протестующий взгляд. — Твой, твой, не спорь! Он вас всех восхищает. Не пойму только — чем...

Увлекаясь, Петенька становился прекрасным: он так досконально знал то, о чем говорил, так интересно рассуждал, так страстно защищал свои позиции, что она гнала все посторонние мысли, любуясь им и не скрывая своего восхищения. Но вот он, оборвав себя на полуслове и торопливо взглянув на часы, произносил «пора», и с высот науки она низвергалась на грешную землю, видя перед собой не блестящего ученого в уже не юных годах, не одного из признанных теоретиков российской социал-демократии, а безвольного мальчишку под каблуком капризной жены.

Нет, «пора» еще не означало расставания, он еще вовсе не собирался покинуть свою Шурочку, он «всего лишь» притягивал ее к себе, и она сама ждала с нетерпением этой минуты, но деловитое «пора» тут же гасило всякий порыв. То, что было

для нее величайшим проявлением гармонии и свободы, превращалось в какое-то деловое мероприятие, которое приносило, конечно, разрядку, но тяготило душевно. И однако, любовь и покорность — она их неизменно читала в его глазах — примиряли ее с уколами, которые он ей наносил, а странные для уже сорокачетырехлетнего мужа и возлюбленного робость, неумелость, беспомощность, с которыми он противостоял ее наступательной страсти, пробуждали в ней едва ли не материнские чувства, и они еще более обостряли эту самую страсть, придавая их связи налет сладкой греховности.

В тот год парижская весна пришла рано, через открытое окно доносился пьянящий запах белых акаций, а горничная каждое утро приносила вместе с завтраком пушистые гроздья этих цветов, чтобы мадам не расставалась с любимым запахом ни днем ни ночью. С тех пор всегда, до конца своих дней, она при слове «Париж» вспоминала охапки белых акаций и их аромат, опровергая ходячее заблуждение, будто запахи вообще не оставляют в памяти никакого следа. Закончив книгу и отослав рукопись немецкому издателю, она принялась хлопотать за издание книги Петеньки про земельную ренту в том же издательском доме. Маслов был старше, у него уже было громкое научное имя, но в деловых вопросах, как и в любви, он все еще оставался застенчивым, робким и неумелым, нуждаясь в поддержке. Другую женщину это, может быть, и оттолкнуло бы. Александре, наоборот, ее роль покровительницы, роль поводыря, который ведет за руку слепого, всегда была по душе и привязывала еще крепче к объекту забот.

Но неукротимая потребность в бурной деятельности звала к новым деяниям. Слух о ее приезде разнесся не только по русскому Парижу. Французские социалисты пригласили Александру стать активным сотрудником партии — блестящий французский язык и принадлежность к всемирному братству революционеров, вообще не признающих гра-

ниц, да еще при бурном ее темпераменте, да еще при ее популярности, делали Коллонтай желанным для французских товарищей пропагандистом социалистических идей. Ее меньшевизм был для французов не минусом, а плюсом, она гораздо легче находила с ними общий язык, чем Ленин и его группа.

Но не только идей ждали от нее французские социалисты — еще и действий. Когда началась стачка домохозяек, протестовавших против дороговизны, Коллонтай оказалась не наблюдателем — организатором и трибуном. Ее нескончаемые митинговые речи возбуждали бастующих парижанок ничуть не менее, чем в недавнем прошлом бастовавших жительниц Петербурга. И жителей тоже. «Я участвую с увлечением в стачке <...> — писала она впоследствии в своих неизданных мемуарах. — Я на митингах, на собраниях, нас хватает французская полиция <...>. Выпускает, и я снова на трибуне. Я горю с ними за общее дело».

Самое важное — и самое точное! — в этом пассаже: «Я участвую С УВЛЕЧЕНИЕМ... Я ГОРЮ...» Не холодный расчет политика, но бурная страсть участника БОРЬБЫ, притом непременно ОБЩЕЙ, движет неистовой эмигранткой, определяя жизнь и наполняя ее богатством сильных переживаний. Эти чувства настолько мощны, что никакой логике не подвержены, а все разумные соображения призваны лишь объяснить правильность выбора жизненного пути и каждого своего поступка.

Дома французских друзей оказались более гостеприимными, чем дома русских эмигрантов. Может быть, потому, что ее инстинктивно влекло подальше от сплетен, пересудов и интриг, от неискренности, от фальши. Дело, которому она посвятила себя, непременно требовало вращения именно в этой среде, все ее существо, напротив, отталкивало от этой среды, тянулось совсем к иным отношениям и иным интересам. Хотелось сочетать одно и другое, но желания разбивались о жестокую реальность. Легче всего было в скромном, но уютном домике в Дра-

вей, где по-прежнему жили Поль и Лаура Лафарги. Никак не менее десяти лет их связь поддерживалась перепиской — Александра писала им из Швейцарии, Англии, Дании, Германии, и они тоже охотно отвечали ей. Теперь представилась счастливая возможность снова общаться лично. Прижимаясь щекой к щеке Лауры, пожимая руку Поля, она почти физически ощущала прикосновение к идолу: витавший в доме дух Карла Маркса, казалось, одобрял выбранный ею жизненный путь и благословлял на новые свершения. Но, к ее огорчению, и Поль, и Лаура избегали каких-либо прямых, конкретных советов, как и вошедшего в ее обиход и обиход ее товарищей словечка «борьба», и вообще были настроены довольно миролюбиво, отнюдь не разделяя ее пламенной революционной страсти. Они предпочитали потчевать гостью домашними пирогами, кофе со сливками, вареньем из фруктов, собранных в их саду, невольно перенося Александру из атмосферы мятежного «дома Карла Маркса» в совсем безмятежную родительскую Куузу, где прошли так не ценимые ею, но такие счастливые детство и юность.

Если в доме Лафаргов она всегда была желанной и званой, то Ульяновы-Ленины, похоже, никак не стремились к общению с нею. Во всяком случае, ей ни разу так и не удалось переступить порога их скромной квартирки на улице Мари-Роз. К домашним встречам Ленин вообще, как известно, был не очень-то расположен, близких друзей не имел, да и не близких тоже, но эмиграция, и это не новость, обычно сближает, ломая привычки и делая людей одного круга более коммуникабельными. Все это к Ленину не относилось. Как никто другой, он умело и жестко селекционировал своих визитеров. Меньшевизм Коллонтай, сколь бы почтительно она ни относилась лично к Владимиру Ильичу, никак не располагал ни к встречам, ни к сближению. Любой монархист был ему куда милее, чем меньшевик, с любым врагом он мог сговориться скорее, чем с союзником. Враг все равно оставался врагом, союз-

ник, с которым ведешь диалог, а не низвергаешь его, не топчешь, не истребляешь, как паразита, глядишь, еще окажется правым и сам низвергнет тебя с пьедестала...

Истреблять Коллонтай Ленин вовсе не собирався, пронизательно чувствуя, что очень скоро она пойдет за ним, влекомая общностью характеров и темпераментов, но держал ее на расстоянии, чтобы знала свое место. Впрочем, очень возможно, что отнюдь не только политическими причинами определялась эта сдержанность, если не холодность, большевистского вождя и что отнюдь не сам Ленин был в данном случае хозяином положения. Надежда Крупская, вопреки установившимся впоследствии стереотипам, весьма ревностно относилась к женскому окружению Владимира Ильича. Быть может, это произошло после того, как до нее дошли слухи о не Бог весть каких романтических увлечениях молодого супруга в сибирской ссылке, где он не прочь был поволочиться за розовощеками — кровь с молоком, — крепко сбитыми аборигенками, а те, явно не признавая в нем будущего вождя, предпочитали ему куда более ловких и хватких деревенских парней.

Ленин и Крупская жадно, но тщетно хотели иметь детей, и, возможно, эта неудача, точная причина которой никому не известна, в еще большей мере обостряла настороженное отношение Крупской к женскому окружению ее мужа. Притом, и это весьма существенно, Крупская и Коллонтай принадлежали к диаметрально противоположным типам женщин. Скучная, вялая, бесформенная, изуродованная тяжелой базедовой болезнью, плохо вяжущая слова, совершенно бесполоя Крупская и блистающая красотой, женственностью, обаянием, светская и обольстительная, энергичная и неукротимая, притягивающая к себе, как магнит, всех, кто имел счастье (или несчастье?) близко соприкоснуться с ней в работе или в быту, несравненная, божественная Коллонтай — что могло быть общего у этих жен-

щин, как могли они сочетаться, пусть даже временно совмещаться в одном житейском интерьере?

Есть все основания полагать, что Ленин не любил домашних общений не только по этой причине. Его жилище на улице Мари-Роз совсем напрасно названо скромной квартиркой. Сам он хорошо понимал, что это не так. В письме к сестре в Россию он честно писал, что живет в «шикарном и дорогом» апартаменте: «У нас 4 просторных комнаты плюс кухня плюс много чуланов, отопление, газ и т. д.». И район превосходный, возле парка Монсури, где Ленин любил гулять, набираясь сил и любуюсь гармонией природы и цивилизации. Не какой-нибудь там рабочий пригород, где вынуждены были снимать уголок русские эмигранты!..

Его парттоварищи не знали и знать не могли происхождение денег, обеспечивавших нигде и практически никогда не работавшему вождю пролетариев вполне буржуазную жизнь. Одни только банковские проценты от денег за проданное имение (83,5 десятины земли и прочая недвижимость) обеспечивали вполне сносную жизнь не только чете Ульяновых, но и двум нигде не работавшим сестрам Владимира Ильича и тоже, естественно, неработавшему его брату. Приватными же деньгами, шедшими к нему бурным потоком из партийной кассы, от таких дарителей, как Максим Горький, как «социальный парадокс» Савва Морозов, Ленин вообще ни с кем не делился. Афишировать, даже в ограниченных пределах, свою безбедную жизнь он избегал, но многие товарищи-партийцы объясняли его отчужденность отнюдь не этими, вполне расчетливыми, соображениями, а свойствами характера и полным подчинением личной жизни общественным интересам.

Впрочем, не для всех были закрыты двери квартиры на улице Мари-Роз. О том, что, по крайней мере, для одной женщины сделано исключение, знала вся русская колония в Париже. Тем паче что эта женщина «совсем случайно» снимала квартиру в соседнем доме: Ленины в доме номер 4, она в доме

номер 2. Имя ее Александре было знакомо, саму ее она еще не видела никогда.

Инесса Арманд была дочерью англичанина, известного в то время оперного певца Теодора Стефана и его подруги, француженки Натали Вильд. Она родилась в Париже, на улице Шапель, и волею обстоятельств поселилась в России, где приютившая ее тетка преподавала французский язык. Старший сын семьи миллионеров Армандов — обрусевших французов, принявших православие, — где тетка была на положении домашней учительницы, стал ее мужем. Уже будучи матерью четырех детей, Инесса родила пятого от младшего брата своего мужа и ушла к нему, скрепив этот союз, как писали впоследствии ее биографы, «узами гражданского брака». Брошенный муж не только не отверг неверную жену, не только не проклял ее борьбу против тех устоев, которые обеспечили богатство и процветание его родителям и ему самому, но щедро помогал этой семье, в том числе и тогда, когда Инесса за свою революционную деятельность была сослана «на край света» — в Архангельскую губернию, на берег Ледовитого океана. Когда она бежала из ссылки, он помог ей скрываться в Москве и он же нелегально переправил ее за границу. Здесь, в Швейцарии, она похоронила внезапно умершего от скоротечной чахотки отца своего младшего сына, но с Лениным познакомиться не успела — уехала в Брюссель, чтобы стать студенткой университета. Не каждый отважился бы на это, имея на попечении пятерых детей и вступив в тридцать шестой год жизни. Встреча с Лениным состоялась уже в Париже, куда Инесса переехала осенью 1910 года и сразу же окунулась в политическую жизнь эмиграции.

С Инессой Александру связывали не только темперамент и некоторая общность личной судьбы. Их обеих интересовали проблемы семьи и брака, свободы любви, освобождения ее от пут буржуазной морали. Так что эти женщины, казалось, были обречены на сотрудничество и дружбу. Но с дружбой,

увы, ничего не получилось, хотя личное знакомство сулило — и принесло, — по крайней мере, добрые отношения.

Состоялось оно под Парижем, в городке Лонжюмо, где Ленин открыл летнюю партийную школу. Опыт Капри и Болоньи подсказал ему, что надо готовить молодые кадры, воспитывая их в своем, ленинском духе. Денег было достаточно, желающих проехаться в Париж и поучиться у Ленина тоже в России хватало. Тем более что препятствий для этого не было никаких: те, кому попыталась бы помешать полиция, без всяких хлопот могли переправиться нелегально через чисто символические пограничные посты. Рабочих (по происхождению), пожелавших стать «кадровыми партийцами», отбирали верные Ленину люди в разных городах империи. Школа в Лонжюмо стала первой кузницей аппаратчиков — прообразом будущих партийных учебных заведений, готовивших «номенклатуру».

Выступая на Первомайском митинге (он состоялся 12 мая 1911 года, за строгим соблюдением дат тогда не очень следили), Ленин пригласил Александру участвовать в открытии школы. Как и его оппоненты, он на этот раз решил не замыкаться в узко-сектантском кругу, допустив в число слушателей и меньшевиков. Слушателей, но только не преподавателей! Влиять на умы им позволено не было. А присутствовать и внимать речам преподавателей-большевиков — сколько угодно... Сами Ульяновы на все лето вообще переселялись в Лонжюмо, сохранив за собой, естественно, и парижскую квартиру. Полезное совмещалось с приятным: загородный воздух и прогулки по окрестностям должны были благотворно подействовать на быстро устававшего и подверженного нервным стрессам Владимира Ильича.

Тринадцать слушателей-партийцев и пять вольнослушателей из Петербурга, Москвы, Баку, Тифлиса и других городов почтительно слушали вступительную речь легендарного Ильича. Среди них были будущий сталинский нарком Серго Орджоникидзе,

один из будущих бакинских комиссаров Яков Зевин и несколько других товарищей, так или иначе оставивших свои имена в истории большевизма.

Вместе с ними упоенно внимала картавой речи помолодевшего от внутреннего подъема «ректора» красивая на любой вкус женщина, поражавшая редким сочетанием одухотворенности, нежности и силы воли. Ревнивый и остро наблюдательный глаз Коллонтай сразу выделил в привалившей на открытие русско-французской толпе это тонкое, овальное, несколько странное своей асимметричностью лицо, волнистые волосы, умный лоб, изящно изогнутые брови, чувственный рот, порывистость и нервность, которые не могло скрыть чрезмерно подчеркнутое спокойствие. Но еще ревнивее ловила Коллонтай те красноречиво пылкие взгляды, которыми обменивались Инесса и Ленин. Сидевшая рядом Крупская не очень искусно делала вид, будто ничего не замечает.

Крупская их и познакомила. «Товарищ Инесса», — представила почти официально. «Партийка, — добавила многозначительно. — Большевичка... С четвертого года». И — еще многозначительней, с особым упором: «Друг нашей семьи. Вы тоже подружитесь. Я знаю...»

Дружба, конечно, исключалась изначально. Хотя бы уже потому, что двум медведям всегда тесно в одной берлоге. Двум медведицам — особенно. Хотели они того или нет, но им неизбежно приходилось бороться за место первой леди русской социал-демократии. Тем более — в эмиграции. Тем более — в одном и том же Париже. К тому же обе они, из-за схожести личной судьбы, были озабочены одной и той же моральной проблемой, возведенной в ранг высокой теории: что положено пролетарке — семейный хомут или крылья вольной любви? Их концепции неизбежно сходились, но автор у концепции мог быть только один. За это право приходилось бороться, создавая видимость взаимной симпатии, если не дружбы.

Была и еще причина, которая обрекала их на не-

видимое миру, но хорошо осознаваемое ими самими соперничество. Место Арманд при Ленине уже явно обозначилось. Даже на что-либо отдаленно похожее Коллонтай рассчитывать не могла. И наверное, не хотела. Вряд ли в ней говорила чисто женская ревность. Ленин ни с какой стороны не был мужчиной ее мечты. Даже в воображении она ни на миг не представляла себя его подругой. У него начисто отсутствовало то, что составляло для нее мужскую красоту и привлекательность. Но незримо исходивший от него магнетизм властно заявлял о себе. Ее влекло к нему, и она сама себе толком не могла объяснить почему. Оттого и близость к этому странному, ни на кого не похожему человеку, столь недоступному и непроницаемому, столь чуждому всего земного, — близость к нему соперницы, этой матери пятерых детей, на глазах у всех поразившей сердце несгибаемого большевика, мучила и угнетала ее. Никакой логикой, никакими доводами здравого смысла объяснить это было невозможно. И все равно брало за живое...

Это чувство, не имеющее точного наименования, стало еще острее после того, как Ленин объявил о составе преподавателей партийной школы. Кроме него, Николай Семашко, Давид Рязанов, Анатолий Луначарский получили право читать лекции и вести семинары. Французскому социалисту Шарлю Рапорту предстояло рассказывать слушателям о социалистическом движении в своей стране. Для Коллонтай места в этом списке так и не нашлось. Зато Инессе Арманд достались лекции о бельгийском социализме (как будто Коллонтай разбиралась в этом хуже Инессы. Лучше, гораздо лучше!) и еще семинары по политической экономии, закрепляющие у слушателей материал ленинских лекций. Это была, в сущности, роль его ассистентки, его правой руки!..

Только Шарль Рапорт заметил (или почувствовал?) ее обиду. Прогуливаясь с ней после обеда по тенистым аллеям парка, он дал понять Александре, что новость, открытая ею сегодня, давно не новость

для наблюдательных парижан: «Вы еще никогда не бывали в кафе на авеню д'Орлеан? — Название кафе Шарль забыл, но дал точные его координаты. — То самое, где Ленин, Зиновьев, Арманд и вся их компания пропивали недавно выход какого-то нового сочинения товарища Ильича. Ах, вас не удостоили приглашением... Ничего, забегайте туда почаще, — поддразнивал Шарль, — и вам не раз представится случай встретиться с этой парочкой. Вы увидите, как Старик (Ленин уже тогда получил это прозвище, хотя ему только что пошел сорок второй год) пронзает нашу очаровательную француженку своими маленькими монгольскими глазками». Ей очень хотелось спросить, тайно ли уединяется эта «парочка» в кафе близ семейного дома или неизменная Крупская бдительно их охраняет, любуясь, как влюбленные голубки пронзают друг друга страстными взглядами. Но Шарль был не склонен к подробностям, и она тоже не рискнула продолжить щекотливую тему.

Не получив места в профессорском корпусе партийной школы, Александра лишилась и тех немалых денег, которые платили удостоившимся этой чести. Гонорар за лекции и статьи был главным, если не единственным, источником существования для большинства из тех, кого впоследствии стали называть профессиональными революционерами. Отнюдь не нуждавшийся в деньгах Ленин сам охотно пополнял свой личный бюджет такими гонорарами, сколь бы малы они ни были, не гнушаясь услугами ненавистных ему меньшевиков.

Меньшевик Георгий Чичерин, сын российского дипломата, ушедший из родительского дома, чтобы посвятить себя борьбе за социальную справедливость, уже семь лет пребывал на положении эмигранта, возглавляя созданное им парижское бюро помощи политическим беженцам, принадлежавшим к различным течениям социал-демократии. Для него не существовало непроходимой стены между враждующими лагерями — нуждающиеся большевики

получали такую же помощь, как и меньшевики. Организация платных лекций в различных странах мира представляла собой один из основных видов реальной помощи, сочетавшей пропагандистский эффект с материальной поддержкой. Ленин черпал время от времени и из этого колодца, другие большевики черпали гораздо больше. Но для этого, разумеется, одной нужды было мало, требовались еще знания, эрудиция, особый лекторский дар.

У Коллонтай всего этого было в избытке. С Чичериным ее связывали интеллигентность, культура, европейский лоск и общность взглядов. Они легко находили друг с другом общий язык, что не мешало Чичерину относиться к ней с известной долей иронии, которую он до поры до времени умело скрывал. Впрочем, и к Ленину он относился более чем сдержанно, чураясь его крайностей и очевидной тяги к вождизму, но признавая его интеллектуальное влияние на русскую социал-демократию. Коллонтай чтила Ленина гораздо больше, очарованная яркостью личности, силой ума. Талант не был для нее бестелесной абстракцией: истинное увлечение человеком очень часто переходило в увлечение мужчиной. Ленин оказался редким исключением из этого правила.

Петеньки не было в Лонжюмо на открытии партийной школы. Ленин терпеть не мог Маслова, и вполне возможно, что его отношение к этому «либеральствующему профессору, мнящему себя другом рабочих» невольно переносилось и на Коллонтай. Их связь сколько угодно можно было прятать от Павочки, но для крохотного мирка эмигрантов-революционеров никаких секретов не существовало. Александра сама была против подобных секретов, но и никогда не распахивала двери в свою личную жизнь. Коллонтай существует сама по себе, а не в сочетании с кем бы то ни было! Всегда и везде! Кто бы ни был на этот раз рядом... И однако же, получалось так, что здесь, в Париже, не только Петенька укрывал ее от чрезмерно любопытных глаз, но и она

его, чтобы вездесущие доброхоты не донесли Ильичу о ненавистном ему «меньшевистском дуэте».

Тем же вечером, вернувшись из Лонжюмо и сидя за ужином с Петенькой в своей гостинице, Александра тщетно боролась с охватившим ее раздражением, причину которого Петенька, естественно, не понимал, а она, напротив, хорошо понимала и оттого злилась еще больше. На себя, но получалось, что — на него. Он по-своему истолковал ее раздражительность — примитивно и плоско, привлек к себе, сжал в объятиях, и впервые за все время их любви эти объятия не только не возбудили ее, но оттолкнули, заставили съежиться. Она почувствовала неодолимое желание остаться одной. Высвободившись резким движением и поднявшись, она чужим, ничуть ей не свойственным голосом попросила Петю уйти. И тут же ей стало жаль его, растерянного, беспомощного, полуодетого, она взяла себя в руки, смягчилась, сказала только:

— Сделаем перерыв. Нет, нет, — испуганно отшатнулась, увидев, что он хочет подойти к ней, — только не сейчас, не сегодня. И не завтра. Поверь, так будет лучше. Нам надо отдохнуть друг от друга. Совсем немного...

И сама почувствовала фальшь в своих словах. Потому что так с ней уже случалось. Начиналась лебединая песня их любви. Начиналась? Или была уже спета, и они оба не заметили даже, как и когда это произошло?

Лето прошло тоскливо и нудно. Париж опустел. Павочка увезла своего Петю на воды. Коллонтай почти не выходила из дома, вдыхая через распахнутое окно любимый запах акаций и работая над очередными статьями. Заказов было множество — только успевай писать! Для «Новой жизни» она писала о половой морали в условиях социальной борьбы, для «Нашей зари» — о том, как французские домохозяйки восстали за свои права, для «Русского богатства» — о том, с чем встречается за границей русский социалист-агитатор. Неудержимо тянуло в

Лонжюмо, где собрались все, кто ей был интересен, где шла бурная, насыщенная спорами и игрой ума жизнь. Путь туда никому не был заказан, но гордость повелевала воздержаться. И все же в августе, когда занятия приближались к концу, она отважилась поехать.

Увы, неудачно! Надо же было такому случиться, чтобы именно в этот день — и только на этот день! — Ульяновы отправились отдохнуть в Фонтенбло. Как это часто бывало с ним после очередной кампании или особо сильного нервного напряжения, Ленин почувствовал резкий упадок сил, начались головные боли, спасением от которых было только полное безделье. Даже один день такого безделья на лоне природы возвращал ему работоспособность, и он снова мог с прежней энергией громить идейных противников, доказывая преимущество большевизма над меньшевизмом.

День все-таки не прошел зря. Коллонтай вместе со всеми послушала лекцию Луначарского об истории литературы. С божественной непринужденностью лектор переходил от Эсхила к Шекспиру, от Данте к Бальзаку и обратно к Софоклу, чтобы непостижимым образом в конце длинного пассажа оказаться на страницах «Фауста» и все это завершить Львом Толстым. Очарованная эрудицией и мучительно стараясь поспеть за причудливым полетом его мысли, Александра успевала еще наблюдать и за учениками, на лицах которых читались усердие и отчаяние: вряд ли кому-то из них было дано хоть что-то понять — сам того не желая, лектор убедительно им доказал, насколько они темны...

Через десять дней Коллонтай снова приехала в Лонжюмо. Летняя школа закончила свою работу, окончившим ее — шестнадцати из восемнадцати — вручались дипломы. Ленин казался отдохнувшим, посвежевшим, его загорелое лицо резко отличалось от того — бледного, осунувшегося, которое запомнилось ей по первому дню работы школы. Он даже приветливо поздоровался с Коллонтай, а Инесса —

та просто расцеловалась. «Я же сказала, что вы подружитесь», — удовлетворенно скрепила их поцелуй стоявшая рядом Надежда Константиновна.

Чтобы отвлечься и прийти в себя, Александра через несколько дней поехала снова к Лафаргам. В этом доме она всегда ощущала покой, уверенность и ту правоту, без которой любой совестливый человек теряет нравственную опору. Здесь почему-то исчезали все сомнения, которыми она так часто терзала себя, размышляя, не сделана ли ошибка. Здесь обрела она чувство осмысленности и нужности своего дела, справедливости выбора, который определил ее жизненный путь. Здесь, проще говоря, ей легко и свободно дышалось.

Стоял солнечный сентябрьский день, еще не чувствовалось никаких признаков осени, в заботливо ухоженном дворике накрыли на стол. Была суббота, Лафарги к обеду заранее никого не звали, но обед был всегда, потому что в субботу кто-нибудь обязательно приезжал. На этот раз, кроме Александры, не было никого, хозяевам от этого стало грустно, а она эгоистически почувствовала радость: никто не помешает ей полностью насладиться обществом двух прелестных стариков, полных жизни и далеких от того, чтобы подводить ее преждевременные итоги.

Говорили о Втором Интернационале. Уже бродили в воздухе ленинские идеи порвать с ним всякие связи, обвинив в соглашательстве, ревизионизме, отходе от боевого революционного духа. Такие обвинения причиняли Лафаргам неизъяснимую боль — ведь это Энгельс стоял у его истоков и благословил его рождение, — но вопрос о том, что движет Лениным в его разрушительных замыслах, за столом не поднимался. Ни Лаура, ни Поль не хотели ни на кого давить своим авторитетом наследников Маркса, ближайших к нему людей, прямых — в буквальном смысле слова — продолжателей его дела. Они ничего не советовали, ничего не рекомендовали и уж конечно не давали никаких указаний.

Расстались под вечер. Ее путь лежал снова в Брюссель: Вандервельде пригласил товарища Коллонтай совершить турне по стране, выступая с лекциями о вовлечении женщин в борьбу за свои права, за интересы пролетариата. Договорилась с Лафаргами встретиться сразу по ее возвращении: Александре было бы что рассказать. Из Брюсселя и Антверпена она дважды написала им, восхищаясь ростом революционного сознания у бельгийских работниц. Получила в ответ милую и смешную открытку, напоминавшую о неизменной дружбе и о предстоящей вскорости встрече.

В середине ноября Александра вернулась в Париж. Петенька встречал ее на Северном вокзале под проливным дождем. Промокший до нитки, несмотря на широченный зонт, с глазами, полными обожания и тоски, он показался ей одиноким, брошенным и несчастным. Волна нежности охватила ее, заставив забыть, что лебединая песня, казалось, окончательно спета и что с этим неизбежным финалом она вроде бы уже примирилась.

Никогда еще, пожалуй, после первых недель близости их любовь не была столь пылкой, поглощавшей все время и все силы. И никогда еще Александра не ощущала такой обиды от того, что в точно определенный час, ни разу его не пропустив, Петенька мчался домой к своей Павочке, как исправный ученик к звонку на урок. Не ревность — унижение убивало ее. И однако, назавтра все с той же страстью она принимала Петеньку, не скупясь на ласки и не фальшивя в проявлении своих чувств.

Уик-энд, естественно, принадлежал не ей, страсть получала двухдневную передышку, можно — и должно! — было поехать к Лафаргам. Но на субботу Чичерин назначил собрание, чтобы выслушать ее рассказ о поездке в Бельгию, а воскресенье предстояло целиком посвятить статье. Один из самых уважаемых и читаемых на родине литературно-политических журналов «Русское богатство», редактируемый Владимиром Короленко, срочно ждал от

нее так и не завершенных «Записок агитатора за границей». Она дописала их, обогащенная новыми впечатлениями, и уже во вторник отослала в Санкт-Петербург, чтобы всего через три недели держать в руках пахнувший свежей типографской краской номер журнала со своей напечатанной статьей.

27 ноября 1911 года утром горничная принесла, как всегда, кофе, круассан и свежий номер «Юманите». В глаза бросилась траурная рамка. Непостижимо! Не может быть! Не стало Лафаргов! Обоих сразу... Садовник, приходивший помогать им два раза в неделю, застал их мертвыми в своих постелях. Шприцы с остатками цианистого калия лежали рядом. Предсмертная записка объясняла этот трагический и внезапный уход. Все, что можно было сделать, уже сделано, писали Лафарги, силы на исходе, исполнять дальше свой общественный долг они не могут, а просто физическое существование — без обязанностей, без дела — не имеет никакого смысла. Из их письма с очевидностью вытекало, что решение свое они приняли уже давно, заранее определив возрастной потолок в семьдесят лет. Стало быть, точно знали о близящемся и зависевшем от них же самих конце. Знали, принимая Коллонтай в своем доме, обсуждая с ней волновавшие ее проблемы, переписываясь с ней и выражая надежду на новые близкие встречи...

Не хотелось никуда идти, ничего выяснять. Что теперь можно еще выяснить? И зачем? Весь день просидела в оцепенении. Наступили глубокие сумерки, когда лиловое небо превращается в серое, а крыши из серых становятся черными. Уличные фонари еще не зажглись, и город казался погруженным в траурный мрак. Она сидела в своей комнате, не зажигая света, перебирая в памяти малейшие подробности встреч с этими удивительными стариками, уже принадлежавшими вечности, даже своим уходом показавшими революционное мужество и революционную стойкость. Стук в дверь заставил ее подняться. Так и не зажигая света, она открыла

дверь. Петенька снова по-своему объяснил себе темноту, которой она встречала его, обнял с порога, внес в комнату. Резко, даже грубо она отвергла этот неуместный порыв, буквально вытолкала за дверь, одной репликой объяснив причину. Лучше всего этот вечер было бы провести у друзей, но она осталась одна, в темноте — с сухими глазами и сжавшимся сердцем...

Через неделю Лафаргов хоронили на кладбище Пер-Лашез. Точно по заказу, солнце разогнало тучи, стих ветер, вернулось тепло, и даже против кладбищенских ворот, на террасах кафе, жмурясь от солнечных лучей, сбросив плащи и куртки, за аперитивом предавались радостям жизни повеселевшие парижане. Большая толпа провожала Лафаргов в последний путь — здесь собрался едва ли не весь левый Париж. И только ли Париж? В толпе мелькали знакомые лица английских и немецких, бельгийских и испанских социал-демократов, а уж русская колония во главе с Ильичем была представлена едва ли не в полном составе.

Траурный митинг у открытой могилы длился более часа. Речи звучали на разных языках. Но смысл их плохо доходил до Александры. Еще в самом начале необъяснимое беспокойство овладело ею, когда она почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. С бьющимся сердцем она заставила себя не смотреть в ту сторону, но неведомая сила то и дело побуждала ее обернуться. И неизменно она встречала все тот же — никого не стыдившийся, ничего не таивший взгляд. Прямой, открытый и властный.

Лицо молодого человека было ей знакомо, она уже встречала его на каком-то митинге, кажется, во время стачки домохозяек. Вроде бы они даже знакомились. В том, что это соотечественник, не могло быть никакого сомнения. Чрезмерная и даже, пожалуй, неуместная изысканность одежды слишком нарочито выдавала стремление ее обладателя выглядеть европейцем, тогда как весь облик говорил со-

всем об иных — глубоких российских — корнях. Лицо интеллигентного русского рабочего Александра могла отличить от тысяч других лиц, и не было еще случая, чтобы ошиблась.

Почему-то екнуло сердце, когда вспомнила, что, подчиняясь предчувствию, решительно запретила Петеньке участвовать в церемонии похорон. Запретила, хотя толком не могла объяснить почему. Даже самой себе. Причиной, конечно, был тот же Ленин. Пристальный взгляд молодого человека, резко выделявшегося из толпы скорбящих, как бы называл еще и другую причину, о которой, отправляясь на похороны, она не подозревала. Когда в третий или в четвертый раз они снова встретились глазами, незнакомец поклонился, и она механически ответила ему кивком, даже чуть улыбнулась, тут же ужаснувшись этой улыбке. Не самой улыбке, пожалуй, а того, что ее кто-нибудь мог заметить. Никто ничего не заметил — все слушали Ленина.

Ленин говорил по бумажке, не отрываясь от текста и неточно расставляя акценты, от чего иногда менялся смысл фразы. Французским он вообще владел очень плохо, не то что немецким, который выучил в сибирской ссылке. Но все же он смог кое-как одолеть перевод, который, без сомнения, ему сделала Инесса.

— В лице Лафарга, — щурясь и низко наклонившись к бумажке, читал Ленин, — соединились две эпохи: та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла, во имя республиканских идей, на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат под руководством марксистов вел классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм.

Он говорил еще о том, что близится к концу эпоха буржуазного парламентаризма, что ей на смену придет «эпоха революционных битв», что пролетариат свергнет господство буржуазии и установит коммунистический строй. Вообще-то этот

язык, этот стиль, этот тип мышления были близки Александре и ничуть не удивили бы ее, говори Ленин по другому поводу и в другом месте. Но эта чисто политическая риторика у открытой могилы дорогих ей людей казалась кошунственной. О Лауре вообще ни единого слова, как будто ее гроб не стоял рядом! И в сущности, ни единого слова о Поле-человеке, только о некоей точке на политической карте истории...

Вслед за Лениным говорила Коллонтай. Толпа расступилась, пропуская ее вперед, и тут же снова сомкнула ряды. Лицо незнакомца исчезло за чужими спинами, но даже сквозь них она ощущала на себе его цепкий, пронзающий взгляд. Александра говорила о том, что значили Лафарги в ее жизни и в жизни многих, кто имел счастье пользоваться их симпатией и дружбой. Но главное — о Лауре, о ее кровном и духовном родстве с Марксом, о том, что Лаура, как и ее мать Женни фон Вестфален, своим личным примером показала, какую роль может и должна играть женщина в борьбе за общее пролетарское дело.

Волнение мешало начать, но привычное вдохновение быстро овладело ею, и она почувствовала, что находится в ударе. Держа речь, она вообще забыла о Ленине — говорила лишь для того, невидимого за спинами, парня, который, в этом она не сомневалась, ловил каждое ее слово и, скорее всего, понимал, что слово это обращено лично к нему.

У кладбищенских ворот Александра столкнулась с Лениным. Он молча пожал ей руку. Для него это было высшей мерой одобрения, после чего Крупская тоже одарила ее одобрительным взглядом. Неизменная Инесса была рядом, но ничего не сказала. Втроем — Ленин, Крупская и Инесса — удалялись единой, дружной семьей, сторонясь остальных. Александра долго глядела им вслед, ожидая того, кто затерялся в толпе покидающих кладбище, но несомненно был где-то рядом. Он действительно был рядом. И подошел.

— Вы нашли очень точные слова, — сказал так, как будто они были уже давно знакомы, — теперь я понимаю, что такое легендарная Коллонтай. — Не отрывая взгляда, он поднес ее руку к своим губам.

— Среди товарищей не принято целовать руки, — улыбнулась Александра. — Вы, вероятно, не социал-демократ...

Он ничуть не смутился:

— Я большевик. А поцеловать руку прелестной женщине принято всюду и у всех.

Он определенно сразил ее. «Что-то зажглось, — записала она двадцать семь лет спустя в своих «Записках на лету», оставляя потомкам воспоминания об этой первой встрече с человеком, который так неотвратимо и жестко войдет в ее жизнь. — Он мне мил, этот веселый, открытый, прямой и волевой парень. Этот «пролетарий из романа». Мне с ним хорошо...» То был главный критерий, с которым она подходила к каждому мужчине, если он что-либо для нее значил именно как мужчина: хорошо или плохо? Другого критерия, наверно, и быть не должно...

Солнце припекало совсем по-весеннему, и на душе была тоже весна, внезапно пришедшая после ненастья. Они бродили по городу, не выбирая дороги, лишь иногда останавливаясь, чтобы понять, куда их занесло. Вдруг почувствовав голод и признавшись в этом друг другу, жадно набросились на сэндвич с ветчиной в дешевом бистро, и когда он сунулся расплатиться за них двоих, Александра властно остановила его:

— Нет, так не пойдет! Каждый платит за себя.

— Вы, очевидно, долго жили в Германии, — иронично заметил он, решительно отводя ее руку с деньгами. — А здесь Франция, и я не бедный немецкий студент.

До сих пор она привыкла платить за других, по крайней мере за себя саму, — кому пришла в голову мысль хоть раз заплатить за нее? Разве что Дяденьке — истинному аристократу и русскому офи-

церу. Даже за продукты, которые приносил Петенька к ужину, расплачивалась точно по счету — ведь Павочка следила за каждым сантиметром в кармане мужа. И не денег, конечно, было ей жаль, а не испытанного по-настоящему чувства опоры на сильную мужскую руку. Заботы — пусть даже выражаемой столь элементарно. Той защищенности, про которую говорит известная русская пословица: как за каменной стеной. Во всех ее романах и связях мужчиной, в сущности, была она, хотя ее спутников всегда влекла к ней именно женственность. Сочетание физической слабости и духовной силы.

— Вы забыли представиться, — вдруг спохватилась она. — Если это секрет, я буду вас просто называть господин большевик.

— От вас нет никаких секретов. Меня зовут Санька. Значит, Александр — мы тезки. По паспорту Шляпников. Партийное имя — Беленин.

— Что же это вы, уважаемый Санька, незнакомому меньшевику выдаете с ходу партийные тайны? — Усмешка плохо скрывала ее радость. — Я пожалуюсь Владимиру Ильичу. Вот уж не думала, что знаменитый Шляпников такой плохой конспиратор.

Имя Шляпникова было ей известно, но с ним не было связано представления о какой-либо особо важной работе, ярком выступлении или нашумевшей статье. Впрочем, не это сейчас занимало ее. На губах вертелся другой вопрос, который она еще не смела ему задать: а сколько же ему лет? До сих пор «кавалерами ее сердца» были мужчины хоть и не намного, но все же старше, чем она. И из ее круга. Теперь впервые она пленила (конечно, пленила, в этом уже не было никакого сомнения) паренька из совсем другой социальной среды. То, что он был моложе, много моложе, это сомнения не вызывало. Но на сколько? И есть ли тогда хоть какая-то перспектива в том, что — «зажглось»?

Она отогнала от себя эти слишком прозаичные мысли, отдающие тривиальным житейским рас-

четом. А — была не была! Живем лишь раз... И зачем заглядывать в будущее, когда есть настоящее? Не она ли всегда звала к свободе в любви — значит, и к свободе от всяких расчетов? Ей нравится этот парень, и она нравится ему. Их тянет друг к другу. Им не хочется расставаться. Имеет ли тогда значение хоть что-то иное?

Наступил вечер, а с ним вернулась прохлада, начавшие вновь собираться тучи предвещали неминуемый дождь. Но еще не пришел тот момент, когда можно было бы сразу высказать свое желание — то, единственное, которое уже владело и ею, и им. Она знала, что Петенька как раз в эти минуты безуспешно стучится в дверь ее комнаты — с сумкой, полной провизии для их традиционной вечерней трапезы, но поймала себя на том, что ей это совершенно безразлично. Постучится — и уйдет. А провизию выкинет — не нести же ее Павочке с покаянием вместе! Счет Петенька сохранит, и расходы она компенсирует — не привыкать...

— А что, если нам завалиться в театр? — нашел спасительный выход Шляпников. Пора уже было на что-то решаться. — Или вам хочется домой? — уже уверенный в ответе, спросил он, и эта его уверенность ничуть не задела ее.

Они были неподалеку от Монмартра.

— Кабаре, кабаре! — возбужденно воскликнул он, вдохновленный ее красноречивым молчанием. — Я никогда не был в кабаре. А вы?

Она тоже никогда не была в кабаре. У нее вообще не было ни малейшего интереса к театру, даже прославленные парижские ее не тянули, тем более всякие там кабаре! Но сейчас и море было ей по колени, и все прежние табу куда-то разом исчезли, и ничего другого больше не существовало, кроме страха его потерять, кроме желания остаться вдвоем и опереться на его плечо.

Первое же из попавшихся на пути кабаре открыло перед ними свои гостеприимные двери. Годы спустя, вспоминая об этом вечере, ни Шляпников,

ни Коллонтай не могли назвать его имя. При их-то невероятной памяти, задержавшей для мемуаров мельчайшие детали революционного прошлого! Пожалуй, одна эта деталь достаточно красноречиво говорит о том сильнейшем эмоциональном возбуждении, в котором они тогда находились. Коллонтай помнила только, что они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и что она изредка переводила на ухо Саньке, далеко не так, как она, владевшему языком, содержание некоторых куплетов. И что ее рука неизменно была в его руке.

И опять была прогулка по ночному Парижу. Пешком они спустились с холма — время близилось к полуночи, решение уже созрело, просто надо было его высказать вслух.

— К тебе? — коротко и трезво спросил он.

Она резко мотнула головой. В их общее с Петенькой гнездышко? Нет, ни за что! А другие постояльцы пансиона, привечавшие Петеньку и уже привыкшие к нему? Что подумают они, встретившись на лестнице с ее новым другом? С этим юным пареньком, тайно пробирающимся в ее комнату? Она была свободна от всякого ханжества, но так вот, запросто: вчера — буквально — один, сегодня — другой? Даже ее стремление избавить любовь от буржуазных правил приличия все еще имело какие-то границы.

— Значит, ко мне!

Он жил в Аньере. Им удалось успеть на последний поезд. Весь дом в рабочем пригороде, приютившем только малоимущих, где Шляпников за бесценок снимал крохотную, неотапливаемую комнату, уже спал. Она даже не заметила так раздражающих ее обычно бытовых неудобств. Чувство абсолютной, всепоглощающей страсти и удовлетворенности поглотило ее.

— Сколько тебе лет? — спросила вдруг посреди бессонной ночи.

— Двадцать шесть...

— А мне тридцать девять...

— Тебе восемнадцать. Тебе всегда восемнадцать. И ты моя жена — Шурка. А я твой муж — Санька. И больше мы никто друг для друга — ни ты, ни я. И хватит об этом.

Никто еще так с ней не говорил. Никто и никогда не чувствовал своей власти над ней. Просто непостижимо, как это удалось ему, рабочему парню из далекой России, здесь, в Париже, всего за несколько мгновений. Вопрос этот мелькнул в голове, а вслух она прошептала:

— Какой счастливый день! — И осеклась, вспомнив кладбище, свою речь у открытой могилы...

«Ранним утром — поездом, на котором едут ребята на заводы, — вспоминала она в «Записках на лету» двадцать семь лет спустя, — я из Аньера возвращаюсь в Париж. На лестнице, у дверей пансиона, где я живу, — знакомый силуэт. Бог мой! Петр Павлович! Вид убитый. Захолонуло: «Поймана на месте преступления». — «Вчера тебя не было допоздна. И ночью... Я был сейчас в твоей комнате. Ты дома не ночевала...» Он прав!..»

Могла соврать: задержалась-де после похорон у друзей, вспоминали Лафаргов. Или — была за городом у подруги. Или — затянулся митинг, ночевала у друзей. «Но нет! Не хочу лжи. Иду на разрыв! Я не хочу новых пут, а ложь — это всегда новая мука. «Да. Я ночевала у моего нового друга». Это жестоко. Это не похоже на меня. <...> Это нож, который я вонзила в сердце «самоуверенного», вчера еще безмерно любимого Петеньки. Бедный, бедный П. П. Он растерялся, он стал маленьким и беспомощным. <...> Он даже не упрекал, он глядел на меня с мукой собаки, которую до смерти избивает рука любимого господина. <...> Кончилось все это слезами и объятиями. Я уверяла, что это всего лишь «вспышка», что я люблю только его. Он рыдал, целуя меня, мои ноги, руки... Это была пытка, это было нехорошо, потому что я думала в этот момент только об А. Г. Шляпникове, о том, что вечером мы будем с ним снова вместе».

Оставаться в Париже было уже невозможно. Никто ее отсюда, конечно, не гнал, никакой партийной дисциплине она подвержена не была, — свободный человек, живет с кем хочет, ведет себя так, как хочет. Но стало неуютно на душе, неизбежные или хотя бы возможные встречи с Петенькой сулили тот дискомфорт, который она совершенно не выносила. Отношения с Лениным не сложились. Ей вообще было тесно и душно в кучной эмигрантской среде, в которой, хочешь не хочешь, приходилось все время вращаться. Сначала эта среда тянула к себе, она-то и была одним из магнитов, которые привлекли ее в Париж. И та же среда, сама о том не ведая, выталкивала Коллонтай из Парижа. Менять страны и города, всюду чувствовать себя как дома и нигде его не иметь, всюду иметь друзей и ни с кем не общаться подолгу — таким стал привычный образ жизни, отказаться от которого у нее не было сил. Связь со Шляпниковым была не столько поводом для отъезда, сколько катализатором, который проявил накопившееся в ней отторжение и способствовал скорее всего принятию решения.

Шляпников был готов последовать за нею в Берлин. Снова в Берлин, где уже была обжитая квартира, знакомые улицы, знакомые люди. «С тобой хоть на край света», — запальчиво воскликнул он, услышав о ее решении. «Но только на такой край, где у нас есть общее дело, где мы сможем бороться за интересы рабочих». Еще бы ему возражать! Иначе и он не мыслил.

Предполагалось уехать еще в конце декабря и Новый год встречать уже в Берлине. Но тут пришла вдруг открытка из Петербурга — от мужа! Владимир сообщал, что по служебным делам приезжает в Париж в начале января и очень хочет встретиться с ней «для решения общих вопросов». Из памяти постепенно стерлись его черты, но не стерлись воспоминания о далекой уже юности, о пылкой влюбленности, о балах, о разрыве с родителями из-за этого молодого красавца офицера, о медовом месяце в

Тифлисе, о горе, которое она ему причинила. И конечно, о том, что, как бы ни поворачилась судьба, навеки связало их: о Мише, которого, в сущности, бросили они оба...

Александра осталась ждать. Шляпников полностью одобрил ее решение: все равно где, лишь бы с ней. Она безраздельно принадлежала ему, легко и быстро преодолев в душе те мешанские барьеры, которые в первые дни их любви мешали ей привести нового возлюбленного в те же покои, из которых еще не выветрился дух предыдущего. И, привыкшая ничему не удивляться, та же горничная с той же любезной улыбкой, не ожидая, разумеется, никаких объяснений, приносила каждое утро завтрак теперь уже на двоих: мадам встречала ее за работой, освобождая для подноса место на заваленном бумагами столе, а месяц продолжал нежиться в постели, наслаждаясь теплом и отсутствием необходимости куда-то спешить.

Зато ей опять приходилось спешить — как всегда, как всю жизнь. Из России срочно требовали новые рукописи: журнал «Рабочая жизнь» — статью о положении работниц-ткачих в Бельгии, «Новая жизнь» — любую статью на интересующую автора тему, издательство предлагало как можно скорее засесть за книгу о трудном положении женщины, сочетающей в себе функции матери и кормильца семьи, от зари до зари работающей на производстве. Александра засыпала далеко за полночь, просыпалась с рассветом и — писала, писала...

С Владимиром она встретилась в кафе неподалеку от Сорбонны. Дружески — и очень искренне — расцеловалась, ничуть не слукавила, признавшись, как рада видеть его — неизменного, верного друга. И он был явно рад, и не было ни неловкости, ни взаимной обиды, ни упреков, ни слез. Они на самом деле остались друзьями — оказалось, что это возможно. Разрывая с ним, она же предупреждала, что так обязательно будет, а он не верил! Поговорили о Мише — о том, как тот вырос, как быстро летит

время, какие перспективы ожидают его. Мальчику уже исполнилось восемнадцать, не мальчик — мужчина! Теперь он сам мог выбирать, где, с кем и как ему жить, с Мишей, в сущности, было все договорено, но Владимир не смел принять окончательного решения без согласия матери.

Отец считал, что сын должен наконец переехать к нему. Уже не ребенок — за ним нужен не уход, а присмотр. Нельзя оставлять юношу в таком возрасте предоставленным себе самому! К тому же Миша собирался поступать в технологический институт, повседневная помощь отца-инженера была ему просто необходима. Семейная обстановка — тем паче: отец уже жил не один, его спутница жизни, Мария, души не чаяла в Мише, и Миша тоже к ней привязался. Но...

Это была самая деликатная часть задачи, с которой Владимир приехал в Париж. Развода не было до сих пор, ни он, ни тем более Александра до поры до времени в нем не нуждались. Но положение невенчанной жены унижало Марию, да и его самого. Право на повторный брак, по российским законам, Владимир мог получить лишь в том случае, если Александра вину за развал семьи возьмет полностью на себя. Правда, это лишит ее саму такого же права, но зачем оно ей — ей, презревшей вообще все буржуазные законы?!

Не читая, Александра подписала заготовленную его адвокатом бумагу и тут же свернула разговор на политику.

— Ты офицер, Володя, а знаешь ли ты солдат? Знаешь ли ты, что они не хотят служить царю и отечеству, что в самый критический момент они повернут штыки против вас, офицеров и генералов, против той антинародной власти, которая заставляет их ее защищать? Ты инженер, а знаешь ли ты рабочих? Они ненавидят эксплуататоров и при первой возможности восстанут против своих угнетателей. И ты, ни в чем не повинный, тоже окажешься жертвой. Не лучше ли тебе уже теперь быть с нами?

Вопреки ее ожиданиям, Владимир не стал спорить. Он знал о недовольстве многих солдат своей службой, знал, что условия жизни большинства рабочих все еще очень далеки от совершенства, он согласен был с тем, что политический режим, существующий в России, неизбежно обостряет прогрессирующий социальный раскол. Конечно, Владимиру были чужды социал-демократические взгляды, но он уже разделял недовольство многих существующей в стране политической действительностью и был согласен с тем, что режим надо менять. Перед Александрой сидел совсем не тот человек, с которым она рассталась двенадцать лет назад. Тогда это был бонвиван, не только далекий от политики, но глубоко ей чуждый и не понимавший, каким образом красивая, умная и обаятельная женщина, обретшая семью, обеспеченная и пользующаяся всеми радостями жизни, может от всего отказаться и обречь себя на невзгоды, лишения и риск, чтобы с головой уйти в политическую борьбу. Теперь это был человек, сам познавший жизнь и разбиравшийся в ней.

«В парижском кафе при обсуждении положения в России, — напишет она много позже в своем дневнике, — мы нашли гораздо больше общего языка, чем в годы нашего молодого, счастливого по существу, брака».

То, что брак был счастливым, что он обещал быть красивым и прочным, ей удастся понять лишь на склоне лет.

РАССТАВАНИЯ И ВСТРЕЧИ

«Зюечка, родная, любимая моя, — писала Александра в Петербург своей лучшей подруге из Берлина, — я очень, я безмерно счастлива! Если бы ты только знала, какой замечательный человек стал моим другом! Только теперь я по-настоящему почувствовала себя женщиной. <...> Но главное — это то, что он рабочий. Грамотный пролетарий. Теперь, живя с рабочим, а не с буржуазным интеллигентом, хотя и самых прогрессивных, истинно социал-демократических взглядов, я лучше узнаю и понимаю жизнь, нужды, проблемы рабочих. Он открыл мне на многое глаза, он сделал меня другой. <...>»

Полное любви ответное письмо сыграло роль холодного душа. «Дорогая моя деточка, женщина милая, Шурик мой тоненький, ненаглядный, — писала Шадурская, призвав на помощь для выражения своей преданности едва ли не весь запас подходящих слов. — Восхитительная, единственная! Если бы ты знала, как моя душа полна нежностью к тебе!»

Закончив с эмоциональной частью письма, Зоя переходила к рациональной. «Не могу понять, откуда вдруг у тебя столько самоуничижения и непони-

мания, что же на самом деле ты собой представляешь. Придется мне это тебе объяснить. Ты, Шура, — Александра Коллонтай, а это уже не просто имя и фамилия, это целое понятие, это большое явление <...> ты сама по себе, со СВОИМ лицом. И вот это-то и есть твоя сила, твое преимущество, в том твоя победа, что ты осталась и всегда остаешься собою. <...> Разве ты могла бы иметь всю силу обаяния и свою увлекательность для всех, если бы ты была тоже, до дна, как они? Не тебе открывают глаза, а ты открываешь глаза людям, позволяя им увидеть себя в полный рост. <...> Милая, сходи в театр, быть может, тебе нужно какое-нибудь впечатление или переживание красоты? <...> Целую горячо, горячо родную, любимую. Шлю тебе всю мою нежность».

Так и не познавшая за всю свою жизнь радостей и тягот семьи, неудачница в любви, Зоя Шадурская вложила все нерастраченное тепло своей женской души в любовь к единственной близкой подруге и, может быть, именно этим имела магическое, чаще всего благотворное, влияние на Александру. Впрочем, пока письма летели, точнее, ползли в обе стороны, та и сама успела уже поостыть. Все ее мысли (и чувства тоже!) были теперь поглощены статьей, которую она писала для русской газеты «Новая жизнь». В статье она возвращалась к своему любимому образу — женщины-возлюбленной, которая даже в мужских объятиях не забывает о непримиримых классовых противоречиях и о своем социальном предназначении.

Письмо Зои пришло, когда работа над статьей «Две правды» подходила к концу. Кто знает, может быть, именно оно вдохновило Александру на тот особо возвышенный революционный пафос, которым статья завершалась: «В очень скором будущем женщина смелым взмахом окрепших в работе и борьбе крыльев подыметя высоко в поднебесье, чтобы рядом с избранником, не властелином, а ра-

вным, товарищем служить общему богу — грядущему человечеству».

Пожалуй, только один совет подруги Александра выполнить не могла — пойти в театр. Просто поразительно: воспитанная в аристократической, интеллигентной семье, всегда окруженная атмосферой культуры и людьми, имевшими к культуре самое прямое отношение, дорожа не только знакомством, но и дружбой с писателями, актерами, музыкантами, сама она по-прежнему оставалась глубоко равнодушной и к музыке, и к театру, да и к литературе, если та не несла в себе прямого политического заряда. Читала много, запоем, но лишь для того, чтобы даже в романе, новелле или стихах найти социальные мотивы. Любимым русским писателем был Горький. Любимым русским поэтом — Лермонтов с его стихами, «облитыми горечью и злостью». «Эмиль Верхарн, — вспоминала она в старости, — вдохновлял нас на критику и низвержение». Эстетика литературы не имела ни малейшей цены в сравнении с ее социальной направленностью, политической ангажированностью и тенденциозностью. На концерте или спектакле Александра едва могла дожидаться антракта и даже не боялась признаваться в этом пороке, видимо никак не считая его пороком и не рискуя потерять в глазах собеседников хотя бы часть своего обаяния. «Трата времени» — так объясняла она сама себе свою эстетическую глухоту и слепоту. Разве что два часа в кабаре тем незабываемым декабрьским вечером не были такой тратой: театрик просто помог укрыться от внезапно налетевшего ветра, остаться вдвоем, осознать, что перевернулась еще одна страница жизни и открылась другая...

Шляпников, напротив, тянулся к культуре, сублимируя этим свою обделенность и отсутствие знаний. Трудно сказать, кто из них победил бы в таком необычном поединке, но их революционный долг и в самом деле не оставлял времени ни для театра, ни для споров о том, нужен он или не нужен. Если для

Коллонтай этот долг состоял главным образом в лекциях, статьях, митинговых речах, то Шляпников и в Берлине оставался ленинским порученцем, озабоченным сложнейшей конспиративной работой: партийные агенты беспрестанно сновали в Россию и из России, туда везли нелегальную литературу, обратную информацию, сулившую эмигрантским вождям надежду на скорую революцию.

Петенька продолжал писать Александре письма, полные любви и готовности все простить, обо всем забыть и «вернуться к исходным позициям»: боевая терминология вечно с кем-то воюющего революционера не покидала его и в переписке с любимой женщиной. Многие годы спустя Александра напишет в своем дневнике, что, читая Петенькины письма, «страдала за него задним числом. Страдала и переживала <...> мой, уже внутренний, отрыв от него. Ведь я глубоко любила П. П. Но я настрадалась с ним. И я бежала не от него, а от страданий, которые он причинял <...> И когда чаша переполнилась, я схватилась за новые переживания и за веселого, смеющегося А. Г.».

Пока «веселый и смеющийся» был на какой-то очередной конспиративной явке, Петенька примчался в Берлин, презрев опасность быть уличенным ревнивой Павочкой. Произошел мучительно трудный разговор, окончательно подведший черту под трехлетней историей их тайной любви. Эта последняя встреча была для Александры сильным эмоциональным ударом, но тут же пришло спасительное приглашение на очередное лекционное турне, и она с радостью ухватилась за подвернувшуюся возможность привычным уже способом подавить личные переживания. На этот раз путь лежал в еще незнакомую страну. Швеция — ближайшая соседка ее любимой Финляндии — давно манила Александру, не давая, однако, никакого повода стать ее гостьей.

И вот повод нашелся. Лидер шведских левых социал-демократов Цет Хеглунд пригласил ее принять

участие в Первомайских торжествах. Были запланированы рабочие митинги и лекции в различных аудиториях — даже университетских. Всем было интересно узнать, что же происходит в России, действительно ли и там имперский режим подвержен коррозии и в один прекрасный день может рухнуть, несмотря на всю свою кажущуюся — издалека! — стабильность. Одно только угнетало: впервые пришлось читать лекции не на родном для аудитории языке. Сколь бы блестяще ни воспроизводил ее мысли и даже стиль переводчик Шельд, это все-таки был посредник, мешавший прямому контакту со слушателями. «Ничего не получается, — вспоминала она много лет спустя в «Записках на лету». — Не могу зажечь. Если бы говорила по-шведски, зажгла бы обязательно. А так не выходит...» Она была чрезмерно требовательна к себе: успех ее лекций и в Швеции был огромным. Могла ли она предположить, до какой степени и как скоро судьба ее будет связана именно с этой страной? Но уже тогда дала себе слово выучить еще и шведский.

«Семейный дом» опять не строился, — к счастью, ее Санька, в отличие от Петеньки, к этому и сам не стремился. По Европе мотался он — моталась и она, и пути их далеко не всегда пересекались в той или другой стране. Лозанна, Цюрих, Базель, Давос, Женева — привычные места, любимая Швейцария, да еще летом: отдых, о котором только можно мечтать! Но и мечтать об этом ей позволено не было: лекции ежедневно, редко с перерывом хотя бы на день. Даже если такой день выдавался, она, запершись в отеле, готовилась к завтрашней лекции. Оттуда Англия — конгресс тред-юнионов в Нью-Порте. И снова Швейцария — Девятый конгресс Второго Интернационала в Базеле.

Коллонтай была делегатом конгресса, но не от какой-либо партии, а от русских профсоюзов. Съехались несколько сот делегатов из более чем двух десятков стран (причем входившие в Российскую империю Польша и Финляндия были представлены

на конгрессе своими делегатами и считались СТРАНАМИ, а не частью России). Россия прислала 36 человек, но ни Ленин, ни Плеханов не почтили конгресс своим присутствием. Зато были Каутский и Бебель, Жорес и Адлер — их Коллонтай любила и читала, с ними чувствовала себя легко и свободно. А тем паче с Кларой Цеткин, с которой они говорили на одном языке — и в буквальном, и в переносном смысле. Со страстной речью против «готовящейся мировой бойни» (яркой по форме, но весьма осторожной в той части, где говорилось о практических шагах социал-демократии по предотвращению этой бойни) выступил Жорес, с не менее страстной — Коллонтай, которую тут же прозвали «Жоресом в юбке».

Мировая война была не за горами — в воздухе явственно ощущался ее запах, тем более что на Балканах она уже шла: пять стран — Сербия, Черногория, Греция, Болгария и Турция — стали зоной боевых действий. Спорили о том, надо ли предотвращать войну или она благо для мировой революции. Мнения, естественно, разошлись, и большинство делегатов искали пути к примирению, к согласию, к выработке пусть и компромиссной позиции, но такой, которая устраивала бы всех. Большинство, но не большевики! Они раскололи делегацию России, демонстративно, хлопнув дверью, ушли с ее заседания, и в итоге на пленарной сессии конгресса, когда обсуждался главный вопрос о войне и мире, от России не выступил вообще никто.

Гнетущее впечатление, оставшееся от этой скандальной акции, дополнялось сознанием театральности всего происходившего. Кого, в сущности, — не формально, а реально — представляли российские делегаты конгресса? Среди них не было ни одного пролетария — только интеллигенты, выступавшие от имени пролетариев и в «их интересах». И ни одного из самой России — только эмигранты, которые в таком случае сильно смахивали на самозванцев...

И все-таки конгресс принял манифест, в котором была определена главная задача. Счастливо найденная формула, с которой согласились все, сразу же стала крылатой: «Война — войне!» Но, увы, лишь на короткое время...

Города и страны мелькали из окна вагона, менялись разве что пейзажи. Даже отели похожи один на другой, и гости на разных конгрессах все одни и те же, а перемену речи она вообще не замечала: что немецкий, что французский, что английский — ей все одно...

Шляпников часто рядом, еще чаще сам по себе: у него тоже дел невпроворот. Ленин без заданий никого не оставит — за новыми инструкциями приходилось ездить прямо к нему. Но уже не в Париж.

Даже ко всему притерпевшейся, невозмутимой Надежде Константиновне надоело ежедневное присутствие Инессы, как-то совсем незаметно превратившейся в члена семьи. Эта весьма деликатная ситуация не столько стесняла Крупскую, сколько унижала. Какое-то время она с этим мирилась, но отнюдь не только из-за голоса разума. Надо же было так случиться, что именно в это время, после бесконечных ссылок, высылков и тюремных отсидок, в Париже появился Виктор Курнатовский, с которым Крупская не виделась уже десять лет. Этот молодой русский революционер отбывал на исходе минувшего века сибирскую ссылку всего в двадцати километрах от городка, где в ссылке пребывали еще не венчанное молодожены Владимир Ульянов и Надежда Крупская. Тогда между тридцатилетней Надей и ее сверстником Виктором вспыхнул короткий, но довольно бурный роман. Кажется, единственный за всю ее жизнь.

Прежнее чувство, хоть и не надолго, вернулось вроде бы снова, отвлекая от дум о муже и об Инессе. Два романа тянулись параллельно, как бы уравновешивая и оправдывая друг друга. Но тяжело

больной Курнатовский уехал из Парижа, климат которого оказался для него неподходящим, и внимание Крупской снова переключилось на опостылевший адюльтер. В конце концов, ей только-только за сорок, и ничто человеческое еще не было чуждо. В том числе и такое всем известное чувство, как ревность. Не видя другого способа избавиться от настырной соперницы, безбедно жившей в полюбившемся ей Париже и никуда не собиравшейся уезжать, Крупская настояла на том, чтобы уехать самим.

Пытаясь избежать скандала, найти пристойный выход из положения и, как всегда, совместить личные интересы с интересами дела, Ленин отправил Инессу с опасной — нелегальной, разумеется, — миссией обратно в Россию. Там как раз начиналась избирательная кампания по выборам в Четвертую Государственную думу. Большевики решили бороться за депутатские кресла, опыт и способности такого профессионала, как Инесса Арманд, действительно могли пригодиться. Беда лишь в том, что этот профессионал еще не отбыл ссылку в Мезени, а за побег подлежал и новому наказанию. Учитывал ли Владимир Ильич ту реальную перспективу, которая ожидала в России несомненно дорогую ему женщину? Кто знает... Во всяком случае, Инесса безропотно приняла его поручение, а сами Ульяновы отправились в Австро-Венгрию, в ту ее часть, что звалась Галицией и вплотную примыкала к России. Близость к русской границе, возможность регулярно видеться с нелегалами, дерзко обходящими любые пограничные посты, морально оправдывали это поспешное бегство.

По дороге в Россию из Праги, где проходила большевистская конференция, Инесса на два дня заехала к Ульяновым в Краков. Остановилась в снятой ими квартире. Крупская стойчески перенесла и этот удар. И даже заботливо снабдила ее провизией в дорогу: нанятые за скромную плату местные жители перевели Инессу через практически неохраняемую

границу и посадили в поезд, отправлявшийся в Петербург. «Ильич едва не расплакался, когда они прощались», — рассказывал Шляпников. Он любил Ленина, и тот отвечал ему взаимностью — в той, разумеется, степени, в какой вообще был способен на проявление чувств.

К Коллонтай Ленин всегда относился с иронической отчужденностью. Теперь, после того как Маслов был отставлен, а Шляпников вошел в ее жизнь, отношение к ней Владимира Ильича изменилось. Для него это был не союз нашедших друг друга мужчины и женщины, а крупная политическая победа: пламенное сердце Коллонтай исторгло меньшевика и впустило в себя большевика! Ленин ценил в Александре способности пропагандиста, но не слишком рассчитывал на них из-за принципиальных расхождений во взглядах. Теперь появилась вполне реальная надежда на то, что Шляпников сумеет влиять на нее.

В ней еще не остыла уязвленность от ленинской отчужденности, которую она воспринимала не с позиций партийного активиста, а чисто по-женски. «Ну что такое его любовь к Инессе? — горячилась она, обсуждая со Шляпниковым эту, не дававшую ей покоя, проблему. — Поцелуй между разговорами о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей акул капитализма». Она не замечала, что то же самое с ничуть не меньшим основанием можно было сказать и о ней.

Книга «По рабочей Европе», которую она, не разгибая спины, писала в Париже, уже вышла на родине в горьковском издательстве «Знание» и сразу вызвала бурную реакцию в немецкой печати. Этого следовало ожидать, поскольку, не слишком выбирая выражения, Коллонтай обвиняла немецких социал-демократов в оппортунизме, перерождении, бюрократизме, а главное — в том, что казалось тогда едва ли не самым опасным: в ставке на постепенное реформирование строя, а не на его свержение. Критические статьи, подписанные безвестными немец-

кими именами и обвинявшие ее в ренегатстве, в клевете на давшую ей приют Германию, по стилю и типу мышления слишком явно выдавали русское происхождение авторов. Шляпников считал, что это интриги берлинской эмигрантской колонии. Александра доводила ту же мысль до логического конца: да, интриги, но — кого? Осевших в Берлине большевиков против меньшевички! Косвенным доказательством служило отсутствие не только подписи Ленина, но и подписей других большевиков под опубликованным в газетах протестом против ее травли. Протест написал Карл Либкнехт, к нему присоединились многие немецкие и русские социал-демократы, в том числе Мартов и Дан. С болью и нежностью Коллонтай нашла среди подписавших имя Петеньки Маслова...

Эта история потрепала и без того ее расшатанные нервы. Сердечный приступ наступил в полночь, но не испугал настолько, чтобы послать за врачом. Вызвала горничную — попросила сбегать за лекарством в ночную аптеку. Та вернулась лишь через полтора часа, когда сердце, казалось, уже готово было выпрыгнуть из груди. Смущаясь, горничная стала оправдываться: по дороге забежала домой — взглянуть, как спит ребенок. Проснулся муж, и «у него разыгрался аппетит. Вы меня понимаете, фрау? Ни за что не отпускает! Пришлось уступить и даже, — она совсем зарделась и опустила глаза, — изобразить восторг».

Увлеченная ее рассказом, Коллонтай забыла о сердечной боли. Отпустив горничную, встала и села за стол. Страницы ее дневника, заполненные ночью торопливым почерком, войдут впоследствии в книгу «Общество и материнство», где она будет, в частности, размышлять о том, как «супружеские обязанности» перед ненасытным мужчиной мешают женщине приобщиться к осуществлению своего главного предназначения — борьбе за равные права с мужчиной и за социальную справедливость.

Из России пришла отрадная весть: социал-демократы добились успеха на выборах, проведя в думу от рабочих одиннадцать депутатов. Среди них оказался и Роман Малиновский — чуть косящий, короткошейй крепыш с густыми усами. Незадолго до того Владимир Ильич, который имел большие виды на этого «грамотного пролетария», добился от участников партийной конференции в Праге, чтобы Малиновского кооптировали в члены ЦК. Ленина восхищала та энергия, с которой этот «простой рабочий» отстаивал столь любезную вождю идею: никакого объединения с меньшевиками на какой бы то ни было основе! Между тем этот «грамотный пролетарий», давно уже служивший высокооплачиваемым агентом полиции, ревностно выполнял задание своих хозяев, тоже пуще всего боявшихся объединения социал-демократов: в возможном объединении полиции как раз и видела главную опасность для державы...

Фракция из одиннадцати депутатов могла бы играть в думе заметную роль и стать вообще прообразом объединения вне стен думы. Но Ленин очень быстро расколол ее на «беков» и «меков» — любая мысль о единении была ему глубоко ненавистна.

Точка зрения Коллонтай была совершенно иной, но она с удивлением замечала, что Шляпникову — очень медленно и не без труда — удается порой склонять ее на свою сторону. То есть на сторону Ленина. Вероятно, Санька информировал об этом Владимира Ильича, поскольку — опять же не сразу, исподволь и не регулярно — между нею и Лениным вскоре началась переписка. Для отношений большевистского лидера с весьма известным меньшевиком это было не имевшим аналога исключением из общего правила. Скорее всего, у Ленина не было больше сомнений: поворот в мыслях уже состоялся, и формальный ее переход к большевикам — вопрос времени. Причем весьма небольшого...

Ранняя весна 1913 года не только вновь подарила ей Швейцарию, но и возможность провести несколько дней вместе со Шляпниковым. Они поселились в Цюрихе, в отеле «Habis Royal». Шляпников работал над статьей о профсоюзном движении, Коллонтай готовилась к лекциям на любимую тему — о том, как положение матери и жены мешает женщине целиком отдать себя борьбе за победу пролетариата над буржуазией. Ее пригласили лишь принять участие в праздновании женского дня 8 Марта. Но из разных городов поступили заявки на лекции — всюду, где она хоть раз выступала, оставались восторженные поклонники и поклонницы, желавшие слушать ее снова и снова.

Казавшееся столь желанным совместное пребывание со Шляпниковым вдруг начало ее раздражать. Александра с удивлением заметила, что все чаще и чаще хочет остаться одна. Присутствие человека, который даже при самой большой неприязнательности все же требует внимания и ухода, день ото дня становилось обузой. Он хотел всего лишь поговорить, но и это требовало переключения внимания, сосредоточенного на рукописи очередной статьи или на тезисах завтрашней лекции. Любое, даже самое невинное, его слово вызывало столь неадекватную реакцию с ее стороны, что этот «веселый парень» терялся и мрачнел. Как всегда, выход был только один: временная (пока еще только временная) разлука. Подвернулся счастливый случай: Шляпникова позвал к себе Ленин.

Швейцарская колония русских социал-демократов заметно поредела, но новости из Кракова доходили и сюда. Там опять появилась Инесса. Арестованная в Петербурге, она должна была сначала досиживать свою неотбытую ссылку в Мезени, а потом предстать перед судом за новое преступление: побег из ссылки. Но брошенный ею муж внес залог за временное освобождение Инессы из тюрьмы по состоянию здоровья, или, проще говоря, выкупил ее, поскольку, как это было ясно даже влас-

ням, никакого желания пребывать на берегу Белого моря она не имела, а перейти нелегально русскую границу и укрыться от полиции в зарубежье по-прежнему не представляло ни малейшего труда. Уже через несколько дней Инесса была в Кракове. Трудно точно сказать, как поладили Владимир Ильич и Надежда Константиновна, но Крупская не сопротивлялась: безвременная смерть Курнатовского сломала ее. Инесса осталась жить по соседству. Это был пик отношений Ленина с «товарищем Инессой», их медовый месяц, растянувшийся более чем на полгода.

Об этих пикантных подробностях Коллонтай узнала от вернувшегося из Кракова Шляпникова, который привез оттуда кучу новостей. В самую ошеломительную из них Александра вообще не могла поверить: Ленин, Крупская и Инесса — все трое — перешли на «ты»! Для миллионов людей, тем более для товарищей, связанных общей судьбой и общим делом, это было бы совершенно естественно, для Ленина — подвиг. Он вообще ни с кем не был на «ты», интуитивно чувствуя, что это «ты» лишит его уникального положения лидера, воспрещающего кому бы то ни было переступать невидимую, но всеми ощущаемую грань. То, что он сделал единственное исключение и притом не утаил его от партийных товарищей, говорило о такой силе чувств, перед которыми отступали все доводы разума.

Эта новость волею случая пришла как раз тогда, когда в отношениях Александры и Шляпникова явно обозначилась первая трещина. Мы не знаем в точности, какой разговор произошел между ними, но Шляпников внезапно уехал в Лондон, договорившись с Коллонтай, что оттуда возвратится не к ней, а в Париж, где и бросит временно якорь. Об их прощальном диалоге можно судить по письму, которое 15 июня 1913 года он ей отправил из Лондона.

«<...> Я не хотел <...> расставаться с тобой — потому, что еще очень люблю тебя и потому, что хочу

сохранить в тебе друга. Я не хочу убивать в себе это красивое чувство и не могу видеть и чувствовать, что ты убиваешь теперь эту любовь ко мне только в угоду предвзятой идее «на условии соединить любовь и дело». Какой же ложью звучат теперь эти слова и что должен думать я! О, какой цинизм! <...> Любящий тебя Санька».

Он ждал ее ответной телеграммы в Лондоне — не дождался, уехал в Париж, как и было договорено предварительно. Зато Коллонтай, как только он уехал, сама прибыла в Лондон, где в блаженном одиночестве, освобожденная от всяких эмоциональных нагрузок, могла целиком отдаться любимому делу: она готовила новую книгу о проблемах материнства и детства — библиотека Британского музея обеспечила ее всей необходимой литературой.

Слишком долго пребывать в библиотечной тиши Коллонтай, разумеется, не могла. Без нескончаемых лекций, без митинговой стихии она чувствовала себя как рыба, выброшенная на берег. Повод нашелся. Как раз в это время в Киеве начался суд над безвестным служащим еврейского происхождения Менделем Бейлисом, арестованным по сфальсифицированному обвинению в совершении так называемого ритуального убийства. Будто бы тринадцатилетний подросток Андрей Ющинский, чье исколотое ножами тело было найдено в укромной пещере, был убит не бандой воров, заподозривших его в раскрытии их уголовных тайн, а тщедушным работником близлежащей фабрики, готовившимся праздновать еврейскую пасху, для чего нужна кровь христианского ребенка, извлеченная из еще живого тела!.. Этот откровенно антисемитский процесс, демонстративно поощрявшийся российскими властями, всколыхнул не только страну, но и весь мир. В Лондоне на Трафальгарской площади различные общественные организации собрали многотысячный митинг протеста. Могла ли Коллонтай остаться в стороне?

Живший в ту пору в Лондоне — тогда активный

меньшевик, впоследствии советский посол в Великобритании — Иван Майский стоял в собравшейся на площади толпе и слушал страстную речь «женщины поразительной красоты с буйно развевающимися на ветру волосами». Трибуной служил парапёт колонны Нельсона, и, чтобы было слышно всем, Коллонтай обходила ее по периметру — эти перемещения не мешали ей все время удерживать в руках нить своей речи. Майский вспоминает, что замороженные ею тысячи англичан были готовы, казалось, тут же отправиться на штурм царского самодержавия. Излишне напоминать, что такой эффект произвела речь русской революционерки, произнесенная на безупречном английском.

Судом присяжных сам Бейлис был оправдан, но «механизм» убийства, носящий все черты «ритуального», подтвержден. Ленин написал в связи с этим статью о «чудовищных порядках, которые царят в России», назвав процесс Бейлиса «кошмарным». Тем временем «чудесный грузин» (так отозвался Ленин о Сталине в письме к Максиму Горькому) сочинял в Вене при активном участии большевика Николая Бухарина и меньшевика Александра Трояновского брошюру о национальном вопросе, ни разу не вспомнив о потрясшей мир именно в эти дни антисемитской вакханалии, но зато посвятивший целую главу «доказательствам» своего любимого тезиса о том, что, с точки зрения марксизма, евреев как нации вообще не существует..

Пришло приглашение опять «прокатиться» с лекциями по Бельгии, на этот раз от Центрального бюро по распространению образования среди рабочих. Платили жалкие деньги — по десять франков за лекцию, плюс, разумеется, дорога и проживание в дешевеньком пансионе. Но это были тоже деньги, а горящие глаза слушателей, внимавших ее речам, возбуждали похлеще любого наркотика — без этого стимулятора в библиотечной тиши она попросту закисала.

Шляпников заваливал ее письмами, умоляя со-

единиться. Коллонтай уклонялась от какого-либо прямого ответа: она еще не успела вдоволь насладиться своим одиночеством, но и время, диктующее ей ее любимую фразу «Иду на разрыв!», тоже еще не настало. Все по-прежнему воспринимали их как пару, и она тоже не оспаривала казавшийся непреложным факт. Разве что Зоя, ее единственный за всю жизнь истинный confident, знала о том, что и эта «любовная лодка» уже дала течь. Зоя была теперь близко — и, однако же, далеко. Новый либеральный русский еженедельник «Голос современника», в котором Шадурская начала работать, отправил ее своим специальным корреспондентом в Европу. Но из Брюсселя, где была ее первая остановка, Зоя уже не вернулась. Начавшаяся в России реакция, повальные облавы и аресты не могли в конце концов не задеть и ее, вовлеченную некогда Александрой в разные нелегальные акции.

Встреча с Зоей в Брюсселе после долгой разлуки имела свое продолжение. Германское издательство решило издать на немецком нашумевшую книгу Коллонтай «По рабочей Европе», и тяготевшая к социал-демократам писательница Э. Федери согласилась вместе с автором работать над переводом. Это издание, сулившее известность и деньги, отодвинуло на второй план все очередные дела, а квартира, которую Коллонтай сняла в Берлине, позволяла ей поселиться вместе с Зоей.

Радость встречи и ежедневного общения была вполне искренней, но, как обычно, кратковременной. Похоже, сколько-нибудь долго рядом с собой она не могла вынести никого — даже самых близких и самых преданных ей людей. Зоя сама почувствовала это — быстро собралась в Париж, а оттуда ей на смену примчался Шляпников. Затосковав, Александра позволила ему снова — и опять же, само собой разумеется, не слишком надолго — побыть с ней вместе. И даже вместе проститься с последним мирным годом и вместе отпраздновать вступление в судьбоносный 1914 год.

Шляпников выехал из Парижа в тот самый день, когда туда из Кракова прибыла Инесса. Существует версия, что Крупская взбунтовалась перед лицом перспективы совместной встречи Нового года: отношения Ленина и Инессы зашли непозволительно далеко. Нужно было делать выбор. Он его сделал. Инесса уехала, и теперь уже не с кем было гулять по окрестностям и некому играть Ильичу его любимую бетховенскую «Аппассионату». Зато возобновилась их переписка, благодаря которой мы имеем возможность следить за развитием их отношений с известной документальной точностью, не полагаясь лишь на воспоминания современников. Внезапно, и без всякой видимой причины, они снова переходят на «вы», и это отнюдь не означает разрыва, охлаждения или отчуждения. Допуская, что письма могут быть прочитаны и кем-то другим, Ленин — он, разумеется, а отнюдь не она — предпочитает не оставлять следов.

Впрочем, его современники узнавали обо всем этом, конечно, не из их переписки, строго засекреченной вплоть до самых последних лет. Вся жизнь была на виду, как бы ни пытался ее скрыть даже такой великий конспиратор, как Ленин. Но мало кто с таким пристальным вниманием, как Коллонтай, следил за перипетиями драматических отношений бесстрастного большевистского вождя и пылкой француженки. Ошибется тот, кто увидит в этом всего лишь тривиальную ревность. Здесь и схожесть судеб, и переплетение интересов, и борьба за особое место в общем кругу, где почти безраздельно царили мужчины, а несколько оказавшихся в нем женщин неизбежно конкурировали друг с другом, и уязвленная гордость, и ущемленное самолюбие. И что-то еще, для всех очевидное, но очень трудно поддающееся любым дефинициям, — нечто такое, что вынуждало ее постоянно доказывать свое превосходство. Любое соперничество она изначально не выносила.

Призрак близящейся войны витал в воздухе, так или иначе к ней готовились социал-демократы во всех странах, стремясь выработать общую позицию, общую тактику и стратегию. Ленин, быть может, острее многих других чувствовал близость войны и ждал ее с тем нетерпением, с каким влюбленный в свои проекты мечтатель ждет их осуществления: чем хуже, тем лучше!.. Надвигающаяся катастрофа, казалось, требовала, как никогда, отказа от внутренних распрей и единения всех антиимпериалистических сил. Ленину так не казалось: не было на свете другой идеи, которая была бы ему столь ненавистна!

В июле 1914 года Международное социалистическое бюро созвало в Брюсселе конференцию всех групп и фракций русской социал-демократической рабочей партии. Участвовали и примыкавшие к ней или входившие в нее на правах ассоциированных членов политические организации национальных меньшинств России. Цель конференции была, естественно, все та же — добиться объединения всех левых сил. Ленин знал, что на это не пойдет никогда, какое бы решение конференция ни приняла, и поэтому в Брюссель не поехал. Его представляла делегация из трех членов ЦК во главе все с той же Инессой Арманд. Но членом ЦК она никогда не была!.. Могла ли остановить Ильича эта пустая формальность? Она не была членом ЦК, но она была Инессой, то есть — в данном случае — alter ego большевистского лидера: это место всецело принадлежало только ей одной.

До начала войны оставались уже считанные дни — вроде бы самое время было забыть о прежних разногласиях и найти общий язык. Но за принципами, которыми нельзя поступаться, стояли вполне конкретные, притом весьма прозаические, причины. Плеханов не без основания был убежден, что Ленин ни с кем не хочет делить партийную кассу. «Экспроприированные» (то есть попросту захваченные во время грабительских налетов), равно как и

полученные по наследству от доброхотов, деньги Ленин берег для «мировой революции», а пока что вполне успешно пользовался ими сам. Кроме того, только что разразился скандал в связи с загадочным бегством Романа Малиновского, внезапно и самовольно отказавшегося от депутатского мандата. Большевики (да и проницательные большевики — в лице Бухарина — тоже) сразу же заподозрили «грамотного пролетария» в связи с царской полицией, но это наносило неслыханный удар по престижу самого Ильича, который не скупился на восторженные отзывы о своем ставленнике и лично передвигал его по партийной лестнице все выше и выше.

В галицийском городке Поронин, вблизи русской границы, шло партийное «следствие по делу Малиновского». В роли следователей выступали три большевика — сам Ленин, его ближайший сподвижник Григорий Зиновьев и Яков Ганецкий, которому всего лишь через неполных три года предстоит сыграть значительную роль в подготовке захвата власти. Несмотря на убедительные доказательства, подтверждавшие причастность Малиновского к арестам многих партийцев и представленные не только меньшевиком Александром Трояновским, но и большевиками Николаем Бухариным, Николаем Крыленко, Еленой Розмирович, партийное следствие признало вину Малиновского недоказанной. «Все это происки меньшевиков, которые хотят нас дискредитировать», — утверждал Ленин. «Можно ли быть судьей в своем собственном деле?» — задавала резонный вопрос Коллонтай, рассказывая о поронинском «следствии» в письме Зое Шадурской.

За перипетиями этой борьбы (скорее — возни) Коллонтай следила, находясь в Тироле — крохотном курортном городке Кольгруб, где она уединилась с сыном Мишей, приехавшим к ней погостить на летние каникулы. Эти редкие каникулярные свидания были единственным мостиком, связывавшим ее с фактически брошенным ребенком. Ребенок из под-

ростка уже превратился в высокого, красивого юношу, на которого заглядывались барышни: их привлекала не только его внешность, но и очень шедшая ему форма студента технологического института. Детская боль от своей заброшенности прошла, сменившись примирением с реальностью и еще большей потребностью в общении — теперь уже не в элементарной материнской заботе, а в беседах, которые помогли бы ему найти свое место в жизни.

31 июля мать и сын возвратились в Берлин. На следующий день разразилась война. И еще день спустя Коллонтай, как и многие другие русские эмигранты, была арестована — не за что-то содеянное, а просто за то, что имела паспорт подданной неприятельской державы. Немецким социал-демократам, большинство которых сразу же заняло патриотическую позицию, удалось легко доказать, что арестованная является врагом того режима, с которым кайзеровская Германия вступила в войну. Впрочем, взятые при обыске документы говорили об этом сами за себя.

Освобождение из тюрьмы пришло всего через два дня, но радости не доставило: Миша все еще оставался в лагере, адрес которого ей никто не давал, а из Парижа пришло известие об убийстве Жореса! Шовинизм набирал силу, поражая уже не отдельные политические группы, но самые широкие массы. Патриотический угар мощно влиял на социал-демократов различных стран, еще вчера говоривших о единстве интересов всех пролетариев, а сегодня присоединивших свои голоса к лозунгу о защите отечества. Столь любимые Александрой Каугтский и Адлер, Вандервельде и Гед — все превратились сейчас в оппонентов, если не в откровенных врагов. Только Карл Либкнехт и Клара Цеткин остались, кажется, прежними. Мало, отчаянно мало... Даже если бы и не предложили ей покинуть Германию, она чувствовала бы себя в озлобившейся стране весьма неудобно.

Тем временем в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии, был арестован Ленин — по тому же, естественно, поводу: подданный неприятельской державы. И здесь вступились влиятельные социал-демократы — доказали, что задержанный хоть и подданный русского царя, но куда больший его враг, чем все главари всех воюющих против него держав, взятые вместе. И что он страстно желает своему царю поражения. О том, что он с той же страстью желает поражения Германии и Австро-Венгрии, они, естественно, умолчали, да и вряд ли кто-нибудь вообще был в состоянии понять эту странную «диалектику». Чете Ульяновых дала приют и покой «до омерзения скучная» нейтральная Швейцария.

В конце концов освободили и Мишу — под чисто формальным предлогом: он еще не достиг призывного возраста. Мать и сын встретились все в том же пансионе, где продолжала жить Коллонтай. Но оттуда пора уже было бежать: даже прислуга грозилась «убить русских шпионов». О возврате в Россию не могло быть и речи. Только в нейтральную страну, которая даст ей приют! Выбрала близкую Данию.

Перед тем как отправиться на вокзал, торопливо записывала в своем дневнике: «Солнечное, но уже осеннее утро. Желтеют мои любимые каштаны под окном. А небо высокое, осенне-чистой синевы <...> Через два часа поезд увезет нас из Берлина, из Германии. Гляжу из окна. Прощаюсь не только с целой законченной полосой собственной жизни, но с чем-то большим, много большим. Более важным <...> С отрезком истории, с эпохой, которая отошла навеки в область летописи <...>

После войны мир будет иным. Каким?.. Глаза мои отрываются от прошлого без слез. Гляжу вперед. В будущее...»

Вряд ли она представляла себе будущее таким, каким оно стало...

«Как странно, — писала она Зое, — мы оба попа-

ли сейчас в города, которые больше всего не любим: ты в Париж, я в Копенгаген. <...> Я не люблю Копенгаген, его мокрую, нудную, тоскливую погоду, гаденькие, грязненькие дешевые пансионы <...>». Однако отсюда ей удалось отправить сына пароходом в Россию и установить письменный контакт с Лениным. Мысль о расколе русской демократии в такой критический момент угнетала ее. Она призывала Ленина к объединению, но «пролетарский вождь» оставался верен себе. «Уважаемый и дорогой товарищ! — писал он ей в Копенгаген из Берна. — <...> Я всего более боюсь <...> огульного объединительства, которое, по моему убеждению, наиболее опасно и наиболее вредно для пролетариата».

«Война — войне!» — еще совсем недавно звали социал-демократы разных стран. «Война — миру», — призывал теперь Ленин. «Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, — писал он в другом письме Коллонтай, — если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны пролетариата против буржуазии». На первом месте! Пусть война, пусть гибель людей, пусть разрушения жилищ и все прочие страдания, которые несут пушки, только бы открылся путь к власти — ради интересов пролетариата, само собой разумеется...

Русские газеты, как ни странно, приходили с прежней регулярностью. В газете «Русское слово» Коллонтай прочла воззвание людей, которым верила, к голосу которых не могла не прислушаться. Вернувшийся в Россию с острова Капри после амнистии 1913 года (по случаю трехсотлетия династии Романовых) Максим Горький вместе с певцом Федором Шаляпиным, художниками братьями Васнецовыми и Константином Коровиным, скульптором Сергеем Меркуровым, редактором и издателем Петром Струве и другими деятелями русской культуры призывали сос гечественников к сплочению, к спасе-

нию жертв войны, к защите отечества. «Шовинистско-поповским воплем» назвал этот призыв Ленин в открытом письме Горькому. «Фальшь», «пошлость» — других слов у него не нашлось. Но и Плеханов, перед которым она благоговела, был вовсе не с Лениным в его максимализме. И Петенька Маслов, разумеется, тоже не с ним. Ленин ругательски их ругал, клеймил «социал-патриотами», писал против них гневные памфлеты. Коллонтай была в смятении, посоветоваться «в Богом забытой Дании» было не с кем.

Она перебралась в Швецию, в которую влюбилась еще двумя годами раньше. Даже очень скромный стокгольмский «Hotel de Poste», в котором она сначала остановилась, оказался ей не по карману. Но пансион «Карлссон», хоть и был дешев, никак не мог считаться «гаденьким» и «грязненьким»: чистота, уют и покой резко отличали его от столь же дешевых «собратьев» в других городах и странах. Не здесь ли родилась никогда не покидавшая ее впоследствии любовь к Швеции, оказавшаяся, пусть и не сразу, взаимной и поистине судьбоносной на всю оставшуюся жизнь?

Ясное дело, не только уют и покой, не только присутствие таких людей, как молодые лидеры левых Хеглунд и Стрем, привлекли ее в Швецию. Здесь в то время находился Шляпников, и уже одно это полностью оправдывало ее выбор. Когда его не было с нею, она тосковала и чувствовала себя одинокой. Когда он был рядом, то слишком быстро надоедал: ей казалось, что он — именно он! — мешает ей работать.

В Стокгольм приходили газеты со всего света. В том числе и российские. И русские эмигрантские — всех направлений. Любому, кто внимательно их читал, было ясно: то, что большевики презрительно именовали патриотизмом, присуще отнюдь не только их политическим противникам. Не только и не

столько. Склоняясь все более и более к ленинцам, Коллонтай не могла, однако, не признать то, о чем написала в одной из своих статей, опубликованной в шведской газете: «Национальные чувства, которые искусственно подогреваются капиталистами <...> во всех странах мира при помощи церкви и печати, а также проповедаются в школах, в семье и в обществе, имеют, по-видимому, более глубокие корни среди народа, чем представляли себе интернационалисты. <...> Получается, что правительства буржуазных государств лучше знали психологию народа, чем сами представители демократических и рабочих масс».

Ленин вовсе не был в восторге от такой защиты его интернационалистских позиций. Он считал, что Коллонтай оказалась слишком подверженной характерному для нейтральной Швеции пацифизму, неразрывно связанному с патриотизмом. «Скандинавы, — писал он ей, — впадают в мещанский и захолустный пацифизм, отрицая «войну» вообще. Это не по-марксистски, с этим надо бороться». Но обращался он к ней: «Дорогой друг», и это льстило. Откуда она могла знать, что в те же самые дни в письме к Зиновьеву он презрительно именовал ее «Коллонтайшей», утверждая, что она «мешает Шляпникову вести правильную работу». Сам Шляпников был совсем иного мнения, чувствуя, как много в интеллектуальном и просто в человеческом смысле дала ему близость с Александрой, и страдая оттого, что трещина между ними становится все более глубокой.

Ни острота политической борьбы, ни бытовые невзгоды не мешали ей углубляться в саму себя, размышлять о правильности избранного пути, об ошибках и неудачах. «Все думаю о том, — записывала она в шведском дневнике, — сколько сил, энергии, нервов ушло на «любовь». Нужно ли это было? Помогло ли в самом деле выявить себя, найти свой путь? Чувствую себя эти дни ужасно «древней» <...> Точно и в самом деле жизнь позади. Или

<...> именно в этом году перевалила гору жизни и начинаю медленно, медленно спускаться по тому незнакомому уклону горы, где ждут незнакомые горести, печали, препятствия и житейские трудности. Быть может, и радости, но другие, не те, что были.

Любовь! Сколько ее было! Заняла полжизни, заполнила душу, полонила сердце, ум, мысли, требовала затраты сил <...> Зачем? Что дала? Что искала в ней? Конечно, были и трудные минуты. На нее все же ушло слишком много творческих сил. В области любовных переживаний все испытала. Какие разные были положения и на каком различном фоне! Крым, Кавказ, Париж, Лондон, швейцарские вершины <...> Конгрессы... Пестрая жизнь. Красочный дом! А итог?»

До итога, однако, было еще далеко. Да и сама она ничуть не верила в то, что пора подводить какие-то итоги. Даже поразившее ее известие о смерти в Крыму от скоротечной чахотки Женечки Мравинной — сестры, прославленной в то время певицы — не выбило Коллонтай из привычного рабочего ритма. Писала статью за статьей, выступала на митингах и собраниях — о войне, о том, что никто не может стоять в стороне, когда решается судьба человечества, что никакого нейтралитета в таких вопросах быть не может. Но для Швеции нейтралитет был основой ее существования, а не только политики! И Коллонтай нашла здесь приют именно благодаря шведскому нейтралитету...

«Вломились утром, в восемь часов, — записала она в дневнике про свой неожиданный арест. Формально за статьи, за выступления на собраниях и за то, что у меня с утра до вечера толкался народ — русские и шведы. Обвиняюсь в нарушении шведского нейтралитета и злоупотреблении гостеприимством <...>». Ее хотели выслать в Финляндию, то есть фактически в Россию, прямо в объятия полиции, но после протеста влиятельных шведских друзей отправили обратно в Копенгаген — с запрещением навсегда — именно так: НАВСЕГДА — по-

являться на территории Швеции. Еще не раз в самых разных жизненных ситуациях она вспомнит об этом безапелляционном запрете...

Копенгаген... Опять одна! «Все время ворчала в Стокгольме, — самокритично записала она в дневнике, — что Шляпников мешает работать. Теперь жизнь наказала. Никто не мешает. Никому нет дела до меня. А не работается».

Как могло ей работаться, если приходилось каждые несколько дней менять жилище? Достаточно было даже самой невинной полицейской проверки, чтобы хозяева пансиона вежливо просили на следующее утро освободить помещение. Неприкаязность и страх побудили ее вызвать Шляпникова из Стокгольма. Впрочем, он и так бы приехал, без всякого вызова. Не приехал — примчался. «С А. отношения лучше, чем были раньше, — признавалась сама себе Коллонтай. — Теплее. Пожалуй, ближе. Я ему много помогаю в его работе <...> Из него может выйти лидер, подлинный лидер. Ведь все данные есть».

Все-таки Ленин был прав, утверждая, что она «мешала» Шляпникову «правильно работать». Правильно — в смысле: безоговорочно следовать линии Ленина, механически изгибаясь вместе с ней. Покорное следование кому бы то ни было и чему бы то ни было всегда было ей чуждо, абсолютных кумиров, абсолютных авторитетов не существовало, к любому тезису, к любой идее, к любому лозунгу она всегда относилась критически. Авторство Ленина вызывало у нее уважение, но — не больше. Безоговорочно соглашаться с Лениным лишь потому, что это Ленин, она не могла. И этим, конечно, влияла на Шляпникова, который метался между двух — безусловных для него — маяков: между Лениным и Коллонтай.

Многие годы спустя, незадолго до смерти, готовя для передачи в архив свои дневники, она бритвой вырезала из них целые пассажи, в которых Ленин подвергался ее безжалостной критике за свою пози-

цию в те годы. О том, что именно такими были вырезанные куски, можно судить по сохранившимся от этой вивисекции обрывкам фраз. В двух вопросах (но главных, важнейших!) она не могла сойтись с «нейстовым швейцарцем» (Ленин жил тогда в Берне): отношение к войне и право наций на самоопределение. Ее страстные выступления против войны, которая «ни одному рабочему в мире не несет ничего, кроме трагедии», встречали у Ленина только насмешку: «Мы не можем стоять за ЛОЗУНГ мира, — втолковывал он ей в одном из писем, — ибо считаем его архипутаным, пацифистским, мешанским, помогающим правительствам <...> Лозунг <...> захолустный притом, воняет маленьким государством <Дания? Швеция?>), отстраненностью от борьбы, убожеством взгляда <...>».

Ленин требовал от Коллонтай «пропаганды, ведущей к превращению войны в гражданскую войну», а она, не отвечая ему на это прямо, уклонялась от ТАКОЙ дискуссии, чувствуя, что никакая сила не может ни под каким предлогом подвинуть ее на одобрение войны, тем паче — гражданской!.. Своих против своих... «Мне больно вообще за всех, до отвращения, до гадости, до злобы больно — хочется возненавидеть человечество, чтобы не было так больно. Ведь подлое, а главное, глупое оно. Какое глупое!» Этот несколько странный на первый взгляд пассаж сохранился в ее дневнике как реакция на очередное ленинское послание. Из-за того, что вырезано все вокруг (от тетрадных страниц остались одни лохмотья), логическую связь между ленинской бранью и ее инвективами против всего человечества увидеть не просто, но эмоциональная связь очевидна и в комментариях не нуждается.

Наряду с Лениным ее постоянным корреспондентом в то время был Бухарин. Вот уж с ним у нее не было никаких разногласий! Не поэтому ли почти вся их переписка исчезла — скорее всего, была уничтожена ею самой в тридцатые годы. Но и то, что осталось, говорит само за себя: «Бухарин мне

пишет: «Ленин уперся в стенку самоопределения наций. Он в плену этой идеи». Бухарин прав. Если стоять за самоопределение наций, тогда логически надо стоять и за «защиту отечества». И тогда начинается «сказка о белом бычке». Неужели Ленин будет стоять за этот лозунг? <...> Наш лозунг сейчас должен быть: долой самоопределение наций!.. <...> Ненавижу шовинизм, национализм и не верю, что пролетариату надо бороться за национальное самоопределение. На что это ему?»

При всей сумбурности ее позиции, при всей мешанине из заученных революционных лозунгов и инстинктивного стремления к воспринятым с детства элементарным человеческим ценностям ее отторжение от ленинского фанатизма вполне очевидно. Тем более странными кажутся в этом контексте выпирающие из него, но относящиеся к тому же периоду дневниковые строки: «Меня тянет «влево», и потому сейчас голос Ленина мне понятнее и ближе. <...> Хочу узнать поближе <...> Лениных. Меня лично к ним обоим тянет». И тут же: «Взволновало раздраженное письмо Ленина и его листовка, посвященная «национальному самоопределению». Он за самоопределение наций. И как-то упорно, именно упорно <...> проводит свой взгляд. Но быть последовательным приверженцем теории самоопределения наций не значит ли дойти до защиты отечества, до милиции? <...> В лозунгах Ленина много ошибок».

Приписка Коллонтай: «А. полностью со мной согласен» — говорит о многом. Но Ленину «А.» (то есть Шляпников) писал совершенно другое. Об этом свидетельствует фраза из ответного ленинского письма: «От души рад, если товарищ Коллонтай стоит на нашей позиции». Кто кого из них обманывал? И зачем?»

Вдвоем за бутылкой дешевого вина встретили Новый год, и Шляпников уехал в Стокгольм. Там были налаженные каналы для связи с Россией, и

Ленин требовал от Шляпникова не отсиживаться в «вонючей» и «захолустной» Дании, а вернуться (в не менее «вонючую» и «захолустную», по его терминологии) Швецию. «Если Вас будут теснить (полиция) в Стокгольме, — наставлял он Шляпникова, — Вам надо спрятаться ПОД Стокгольмом в дереушке (это легко, у них везде телефон). Я думаю, и Коллонтай легко могла бы incognito приехать вскоре в Стокгольм или подгородное местечко». Чем могло грозить ей это incognito, Ленина не интересовало: к жертвам во имя революции он относился глубоко равнодушно. Но сам предпочитал не рисковать.

«Я сейчас, как школьница, оставшаяся без гувернантки, — записала Александра в дневник сразу же после отъезда Шляпникова. — Одна! Это такое наслаждение!.. <...> Мне казалось, я просто не вынесу этой жизни вдвоем. Приспособилась, однако. Подкупила его ласка (всегда одно и то же! Всегда на это попадаешься!). Потом появились тысячи нитей. Ах, я даже люблю его, совсем нежно люблю. Но до чего, до чего я была бы счастлива, если б он встретил милое, юное существо, ему подходящее. <...> Только после отъезда А. я начала по-настоящему работать».

Предложение норвежских друзей — руководителей социалистической партии — переехать в Норвегию показалось (и оказалось) счастливой удачей. Куда угодно — только прочь из Копенгагена! Никогда не могла толком объяснить, чем он ей так не угодил: не плохим же климатом только... Но неуютно ей здесь было всегда. И поэтому сборы были недолги.

Смешавшись с толпой на пароме, который перевозил пассажиров до Мальме, она высадилась в начале февраля на запретный для нее шведский берег, где ее уже ждал предупрежденный заранее Шляпников. Он довез ее в поезде до Гетеборга, сам вернулся в Стокгольм, а Коллонтай продолжила путь до

Норвегии. В Христиании (нынешнем Осло) ее встречали...

Эрика Ротхейм, та самая норвежская певица, с которой они так сблизилась в Германии, устроила в маленький, тихий отельчик в горах над Осло: полчаса на электричке от города, да еще двадцать минут пешком. С тех пор курортный поселок Хольменколлен и семейный пансион «Турист-отель» навсегда войдут в ее жизнь. «Наш домишко — красная изба, но внутри электричество, центральное отопление, телефон. Чистота идеальная. В воскресенье приезжает молодежь гулять, кататься, прыгать на лыжах. <...> Снег, сосны, ели, запущенные снегом, внизу Христиания и фиорды. <...> Странное чувство удивительного покоя и в то же время неловкости за то, что в это ужасное, кошмарное, кровавое время попала в это зачарованное царство гармонии и красоты. <...> Взрослые и дети катаются на санках, слышен перезвон бубенчиков — Россия...»

Тоска по родине, по старому родительскому дому, по всему, что там ее окружало, не мешало Коллонтай в своих сочинениях с легкостью переключаться на «революционный» язык и утверждать совсем не то, что отвечало ее душевному настрою. Здесь, в Хольменколлене, томясь по России и всюду сладостно подмечая сходство окружающего ее пейзажа с пейзажем российским, уюта норвежского пансиона с уютом петербургского особняка на Средне-Подъяческой улице, она написала, едва приехав, в одной из статей: «Какое такое ОТЕЧЕСТВО есть у рабочего, у всего неимущего люда? <...> Отечество есть у генерала, у помещика, у купца, у фабриканта, у всех тех, кто носит в кармане туго набитый кошелек <...> Но что дает «родина» рабочему — русскому ли, немцу ли, французу?.. Родина для неимущего люда не мать, а мачеха...» Неужели она сама верила в то, что писала? Автор личного дневника и автор пропагандистских статей и брошюр, помеченных одними и теми же датами, это

два разных автора — и по мысли разных, и по слогу, и по чувствам...

Иногда вечерами из соседней комнаты тихо звучала музыка Грига. Это его вдова приезжала в пансион, где композитор провел не один день своей жизни, поиграть на его пианино: оно благоговейно хранилось, и комната, в которой Григ некогда жил, никому не сдавалась. Эрика Ротхейм имела поблизости небольшой домик — Александра забегала туда временами на чай, но беседы затягивались обычно до вечера, «чай» переходил в ужин...

Один такой визит ее особенно доконал. Кроме Эрики присутствовали еще две дамы. «Разговор ни о чем, — записывала той же ночью в дневник Коллонтай. — Скука. <...> Что делают эти люди, когда нас, гостей, нет? Муж на службе, дети в школе, а жена? Меня еще девочкой пугала эта неотвратимая скука в благополучном семейном доме. <...> Вчера, смотря на Эрику Ротхейм, я поняла, что она от опостылевшего семейного повседневно часто удирает за границу и что там у нее всякие переживания: надо заполнить пустоту жизни». И сразу беспощадный вывод: «Я устала сближаться с людьми, приспосабливаться к новой обстановке, сживатьсь. Я устала вбирать жизнь <...> А жизнь все суровее, требовательней, неумолимей...»

Ее дневник становится все подробнее, выдавая не только ее одиночество и потребность в исповеди, но еще и трудно совместимую с привычным ритмом новую реальность: дел стало значительно меньше, энергию тратить не на что, и вдруг появилась масса свободного времени.

«...На днях приедет Саня. А у меня двойится желание, двойится настроение. Одной все-таки тяжело, без близких. Но когда я желаю присутствия Сани, то всегда себе представляю кого-то близкого, родного, кто обо мне ласково подумает. Стоит же представить себе всю действительность, и руки опускаются. Опять начнется: «Сделай это! Найди то! Напиши для меня и т. д.» И потом, меня прямо пугает

мысль о физической близости. Старость, что ли? Но мне просто тяжела эта обязанность жены. Я так радуюсь своей постели, одиночеству, покою. Если бы еще эти объятия являлись завершением гаммы сердечных переживаний <...> Но у нас это теперь чисто супружеское, холодное, деловое <...> Так заканчивается день. И что досадно: мне кажется, будто Санька часто и сам вовсе не в настроении, но считает, что так надо.

Если б он мог жить тут как товарищ! Как веселый товарищ он мне мил, я люблю с ним говорить, даже приласкать его, он же — милый мальчик. Но не супружество! Это тяжело».

Шляпников приехал 8 марта 1915 года, и этот приезд не только ее не обрадовал, но скорее раздосадовал, а затянувшееся его пребывание начало раздражать. Не оттого лишь, что сорвался, хотя формально и прошел, женский праздник, который Коллонтай с усердием готовила. Этот день — 8 Марта, — который для нее уже стал почти священным, не пробудил в сердцах левых норвежек похожих эмоций. Но главное — накануне она получила известие, которое едва не сразило ее. Александр Саткевич — Дяденька — сухо сообщал, что женится и просит его поздравить с законным браком.

«И с кем?! — задавала вопрос Коллонтай своему дневнику. — С очень, очень обыденной «дамочкой» <значит, знала ее? Следов этих «знаний» в ее архиве обнаружить не удалось.>, безличной и типично буржуазной. <...> Я понимаю прекрасно всю психологию Дяденьки и рада за него, потому что сейчас это то, что ему нужно. И потому, что она даст ему все свое тепло, заботу. А он, бедный, в этом очень нуждается. У меня даже теперь какое-то чувство успокоения за него, но когда я читала письмо, сидя у Ротхейм (я его там получила), мне казалось, что я читаю письмо с извещением о смерти близкого человека. Эта свадьба — крест на нашу долголетнюю, особенную близость-дружбу. Ровно двадцать лет знакомства, дружбы, понимания <...> Сколько пере-

жито! Двадцать лет? Мне кажется, много, много больше. Мне кажется, у меня всегда была Дядина дружба, его забота, его исключительная привязанность. Великая, незаменимая ценность! Опора, последняя опора в жизни! Казалось, без нее вообще не прожить. Сколько раз в самые тяжелые минуты жизни борьба, сознание, что где-то есть человек, для которого я самое дорогое в жизни, давали силы и вносили утешение. Мысль, что всегда можно позвать Дяденьку, давала иллюзию, что я не одна, и помогала нести жизнь... Я знала <...> что где-то есть человек, к которому я всегда могу обратиться и за большим, и за малым, который сделает для меня все, что сможет, и сделает с радостью».

Трудно понять, на что рассчитывала Коллонтай, много лет держа на расстоянии человека, столь ей преданного и столь необходимого. Он терпеливо ждал, когда наконец ей надоест скитаться по белу свету и потянет, как всех людей на земле, к нормальному семейному очагу. Не дождался. И дождаться не мог: Коллонтай не была создана для домашних идиллий. Саткевич уже стал генерал-лейтенантом, одним из самых влиятельных военных инженеров России, карьера его развивалась успешно, зенит жизни был пройден, близилось пятидесятилетие, — самое время (крайнее время!) подумать и о себе. О том, что ждет его впереди... Разумом она это хорошо понимала, сердце понимать не желало. Об этом с предельной обнаженностью рассказывает ее дневник: страница за страницей, одними и теми же словами, множество раз — одно и то же, одно и то же... В этой повторяемости и проявились с особенной остротой тоска, отчаяние, безысходность.

«Провела бессонную ночь. <...> Так сиротливо! Если б я чего хотела сейчас, так это одного: присутствия Дяденьки. Выплакаться на его плече, на все, на все пожаловаться <...> Теперь я для него почти чужая. А сколько лет и сколько мук нас связывало. И сколько тепла и добра я от него видела! Это един-

ственный человек, который меня не только любил по-настоящему, по-большому, по-человечески, но и знал, и понимал».

Шляпников уехал выполнять очередное ленинское задание — на этот раз в Лондон, где будто бы нашелся издатель, готовый выпустить сочинения лидера русских большевиков и пополнить тем самым «партийную кассу». Ленин постоянно нуждался в деньгах — во всяком случае, непрестанно напоминал об этом, а нуждаются ли в них его товарищи по «общему делу», интересовало его, похоже, не слишком. Во всяком случае, этот мотив звучит в его письмах куда как реже...

Вместе со Шляпниковым поехала еще одна русская эмигрантка — юная Лида, «из эсеров», как писала о ней Коллонтай, — «чистая и милая девушка, но узкая, не чувствует, что совершается сейчас». Из этой краткой характеристики трудно понять, что она думала о возможной сопернице, но в дневнике ее нет ничего, что свидетельствовало бы даже о малой толике ревности. Напротив: «Проводила Александра — и отдыхаю. Он пробыл здесь один месяц и три дня, а кажется, был год. До чего устала вся! Как всегда при нем ничего не наработала, запустила даже свои одежды и сижу без денег. Сижу без сапог и даже без белья — все рвется и рвется <...> Мы живем на то, что зарабатываю я одна. Когда я одна, могу помогать еще и товарищам, и партию поддерживать, а с Александром ничего не остается».

Не только ради денег, но просто стосковавшись по перу и листу бумаги, Коллонтай с жадностью погрузилась в работу. «Общество и материнство» — так называлась книга, которую она теперь готовила. Вечно дорогая ей тема, проблемы, не связанные напрямую с войной, о которой только и разговоров повсюду! Мысли ее, как всегда, о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, но — тоже как всегда — лишь в сочетании с классовой борьбой и социальными конфликтами.

«Свободное материнство, право быть матерью, — писала она, — все это золотые слова, и какое женское сердце не задрожит в ответ на это естественное требование? Но при существующих условиях «свободное материнство» является тем жестоким правом, которое не только не освобождает личности женщины, но служит для нее источником бесконечного позора, унижений, зависимости, причиной преступлений и гибели <...>

Что же удивительного, если страх последствий заставляет рабочих быть осмотрительнее при общении влюбленных и все чаще и чаще прибегать к практике неомальтузианства?»

Теоретические концепции рождались из личных жизненных наблюдений. Социальные битвы, правда, шли вдали от уютного, тихого Хольменколлена, но женщины были всюду, и беды их всюду одни и те же. Приходила выплакаться на груди все понимающей Коллонтай «маленькая женщина, жена часовщика» — любит другого, хочет и боится иметь от него ребенка, пока не ушла от мужа. Другая — «с мужем не венчана, но разве есть разница по существу? У них «свободная любовь», но какая же это любовь? Она ненавидит его «аппетиты», ей это скучно, особенно по утрам она ненавидит это удовольствие. У нее хозяйство, скромное, но берущее время, силы <...> Зачем ей ребенок от такой любви?» Дневниковые записи похожи на заготовки к книге.

Но не размышлениями о горькой доле женщины и о коварстве мужчин примечательны и эти черновики, и сама книга. Откровенная защита неомальтузианства как неизбежной реальности находилась в полном противоречии с лозунгами большевиков, для которых так называемое неомальтузианство, а попросту говоря — контрацепция, было жупелом, им пугали и мужчин, и женщин. Если вчитываться внимательно в то, что писала тогда Коллонтай, отсекая словесную шелуху в виде штампованных «революционных» тривиальностей, и обратиться собственно

к ее мыслям, то окажется, что они никак не совпадают с жесткими, догматичными ленинскими установками. Тем не менее именно в эти дни — так, по крайней мере, считается — состоялся ее переход на позиции большевизма и окончательный разрыв с меньшевиками.

Никаких формальных следов этого перехода, видимо, не существует. Наверное, и быть не могло. Еще не наступила эра партийного бюрократизма, который сопровождал вступление в партию определенным «протоколом» и требовал отражения этого исторического шага в каких-либо документах. Оттого и приходилось потом немногим оставшимся в живых партийным «ветеранам» мучительно доказывать свое «членство». Коллонтай столкнулась с этим во второй половине сороковых годов, когда для получения пенсии ей надо было подтвердить «партийный стаж». Ничто, кроме не слишком содержательной и допускающей самые широкие толкования ленинской фразы из письма Шляпникову — «от души рад, если товарищ Коллонтай стоит на нашей позиции», — ничто другое не свидетельствовало о том, что она стала вдруг большевичкой. Более того, вроде бы став большевичкой, она по-прежнему активно сотрудничала с меньшевистской парижской газетой «Наше слово», оправдываясь перед тем же Лениным и другими непримиримыми своим стремлением донести «революционные идеи» до русских волонтеров во Франции, которые читали эту газету. И ни одной ее статьи в то время мы не найдем в большевистской «Правде», куда регулярно посылали свои материалы из эмиграции русские большевики.

И однако же, есть еще один аргумент, подтверждающий, что именно в мае 1915 года она сделала решающий выбор. С датировкой «май 1915» в дневнике есть такая неожиданная запись: «Вместе с меньшевиками я хотела строить, но сейчас время разрушать. Дорогу большевикам! Дорогу левым! Какие уж там «реформы», строительство и т. п. Еще

надо воевать и воевать. Не строить, а разрушать приходится. Война открыла нам глаза, отрезвила нас. Я испытываю чувство громадного облегчения и радости, когда слышу от левых, от большевиков-интернационалистов, настоящий, старый, забытый революционный язык. Язык «чистого социализма» с его непримиримостью! Надо вверх, вверх от земли. К идеалам!»

Если эта запись не более позднего — много, много более позднего — происхождения, то и в этом случае она едва ли может служить комплиментом большевикам, еще менее — лично ее автору. С чего бы вдруг Коллонтай именно в тот момент, нашедший достоверное отражение в ее подлинных записях, письмах и свидетельствах близких людей, заразилась бациллой тотального разрушительства? С чего бы вдруг ее привлек язык «чистого социализма» (более чем условный термин, содержание которого никому не известно)? Как совместить все, что она думала и писала тогда же о большевистских (ленинских) взглядах, с этой апологией большевистской непримиримости?

Но у нас есть все основания подвергнуть датировку этой записи, слишком нарочито привязанную к позднейшим претензиям Коллонтай на начало партийного стажа, большому сомнению. Дело в том, что она взята из искромсанной ею в сороковые годы тетрадки, от которой остались случайные обрывки, но где зато есть много исправлений, подчисток, а главное — вклеенных вставок. Кто поручится за то, когда на самом деле была сделана эта запись? Можно, конечно, провести экспертизу бумаги и чернил и установить таким образом их возраст, но зачем?

Переписка с Лениным продолжалась — все о том же: о мире и войне, о ее перерастании в войну гражданскую, о праве наций на самоопределение... С другой своей корреспонденткой — Инессой Арманд — Ленин в то же самое время переписывался совсем на другую тему, которая интересовала

Коллонтай куда как больше: «свободная любовь», «поцелуи без любви» и «поцелуи с любовью»... Арманд готовила книгу на тему, в которой Александра считала себя едва ли не специалисткой номер один, но с такими вопросами «совать» к Ленину не решалась. А Инессе было дозволено все. Владимир Ильич, который был, конечно, всеведой, но специалистом по любви — отдадим ему должное — себя все-таки не считал, охотно вступил с Арманд в переписку и на эту, далекую от его политических интересов, тему.

За псевдонаучной полемикой — может ли существовать пылкая страсть вне брака и как к ней следует относиться, что такое адюльтер и «мещанские семейные узы» — слишком очевидны реминисценции на личную тему. Но кто знал тогда, кроме них двоих, об этой переписке, беревшей их незажившие раны? Ответы Ленина будут преданы огласке лишь почти четверть века спустя и, оторванные от конкретной житейской коллизии, их породившей, предстанут всего лишь как глубокомысленные эссе партийного моралиста. Письма Арманд, на которые он отвечал, выйдут из архивного заточения лишь через восемь десятилетий. Полностью они не опубликованы до сих пор.

Отрываясь от рукописи, она возвращалась к мыслям о себе, о своей неудавшейся жизни. Вне всякой, казалось бы, логической связи вдруг ворвалась в дневник фраза, красноречиво говорящая о ее душевном смятении: «17 мая 1915 года (4 мая по русскому стилю). 26 лет назад в этот день я пережила первое горе. В этот день застрелился Ваня Драгомиров». Скупая информация, приуроченная не к «круглой» дате, подкрепляется безжалостным самоанализом: «Не верю, что даже Мишулечке <сыну> я дорога. Вот не верю! Может быть, потому, что я не чувствую своей «нужности» ему. Опять ночью мучала мысль: вот я вся ушла в работу, в

свои интересы, я старалась «выковывать» себя, не боялась переживаний, не боялась тратить силы. Казалось, надо, надо из себя сделать человека, чтобы принести пользу делу нашему. И ради этого не сделала и не делаю того, что могла бы для Миши. Когда шел конфликт: дело или Миша, я никогда не колебалась — только дело! Но хочется одного: чувствовать себя НУЖНОЙ, полезной, необходимой <...> Если я делу не нужна, Мише не нужна, тогда зачем же я живу?»

Ее чувство вины перед брошенным сыном понятно и объяснимо. Но оно, несомненно, обострено сознанием бессмысленности принесенной ею жертвы: ведь непосредственной причиной, побудившей отказаться от жизни с ребенком, и она-то сама хорошо это знала, было вовсе не так называемое «дело», а необходимость уехать (сбежать!) вместе с Дяденькой из Петербурга. Куда угодно — хоть на край света...

«Думала ли я, что буду так одинока? — записано в ее дневнике сразу же вслед за вопросом: «зачем же я живу?» — А ведь до этого вера в прочность наших отношений с А. А., нашей особенной дружбы жила так же крепко, как и 17 лет назад. Только 17—18 лет назад переживала я ту первую драму — поворотный пункт моей жизни. Только 18 лет назад? Я бы поверила, если бы мне сказали, что прошло 40—50 лет. Так все это далеко, так не похоже на то, что окружает. И жизнь другая, и интересы другие, и сама я другая».

«Поворотный пункт моей жизни» — так она определила решение связать свою судьбу с Дяденькой. Ни на миг не задумалась: что за этим последует? А последовали зарубежные встречи с социалистами, одностороннее, лишенное всякой системы, образование, увлечение революцией, стихия непрерывной борьбы — с кем-то и с чем-то, погружение в жизнь, которая принесла немало радостных мгновений, но и месяцы, годы страданий... Теперь наступил час

подсчитывать потери. Он был короток, этот час, — как всегда.

Известия от Миши поступали регулярно — хоть и с большим опозданием, но почта из воюющей России в нейтральную Норвегию все-таки приходила. Куда хуже было с деньгами, присылать которые должен был тоже Миша. Повзрослев, он взялся их «выколачивать» из доставшегося ей по наследству отцовского имения. Но ничего не получалось. Она подзревала, что он весь в нее, — не умеет этого делать и не очень-то хочет. Ее денежные дела шли тем временем все хуже и хуже. Платных лекций больше не было, за статьи платили гроши, других источников финансирования просто не существовало. И вдруг неожиданный подарок: германская левая секция американской социалистической партии приглашала ее в многомесячное лекционное турне по Соединенным Штатам.

Даже боязнь немецких подводных лодок, которые, судя по прессе, безжалостно топили мирные пассажирские суда, не могла ее остановить. И не только потому, что таким образом счастливо решалась проклятая денежная проблема. Долгое пребывание в тихом туристском городке — без среды, без того, что она называла д е л о м (само это слово давно уже стало для нее фетишем), без участия в массовых «мероприятиях» и ежедневного мельтешения знакомых и незнакомых лиц, без всей этой суеты, от которой люди обычно бегут, оберегая свой душевный покой, — она попросту не выносила. И вот теперь представился случай вновь окунуться в ту жизнь, которая для нее уже стала привычной и давала ответ на вопрос: «Для чего я живу?» «Сейчас ночь, но я от радости ни спать, ни работать не могу», — записала она тут же в свой дневник.

Поспешила обрадовать и Ленина: есть возможность «найти доступ к широким американским массам». И в самом деле Ленин обрадовался. Но почему-то выразил свою радость сначала не ей, а Шляп-

никову, в Стокгольм: не согласится ли, спрашивал, товарищ Коллонтай «помочь нам устроить в Америке английское издание нашей брошюры?» Речь шла о ленинском сочинении «Социализм и война». Как и каждый автор, он, естественно, хотел издаваться на разных языках, тем более что за каждое платили деньги. В Америке — так издали казалось — больше, чем в Европе.

Зачем было нужно писать прежде Шляпникову, а не ей самой? Не затем ли, что СВОЕЙ — большевичкой! — Ленин все еще ее не считал и дать ей ЗАДАНИЕ как «члену», связанному партийной дисциплиной, не мог? Трудно найти этому иное объяснение. Тем паче что задание-то было весьма, весьма деликатным: речь шла не просто о поиске издателя, а о переводе брошюры на английский язык. Английским Ленин почти не владел, рядом не было никого, кто мог бы осуществить этот труд, денег на оплату профессионального перевода не было вовсе. Если эти расходы возьмет на себя издатель, автору достанется меньше... «Денег нет! Денег нет! — писал он уже самой Коллонтай, ободренный сообщением Шляпникова, что та готова выполнить все его поручения. — Главная беда в этом!!! <...> Ищите издателей на английском!» Обилие восклицательных знаков должно было передать особо высокий накал чувств и подвигнуть адресата на более энергичные действия.

Вероятно, Коллонтай уже связала себя, хотя бы мысленно, с большевиками. Во всяком случае, она взялась за этот каторжный труд. За две недели морского путешествия, в самых неподходящих условиях (она плыла в четырехместной каюте второго класса), перевод был сделан. В Америке был найден и издатель. Так что задание «партии» она выполнила с блеском. А вот надежда поправить свои денежные дела оказалась тщетной. Согласившись на турне, она заранее не оговорила условия. Прижимистые левые немецкие эмигранты сами рассчитывали извлечь хорошие доходы. Все сборы шли в пользу их

партии, ни одного доллара за лекцию оратору не полагалось, лишь жалкие «суточные», чтобы не слишком голодать в пути, да гостиницы — наспех сколоченные бараки, где стояли только ложе, стул и умывальник.

Но ничто не могло омрачить ее радости от этой поездки, которая и крепкому молодому мужчине могла бы стать не под силу. 123 города — и во всех по лекции, а то и по две! Порой двое суток пути по железной дороге в ужасных условиях третьего класса — и сразу же с поезда в переполненный зал! Но именно это и давало главную радость. Ощущение своей «нужности» — то самое, о котором она так часто писала в дневнике, — давало силы и заставляло забывать о любых неудобствах. Сотни (а случилось, и тысячи) глаз, на нее устремленных, лица людей, ловящих каждое ее слово (оратор она была несравненный), действовали, как допинг. Измученная дорогой, невыспавшаяся и голодная, она зажигалась при виде переполненного зала, стряхивала с себя усталость и, легко переходя с одного языка на другой (их в ее арсенале было тогда четыре), бросала в наэлектризованную толпу лозунг за лозунгом. Ей было все равно, как назывались темы ее лекций. Судя по сохранившимся афишам, назывались по-разному: «Мировая война и будущее Социалистического интернационала», «Война и будущее рабочего движения», «О положении в Европе», «Кому нужна война?» Но говорила она всюду одно и то же, находя слова, подходящие как раз для тех, кто сейчас находился в зале.

«Коллонтай покорила Америку», — писала под конец ее четырехмесячного пребывания за океаном социалистическая газета «Новый мир». В этом восторженном утверждении не было слишком большого преувеличения. Об успехе ее лекционного турне сообщали в Россию и агенты царской полиции. «Известная социал-демократка Александра Коллонтай, — доносил из Парижа в Петербург статский советник Кравильников, цитируя информацию своей

американской агентуры, — утверждала в своих речах, что пролетариат во всех странах обманут и одурачен господствующими классами, затеявшими войну в своих хищных интересах. <...> Интересы международной солидарности в борьбе с международным врагом — капиталом, — утверждала она, — должны стоять выше интересов отечества, которого у рабочих нет и не будет. <...> Лекции Коллонтай вызвали самый живой интерес у американской публики, среди которой преобладали русские и евреи». Этот найденный в архиве служебный донос, не держа в себе чего-либо нового, примечателен, однако, для нас одним обстоятельством: тогдашняя агентура доносила все-таки честно — не то, чего от нее ждали, а то, что было на самом деле.

Пока Коллонтай колесила по Америке, Шляпников колесил по России. Разница была лишь в том, что она это делала легально, под гром оваций, а он — тайно, скрываясь от полиции. На лыжах пересек условную границу, отделявшую Великое княжество Финляндия от метрополии, и, пользуясь конспиративными явками, добрался до Петербурга, а оттуда и до других городов. Таким было задание Ленина, который, сидя в «скучном» швейцарском убежище, требовал от особо доверенных партийцев неукоснительного исполнения самых рискованных поручений. Истины ради надо сказать, что риск ничуть не пугал таких людей, как Шляпников: чем больше опасностей сулило ему очередное «задание партии», тем большее удовольствие оно ему доставляло.

Встретившись в Хольменколлене с Коллонтай, он не столько слушал, сколько рассказывал. И то верно: что она могла ему рассказать? Какими аплодисментами встречали и провожали? Что писала о ней левая пресса? Зато каждый его рассказ — это новый авантюрный сюжет про слежку и погони, про хитроумные ловушки, которых он избежал, про

встречи с людьми — один интереснее другого. Так вдохновившая ее поездка в Америку на фоне этих рассказов оказалась событием рядовым, его же «бросок в Россию» — событием чрезвычайным. Торопливые записи в дневнике, скорее похожие на холодный анализ поступков «товарища по партии», чем на интерес к ближайшему другу, выдают ее раздражение. «Боюсь, что он не сумел извлечь максимума пользы из своей поездки в Россию. <...> Охотно рассказывает, как за ним гонялись сыщики, а о деле?! Он видел и <...> Горького, но не сумел использовать свидания с ним, чтобы почерпнуть от него ясного ответа на злободневные вопросы и связать его на будущее время. <...> Обрадовало только, что Горький не патриот».

Не красоты стиля здесь интересны (напрасно, кстати, большевистский канцелярит связывают обычно лишь с постоктябрьским периодом), а ход мысли, узко прагматическое отношение к людям, даже столь выдающимся, тем паче что Горький был к ней расположен, помогал — и раньше, и позже — чем мог. Как издатель, как литературный авторитет, как влиятельная в обществе личность.

«Мне кажется, Александр превратил в самоцель свою поездку, укрывательство от шпииков и т. д. <...> Моя вина, что он слишком скоро взобрался туда, куда он не должен был лезть. Партийное положение — представитель ЦК — все это далось слишком просто, легко, без усилий. И он уже готов почитать на лаврах.

Боюсь, что и Ленин поймет, что была ошибка послать Александра. Будь я в ЦК, меня бы не удовлетворили доклады Ал. Такая затрата денег!»

Скорее всего, Коллонтай была права, но правота эта как-то не радует. Может быть, потому, что замешана на обиде. Ленин действительно был недоволен Шляпниковым, не сумевшим, по его мнению, со всеми деталями отчитаться за свой опасный вояж. Реакция Шляпникова на ленинский гнев, видимо, очень точно воспроизведена Александрой в ее днев-

нике: «С чего это ЧУХОТА расходилась? Чем я ей неугоден? Где мне было писать отчеты, когда я все время ехал и бегал?» И дальше: «Кончилось тем, что, движимый сознанием взяться за дело, он стал диктовать мне письма к разным лицам (на английском и немецком языках). И вместо того, чтобы его «заставить работать», я попала в роль секретаря. Всегда так!»

Они все еще вместе, но разрыв уже неизбежен, хотя Шляпников этого, похоже, не осознавал. Он явно не мог понять, что происходит в душе его подруги, не видел ее метаний и, скорее всего, не хотел видеть. Впрочем, многого и не знал. Не знал, как страдала она, получив известие о женитьбе Дяденьки. Не знал, что в эти дни перевернулась формально давно перевернутая еще одна страница ее жизни: решением Священного Синода наконец-то был расторгнут ее брак. Признание ею своей «вины» в распаде «брачного союза» дало право Владимиру вступить во второе супружество. Женщина, с которой он и так давно уже жил, — Мария Ипатьевна Скосаревская, педагог по профессии, хозяйка дома по призванию, — обеспечила Мише, писал Владимир, «так ему нужный материнский уход». Какво ей было это читать?

Все сошлось как-то сразу. «Исчез» Маслов — письма от него больше не приходили. Писала она — ответов не было. А Шляпников зачем-то над этим глумился. «И не напишет! — заносила она в дневник его слова. — Твой Маслов дрянью стал. Патриот». Зачем А. так говорит? Мне больно. <...> Маслик, Маслик, мой милый П. П. Где он? Получил ли мое письмо?»

Она переживала глубокий душевный кризис, но самый близкий человек, находившийся рядом, ничего этого не замечал. Вряд ли он даже предполагал, что его Шура в это время размышляет о том, как оборвать уже ей надоевшую связь. Была готова к этому, но — не решалась. «Саня для меня не просто Саня, а нечто собирательное. Кусочек пролетариата,

олицетворение его. Ну как, как его обидишь? Это главное. Но будто есть и другое. Мне жутко потерять в Сане последнюю связь с той страницей жизни, которая говорит о том, что я все еще женщина. Не самка, а именно женщина <...> Женщина, которую любит, все еще любит мужчина. Мне не надо физиологии сейчас...» В этом месте тетрадный лист срезан — следы беспощадной редакции, которой Коллонтай подвергла свои дневники во второй половине сороковых годов. Но по сохранившимся обрывкам легко понять, какой психологический шок — в дополнение ко всему другому — переживала она весной и летом шестнадцатого года.

Совсем нежеланные, пугающе нежеланные признаки, которые она в себе обнаружила, побудили ее обратиться к врачу. Опять на помощь пришла Эрика Ротхейм, устроившая ей вполне конфиденциальный и недорогой визит. Об этом — остатки записи, сохранившейся в дневнике: «Была у доктора. Успокоил совершенно. Ни о какой беременности и речи быть не может. Вошла в «критический период»? Уже? Значит, перевал? Нет, не чувствую старости и как-то еще не верю в нее».

«Успокоил совершенно...» Об этом «успокоении» красноречиво свидетельствует следующая дневниковая запись: «То, что я сейчас переживаю, не поддается пока передаче <...> Слишком это было бы чудовищно, но и жутко. Минутами мне кажется, что я все это сама выдумала, преувеличиваю, что это моя «боязнь», моя «мнительность». Но потом, точно смеясь надо мною, жизнь даст почувствовать этот или другие «симптомы». Мука, женская мука, которой нет слов, нет названия. Ужас, ужас, ужас!..»

Об этих муках и о том, что их вызвало, Шляпников и не подозревал. Не чувствовал даже, что имеет самое прямое отношение к тем переживаниям, которые выпали на долю любимой им женщины. Его глухота и слепота поражали ее. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения, была его реакция на известие о приезде Миши.

Уже окончивший к тому времени несколько курсов технологического института, Миша должен был отправиться в действующую армию. После огромных людских потерь, понесенных за два года войны, льготы для студентов были отменены. Получив его паническое письмо, Александра связалась по почте со старым петербургским другом — еще тех, «коллонтаевских», времен — военным инженером Сапожниковым, и тот устроил Мише взамен призыва поездку на военные заводы США в качестве приемщика русских заказов. Путь лежал через Норвегию, но просто очередное свидание с сыном Александру уже не устраивало. Кризисное состояние, в котором она пребывала, побуждало ее хвататься за брошенного некогда мальчика как за спасительную соломинку. Она приняла решение ехать в Америку вместе с ним — уже без всяких приглашений, без надежды на лекции, которые никто не хотел устраивать, и даже на газетные статьи, которые никто не хотел там печатать: всего за несколько месяцев ситуация изменилась.

Шляпников, вернувшийся из очередной поездки в Швецию, вызвался ехать тоже. Ему и в голову не приходило, что он «третий лишний».

— Я хочу хоть несколько месяцев быть только мамой, — убеждала она.

— Ты?! — Он залился смехом. — Ты будешь сидеть, как курица над яйцом? Ни за что не поверю! Миша уже взрослый, он будет сам целыми днями на работе.

— Нам надо побыть вдвоем, неужели не понимаешь?

Разговор ничего не дал — Шляпников не сдавался. Втайне от Коллонтай он написал Ленину, что собирается вместе с ней в Америку, и Ленин, ничего не знавший о возникшем конфликте и вообще чуждый любых сантиментов, когда речь шла о «деле», надавал ему кучу заданий.

— Я еду самостоятельно, независимо от вас, —

победоносно заявил Шляпников. — На том же пароходе. Вы можете со мной даже не разговаривать.

До отплытия парохода, на который были заранее взяты билеты, оставалось еще две недели, и Шляпников уехал в Швецию завершать свои дела: он был занят отправкой в Россию нелегальной литературы. Ни о чем его не предупредив, Коллонтай поменяла билеты на более ранний рейс, и они с Мишей уехали одни. Сбежали... Вернувшись, Шляпников нашел письмо, которое она оставила в отеле: «Так надо. <...> Когда-нибудь ты поймешь мои материнские чувства. <...> Если хочешь, приезжай. Но потом...»

Шляпников не приехал. На его горькое письмо, где он невпопад упрекал ее в ревности, она ответила не менее горьким: «Не знакомо мне чувство ревности, как не знакомо и то, что люди зовут любовью к родине. Эти ощущения атрофированы. <...> А нам... Нам просто пришла пора расстаться». «Твой, пока муж, Санька», — подписался он под очередным письмом. Но очередное оказалось последним — перевернулась и эта страница.

ВАЛЬКИРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

В тихом, милом Хольменколлене воистину трудно было поверить, что где-то идет война, гибнут люди, что на родине зреют такие события, которые очень скоро перевернут весь мир. В Норвегию Коллонтай вернулась одна — Миша остался в Соединенных Штатах исполнять свою миссию. До полей сражений там было далеко, и сознание того, что он в безопасности, несло душевный покой, позволяя целиком отдаться писанию статей и брошюр, заказы на которые шли теперь бурным потоком. Шляпников, поняв окончательно, что возврата к прошлому нет, уехал в Россию, возглавив по поручению Ленина Русское бюро ЦК, главный штаб которого находился по-прежнему за границей. Или, попросту говоря, в квартире Владимира Ильича.

Неизбежность грядущих перемен была очевидной, и сразу же по возвращении из Америки Коллонтай стала писать пропагандистскую брошюру «Кому нужен царь и можно ли без него оботись?». Предвидя неизбежное падение царизма, она отразила в брошюре будущую тактику Ленина в традиционных для большевиков того периода выражениях: «Мало убрать царя. Надо вырвать власть у тех, кто

прикрывался царем, — бюрократов, чиновников, помещиков, капиталистов, и передать власть народу». Как эта «передача» произойдет, кто будет считаться «народом», которому власть достанется, — об этом, естественно, в брошюре не было ни слова. И зачем? Партия, объявившая себя народной, как раз и была тем самым народом...

Коллонтай еще дописывала последние страницы брошюры, когда газеты принесли ошеломительную весть из Петрограда: в России революция, царь отрекся от престола, брат царя тоже, создано Временное правительство... В спешном письме из Швейцарии Ленин требовал от Коллонтай немедленно возвращаться в Россию и сообщал, что стремится к тому же. Александре это было проще, чем Ленину: всего лишь пересечь нейтральную Швецию, тогда как ему — воюющую Германию. Известно, что уже через несколько дней после февральской революции в России к Коллонтай в Христианию приезжали из Стокгольма Яков Ганецкий и из Берлина Александр Парвус. Оба деятеля, замешанные в самых темных операциях большевиков, связанных с тайным получением германских денег, занимались организацией переезда Ленина и его товарищей из Швейцарии в Россию.

Во всех источниках глухо сообщается, что в Христиании они вели с Коллонтай «переговоры о возвращении Ленина в Россию». Уже сама по себе эта фраза, абсолютно лишенная конкретного содержания, побуждает задуматься над тем, что же, собственно, за нею скрывалось. О чем конкретно эти два господина могли «переговариваться» с Коллонтай? Что могло от нее зависеть? Да, Ленин должен был ехать в Петроград через Стокгольм. Но Коллонтай еще несколько лет назад была выслана из Швеции без права в нее возвращаться, жила в Норвегии и никаких серьезных контактов в Стокгольме не имела. У Ганецкого там было куда больше связей: в шведской столице он держал фирму, наживавшуюся на поставках самых разных товаров

в воюющую Россию (от стратегического сырья до презервативов для офицеров и солдат). Эти деньги шли на партийные нужды. Ни в какой помощи Коллонтай он нуждаться не мог. А уж Парвус, имевший прямые контакты с германским генеральным штабом, с правительственными и финансовыми кругами Германии, — тем более. Теперь доподлинно известно, что именно благодаря ему и через него шли русским большевикам немецкие деньги для подрыва изнутри царской власти и ослабления тем самым России — противника Германии в войне.

Но зачем-то они все-таки приезжали. Никто и никогда не поставил вопроса: какая острая необходимость привела их обоих внезапно в тихий Хольменколлен к ничего не решавшей Коллонтай? При чем в тот момент, когда они-то и были в центре исторических событий по переброске русских эмигрантов-большевиков в Петроград? О чем они с ней говорили и до чего договорились? История эта весьма загадочна и туманна, но одну версию можно все-таки предложить. Не должна ли была Коллонтай, возвращаясь в Петроград еще до прибытия первого эшелона из Цюриха, прихватить с собой не только инструкции, но и крупные деньги на партийные нужды? Если так, то это могли быть только немецкие деньги, ибо доходы от спекулятивных операций фирмы Ганецкого переправлялись из Стокгольма в Петербург по банковским каналам для подставных физических и юридических лиц.

Известный историк русского революционного движения Владимир Бурцев, перечисляя тех, кто имел прямое касательство к получению 70 миллионов марок (цифра эта, согласно позднейшим архивным находкам, значительно преуменьшена) от германских властей русским большевикам, наряду с Лениным, Зиновьевым, Раковским, Парвусом, Ганецким и другими, называет и Коллонтай. Уже тогда была известна переписка — в частности, между Ле-

ниным и Коллонтай, — из которой было видно, что Александра Михайловна самым непосредственным образом замешана в переводе денег загадочного происхождения через стокгольмский «Ney Bank» на счет петроградского представителя фирмы «Nestle» Суменсона, к которому имели доступ большевики. Поэтому выполнение ею курьерских функций для срочной и надежной доставки наличных рвущимся к власти большевикам было естественным продолжением деятельности, которой она уже занималась. Это не требовало ее посвящения в какие-то новые тайны. И тогда экстренный визит Парвуса и Ганецкого перед самым ее отъездом в Петроград теряет всякую загадочность.

К тому времени в Петроград уже возвратились большевики, находившиеся в сибирской ссылке. Среди них было два члена ЦК — Лев Каменев и Иосиф Джугашвили-Сталин, а также бывший член Государственной думы Матвей Муралов, которые еще до возвращения Ленина решили завладеть руководством партии. Шляпников возглавлял в Петрограде Русское бюро ЦК, то есть был всего лишь ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Ленина, тогда как Каменев и Сталин — ЧЛЕНАМИ ЦК, к тому же отмучившимися в ссылке, а не отсидевшимися в эмиграции. Реально захват власти в тех конкретных условиях мог вылиться только в захват центрального партийного органа — газеты «Правда», членом старой редакции которой был Каменев.

Так что еще до приезда Коллонтай в Петроград там уже произошел раскол. Захватив «Правду» на правах членов ЦК и отстранив Шляпникова от руководства Русского бюро под тем предлогом, что они имели больший партийный стаж, Сталин и Каменев решили навязать партии ту политическую стратегию, которая расходилась с ленинскими установками. По иронии судьбы, именно их, а не ленинские политические планы сулили России спокойное

и продуктивное развитие. Вместе с поддержавшими Сталина и Каменева Леонидом Серебряковым, Василием Шмидтом, москвичами Виктором Ногиным и Алексеем Рыковым, тоже только что вернувшимися из ссылки, эта группа предвидела ДЛИТЕЛЬНЫЙ период буржуазного правления, считая диктатуру пролетариата делом весьма отдаленного будущего. В сущности, это была меньшевистская позиция, и совсем не случайно Сталин прямо высказался за союз с меньшевиками.

«Центристам» и «умеренным» противостояли «радикалы»: Шляпников и поддержавший его Вячеслав Молотов, которые требовали продолжения борьбы до полного захвата власти большевиками. Получившая от Ленина инструктивную телеграмму: «Никакой поддержки новому правительству, никакого сближения с другими партиями», Коллонтай, еще будучи в Норвегии, присоединилась к радикалам. То есть, проще говоря, — к Ленину. Сталин, который еще утром, в день приезда Ленина, на Всероссийской партийной конференции отстаивал свою позицию, немедленно ее поменял, как только Ленин поддержал Шляпникова, а не его. Но это, впрочем, еще впереди...

Поездка Коллонтай обошлась без всяких приключений. Предупрежденные заранее о ее приезде, Александру встречали в Петрограде на Финляндском вокзале самые близкие — Татьяна Щепкина-Куперник и ее муж Николай Полынов, а также Шляпников: в добротном и хорошо сидевшем на нем костюме, в накрахмаленной сорочке с галстуком, с аккуратно подстриженными усами и ухоженными волосами, зачесанными на пробор, он имел вид русского интеллигента из разночинцев, человека со вполне устроенной судьбой. Шляпников прибыл на вокзал не в качестве друга, а на правах члена исполнительного комитета Петроградского Совета депутатов рабочих и крестьян. В данном случае эта существенная деталь касалась не только их личных отношений, а имела гораздо более серь-

езный характер. Когда таможенный чиновник пожелал досмотреть багаж, Шляпников, видимо хорошо знавший о его содержимом, предъявил свой мандат: «Именем Петросовета вскрывать вещи не позволяю». Для пущей надежности тут же поднял чемодан (один из многих, которые привезла Коллонтай!) и сам его понес, не доверяя драгоценный груз носильщику.

На вокзале, в комнате для почетных гостей, они обнялись — как товарищи. И сразу же перешли на «вы», подведя тем самым черту под их общим прошлым. Несколько дней спустя Шляпникову удалось улучшить минуту и, оставшись наедине, спросить ее, зачем она так обидела его, по-воровски сбежав в Христиании. Но мог ли иметь значение ее ответ, каким бы он ни был? Начиналась бурная политическая жизнь — ощущение свободы, полная необремененность личной жизнью были для Коллонтай спасением и надеждой.

Уже на следующий день после приезда она отправилась в «Правду» — на набережную Мойки, — где полностью верховодили Каменев и Сталин. Здесь и произошла ее первая встреча со Сталиным, имя которого ей было, конечно, известно, но не связывалось до сих пор ни с какими конкретными делами. Ему она и отдала присланные ей Лениным в Христианию для передачи в «Правду» статьи «Письма из далека». Вероятно, в этом не было никакого особого намерения или смысла — передала ему, потому что встретила его, а он входил в редакцию газеты. Но эта случайность оказалась счастливой: Сталин запомнил, что Коллонтай сразу признала его реальным хозяином «Правды». Много позже, ретушируя свою память и создавая задним числом «документальное свидетельство современника», Коллонтай писала о первом впечатлении, которое произвел на нее будущий вождь мирового пролетариата: «Замкнутость Сталина не позволяла сразу разглядеть его, понять его значимость. Он отличался от большинства партийцев скупостью речи. <...> Ста-

лин выступал редко, кратко, четко и с силой логики, которая вызвала одобрение Ленина. Мы, большевики, поняли, кто такой Сталин и что он значит для партии, лишь после <...>». Тщательный и осторожный подбор слов не помешал, однако, Коллонтай довести до будущих читателей подлинный смысл этого пассажа: Сталин тогда не значил еще ничего, и в передаче ему ленинских статей никакого особого смысла искать не следует.

Коллонтай — с ее рассчитанным на массы пропагандистским пером — и сама была желанным автором «Правды». Одна из ее первых статей, приуроченная к похоронам жертв февральско-мартовских событий в Петрограде, хорошо передает и эмоциональный настрой тех дней, и ее собственный душевный подъем, и восторженно патетический стиль — без особого почтения к русской грамматике, к смыслу и тональности употребляемых выражений, — тот надрывный, с придыханием, стиль, которым всегда отличались ее газетные публикации.

«Сегодня — день похорон героических жертв русской революции, сегодня — день радостно-скорбного торжества... Мы не только с песнями братской печали хороним этих героев, но и с гимном победы предаем земле и царское самодержавие со всем, что в нем было кроваво-преступного, темного, с его издевательствам над рабочим людом, с его закрепощением крестьян, с солдатским бесправием, с продажностью слуг царских, с тюрьмами, Сибирью, нагайками, виселицами, с его произволом, гнетом, насильем.

И потому рядом с песнями скорби по павшим борцам за свободу к весеннему небу подымутся голоса многомиллионного ликующего хора, воспевающего торжество революции, завоевание народом той свободы, при которой только и возможна борьба за хлеб, ЗА МИР, ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ РАБОЧЕЙ ДЕМОКРАТИИ В НАСТОЯЩЕМ, за социализм в будущем».

Статьи Коллонтай стали появляться в «Правде»

и других большевистских газетах едва ли не каждый день. В них она полностью поддерживала Ленина — по всем без исключения вопросам. Особенно страстно выступала против политики Временного правительства, считавшего, что после свержения царизма и победы революции защищать отечество от внешней опасности стало долгом каждого российского гражданина. Ленин презрительно называл это «революционным оборончеством». Такая политика сулила укрепление позиций Временного правительства и вместе с тем продолжение войны с непредсказуемыми последствиями, тогда как у Ленина было тайное обязательство перед немцами — довести страну до скорейшего поражения в интересах ДРУГОЙ революции — большевистской. Яростно защищая ленинскую позицию, Коллонтай в своих статьях не жалела бранных слов против своих вчерашних друзей, обозванных ею «изменниками рабочему делу», — Жюля Геда, Марселя Самба, Альбера Тома, Эмиля Вандервельде и других.

Через девять дней после благополучного прибытия Коллонтай в Петроград (вместе с заветным чемоданом) из Цюриха тронулся запломбированный железнодорожный вагон, места в котором заняли Ленин с Крупской, Инесса Арманд, Григорий Зиновьев и его жена Злата Дилина, Григорий Сокольников — один из самых интеллигентных русских большевиков, приятель Мейерхольда и Пастернака, Карл Радек и другие эмигранты из ближайшего ленинского окружения. По договоренности Парвуса и Ганецкого с немецкими властями, отправляющимся в Россию большевикам была гарантирована дипломатическая неприкосновенность, а вагон оборудован отдельной, забитой продуктами, кухней, на которой исправно трудился специально нанятый повар.

В ожидании известий об их приезде Коллонтай безуспешно пыталась узнать хоть что-то о местонахождении сына — он был в это время тоже в пути,

но она не имела никакой информации. Зато Полынов узнал о том, где находится ее бывший муж. Ставший уже генерал-майором и отправленный в отставку по болезни, Владимир медленно угасал в военной гостинице, превращенной в лазарет: все больничные койки были заняты ранеными, доставленными с фронта. Навестить больного у Александры не было времени: митинги, заседания, конференции... Ее избрали в Петроградский Совет от военной организации большевиков, а вскоре — вместе с Каменевым, Шляпниковым, приехавшим позже Троцким и другими — и в исполком Совета, заседавший непрерывно.

Дежурный по гостинице несколько раз сообщал Владимиру: от имени госпожи Коллонтай звонили какие-то люди, предупреждая, что она, к сожалению, вынуждена отложить свой визит из-за неотложных дел. Наконец он все-таки состоялся. Чудом сохранившиеся обрывочные дневниковые записи генерала Коллонтай хорошо передают атмосферу этого визита и чувства, которые испытывала сама визитерша. «...Приехала неожиданно к часу дня А. М. и разные знакомые. <...> Временами поднимался такой галдеж, что не было возможности разобраться, кто что говорит...» Час, который она провела у постели больного, был посвящен исключительно политическим спорам. «Выздоровливай. До встречи», — напутствовала она, торопливо прощаясь, отца своего сына, человека, которого, если верить ее дневниковым записям и мемуарам, всегда горячо любила.

Больше они не виделись. Через несколько дней Владимир Львович Коллонтай умер. Побывать на его похоронах у Александры времени не нашлось. Проводить бывшего друга, соперника и товарища по несчастью пришел генерал-лейтенант Саткевич. Встретиться лично с обремененным семьей Дяденькой Коллонтай не посмела: слишком хорошо знала его политические симпатии, да и боялась сорваться — рана еще не зажила. Саткевич возложил на

гроб Владимира два венка: от себя и от его бывшей жены. Никакого поручения от Александры он не имел — сделал это по своей воле. Другой венок от нее же, выполняя поручение Александры, возложила жена Владимира Мария.

Уже на следующий день после визита к больному — Владимир был еще жив — Александра выехала в пограничный с Финляндией Белоостров встречать Ленина и его друзей. Среди встречавших были также Сталин, Каменев, Шляпников, один из руководителей Совета матросов Балтийского флота (знаменитого Центробалта) Федор Раскольников, еще несколько человек. Встреча была теплой, но в традиционно деловом ленинском стиле. После первых же рукопожатий приехавший вождь набросился на Каменева и Раскольникова за их статьи в «Правде» в поддержку Временного правительства. Остальные избежали его инвектив: Сталин по причине того, что писал мало и старательно выбирал выражения, Шляпников и Коллонтай потому, что были полностью на ленинских позициях. Короткий путь от Белоострова до Петрограда был примечателен тем, что Ленин отослал в соседнее купе сопровождавшего его по территории Финляндии видного финского социал-демократа Густава Ровио, а на его место пригласил Коллонтай. Кроме нее, этой чести удостоилась Инесса Арманд, которая не отходила ни на шаг от четы Ульяновых всю дорогу от Цюриха. Затем были отосланы в купе по соседству Крупская и Инесса, и Ленин остался с Коллонтай один на один.

И опять возникает вопрос: чем именно заслужила Коллонтай эту честь? Ведь в поступке Ленина не могло быть случайности, а всяческим сантиментам, лишенным деловой основы, он был полностью чужд. С Коллонтай его не связывали никакие личные отношения, виделись они раньше крайне редко, все контакты в основном шли через почту, а положение, которое она тогда занимала в партии, было достаточно скромным. Во всяком случае, беседа со Стали-

ным или со Шляпниковым была бы для него, казалось, гораздо важнее. Краткое совместное путешествие, доверительная беседа наедине — нет ли связи между этими фактами и той — видимо, чрезвычайной — миссией, которую выполнила Коллонтай, перевезя чемодан из Норвегии в Петроград? И случайно ли, что о содержании их беседы в закрытом от ушей посторонних купе не осталось не только документальных (это естественно), но и мемуарных свидетельств?

Когда поезд прибыл на Финляндский вокзал Петрограда и оркестр заиграл «Марсельезу», Ленин стремительно выскочил из вагона и не вошел, а вбежал в «царскую комнату» — в круглой шляпе, с изыбшим лицом и роскошным букетом в руках. Посреди комнаты стоял, намереваясь произнести приветственную речь, председатель Петросовета меньшевик Николай Чхеидзе, но Ленин не стал его слушать, заявив, что скоро народы всего мира «по призыву нашего товарища Карла Либкнехта <...> обратят оружие против эксплуататоров-капиталистов. Да здравствует всемирная социалистическая революция». Восторженнее всех внимала этим словам и аплодировала Коллонтай. Она же выступила с приветствием от Петроградского партийного комитета, а Шляпников от ЦК. День спустя — одна из очень немногих — Коллонтай пылко выступила в поддержку оглашенных Лениным Апрельских тезисов, где также делалась ставка на новую революцию, которую должны подготовить большевики.

Щепкина-Куперник и Полюнов предоставили Коллонтай большую комнату в своей просторной квартире на Кировской улице. Благодаря своим размерам и комфорту, но главное — благодаря присутствию Коллонтай, квартира сразу же превратилась в место партийных собраний. Туда приезжали Ленин, Яков Свердлов и другие руководящие товарищи. После похорон Владимира Александра пе-

реселилась в его квартиру: с Марией у нее сразу же сложились добрые отношения. Можно даже сказать, что они стали подругами. К этому времени из Америки благополучно вернулся Миша, и наконец-то мать и сын, соединившись, зажили вместе, если эти суматошные дни и ночи, отданные нескончаемым митингам и совещаниям, можно вообще назвать жизнью. Сын был рядом, но виделась с ним она ничуть не чаще, чем в те времена, когда тот был далеко: она уходила из дома — он еще спал, возвращалась — он уже спал.

У Миши была своя, взрослая жизнь. Только из газет он узнал о том, что его мать шла во главе четырехтысячной демонстрации петроградских прачек, бастовавших из-за низкой оплаты труда, и ничуть не меньшей по численности демонстрации солдаток, которые требовали скорейшего возвращения мужей с фронта.

Газеты — главным образом не большевистские — следили за каждым ее шагом, фиксируя любое публичное появление. В один голос они называли ее Валькирией Революции. Про ее вдохновенные речи складывали легенды. Сестра Зои, артистка Вера Юренева, оставила воспоминания об одном из ее митинговых выступлений: «...На стол, изображающий трибуну, взбирается женщина и обращается с речью к солдатам. <...> Звук и дикция для классической трагедии, темперамент, достойный героического пафоса. И в то же время в словах что-то совсем простое и понятное этой слушающей громаде. Мысль, интонация ясны и просты, как дневной свет, как свежая вода или камень при дороге. Это Коллонтай! Это ее тонкая, складная фигура, упрямая голова и голубой взгляд из под крутых черных бровей. <...> Солдаты переминаются с ноги на ногу, качаются, как волны суконного моря старинных феерий. Сначала солдаты недоверчивы, иронически бурчат при появлении на трибуне женщины.

— Товарищи! — несется звенящий голос над го-

ловами затихающей постепенно толпы. — Я привезла вам привет от рабочих Норвегии, Швеции и Финляндии. Ура!»

До сих пор самой популярной женщиной в России была Мария Спиридонова — левая эсерка, о стойкости и мужестве которой ходили легенды. Она прошла каторгу, причем в самых мучительных ее вариантах, подверглась в полиции унижению и пыткам, но от своих идей, как бы к ним ни относиться, не отрекалась и теперь, освобожденная революцией, пользовалась огромным успехом на митингах, где горячо ратовала за поддержку Временного правительства и скорейший созыв Учредительного собрания, которое должно было определить политический строй России. Не имевшая ни такого прошлого, ни вообще какой-либо известности в России за пределами узкого круга партийных единомышленников, Коллонтай за считанные недели потеснила Спиридонову в ее популярности — имя ее было у всех на устах, а появление на митингах стало встречаться восторженными криками толпы. На одном солдатском митинге обе женщины как-то сошлись вместе: Спиридонову внимательно и уважительно слушали, Коллонтай под восторженные крики вынесли на руках к ожидавшему ее автомобилю.

Иностранные журналисты, присутствовавшие на этих митингах, сразу заметили нового кумира толпы. «На узком возвышении, — телеграфировал в Париж специальный корреспондент газеты «Журналь» Поль Эрио, — витийствовала женщина с острым, выразительным профилем и пронзительным голосом. Она металась из стороны в сторону по этой импровизированной сцене, безостановочно жестикулируя, то неистово прижимая руки к груди, то угрожающе разрубая воздух ладонью и завораживая внимавшую ей толпу. Она яростно клеймила врагов революции, обещая им неминуемую расплату. Этим оратором в юбке была свирепая Коллонтай, подруга Ленина. Ее слова находились в полной гармонии с

той истерической атмосферой, которая сразу же возникала, где бы она ни появилась».

Трудно сказать, что конкретно имел в виду французский журналист, называя Коллонтай «подругой Ленина» (другой его коллега написал о ней в «Эко де Пари»: «советчица и вдохновительница Ленина»), — она не была таковой ни в каком смысле. Но ее ошеломительный ораторский успех побудил Ленина доверить ей самое трудное и, казалось бы, невыполнимое: воздействовать уже не на солдат, а на матросов. На кораблях шло брожение, там всюду действовали большевистские агитаторы, но влияние анархистов и эсеров (матросы были в основном выходцами из крестьян, а в этой среде безраздельно главенствовали эсеры) было значительно большим. Повернуть на свою сторону матросскую массу до сих пор не удавалось ни одному оратору-большевику. Возложение этой миссии на Коллонтай было актом, поражающим своей дерзостью и точностью выбора. Вряд ли кто-нибудь, кроме Ленина, мог решиться на это.

Нога женщины еще не ступала на борт ни одного русского военного корабля. Ее присутствие там, по давним поверьям, сулило несчастье. Поэтому, даже не открыв рта, она уже вызывала вполне определенное к себе отношение, вполне определенный настрой. Пойти на это, преодолев естественный страх и пренебрегая вековыми традициями, могла лишь женщина, не только склонная к безоглядной авантуре, но и фанатично преданная идее.

По договоренности с Центробалтом были запланированы ее выступления на известных тогда каждому россиянину военных кораблях «Гангут», «Республика», «Андрей Первозванный» и других, стоявших на рейде у Кронштадта и Гельсингфорса. Сопровождал Коллонтай из Петрограда богатырского сложения мичман флота Федор Раскольников (Ильин), один из признанных лидеров революционных матросов, резко выделявшийся в этой массе своей начитанностью, любовью к литературе и куль-

турой речи, что позволяло в пути обоим не «снисходить» друг к другу, не приподниматься на цыпочки, а разговаривать как равная с равным. Путь их лежал сначала в Гельсингфорс, где в качестве члена Петроградского комитета партии Коллонтай должна была выступить на заседании враждебного большевикам Гельсингфорсского Совета, а затем и на кораблях. Там ее ждал никогда с ней до этого не встречавшийся, только что ставший председателем Центробалта матрос Павел Дыбенко — такой же богатырь, как и Раскольников, бородач с ясными молодыми глазами. Встретил, «рассеянно оглядываясь вокруг и поигрывая неразлучным огромным револьвером синей стали». Таким он запомнился Александре после первой встречи. Произошло это 28 апреля 1917 года: дата, которую они оба, таясь друг от друга, будут отмечать до конца своих дней.

С того момента, как Дыбенко, не доверив порывавшемуся сделать то же самое Раскольникову, на руках перенес Коллонтай с трапа на катер и с катера на причал — после ее триумфального выступления на военных кораблях, — малограмотный бородач стремительно вошел в ее жизнь, хотя пока еще не было сказано ни слова о том, что между ними что-то возникло. «Значит, конец?» — с безнадежным отчаянием записала она в своем дневнике всего лишь два года назад, когда ее отношения со Шляпниковым приближались к финалу. «Неужели опять?!» — записала она в блокноте после первой встречи с ним, среди деловых торопливых заметок, поскольку на ведение дневника не было уже не только часа, но и минуты.

Теперь, используя малейшую возможность и малейший повод, он сопровождал ее во всех поездках, тем более что путь Коллонтай — специалистки по Финляндии — чаще всего лежал в Гельсингфорс, где революционные Советы занимали убежденно антибольшевистскую позицию, а тамошние социа-

листы почти целиком находились под влиянием Второго Интернационала. Ее попытки отколоть финских демократов на их Девятом съезде от «изменников делу рабочего класса» и «привязать» их к ленинцам — «друзьям рабочего класса» — принесли частичный успех. Ей удалось расколоть съезд, увлечь за собой часть делегатов. Выступления на линкорах и крейсерах завершались обычно полным триумфом: сторонники «защиты отечества» не могли противостоять обреченному на успех пафосу Валькирии Революции, убеждавшей матросов не воевать, а скорее возвращаться домой, чтобы участвовать в начавшихся посевных работах. Спору нет, эта перспектива — по крайней мере, для большинства — была куда заманчивей, чем перспектива продолжать военную службу.

Легко меняя и темы своих выступлений, и сам их стиль, Коллонтай практически все эти месяцы не сходила с трибуны, каковой нередко служили и ящик от патронов, и перевернутая бочка, а то и чьи-то руки, поднимавшие ее над толпой. Пожалуй, на таких «трибунах» она больше чувствовала себя в родной стихии, чем на трибуне взаправдашней — в нарядном зале, при свете прожекторов. Но и там, если надо, смело вступала в бой с профессиональными политиками и полемистами. Во второй половине июня на Первом Всероссийском съезде Советов ей пришлось представлять большевистскую позицию по национальному вопросу. Меншевик Лев Хинчук сообщил, что на состоявшейся накануне демонстрации «под большевистскими плакатами шла масса черносотенцев». Выступавшей вслед за ним Коллонтай возразить было нечего, поскольку то была чистая правда, но она счель ловко повернула дискуссию в другое русло. «Зачем вообще педалировать национальную принадлежность? — восклицала она. — Буржуазия стремится играть на национальных чувствах, чтобы таким образом объединиться с рабочими «своей» национальности? У рабочих нет национальности, у них есть только принадлежность

к своему классу. Его цель — победа этого класса на всей планете».

Надежда на мировую революцию все еще не покидала Владимира Ильича — препятствием служила, по его убеждению, позиция Второго Интернационала, которому еще два года назад он попробовал дать бой, созвав в швейцарском городке Циммервальде конференцию своих сторонников. Теперь было решено собрать в Стокгольме сторонников Циммервальда, чтобы с учетом новой политической обстановки в России склонить социал-демократов Запада согласовать свою стратегию и сделать ставку на одновременное свержение строя, существовавшего в их странах. Представлять себя — то есть формально, конечно, РСДРП(б) — он послал Коллонтай, дав ей в качестве спутника другого известного на Западе большевика Вацлава Воровского.

Была одна заковыка: легальный въезд в эту страну госпоже Коллонтай был запрещен навеки. Но шведские ленинцы добивались от своих властей, чтобы — без отмены королевского указа — для нее сделали исключение на десять дней. Дыбенко встретил ее в Гельсингфорсе, проводил до границы — пока что все было в рамках товарищеских отношений активно действующих большевиков, озабоченных общими делами. Конференция в Стокгольме, однако, не состоялась — «циммервальдцы» собрались в столь ничтожном составе, что и при самой большой натяжке объявить несколько человек всевропейской конференцией никто не осмелился.

Но приезд в Стокгольм для Коллонтай не был напрасным. Списавшись заранее, она встретила здесь свою ближайшую подругу Зою Шадурскую, возвращавшуюся на родину из эмиграции. Здесь и дошли до них известия о событиях в Петрограде. Тотчас и отправились вместе в обратный путь.

Большевистский заговор для свержения Временного правительства (массовые волнения в Петрограде), который был сразу же объявлен ленинцами

преждевременной стихийной акцией измученных лишениями народных масс, правительство Керенского сумело подавить в течение трех дней (3—5 июля 1917 года) и предало огласке сенсационные документы о государственной измене большевиков. Обнажилась грязная история с немецкими деньгами и спекуляцией на военных поставках. Опубликованная (перехваченная ранее) переписка между Лениным, Парвусом, Ганецким, Коллонтай, адвокатом Мечиславом Козловским, имя которого до тех пор еще ни разу не всплывало, другими большевиками, помимо доказательств о причастности к денежным махинациям, содержала еще и скрытые шпионские сведения, усомниться в чем мог лишь тот, кто заведомо не хотел ни видеть, ни слышать. Два человека особенно неистово требовали самых суровых мер для изменников — неутомимый разоблачитель провокаторов и предателей Владимир Бурцев и бывший большевик, бывший депутат Государственной думы Григорий Алексинский, который вместе с Коллонтай читал лекции в партийной школе в Болонье.

Еще в конце июня Ленин благоразумно покинул Петроград, отправившись в Финляндию отдохнуть на даче отнюдь не бедствовавшего большевика Владимира Бонч-Бруевича. В этом был не столько политический расчет, сколько физическая необходимость: тяжкая болезнь сосудов мозга, которая через неполных семь лет сведет его в могилу, вдруг резко обострилась, потребовав кратковременного, но полного отхода от дел. При первом же известии о беспорядках в Петрограде Ленин вернулся, обратился с балкона дворца балерины Кшесинской, где разместился штаб большевиков, к небольшой толпе, но был встречен без всякого воодушевления. Приказ о его аресте, как и об аресте других большевистских лидеров, тем временем уже был подписан.

Благодаря своевременной утечке информации из министерства юстиции, Ленину и Зиновьеву удалось скрыться, а Коллонтай вместе с Шадурской аресто-

вали еще на шведско-финляндской границе. Зою, впрочем, почти сразу же отпустили, а Александру поместили в известную (существующую и поныне) петроградскую тюрьму Кресты. Туда же были уже заключены Троцкий, Луначарский, Раскольников, Ганецкий по обвинению в причастности к афере с германскими деньгами; Каменев, Дыбенко, Владимир Антонов-Овсеенко и другие большевики — по обвинению в организации заговора против Временного правительства. Через несколько дней Коллонтай перевели в Выборгскую женскую тюрьму. Условия заключения были не Бог весть сколь суровыми. Во всяком случае, Миша и Зоя имели возможность не раз ее посетить, снабдив не только предметами первой необходимости, но и домашними пирогами, пирожными, трюфелями — Александра была немыслимой сладкоежкой.

Арест еще выше поднял и без того уже достаточно высокий ее престиж в партийных кругах. Ни до, ни после он ни разу не поднимался до такого уровня. Валькирия Революции, как и остальные арестанты и беглецы, незримо присутствовала на тайно открывшемся Шестом партийном съезде. Реальный президиум съезда, руководивший его работой, составили пять человек: Сталин, Свердлов, Ломов, Ольминский и Юренев, почетный — и самый главный — Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Коллонтай и Луначарский. Стенограмма не велась, подлинные протоколы не сохранились. Девять лет спустя Институт истории партии безуспешно пытался установить, кто же в точности на этом съезде был избран членом ЦК. Путем опроса свидетелей и сопоставления имевшихся документов удалось установить 22 имени. Вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, Рыковым, Сталиным, Свердловым была избрана и Коллонтай. Даже вовлекшая ее в революцию и ставшая партийным функционером Елена Стасова в ЦК не попала.

Дыбенко писал узнице Выборгской тюрьмы вос-

торженные письма, но бдительная стража послания председателя Центробалта «гражданке Коллонтай» передавать отказалась. Обитатели Крестов использовали прогулки для политических собраний, в которые нередко вовлекались и другие арестанты, весьма далекие от политики. Троцкий предпочитал оставаться в камере и писать, но иногда выходил и он — в заграничном плаще и мягкой фетровой шляпе. Однажды во время общей прогулки с воли пришла весть о том, что около 4000 так называемых «межрайонцев» (меньшевики-интернационалисты, центристы, большевики-«примиренцы» и прочие) оптом приняты в партию. В их число входил и Троцкий, равно как и те, с кем Коллонтай жила и работала в Париже, в частности Луначарский. Это известие гулявшие по двору тюрьмы встретили криками «ура» и на радостях послали стражника в город за бутылкой водки... Через несколько недель после принятия в партию Троцкий уже стал членом ее Центрального Комитета.

Коллонтай пребывала в худшем положении — в женской тюрьме не было ни одной политической арестантки. На свидания в основном приходила Зоя, изредка Щепкина-Куперник. Проводив их, Коллонтай тотчас садилась за письма к ним же: не успела наговориться. «Моя бесконечно любимая, дорогая, близкая моя! — писала она Зое. — Ты только что ушла, только что кончился мой праздник — свидание с тобой. <...> В первые дни я много спала. Кажется, выспалась за все эти месяцы напряженной работы <...> Ощущение, будто я не только отрезана, изолирована от мира, но и забыта».

Долго спать, однако, ей не пришлось. После краха похода на Петроград генерала Лавра Корнилова политическая ситуация снова кардинально изменилась. Правительство решило отпустить арестованных большевиков под залог. Долгие годы существовала версия, что необходимые для освобождения Коллонтай пять тысяч рублей собрали Горький и инженер-большевик Виктор Красин. Возможно, они и

собрали деньги, да в этом не оказалось нужды. Как свидетельствуют новонайденные архивные документы, ведший дело следователь Павел Александров вызвал Мишу и предложил внести за мать вместо денег кредитные облигации по их номинальной стоимости. Эти ценные бумаги, полученные Мишей несколько лет назад от управляющего имением Свикиса, уже и тогда считались разве что объектом ностальгических воспоминаний. Через несколько недель они даже формально превратились в бумажный сор. Но какую-то роль Горький все же сыграл: вместе с женой, артисткой Марией Андреевой, дал письменное поручительство за то, что Коллонтай не сбежит от властей.

В первый же день после освобождения Троцкий уже выступал в переполненном зале цирка «Модерн», а Коллонтай, собравшись для выступления на другой митинг, была у двери квартиры остановлена полицейским нарядом. Схватившись, Керенский распорядился заменить тюрьму не освобождением под залог, как решил министр юстиции Александр Зарудный, а домашним арестом. Для большей солидности это решение вместе с ним подписали еще и заместитель военного министра Борис Савинков, и министр внутренних дел Николай Авксентьев, видный социал-демократ, в недавнем прошлом ее добрый знакомый.

Домашний арест хоть и лишил ее на время возможности принимать участие в публичных акциях, зато позволил хоть немного побыть с сыном. Ленин тем временем уже перебрался из своего укрытия — шалаша на дачной станции Разлив, где он прятался вместе с Зиновьевым, — в Финляндию. Сначала он жил в Гельсингфорсе на квартире ставшего городским полицмейстером Густава Ровио, потом сменил это убежище на конспиративную квартиру в Выборге. Едва добившись отмены домашнего ареста, заgrimировавшись и искусно сбивая с толку филеров, Коллонтай в сопровождении Дыбенко отправилась его навестить. О чем они говорили с глазу на глаз,

когда Дыбенко сторожил подходы к квартире, ничего не известно. Но самый факт этой таинственной встречи говорит, как минимум, о том, в какой степени «партийной» близости находились тогда эти два товарища. Ни о какой иной близости не могло быть и речи — даже для подозрений такого рода нет ни малейших оснований.

Роман с Дыбенко между тем развивался совсем не так, как предыдущие романы. Казалось, в эпоху революционных потрясений находящиеся в самой их гуще люди и любовь переживают столь же бурно и порывисто, пренебрегая условностями и ничего не откладывая «на потом». Коллонтай именно так и поступала всегда, пренебрегая тем, кто и что про это скажет: условности для нее вообще не существовали. На этот раз — по причинам, которые она сама никак и нигде не объяснила, — роман, начавшись, тянулся с непривычной для нее медлительностью, прежде чем достигнуть наивысшей фазы. Сохранилось несколько почтительных записок Дыбенко того времени — при всей своей краткости они хорошо передают характер отношений Валькирии Революции и матросского лидера: «Александра Михайловна! Не откажите приехать на обед. П. Дыбенко», «Товарищ Колантай. Я буду сегодня в 7 часов вечера. С сердечным приветом. П. Дыбенко»...

Вряд ли ее смущала разница в возрасте — семнадцать лет. Отношения со Шляпниковым показали, что это не помеха. Ведь в конечном счете не Санька же бросил ее, а она его. И не случайно, наверно, к ней тянулись не те, кто старше, а те, кто моложе. Все современники отмечали, что в двадцать пять она выглядела на десять лет старше, в тридцать пять ей нельзя было дать больше тридцати, когда же ей было за сорок, она казалась двадцатипятилетней. И кто скажет, что причина, а что следствие: ее не поддающаяся возрасту внешность привлекала к ней мо-

лодых или их влюбленность делала ее все моложе и моложе?

Павел Дыбенко был выходцем из совершенно неграмотной крестьянской семьи, продолжавшей жить в деревне на Украине. Мобилизованный на действительную военную службу, он попал во флот и почти сразу же оказался вовлеченным в нелегальную работу, которую активно вели среди матросов агитаторы-большевики. В матросской среде он не только отличался лихостью, буйным темпераментом и импульсивностью поступков, но еще и слыл грамотеем благодаря исключительной красоте чисто писарской каллиграфии: каждая буква, написанная его крупным почерком, имела немислимое количество всевозможных крючков, узлов, завитушек — всего того, что на позднейшем советском жаргоне именовалось «архитектурным излишеством». Из тех, кто его окружал, никто так писать не умел, что не мешало ему — и тогда, и после — чуть ли не в каждой фразе делать немислимое количество грамматических и орфографических ошибок.

К такого рода мелким издержкам Коллонтай относилась вполне снисходительно: главное — с Дыбенко ее связывала общая цель жизни — победа мировой революции, общая вера в коммунистические идеалы, общие друзья и враги. Перед этой общностью отступало все, что могло их разъединить, — происхождение, воспитание, знания, культура, а тем более возраст. Как всегда, ей казалась, что вот наконец-то — впервые, впервые! — она встретила человека, предназначенного ей судьбой.

В конце сентября прошли переьборы исполкома Петроградского Совета. Его председателем по предложению большевиков был избран Троцкий. В президиум — постоянно действовавший руководящий орган — от большевиков, кроме Троцкого, вошло еще двенадцать человек: Коллонтай, Шляпников, Ка-

менев, Иоффе, Бубнов, Сокольников, Евдокимов, Федоров, Залуцкий, Юренев, Красиков, Карахан. Хотя большинство из названных к нашему повествованию прямого отношения не имеет: их надо было всех перечислить, поскольку к этому списку мы еще вернемся.

Троцкого Коллонтай никогда не любила — при сходстве темпераментов он был полным ее антиподом. Высокомерный и хорошо знавший себе цену, решительно чуждый всяческих сантиментов, фанатик, чей ум был подобен безупречно работающей быстродействующей машине, Троцкий не терпел той самой «женской специфики», которая составляла в руководящем партийном ядре ее отличительную черту. Он мог принять женщину в революцию при непременном условии, что она теряет всякую женственность и превращается в мужчину, носящего юбку. А лучше и прямо брюки... Коллонтай же и в революции хотела остаться не просто женщиной, но — дважды, трижды женщиной, сочетающей пылкую страсть со стрельбой во врагов рабочего класса, томную нежность — с зажигательными речами, призывающими к восстанию. Такие «несоединимости» вызывали у Троцкого откровенную брезгливость. К тому же он был убежден, что Коллонтай наушничала Ленину о его не слишком большом поклонении вождю и о его собственных притязаниях на вождизм. Встречаясь с ней и в Париже, и в Нью-Йорке, он не скрывал своей отчужденности. Не то что галантность, но и обычная вежливость — в его понимании, «буржуазная светскость» — была ему ненавистна. Работать с ним вместе было для Коллонтай истинной мукой, но охватившее ее новое чувство помогало не замечать эти «мелочи жизни».

Труднее всего было войти вместе с Троцким в комиссию ЦК, которая должна была «расследовать» обвинения против Ганецкого и Козловского в денежных махинациях и связях с немцами. Те, кому были предъявлены обвинения, сами «проверяли» их

обоснованность. Как и следовало ожидать, комиссия признала всех невиновными — Коллонтай страстно ораторствовала на ее заседании, Троцкий молчал и безоговорочно подписал протокол.

Наступил день, который определил судьбы мира на многие десятилетия. 10 октября на квартире уехавшего из города меньшевика Николая Суханова собрался Центральный Комитет большевиков, чтобы обсудить предложение Ленина о вооруженном восстании. Хозяйка дома — жена Суханова — большевичка Галина Флаксерман, впустив гостей, ушла «по своим делам». Из двадцати одного (по уточненным данным — из двадцати двух) членов ЦК присутствовало только двенадцать: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Коллонтай, Свердлов, Дзержинский, Урицкий, Бубнов, Сокольников, Ломов. Опасаясь преследований, все они явились загримированными — Ленин под старичка-крестьянина, забредшего в столицу из далекой деревни. Он изложил свои аргументы: во всей Европе нарастает революционное движение — стоит русским большевикам начать, и пожар революции охватит весь мир; империалисты — Германия и страны Антанты — готовы заключить мир друг с другом, чтобы совместно удушить русскую революцию. Керенский решил сдать Петербург немцам; близится крестьянское восстание; большевики уже обладают всенародным доверием — и так далее. Зиновьев сразу же возразил: обсуждать, достаточны ли эти аргументы для того, чтобы вооруженным путем попробовать захватить власть, бессмысленно, поскольку ни один из них попросту не соответствует истине — Ленин выдавал желаемое за действительное. Каменев убедительно показал, что «за нас» отнюдь не большинство народа России и даже не большинство международного пролетариата. Учредительное собрание, говорил он, гораздо точнее определит волю страны. То есть, иначе говоря, они оба противопоставили навязанной «диктатуре пролетариата» демократическую, парламентарную республику. С ними схлестнулись

сторонники Ленина — Коллонтай, пожалуй, энергичнее всех. Ее экзальтация, как всегда, заменяла доводы, но Ленин и его сторонники в них вообще не нуждались.

Один из ораторов все же задал нескромный вопрос: возьмем власть, а что будем делать с нею потом? Ответ у Ленина был готов: «Захват власти — цель восстания. Что говорил Наполеон? Надо ввязаться в драку, а там посмотрим». Десять участников заседания проголосовали за предложение Ленина. Двое — Зиновьев и Каменев — против. Смешно, конечно, говорить о «легитимности» решения, принимаемого группой заговорщиков-нелегалов. Но все же... По свидетельствам участников Шестого партийного съезда, Урицкий вообще не был избран членом ЦК и голосовать, стало быть, не мог. Из не явившихся одиннадцати, по крайней мере, Рыков, Ногин, Милютин, Бухарин и Крестинский голосовали бы против. У Ленина, видимо, все равно было бы большинство, но отнюдь не подавляющее — это бесспорно.

О том, как принятое кучкой заговорщиков решение было осуществлено две недели спустя, хорошо известно — об этом написаны сотни и тысячи томов. В это время заседал Второй Всероссийский съезд Советов, и Коллонтай — вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Каменевым — была избрана членом его президиума. Сталин такой чести не удостоился, но в ТАКОЙ он и не нуждался. Зал заседаний был полон, но многих делегатов там не было. Некоторые, приехавшие из провинции и жаждавшие столичной жизни, ушли в оперу слушать Шаляпина — он пел в «Дон Карлосе», другие пошли смотреть великую балерину Карсавину — она впервые в тот вечер танцевала в оперетте. Ночью был избран однопартийный — исключительно большевистский — Совет Народных Комиссаров: первое советское правительство. Наркомом труда стал Александр Шляпников. На правах наркома — в качестве члена коллегии по военным и

морским делам — в Совнарком вошел и Павел Дыбенко (другими членами этой коллегии были назначены наркомы Николай Крыленко и Владимир Антонов-Овсеенко, руководивший в эти часы захватом Зимнего дворца).

В эйфории победы, когда Ленин покинул съезд, чтобы в одной из прилегающих к залу комнат сочинить свои знаменитые декреты (о мире, о земле и прочие), Коллонтай дала маху, поддержав предложение Каменева об отмене смертной казни. Февральская революция, собственно, уже ее отменила, и, когда Керенский попытался ввести ее для дезертиров, больше всех негодовали большевики. Узнав, что съезд принял это решение и что «верная ленинка» Коллонтай голосовала за него, Ленин впал в ярость. «Вы что думаете, — бушевал он, — можно совершать революцию без расстрелов? Какая глупость! Какая недопустимая слабость! Пацифистская иллюзия мягкотелых интеллигентиков!» На первом же своем заседании большевистское правительство, следуя за Лениным, постановило, несмотря на решение съезда, «прибегать к смертной казни, когда станет очевидным, что другого выхода нет».

Этому предшествовало закрытое узкое совещание нескольких наркомов под председательством Ленина. В нем принял участие и Дыбенко. Было решено немедленно отрядить верных людей и направить их в министерство юстиции, чтобы изъять из хранившегося там следственно-судебного дела все документы, подтверждавшие антигосударственные контакты с немцами Ленина, Зиновьева, Коллонтай и других. Дыбенко лично принял участие в этой важнейшей акции. Как докладывал участник акции Иван Залкинд, были изъяты (и, скорее всего, уничтожены) документы германского имперского и шведских банков, через которые из Германии шли деньги русским большевикам.

Через шесть дней — 31 октября по старому стилю — состав советского правительства был ра-

ширен по личному указанию Ленина. В качестве наркома государственного призрения в него вошла Александра Коллонтай, став первой в истории женщиной-министром. Очень короткое время в правительстве одновременно состояли люди, сыгравшие такую огромную роль в ее жизни, — Шляпников и Дыбенко. Случай, пожалуй, тоже уникальный во всей мировой истории! Шляпников в этом «рабочем правительстве» был единственным рабочим. Он был решительным сторонником образования не однопартийного, а «однородного» правительства, в котором были бы представлены все партии социалистической ориентации. Но дальше протестов дело не пошло.

Ленин повелел Коллонтай любой ценой пробиться в здание «своего» министерства. Так она и поступила. Арестовав всех сотрудников, отказавшихся с ней работать, она вынудила их отдать ключи от кабинетов и сейфов. Но те оказались пусты. Второй задачей было найти помещение для Дома инвалидов войны. Не долго думая, она решила штурмом взять Александро-Невскую лавру. Ее встретил колокольный звон, созвавший сотни прихожан, попытавшихся воспротивиться силе. Но живые человеческие тела остановить Валькирию, разумеется, не могли. На следующий день во всех церквях Александру Коллонтай предали анафеме. Узнав об этом, она расхохоталась. Вечером, измученный несколькими бессонными ночами, Дыбенко принес в наркомат огромную бутылку водки, и группа наркоматских сотрудников вместе с сопровождавшими Дыбенко матросами отметили отлучение Коллонтай от церкви дружеской попойкой.

Еще два дня спустя Коллонтай внесла на заседание Совнаркома проекты двух декретов, принятие которых она считала важнейшим и первостепеннейшим делом революции. Вскоре оба они были приняты — практически без обсуждения. Декрет о гражданском браке, заменявшем собою брак церковный, устанавливавший равенство супругов и равенство

внебрачных детей с детьми, родившимися в браке. И декрет о разводе, признававший брак расторгнутым по первому же, не нуждавшемуся ни в каких мотивировках, заявлению одного из супругов. Так она сама осуществила свою давнюю мечту, вряд ли предполагая, что абстрактно теоретические умствования так быстро будут практически реализованы, притом ею самой. Одним махом она уничтожила институт семьи, служивший основой общества и превращавший совокупность человеческих индивидов в цельный, подчиняющийся единым законам организм, придававший жизни и цель, и смысл. Вместе с «водой» (унизительное бесправие внебрачных детей) был выплеснут и «ребенок»: взаимные обязательства супругов друг перед другом, их совместные обязанности перед обществом, обязанности взрослых детей перед родителями.

Дыбенко тем временем вместе со своими матросами на подступах к Петрограду старался распропагандировать казаков, которых генерал Краснов собирался повести на мятежную столицу. Акция полностью удалась, Дыбенко принял капитуляцию генерала и отпустил его «под честное слово» не воевать против большевиков, а Керенский, поняв, что все проиграно, бежал, переодевшись сначала в женское платье, а затем в матросскую робу, из Гатчинского дворца, где он скрывался.

В Петроград Дыбенко вернулся победителем и успел вместе с Коллонтай принять участие в очередном заседании Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК), который выполнял тогда роль «законодательного» органа. Заседание было очередным, но поистине историческим: обсуждался вопрос о свободе печати. Ленинцы, естественно, считали такую свободу исключительно «пресловутой» и успели уже за кратчайший период своего пребывания у власти закрыть так называемые буржуазные газеты. Это вызвало возмущение даже многих большевиков. «Пора покончить с политическим террором, — заявил большевик Юрий Ларин под гром

ований. — Печать должна быть свободной!» Ему вторил левый эсер Карелин: «Еще три недели назад большевики были самыми яростными защитниками свободы печати. Что заставило их повернуться на сто восемьдесят градусов?» Вслед за Лениным и Троцким Коллонтай, естественно, была за «свободу печати» лишь в большевистском ее толковании. Она поддержала главный аргумент Ленина: «Если первая революция (февральская) имела право воспретить монархические газеты, почему бы нам не воспретить буржуазные?»

Драматичное голосование принесло ленинцам очередную победу: за совместную резолюцию Ларина и Карелина проголосовали двадцать членов ЦИК, против — двадцать пять. В знак протеста из Совнаркома вышли Рыков, Ногин, Милютин, Теодорович и Шляпников, из ЦК — Зиновьев, Каменев, Рыков, Милютин, Ногин. «Совнарком вступил на путь политического террора, — было сказано в совместной их декларации. — Мы уходим в момент победы, потому что такая победа противоречит целям борьбы, которую мы вели». Что бы ни случилось потом, необходимо все же признать — ради истины: нашлись люди, ужаснувшиеся бездны, которая открывалась этой победой. Люди, осознавшие подлинную цель своих вчерашних единомышленников и друзей — политических авантюристов, захвативших власть с помощью одураченной ими толпы, у которой они пробудили самые низменные инстинкты.

Взбешенный Ленин готов был воздействовать любыми средствами, чтобы остудить горячие головы бунтовщиков. Коллонтай пришлась кстати и здесь. Разорвав личные отношения, она и Шляпников остались друзьями, к ее слову он по-прежнему относился с вниманием. Между ними произошел разговор, после которого Шляпников уступил нажиму — вернулся в правительство, а в благодарность получил от Ленина еще и второй портфель: «сдвоенный» пост наркома торговли и промышленности, оставленный

несломленными Милютиным и Ногиным. Никогда потом он этого не мог себе простить. Только себе? Или ей тоже?..

Отношения с Павлом дошли тем временем до своего пика. Не сразу, но все же о них узнали сначала более близкие, а затем и страна, поскольку и Коллонтай, и Дыбенко были тогда в числе немногих, чьи имена находились у всех на устах.

Никогда не публиковавшееся письмо, важнейшие отрывки из которого приводятся ниже, помогут многое понять и в характере отношений «героев революции», и в их облике. Вот что написал ей (скорее всего — во второй половине ноября) на старом бланке первого помощника морского министра один из лидеров балтийских моряков Федор Раскольников, о чувствах которого к Коллонтай никто и не подозревал.

«Дорогая моя, славная моя Александра Михайловна!

То, что вчера сказал мне Павлуша, было для меня полной неожиданностью. Нельзя сказать, чтобы я ни о чем не догадывался. Нет, замечал известную интимную близость, определенную нежность отношений между Вами и им. Но я не думал, что это зашло так далеко, я совершенно не подозревал, что фактически Вы являетесь его женой. А раз это так, — это значит, что Вы его сильно любите. Такая женщина, как Вы, не может отдаваться без любви. И, поскольку я могу видеть, ваше чувство не одиноко, не односторонне, а спаяно узами взаимной любви. Павлуша сказал, что откровенно объяснить мне истинные отношения его с Вами просили Вы. Милая, милая Александра Михайловна, как я Вам благодарен! <...>

Это Ваше желание поставить меня в известность о таких тайниках Вашей жизни, которых не знает почти никто, растрогало меня до глубины души, едва не до слез. Я нахожу, что Вы поступили очень чест-

но, дорогая Александра Михайловна. Когда Вы заметили, что я жадно, как подсолнечник к солнцу, тянусь к Вам, вы правильно поняли, что здесь с вашей стороны требуется абсолютная откровенность, полная ясность всего существующего.

<...> Вы инстинктивно почуяли, что я начинаю увлекаться Вами. И в самом деле, я сам заметил, как в моей груди стало копошиться нечто более жгучее, чем простое товарищеское чувство. Вы маните, влечете меня к себе с такой же неотвратимой силой, как магнит притягивает железные опилки. К ужасу своему, я стал замечать, что во мне пробуждается самая настоящая, самая доподлинная любовь. Не проходило буквально ни одного часа, чтобы мои помыслы не возвращались к Вам. Я ложился спать и засыпал с Вашим именем на устах; когда я просыпался, то прежде всего вспоминал именно Вас. <...> Когда на днях я ночевал у мамы, то, по ее словам, я и во сне бредил Вами и <...> громко шептал: «Александра Михайловна! В какое отделение ушла Александра Михайловна?» <...>

Я боготворю Вас <...> Но <...> раз Вы и Дыбенко любите друг друга, то я, как третий, как лишний и ненужный, должен уйти. <...> В отношении к такому товарищу, каким для меня был и остается Павел Дыбенко, соперничество, борьба из-за женщины, является низким, неблагоприятным <...>».

Возраст безоглядно влюблявшихся в нее мужчин, как видим, неуклонно снижался. Раскольников был ее моложе уже на двадцать лет. Но это ничуть не уменьшало накала его бурных чувств к женщине, достигшей сорока пяти. Отвергнутый и смирившийся со своей неудачей, он ревновал куда меньше, чем преуспевший счастливчик. Похоже, он гораздо искреннее относился к «Павлуше», чем тот к нему. Зоя Шадурская, которой Дыбенко сразу же приглянулся — уже потому хотя бы, что в нем души не чаяла Александра, — слушала его рассказы о «коварстве» Раскольникова и верила каждому его слову. Именно с легкой руки «Павлуши» Зоя окрес-

тила Раскольников «гаденышем». Как ни была Коллонтай ослеплена страстью к красавцу бородачу, она понимала, что за его наветами нет ничего, кроме ревности. Но именно это и грело, возвышая ее в собственных глазах.

Молва о пылкой любви Валькирии Революции со ставшим знаменитостью вождем балтийских матросов дошла едва ли не до каждого российского гражданина, а в армейских и флотских кругах обсуждалась поистине повсеместно. Узнав о том, что подруга его детских игр, в которую он некогда был влюблен, сошлась с матросом Дыбенко и эпатирует этим Россию, морской офицер Михаил Буковский пустил себе пулю в висок. Он мог пережить все ее бесчисленные романы, но то, что дочь дворянина и генерала, всю семью которого он чтит, пала так низко, — этого вынести он не мог. Известна реакция Коллонтай на информацию об очередном самоубийстве, которое — хотела она того или нет — легло на ее совесть: «Этого еще не хватало!»

Наркому дали наконец трехкомнатную квартиру — одну из многих, стоявших без призора после бегства от большевиков прежних хозяев. Коллонтай поселилась здесь, на Серпуховской улице, 13, с Мишей и Зоей. Оба они деликатно уходили из дома, когда заявлялся Дыбенко. Впрочем, случалось это не очень часто: у обоих было дел по горло. Кроме того, знаменитый матрос боялся себя уронить в глазах других матросов: как-никак, он был их вождь. Известна фраза, будто бы сказанная им в ответ на вопрос матроса Ховрина, верно ли, что их матросскую дружбу он променял на женщину. Дыбенко ответил: «Разве это женщина? Это Коллонтай». Своей братве он, возможно, и мог так сказать, но для него Коллонтай была именно женщиной, перевернувшей всю его душу: ни в каком сне не мог он представить, что ему, малограмотному крестьянскому парню, достанется такая любовь.

Уже зная, что захваченную власть он ни под каким предлогом никому не отдаст, Ленин все же не рискнул сразу покончить с всенародной иллюзией трансформации режима цивилизованным, правовым путем. Он разрешил (да, наверно, практически и не мог воспрепятствовать) провести выборы в Учредительное собрание, назначенные еще Временным правительством. На выборах большевики потерпели сокрушительное поражение, собрав, несмотря на все подтасовки, шантаж и насилие, не более четверти голосов. Абсолютное большинство завоевали эсеры, и уже только поэтому участь Учредительного собрания была предрешена. Коллонтай была избрана его членом дважды: по списку большевиков в Петрограде и по списку большевиков в Ярославле. Наверно, мандатная комиссия, доведись Учредительному собранию нормально работать, один из мандатов признала бы недействительным.

Надежда на мировую революцию все еще владела умами тех, кто дорвался до власти. Пока не было ни малейших признаков того, что она где-то может начаться сама по себе, но для ленинцев это лишь означало, что ее следует подтолкнуть. 22 декабря ЦИК принял решение послать делегацию в Стокгольм «для установления тесной связи между всеми трудящимися элементами Западной Европы <...> и для подробного осведомления ЦИК о событиях, происходящих за границей». Стокгольм был выбран, конечно, не случайно. Мало того что в воюющей Европе это была самая близкая нейтральная страна, большевики уже имели там очень прочные связи, и уж если кто мог их задействовать сразу, так это, естественно, Коллонтай. Въезд в Швецию ей все еще был заказан, но — гонимой эмигрантке, а не члену хоть и никем еще не признанного, но все же правительства! Не той же, о которой взалхлеб писали газеты чуть ли не всех стран мира!

Последнее указание было таким: самой решать вопрос, «в какие страны и в каком порядке она найдет необходимым ехать непосредственно или посы-

лать своих комиссаров <...> вступить в тесные сношения со всеми элементами рабочего движения, которые стоят на точке зрения немедленной социалистической революции и ведут активную революционную борьбу против своей буржуазии...»

На «предварительные расходы» посланцам пролетарской России выдавалось 100 000 рублей из захваченной государственной казны.

Конец года ознаменовался внезапным отъездом Ленина на отдых. Заманчиво было бы обвинить его в самоуверенной убежденности, будто только что захваченную власть он прочно держит в руках и поэтому может позволить себе роскошь не обременять себя текущими делами. Все было куда драматичней. Мучительная боль в результате сильнейших спазмов головного мозга — предвестие скорого конца — требовала, как ему уже подсказывал многолетний опыт, немедленного отключения от всяких забот, полного уединения и длительного сна. Никто не должен был ничего знать о его недуге и о постигшем его очередном кризисе, кроме самых близких. На этот раз таковой оказалась Коллонтай, не считая, разумеется, Инессы Арманд.

Сочувствовавший большевикам управляющий санаторием «Халила» (на Карельском перешейке) предоставил особняк для Ленина, его сестры Марии Ильиничны и Крупской. Ленин традиционно загримировался под старичка-крестьянина и взял с собой трех провожатых-охранников. К отходу поезда с Финляндского вокзала приехала Коллонтай — привезла ему казенную шубу из фондов своего наркомата и около ста финляндских марок на мелкие расходы. Вернувшись под Новый год, Ленин вернул ей и шубу, и — в точности, по курсу на тот день — эквивалент одолженной суммы: 83 рубля. Эта щепетильная пунктуальность по мелочам, воспетая всеми его биографами и мемуаристами как свидетельство беспредельной честности, призвана была заслонить чудовищное разграбление страны и миллионов ее граждан ради призрачного всеобщего счастья. Мил-

лиарды, ухлопанные на захват и удержание власти, нигде не документировались. Возврат казенных 83 рублей и поношенной шубы зафиксирован официальной распиской.

31 декабря Коллонтай вместе с Мишей, Зоей, Павлом Дыбенко и сотрудниками наркомата государственного призрения в одной из служебных комнат скромно отметили наступление Нового года. Уходил один судьбоносный год, наступал другой — не менее судьбоносный. Именно этот исторический рубеж (исторический для всех и для себя тоже) впервые в своей сознательной жизни она отмечала вместе с теми, кто был всех ближе и дороже. Теперь, казалось, так будет всегда.

В ЗАПАДНЕ

Год начался с «приключений»: 3 января неизвестные злоумышленники (предположительно анархисты) обстреляли автомашину, в которой ехал Ленин. Лишь находчивость швейцарского коммуниста Фрица Платтена, который был на заднем сиденье рядом с Лениным и вовремя нагнул его голову, спасла вождя от бандитской пули. Знала ли (допускала ли хотя бы) Коллонтай то, что стало известно лишь недавно: никакого покушения не было, просто-напросто был устроен омерзительный и пошлый спектакль ради единственной цели — создать в городе напряженную обстановку и расставить повсюду снабженные броневидами и пулеметами вооруженные посты накануне открывавшегося 5 января Учредительного собрания?

Коллонтай появилась на нем вместе с Лениным в правительственной ложе, а не на депутатских местах, которые по их статусу на этом собрании полагались им обоим. И вместе с Лениным покинула зал, когда большевистская фракция во главе с Бухариным поняла, что даже для чисто пропагандистских целей использовать эту трибуну не сможет. Какое-то время оставался в зале Дыбенко — тоже член

Учредительного собрания. «Рослый, с цепью на груди, похожий на содержателя бань жгучий брюнет» — таким запомнился он присутствовавшей на гостевых трибунах Зинаиде Гиппиус. Он же, в сущности, и разогнал под утро просуществовавший всего несколько часов единственный подлинно демократичный орган власти за всю историю России. Во все учебники, монографии и романы об этом времени вошли, ставшие пословицей, слова матроса Анатолия Железнякова, обращенные к председателю Учредительного собрания эсеру Виктору Чернову: «Прошу покинуть зал. Время позднее, и караул устал». На самом деле, как следует из протокольной записи, матрос Железняков сказал: «Комиссар Дыбенко требует, чтобы присутствующие покинули зал...» Существо не меняется, но это важное уточнение говорит о роли, которую играл Дыбенко.

Оппозиционные газеты еще выходили. И он, и Коллонтай, вместе и порознь, служили дежурной темой для фельетонистов и памфлетистов. Особенно о ней эти газеты писали с нескрываемым презрением, смакуя ее «экзальтацию, выдаваемую за революционную страсть», обвиняя в напыщенном ораторском пафосе, претенциозности, но больше всего, естественно, высмеивая ее «подкрепленные практикой, сексуальные теории». Не отставала в этом отношении и издававшаяся М. Горьким и Н. Сухановым газета «Новая жизнь», в которой сотрудничали лучшие силы тогдашней левой публицистики — русской и иностранной, известные ученые, писатели и журналисты. Среди ее авторов были Дж. Уэллс, Ромен Роллан, Мартов, Богданов, Брюсов, К. Тимирязев, Алексей Толстой, Маяковский и многие другие. Об этих публикациях, естественно, несовместимых с политикой удушения свободной мысли, Ленин отзывался так: «Рабочие и крестьяне несколько не заражены сентиментальными иллюзиями господ интеллигентов, всей этой новожизненной и прочей слякоти...»

Сентиментальные иллюзии действительно давно

уже отошли в прошлое, и то, что ныне принято называть общественным мнением, облекалось совсем в иные формы. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся письма того периода, адресованные лично Ленину. Некоторые из них — в стихах. В одном — анонимном — такие строки:

В бардак Россия превратилась
Гудит оркестр большевиков,
И сволочь разная танцует
Канкан совдепский без портков.
Гостей встречает бандер Ленин.
Полны бокалы через край,
И, видя кровь в них, истерично
Визжит блядуга Коллонтай.

Не касаясь ни смысловой, ни лексической стороны этого послания, нельзя, однако, не заметить, что его автор, отражая, несомненно, бытовавшее тогда убеждение, ставит в один — первейший из первых — ряд ненавистных ему вождей новой власти Ленина и Коллонтай. Это было безусловным преувеличением, но только для тех, кто находился внутри самой власти. Внешне же так оно, в сущности, и было. Мало кто в такой степени, как Коллонтай, был тогда на виду.

Поездка за границу с ответственной миссией (шутка ли: разжечь мировой революционный пожар!) была для Коллонтай и честью, и возможностью на время (притом на довольно долгое время) вырваться из той обстановки, где она была круглые сутки объектом всеобщего внимания и отнюдь не праздного любопытства. Мучила лишь перспектива расстаться с Дыбенко, и они все время вели разговоры о том, можно ли и как совместить, казалось, несовместимое.

Так или иначе, в середине февраля делегация уже была сформирована — кроме Коллонтай, в нее включили большевика Яна Берзина и левых эсеров Марка Натансона и Алексея Устинова. Натансону было уже под семьдесят, он был уважаемым всеми

ветераном революционной борьбы, прошедшим тюрьмы и ссылки, но руководителем делегации, естественно, назначили Коллонтай — в то время она была у большевиков (точнее, лично у Ленина) в полном фаворе.

И о самой поездке, и о ее цели, и о составе делегации сообщалось во всех газетах. «Натансон с Коллонтайкой уезжают за границу, — комментировала это известие в своем дневнике Зинаида Гиппиус. — Хоть бы навек!»

Никем еще не признанное правительство выдало Коллонтай «дипломатический паспорт» — он сохранился. Вот его весьма необычный текст, скорее при-сущий не паспорту, а рекомендательному письму или чрезвычайному мандату:

«РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Народный Комиссариат по иностранным делам

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настоящим доводится до сведения тех, кого это касается, что предъявитель сего паспорта Народный Комиссар Социального Обеспечения Александра КОЛЛОНТАЙ направляется в Швецию, Норвегию, Англию, Францию и Соединенные Штаты Америки в качестве представителя Центрального Исполнительного Комитета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов.

В этой связи Совет Народных Комиссаров просит дружественные власти, равно как и каждого, кого это касается, и приказывает всем российским военным и гражданским властям свободно пропускать всюду Александру КОЛЛОНТАЙ и обеспечить ей всю необходимую помощь».

Делегация отбыла в путь вечером 18 февраля 1918 года. События этого и предшествующих ему дней не слишком располагали к оптимизму, но большевиков, как видно, это не смущало. 10 февраля были сорваны мирные переговоры в Брест-Литов-

ске, которые вел Троцкий. В день отъезда делегации ЦК принял ультиматум Ленина о немедленном заключении мира на любых условиях. Коллонтай проголосовала против — и сразу же отправилась на вокзал. Этот конфликт, грозивший стать фатальным, ничуть не пригасил тех возвышенных чувств, которые ею владели.

В получившей накануне Нового года независимость Финляндии уже успел произойти большевистский переворот: не для того Ленин делал Финляндию свободной, чтобы она освободилась и от него тоже! Эйфорию победы, обещавшей и победу столь желанной мировой революции, довольно точно отразила Коллонтай в своем дорожном дневнике, который она начала вести на следующий день.

«Опять Гельсингфорс, милый Гельсингфорс, где всегда пребывают <так!> сил и сразу набираешься бодрости. Нас, делегацию ЦИК, отправляемую в Скандинавию, Англию и Францию с факелом революции, завезли на нашем экстренном поезде сюда вместо того, чтобы прямо <...> в Стокгольм. <...> Гельсингфорс в наших руках. Живем в гостиницах, реквизированных нашими... По коридорам <разгуливают> красавцы — молодые красногвардейцы. «Частная» публика исчезла. В Сеймовом Доме <тоже> другой облик: исчезли депутаты других партий, на лестницах, в вестибюлях красногвардейцы вооруженные, в кулуарах все наша, партийная публика. <...> Вечером город вымирает. Ни одного пешехода. Всюду красногвардейцы арестовывают всех, кто не имеет специального удостоверения от Красной Гвардии <...> Наши, русские, организовали митинг. <...> Аудитория исключительно матросская. Встретили с холодком. Долго держался лед — ни хлопка. Только к концу разогрели аудиторию, поднялось настроение и провожали уже тепло, но далеко не так, как до октябрьских дней».

Как всегда у Коллонтай, общественная тема быстро перешла в личную. «Где мой Павел? <...> Как я

люблю в нем сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющее видеть в нем «жесточкого, страшного Дыбенко», и страстно трепещущей нежности — это то, что я так в нем полюбила. Это то, что заставило меня без единой минуты колебания сказать себе: да, я хочу быть женой Павлуши... Много вероятно, что именно с Павлушей осуществима та высшая гармония — сочетание свободы и страстной любовной близости, которая дает двойную устойчивость и силу для борьбы. Павлуша вернул мне утраченную веру в то, что есть разница между мужской похотью и любовью. В нем, в его отношении, в его страстно нежной ласке нет ни одного ранящего, оскорбляющего женщину штриха. Похоть — зверь <...> благоговейная страсть — нежность. Есть часы долгих ласк, поцелуев без обязательного финала.

<...> Это человек, у которого преобладает не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия. <...> Я верю в Павлушу и его звезду. Он — Орел.

Границ не было, расстояния преодолевались без всякого труда, тем более что весь транспорт был тотчас к услугам, так что Дыбенко мог сегодня быть в Петрограде, завтра примчаться в «милый, милый Гельсингфорс», который к тому же «в наших руках». Из Петрограда он принес последнюю новость: на Совнаркомке тоже обсуждался вопрос, подписывать ли с немцами униженный мир. Почти все были «за», лишь Дыбенко и Сталин «против». Коллонтай решила позвонить Сталину в Смольный: ведь он еще не был недоступным вождем, а совершенно рядовым, таким же, как она сама, членом ЦК. К аппарату подошел Раскольников, обрадовался, услышав ее голос.

— Прошу товарища Сталина, — сухо сказала Коллонтай.

Сталин оказался рядом — она бурно выразила ему свою поддержку.

— Продолжайте, — сказал Сталин и сразу повесил трубку.

Сколько она ни ломала голову, так и не поняла, что скрывалось за этим словом.

Пароход, на котором орлы и голуби революции должны были следовать в Европу, ждал их в порту Або. Дыбенко решил проводить любимую женщину — для этого им снарядили специальный поезд. «Отопление, — с восторгом констатировала Коллонтай в дневнике, — накрахмаленное постельное белье, полный комфорт, никаких белогвардейцев. <...> Утром прибыли в Або. В гостинице не кормят и не ухаживают. Нескрываемое неодобрение. Улицы слабо освещены, пустынные, впечатление города в осаде. Павел уехал...»

Пока они добирались до Або, немцы успели занять Псков. Ленин начал призыв ополченцев и обратился с воззванием «Отечество в опасности!». Но Коллонтай это ничуть не тревожило. И дневники ее, и письма, и позднейшие черновики мемуаров определенно подтверждают, что она искренне ожидала восторженного приема наконец-то сбросивших с себя ярмо капитализма счастливых горожан. А встретила ненавидящие глаза, затаенную злобу, опустевший, ощетинившийся молчанием город. Внимательный глаз отметил все, что ее окружало, стиснутый догмой мозг оказался не в состоянии реально оценить увиденное. Никакой пароход их, естественно, не ждал. Угрозами и лестью удалось отыскать маленькое суденышко, которое в недавние добрые времена доставляло дачников в разбросанные по шхерам домишки. Пароходик назывался «Мариограф» — дорогу ему по скованному льдами заливу должен был пробивать ледокол «Гриф». Торопливые дневниковые записи красочно передают атмосферу этого романтического путешествия с факелом революции в руках.

«24 февраля. Утро. Ясное, морозное, солнечное. Минус двадцать. Медленно пробираемся сквозь льды среди внутренних шхер. <...> Все призрачно, нереально. Реальны только солнце и мороз, небо и льды. Покормили вкусным завтраком. Почему-то

вспоминается еда — одна ночь в Совнаркоме. Проголодавшись, пошли есть в три часа ночи, еды, конечно, нет, заспанные официанты принесли свежий хлеб и целую кастрюлю паюсной икры. <...> Во всем теле приятная лень сытости и отдохновения.

25 февраля. Остановились возле деревянной пристани рыбацкого селеньица на острове Дагербю, чтобы взять уголь. Погрузка странно затянулась: население, узнав, что на пароходе русские большевики и красные финны, решило нас арестовать. <...> Грузчики относятся к нам недоброжелательно. С берега нас рассматривают с утрым любопытством. Все население острова против нас. Лица разглядывающих нас непроницаемы и неподвижны, как финские скалы».

Чувства переполняли ее, и вместо безадресного дневника она предпочла изложить их в письме к Дыбенко, который в это время в качестве наркома по морским делам находился в Гельсингфорсе. Наркомат этот был создан 22 февраля, в состав его коллегии — на правах заместителя Дыбенко — вошел Раскольников. Ничего этого Коллонтай еще не знала.

«Мой любимый, мой милый, милый, милый собственный муж! <...> К утру завтра будем в Швеции. Чудное зимнее утро, и когда так красиво кругом, особенно чувствуется твое отсутствие. Не хватает мне твоих милых сладких губ, твоих любимых ласк, всего моего Павлуши, все думы о тебе, о твоей большой работе. Милый, иногда мне кажется, что в эти знаменательные дни, пожалуй, лучше бы, если бы ты был ближе к центру. <...> Когда человек на глазах, ему дают ответственные дела, ставят на ответственный пост <...> Я все еще как-то не верю, что мы далеко друг от друга, так живо ощущение твоей близости. Мы с тобой одно, одно неразрывное целое. <...> В тебя, в твои силы я верю, я знаю, что ты справишься с крупными задачами, которые стоят перед тобою во флоте, но знаю также, мой нежно любимый, что будут часы, когда тебе будет не хва-

тать твоего маленького колонтая. А большой, пожалуй, даже чаще будет нужен тебе. Нужна очень интенсивная агитационная работа — думаю, как бы помочь тебе в этом <...>

Мой милый, милый Павлуша, чувствуешь ли, как мои мысли летят к тебе? Ласки вьются волною вокруг тебя и хотят проникнуть в твое сердечко. <...> Как хотелось бы обхватить обеими руками тебя за шею, вся-вся прижаться к тебе, приласкать твою милую голову, найти губами губы твои и услышать твои милые ласковые слова, в ответ на которые так радостно вздрагивает и сладко замирает сердце. Милый! Любимый! Твой голубь так хочет скорее, скорее прилететь в твои милые объятия <...>».

Голубь — так Павел ее называл в минуты, когда они оставались одни. На людях она была товарищем Коллонтай, а он не Павлушей, а товарищем Дыбенко.

Едва дописав письмо, она вернулась к дневнику: делать на пароходе было решительно нечего, только и оставалось — писать, писать, писать.

«25 февраля. Вечер. Отвалили! С хрустом подламывается лед. <...> Ночуем во льдах. Я требую свежие простыни. Капитан Захаров, явно не наш, хоть и расшаркивается: «Завтра Стокгольм, там будут и простыни. А сейчас обойдетесь». Пришлось перейти на другой язык: «Я народный комиссар Коллонтай. Именем революции требую выполнять мои распоряжения». Простыни принесли. <...>

Утром слева от нас взорвалась мина. Звук слабый — только высокий фонтан воды.

26 февраля. Мечтали о Швеции, а оказались затертыми во льдах. От напора льда взрывается мина за миной. Бывают случаи, что затертые суда остаются во льдах до весны. Нас все больше сжимает. Распоряжаюсь достать бутылки, чтобы запаковать наши последние прощальные письма. Ищут бутылки. Есть коньячные, но в них еще нетронутая жидкость. Не выливать же ее, когда мина, которая нас подорвет, еще только в перспективе. Спешно пишу письма.

Ветер крепчает. Взрываются мины. <...> Зовут ужинать. Ем без аппетита».

Ночью при свете свечи она писала Павлу то письмо, которое собиралась запаковать в бутылку и бросить в море. Точнее — на лед.

«Мой любимый! <...> Взрываются мины, но настроение бодрое и веселое. Мы у берегов Швеции, но ветер нас гонит обратно. Пока у нас тепло и воды много. Не хватает только тебя, мой нежно-нежно любимый. Нет часа, когда бы я не думала о тебе, — чем нежнее думаю о тебе, тем досаднее, что уехала. Ты в моем сердце неотлучно <...> Остро-остро до боли, до тоски охватывает желание увидеть тебя, услышать твой голос, твой милый всхлип, который я так люблю. <...> Милый, милый, как было бы хорошо, если бы ты был здесь, тогда не все ли равно, где быть. Пусть бы и попали тогда в эту ледяную западную. <...>»

Ледяная одиссея меж тем продолжалась — об этом новые записи в дневнике.

«28 февраля. «Мариограф» окончательно обледенел. Из Дагербю нам на помощь вылетели 2 летчика. Не справились с бурей. Оба гидроплана разбиты. Один летчик погиб, другой тяжело ранен. Сидим на своем багаже, как погорельцы. Кругом снежная пелена, ничего не видно. <...> Мы от берега в 6—7 километрах. Неужели нельзя достать лошадей и по льду добраться до берега? <...> Так и есть: подали лошадей. Пригодился коньяк: подарили его команде. <...>»

Узнав, что Коллонтай уже на берегу, Дыбенко из Нарвы, где он возглавлял оборону от готовивших наступление немцев, прислал ей со специальным нарочным письмо. Оно сохранилось.

«Милая, дорогая Шурочка! Как бы мне хотелось видеть тебя в эти минуты, увидеть твои милые очи, упасть на грудь твою и хотя бы одну минуту жить только-только тобой. Но в эти минуты я лишен своего духовного счастья. В эти минуты я не могу сказать тебе ни единого слова. В эти минуты я не могу ус-

лышат звук твоего голоса. О! Как я одинок в эти минуты. Шура, милая, ты может быть получишь это письмо тогда, когда не будет меня я прошу тебя одно напиши и не забуд мою маму и успокой ее. <...> Шура, я иду умирать за свободу угнетенных. Вперед, к свободе! Прощай, милый мой Ангел! Вечно с тобой Павел».

Это письмо ей передали уже в Або. Она предполагала выступить на нескольких митингах и лишь потом возвращаться. Теперь все поменялось: скорей, немедленно в Петроград! Даже скомкала прощальный обед в отеле «Феникс». Подали спецвагон, но где же пища? «Обслуга исчезла, — сообщает она в своем дневнике, — и это навело на мысль, что что-то меняется. <...> И в Петрограде на Финляндском вокзале никто не встречает...»

Так закончилась первая поездка первой официальной советской правительственной делегации за границу.

Дыбенко не было в Петрограде — как раз в эти дни он безотлучно находился на фронте. Чичерин — тот самый, близкий товарищ по Парижу, вызванный Лениным из Лондона, где его задержали было англичане, немедленно по приезде вступивший в большевистскую партию и сразу же назначенный вместо Троцкого руководителем советской делегации на переговорах, — подписал Брестский мир. В тот же день — совпадение или рок? — Дыбенко вынужден был сдать Нарву наступающим войскам. Противостоять давлению превосходящих сил он не мог, но сдача была сразу же расценена как предательский акт, как протест Дыбенко против подписания договора, поскольку он был и остался его противником.

Лавину новостей не было возможности перевернуть и осмыслить: прямо с поезда Колонтай попала на начавший заседать с утра Седьмой Чрезвычайный съезд партии. Обсуждался, естественно, только

один вопрос — одобрить или не одобрить уже подписанный в Бресте мир. Россия отказывалась от всех прав на Ригу и часть Лифляндии, на всю Курляндию, на Литву и часть Белоруссии, выводила войска из Эстонии и Финляндии, уступала Турции Карс, Ардаган и Батум, а что касается Украины, то оттуда не только должны были уйти российские войска, но Россия признавала *de jure* прогерманское правительство «самостийной».

Против Ленина объединились люди, которые по многим вопросам весьма сильно расходились друг с другом: Бухарин, Пятаков, Дзержинский, Коллонтай, Радек, Крестинский... Да что там Радек или Крестинский: против Ленина выступала Инесса Арманд! Один оратор за другим говорили об измене идее международного коммунизма, о капитуляции перед империализмом, об осквернении чистоты большевизма ради временных выгод. К аргументам идеологическим Коллонтай добавила «прозаические»: положение рабочих ухудшается день ото дня, потеря чуть ли не половины России намного ухудшит это, и без того катастрофическое, положение.

Ленин и на этот раз сумел преодолеть сопротивление оппонентов и увести за собой околдованную его убежденностью делегатскую массу. На состоявшихся выборах нового ЦК Коллонтай оказалась за бортом: Ленин ее кандидатуру не предложил, и нашлось никого, кто бы это сделал по собственному почину. Так закончилось в одностороннем порядке ее четырехмесячное пребывание на партийном олимпе. Вознесшая туда на гребне романтического революционного подъема, она с той же неизбежностью свалилась оттуда, когда наступило время аппаратных игр и жестких политических схваток, где разница позиций лишь камуфлировала истинные намерения их участников.

Сразу же после победного завершения съезда Ленин принял решение спешно бежать в Москву: его мучила мысль, что сдана может быть не только Нарва, но и Петроград. Для этой тревоги были все

основания. Большевистский путч в Финляндии был подавлен, Красная гвардия отступила к Петрограду, о скором падении столицы говорили тогда на каждом углу. О том, что принес Финляндии (точнее, ее маленькой части) кратковременный (несколько недель) большевизм, рассказал впоследствии русский художник и писатель Юрий Анненков, чья дача находилась вблизи от любимой коллонтаевской Куузы.

«...Я пробрался в Куоккалу, чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча <...> Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы — записка: «спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах — сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок <...> На столе ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой <...>».

Правительственный поезд, стыдливо увозивший в глубочайшей тайне советское правительство, его аппарат и партийных функционеров не с вокзала, а с заброшенной на городской окраине «Цветочной площадки», где обычно загружались товарные вагоны, благополучно прибыл 11 марта к месту назначения, и лишь день спустя Россия узнала что ее сто-

лицей является уже не Петроград, а Москва. Коллонтай ехала в этом — первом, основном — эшелоне, но не в ленинском вагоне, а в соседнем. Туда же попал и Чичерин, с которым она не виделась пять лет и которому так была обязана в Париже. «Как вы могли?!» — только и сумела произнести, пожимая его руку. Чичерин ничего не ответил и скрылся в своем купе. Дыбенко еще оставался на фронте и приехал двумя днями позже. Миша с Марией Ипатьевной остались в Петрограде.

Вместе с другими членами правительства Коллонтай поселилась в гостинице «Националь», спешно переименованной в 1-й Дом Советов. Отдельная комната для Дыбенко предусмотрена не была: предполагалось, что он поселится вместе с Коллонтай. Он отказался, не считая себя вправе покинуть приехавших вместе с ним матросов, — их разместили в бывшей Лоскутной гостинице, позже переименованной в гостиницу «Красный флот». Коллонтай переселилась к нему, смирившись с жалкими условиями быта в Лоскутной. Впервые они обрели какой-никакой, но общий «дом». Впереди, однако, маячили новые испытания.

15 марта открылся Четвертый съезд Советов — ему предстояло ратифицировать Брестский договор или отвергнуть его. Как ни странно, но гипнотически воздействовать на огромную массу (собралось почти 1300 делегатов) Ленину удавалось куда легче, чем повести за собой относительно небольшую группу ближайших товарищей по партии. Голосование было поименным, 785 делегатов поддержали Ленина, 261 голосовал против и 215 предпочли воздержаться. С кем были Коллонтай и Дыбенко, вполне очевидно. Вечером левые эсеры отозвали своих представителей из Совнаркома: даже видимость «двухпартийности» перестала существовать. Коллонтай еще осталась в правительстве, но всего лишь на несколько часов.

Днем позже съезд продолжил работу. Теперь обсуждалось «поведение члена РКП(б), наркома по

морским делам товарища Дыбенко Павла Ефимовича, беспричинно сдавшего Нарву наступающим германским войскам». Одновременно с этим несколько партийных фронтовых комиссаров, поддержанных его лучшим другом Раскольниковым, обвиняли Дыбенко в «пьянстве, приведшем к трагическим последствиям».

Заявление об отставке с поста наркома Дыбенко заготовил еще накануне: «Стоя на точке зрения революционной войны, я считаю, что утверждение мирного договора с австрогерманскими империалистами не только не спасает Советскую Власть в России, но и задерживает и ослабляет размах революционного движения мирового пролетариата. Эти соображения заставляют меня как противника утверждения мира выйти из Совета Народных Комиссаров, а потому слагаю свои полномочия народного комиссара по морским делам и прошу назначить мне заместителя». Это заявление было зачитано на съезде еще до обсуждения вопроса о правомерности сдачи Нарвы.

Преемником Дыбенко — с сохранением поста наркома по военным делам — был назначен Троцкий. Он же обрушился на Дыбенко, обвиняя его в преступном легкомыслии и забвении интересов революции. Многие восприняли это не только как «укор» за Нарву, но и как осуждение его прославившейся на всю страну любовной связи. Вечером после закрытия заседания Дыбенко ушел проститься в казарму, где разместились прибывшие вместе с ним балтийские матросы. Они были готовы к бунту, чтобы защитить любимого вожака. Но, скорее всего, ими двигало ожесточение, с которым они восприняли известие о назначении Троцкого. Это было не слишком мудрое решение Ленина — заменить матросам «своего», «братишку» на заносчивого пришлого горлопана, вовек не ступавшего на военный корабль. Дыбенко с трудом удалось остудить самых горячих...

Утром, едва открылось заседание съезда, Дзер-

жинский вызвал Коллонтай в комнату за сценой и предупредил, что Дыбенко только что арестован. Ей предлагалось удержать моряков «от возможных неразумных действий» во избежание «неизбежных шагов, которые в этом случае предпримет ВЧК». Неизбежные шаги, уточнил Дзержинский, это «немедленный расстрел товарища Дыбенко, чего мы бы никак не хотели». Для воздействия на Коллонтай Дзержинский прислал к ней своего заместителя Вячеслава Александровича, которого еще с норвежских времен она знала как «Славушку» — левого эсера, человека кристальной чистоты и порядочности: вскоре ей достанет мужества именно так о нем отозваться. Славушка умолил ее не делать импульсивных движений.

Следствие по делу Дыбенко поручили вести его вчерашнему товарищу и соратнику Николаю Крыленко — они вместе входили в «коллегию по военным и морским делам» в составе первого Совнаркома. Ленин успел уже сделать этого прапорщика царской армии «верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами Российской республики», а потом, поскольку «верховный» не мог командовать не только «всеми силами», но и крохотным взводом, перевел на должность члена чрезвычайной следственной коллегии при ЦИК, зная, что этот большевик-подпольщик успел еще до революции обзавестись двумя университетскими дипломами, в том числе и дипломом юридического факультета. Вместе с Крыленко следствие вела председатель этой коллегии и его жена Елена Розмирович. Коренастый, крепко сбитый, с упрямым подбородком, бритой головой и бесцветными глазами, Крыленко сразу же заявил Павлу, что вина его доказана и что по законам революции, которая не признает никаких законов, он будет расстрелян.

Никаких импульсивных — в чекистском понимании этого слова — «движений» Коллонтай не сделала, но сразу же написала заявление об отставке с поста наркома государственного призрения. Таким

образом, вместе с высоким партийным постом она почти одновременно потеряла и высокий государственный. На том вхождение в «верха» для нее и закончилось. Никакой связи с ее позицией по Брестскому миру в этом крушении нет. Ни для одного противника мирного договора антиленинская позиция не имела никаких последствий. Все сохранили свои посты, а иные поднялись еще выше. Коллонтай сокрушил не Брест, ее сокрушил Дыбенко. Точнее, потеря разума от охватившего ее любовного безумия и полной неспособности увидеть себя со стороны в контексте происходивших событий — не только глазами тех самых пролетариев, ради которых она полыхала страстью, но и глазами «партийных товарищей», весьма охотно предававшихся банальным утехам, но не терпевших плакатной демонстрации сексуальной свободы. Для Коллонтай теснейшее переплетение революционного «дела» с революционной любовью было явлением органичным, для ее партийных единоверцев — попросту «коммунистической морали». Общего языка они найти не могли.

Дыбенко держали под арестом не в тюрьме, а в Кремле. После униженных просьб Коллонтай получила наконец разрешение на краткое свидание с ним под присмотром товарищей чекистов. Для этого с запиской от секретаря ЦИК В. А. Аванесова она должна была пойти на поклон к тому же Крыленко. Бритоголовый крепыш, не подняв глаз, написал ей бумажку, дававшую право в течение 19—22 марта ежедневно по одному часу иметь свидание с арестованным товарищем Дыбенко «в промежуток от 12 до 18 часов без права передачи писем и записок». Впрочем, разрешалось и это, но «с предварительным прочтением членом следственной коллегии». Таким образом, любое ее личное обращение к Павлу должны были читать или Крыленко, или Розмирович. Стало быть, они читали и это ее письмо — с такой датировкой: «в ночь с 16 на 17 марта».

«Счастье мое! Безумно, нежно люблю тебя! Я с

тобой, с тобой, почувствуй это! Я горжусь тобою и верю в твое будущее. То, что произошло, до отворачивания подло, самое возмутительное — несправедливость. Но ты будь покоен, уверен в себе, и ты победишь темные силы, что оторвали тебя от дела, от меня. Как я страдаю, этого не скажешь словами. Но страдает лишь твоя маленькая Шура, а товарищ Коллонтай гордится тобою, мой борец, мой стойкий и верный делу революции товарищ. Мы работаем, чтобы ты скорее, скорее снова был с нами.

<...> Вся душа моя, сердце, мысли мои, все с тобою и для тебя, мой ненаглядный, мой безгранично любимый. Знай — жить я могу и буду только с тобой, — без тебя жизнь мертва, невыносима. Что, что сказать тебе, чтобы ты почувствовал всю силу моей любви? Моя радость, мое солнце, мой Павлуша: ты не знаешь, как я страдаю, но не мучайся за меня — ведь и оторванные друг от друга мы с тобою одно, одно душою и сердцем. <...> Будь горд и уверен в себе, ты можешь высоко держать голову, никогда клевета не запятнает твоего красивого, чистого, благородного облика. На больших людей, как ты, всегда льют и от клеветы, потому что их боятся. Помни одно — не будь несдержан и резок, твое спокойствие, твоя покойная уверенность в твоей правоте — твоя лучшая защита. <...> Помни также каждую минуту, что твой голубь ждет тебя, тебя — напряженно, с мукой, чтобы лететь к тебе навстречу с распростертыми крыльями. Мои руки тянутся к тебе, мое сердце тоскует, мои мысли вьются любовно возле твоей дорогой, безумно нежно любимой головы. <...> Верь, верь мне, мое счастье, мой любимый, что ты еще не раз вернешь свои силы на нашем большом деле, и гляди вперед гордо и уверенно, как гляжу и я, мой ненаглядный, мой Павел, мой муж дорогой. <...> Обнимаю твою дорогую, родную головку,

твоя вся и навсегда
твоя Шура

Меня мучает, что у тебя нет твоей шубы с собою, чтобы ты <не озяб>, родной, любимый, любимый мой».

«Мы работаем» — эти слова должны были поднять его дух. Никаких «мы» не существовало — «работала» только одна Коллонтай. Она кинулась к Ленину, но тот отослал ее к товарищу Троцкому, который терпеть не мог Коллонтай и уже хотя бы поэтому — Дыбенко. Но этот неистовый нарком, не без оснований считавший себя главным мотором революции, имел и к самому Павлу личные счеты. Балтийские матросы до сих пор отказывались выполнять любые приказы Троцкого, если те не были подтверждены «своим» наркомом, то есть Павлом Дыбенко. Одного этого было достаточно, чтобы Троцкий не испытывал к «братишке», которого за глаза и в глаза называл анархистом, ни малейших симпатий. Коллонтай знала это, но, преодолевая внутреннее сопротивление, пошла к нему на поклон. Вопреки ее ожиданиям, Троцкий, только что переставший быть наркомом по иностранным делам (этот пост занял Чичерин) и взявший в свои руки командование армией и флотом, снисходительно улыбаясь (как она ненавидела его улыбку!), пообещал ходатайствовать перед следственной коллегией об освобождении арестованного.

Все опять уперлось в Крыленко. На этот раз бритоголовый не прятал глаз, а, напротив, пронзал ее острым взглядом и играл желваками.

— В каком, собственно, качестве, — переходя на фальцет, спросил Крыленко, — вы занимаетесь делами, не имеющими к вам ни малейшего отношения? Где вы работаете? — с нескрываемой издевкой продолжал он, напоминая, что наркомом она быть перестала, а нового назначения не получила. — Кем вы доводите арестованному? Следственная коллегия будет рассматривать ваше ходатайство, когда получит ответы на эти вопросы. Ни товарищ Троцкий, ни кто-либо иной не вправе влиять на следствие.

Право на свидание все еще оставалось за нею — она пошла к Павлу, который сидел в соседнем здании.

— Хочешь ли ты быть моим мужем? — спросила с порога, не объясняя, чем вызван этот странный вопрос

— Шура!.. — только и мог вымолвить он, сжимая ее в богатырских объятиях.

Ей с трудом удалось освободиться. Приготовившийся целый час присутствовать при их любовном диалоге дежурный чекист с удивлением увидел, что Коллонтай уходит. У нее уже созрел план. На следующее утро все газеты известили, что Павел Дыбенко и Александра Коллонтай сочетались гражданским браком, о чем в книге записи актов гражданского состояния сделана первая запись. С тех пор целые десятилетия существовала легенда, будто именно этой записью открывается вышеназванная книга и что от их брака ведет счет история советской семьи.

Но это и в самом деле всего лишь легенда. Никакой записи не было, и книги такой тогда еще не существовало. Фиктивное сообщение об этом в газетах отнюдь не было вызовом традиционной морали — об этом в тот момент Коллонтай думала меньше всего. Впоследствии она записала в своем дневнике, что таким путем связала себя с Дыбенко, дабы «исключить возможность полного разъединения нас внешними силами и <...> чтобы вместе взойти на эшафот». Но и эта «революционная» риторика не больше чем поза. Причина была куда тривиальней: ей нужно было спасти Павла на правах законной жены! Крыленко, похоже, удовлетворился: послушность Валькирии и беспомощность зависимого от него Дыбенко льстили его тщеславию. Он согласился временно — до суда — отпустить Дыбенко «под поручительство законной жены».

Едва выйдя на свободу и восторженно встреченный матросами, Дыбенко сразу же уехал вместе с ними — сначала в Курск, потом в Пензу: там дислоцировались части наиболее близких ему балтийцев.

Потрясенная Коллонтай, которая дала гарантию, что он никуда не уедет и исправно будет являться на допросы к Крыленко, от стыда ли, от страха или просто под влиянием не поддающихся логике чувств, тоже никого не предупредив, уехала в Петроград. На следующее утро все газеты вышли с сообщением о бегстве первой советской четы в неизвестном направлении. Обращенный к нему через прессу призыв немедленно вернуться, где бы он ни был, Дыбенко проигнорировал. Не откликнулась и Коллонтай, хотя газеты прознали, что он находится в разных местах, и поспешно сделали вывод, что между ними разрыв. Крыленко отдал приказ арестовать обоих, Дыбенко сообщил телеграфом, что еще не известно, кто кого арестует. «Дыбенко пошел на Крыленку, — записала в своем дневнике Зинаида Гиппиус, — Крыленко на Дыбенку, друг друга арестовывают, и Коллонтайка, отставная Дыбенкина жена, здесь путается».

Лишь в конце апреля, когда Ленин лично подтвердил, что ни о каком предварительном аресте не может быть речи, а Дыбенко должен явиться на суд, оба беглеца вернулись в Москву. В это время обострились споры, быть ли Павлу судимым так называемым «народным судом» или военным трибуналом. Ни тот, ни другой не могли руководствоваться никакими законами за отсутствием таковых, но военный трибунал находился бы в полном подчинении Троцкого, который как раз и настаивал именно на этой форме предстоящего «правосудия». Есть косвенные свидетельства, что за «народный суд» был Сталин, которого поддержал Крыленко, ненавидевший Троцкого: счастливой волею судьбы обвинитель и обвиняемый хотя бы в этом оказались едины. Дело поручили рассматривать «народному суду».

Но крыленковские эскапады против Дыбенко не стихали ни на один день. В газете «Раннее утро» он не постеснялся сообщить, что Дыбенко получил в счет жалованья аванс в размере 700 рублей, с которыми скрылся, а еще до возбуждения дела на

какой-то железнодорожной станции учинил «буйство», задержав поезд до тех пор, пока не придет Коллонтай, выехавшая ему навстречу. Им обоим пришлось печатно протестовать против «гнусных измышлений общественного обвинителя».

Суд был назначен в одном из пригородов Петрограда — городе Гатчине. Из расположенного там царского дворца недавно бежал Керенский, теперь дворцу предстояло стать местом судилища. Накануне Коллонтай написала подробный конспект речи, которую предстояло произнести Дыбенко. Точнее, она начала писать речь, но времени, видимо, не хватило, и уже через два абзаца связный текст перешел в конспект.

«Каков бы ни был приговор, я жду приговора справедливого от представителей той же трудовой массы. Я не боюсь приговора надо мной, я боюсь приговора над Октябрьской революцией, над теми завоеваниями, которые добыты дорогой ценой пролетарской крови. Помните: робеспьеровский террор не спас революцию во Франции и не защитил самого Робеспьера.

Нельзя допустить сведения личных счетов и устранения должностного лица, не согласного с политикой большинства в правительстве.

Я в оппозиции. Решение уйти из комиссариата. Спешный секретный арест. 48 часов без пищи и воды. Следственный комитет. Доносы. Секретность вредна. Народ должен знать правду о деятельности наркомов. Нарком должен быть избавлен от сведения с ним счетов путем доносов и наветов. Поведение Крыленко: он пачкает мое имя до суда на митингах и в газетах.

Во время революции нет установленных норм. Все мы что-то нарушали. Показания свидетелей, что я не пил. Говорят, я спаивал отряд. А я как нарком отказывал в спирте судовым командирам. Честно сделал, что мог и как умел. Мы, матросы, шли умирать в защиту революции, когда в Смольном царили паника и растерянность».

Невзирая на то, что очень многие обвинения, содержащиеся в этой речи, Дыбенко мог бы обратить и к себе самому, интриги и склоки, начавшие раздирать вчерашних товарищей, равно как и вся их «идейность», переданы в ней достаточно ярко. Впрочем, это был ход мыслей Коллонтай — Павел светил лишь ее отраженным светом. 9 мая «народный суд», то есть несколько подобранных рабочих, солдат и матросов, отказались подвывать Троцкому и Крыленко и оправдали Павла. Матросы вынесли его из дворца на руках. Дыбенко тут же укатил в Москву, оставив Коллонтай провести в Петрограде еще один день с Мишей и Зоей. В Москве его уже ждало сообщение, что он исключен из партии: не преуспев на суде, Троцкий мстил ему — неизвестно за что — тем способом, который ему был доступен.

Приговор суда стал для Коллонтай и торжеством, и ударом. Торжеством — поскольку оправдана, в сущности, была и она, а ее Герой, ее Орел вышел победителем из схватки с теми, кого она считала своими личными врагами. Но и ударом, поскольку Дыбенко уже не в первый раз беды и неудачи делил с нею, а радость лишь со своими друзьями-балтийцами.

Когда Коллонтай вернулась в Москву, Дыбенко там уже не было. Прокутив, по рассказам «свидетелей», вместе с дружкойми целую ночь в подмосковном ресторане «Стрельна» и наслушавшись песен знаменитой цыганки Марии Николаевны, он утром уехал в Орел, к брату, работавшему в местном Совете. За ним увязались матросы, чтобы продолжить ликование по случаю гатчинской победы: партийные дела «братишек» не интересовали. В это самое время другие балтийцы, верные великим традициям русского флота, пытались спасти обреченные Брестским договором на сдачу немцам военные корабли, стоявшие в порту Гельсингфорса. Именно там было сейчас место Дыбенко, но кто знает, как бы он поступил, действительно на нем оказавшись?

В одном из цекистских коридоров Коллонтай

внезапно лицом к лицу столкнулась с Лениным. Он пригласил ее зайти в первую же ближнюю комнату. Работавшие там сотрудники, слегка опешив, сразу вышли, сопровождавшие Ленина люди остались ждать в коридоре. «Ну-с, голубушка, что это там вытворяет ваш рыцарь? — вопрос Ленина поразила не столько своей неожиданностью, сколько нескрываемой иронией. — Если уж это вам так необходимо, так влияйте хотя бы, как следует. Похоже, не вы влияете на него, а он на вас». Ленин отчитывал ее, как девчонку. Она молчала. Может быть, и хорошо, что Павел уехал, — могла бы не удержаться и все ему рассказать...

Это был не разрыв, но глубокая, очень ранившая ее размолвка. Уязвленная до глубины души, Коллонтай сразу же приняла приглашение сформированной в ЦК агитационной бригады отправиться на открывавшем навигацию пароходе «Самолет» по Верхней и Средней Волге. Отрезвевший от ликований Дыбенко, узнав, где находится Коллонтай, поручил неотлучно находиться при ней своему другу, матросу Львову. Верный Львов воспринял поручение буквально — несмотря ни на какие протесты, он даже спал на полу возле ее койки. Ярославль, Рыбинск, Кострома, Нижний Новгород, Казань — повсюду на ее выступления сходились тысячи людей. Лекции сопровождали плакаты: «Отчет народного комиссара трудовому народу». Она рассказывала о том, что успела сделать за четыре месяца своего пребывания у власти. Сохранились свидетельства очевидцев: после ее выступлений Коллонтай забрасывали букетами сирени, и она несла их в каюту, тесня цветами безответного Львова...

Где-то между Ярославлем и Нижним на пароход поднялась выехавшая подработать и подкормиться из голодной Москвы труппа Художественного театра во главе с Василием Качаловым. Вечерами в кают-компании Коллонтай наконец-то могла от-

влечься от своих агиток и рассуждать об искусстве. Разговор не клеился, поскольку у собеседников были несколько разные взгляды: Художественный театр переживал тогда глубокий кризис и еще не перешел, пусть и неискренно, на позиции большевиков. Но артисты хотели понять, чем Коллонтай удастся магически влиять на публику. Качалов рассказал ей о впечатлении Станиславского, который слушал Коллонтай в Москве. С первых же фраз, отмечал Станиславский, она вносила в речь столько подъема, сколько нужно, чтобы голосом и интонацией захватить аудиторию. Ослабляя модуляцию в середине речи, она в конце снова набирала полную силу, но не переходила при этом на крик. Станиславский считал, что актеры должны учиться у популярных ораторов, среди которых Коллонтай была тогда одной из первых.

На каждой стоянке она прежде всего мчалась за свежими газетами. Жизнь в Москве по-прежнему отличалась накалом борьбы. Сталин и Шляпников были назначены «руководителями продовольственного дела на юге России», и Александра порадовалась за Саньку: подружится со Сталиным! Этот грузин был ей симпатичен уже потому, что не выносил Троцкого: об этом знали все, кто хоть как-то входил в «верха». Но больше радоваться было нечему. Наркомат по морским делам влился в наркомат по делам военным, и наркомом стал Троцкий, а Раскольников остался председателем Комитета морских комиссаров — именно от них так страдал Дыбенко, поскольку матросы ни в какую не хотели подчиняться политическим агитаторам, стремившимся надеть на них партийную узду.

К тому же на флоте назревал новый скандал, и Коллонтай опасалась, что Дыбенко вяжется и в него: только этого еще не хватало! Балтийским флотом командовал тогда кадровый морской офицер Алексей Щастный, которого молва и газетчики возвели в адмиральский чин, упраздненный большевиками. Еще до того, как в Гатчине начался суд над

Дыбенко, Щастный совершил один из самых великих подвигов за всю историю русского военного флота: пробившись сквозь льды, он вывел из осажденного немцами Гельсингфорса и привел в Кронштадт почти весь Балтийский флот — 200 боевых кораблей: линкоров, крейсеров, эсминцев, тральщиков и подводных лодок. Нет ни одного достоверного свидетельства, чем именно Щастный (или его героический поступок?) пришелся Троцкому не по душе. Известно лишь, что его вызвали в Кремль и арестовали в кабинете Троцкого на глазах у ординарца.

Дело передали в Верховный трибунал Республики, куда все тот же Крыленко на правах «общественного обвинителя» вызвал Троцкого в качестве единственного свидетеля. От ТАКОГО свидетеля доказательств не требовалось — вполне достаточно было его заявления, что Щастный готовил переворот. Предрешенный приговор был приведен в исполнение в ту же ночь.

Волна протестов прокатилась по России — особенно возмущались в военной среде. Вернувшись в Москву, Коллонтай получила письмо от Дыбенко — вместе с вырезкой из орловской газеты, где был опубликован коллективный протест против расстрела Щастного. К величайшему удивлению, она нашла среди подписавших протест и свое имя. Дыбенко в письме объяснял, что знает Шуру как принципиального противника смертной казни и как человека, который «с удовольствием ударит по Троцкому». Оттого и поставил он самовольно ее подпись...

Ее возмущению не было предела. Отзвуки его — в сохранившихся строках дневника: «Как Павел посмел считать меня карманной женой?! Забыть, что у меня есть свое громкое имя, что я — Коллонтай?!!» Реакция, как всегда, была импульсивной и решительной: даже не отчитавшись в ЦК о своей агитационной поездке и, естественно, не дождавшись возвращения Дыбенко, она укатила в Петроград.

Было лето, пора белых ночей. Внезапно ставший провинциальным, город казался пустынным. Коллонтай поселилась в Царском Селе — бывшей летней резиденции императора, который в это время перемещался из Сибири на Урал навстречу своей мученической смерти. Здесь, в Царском, Миша подрядился на лето работать в созданных еще наркомом Коллонтай «детских общественных учреждениях», патронессой которых стала жена Луначарского, а помощницей у нее служила вторая жена Владимира Коллонтая Мария Скосаревская. В этом семейном кругу Александра надеялась отойти от бесконечного стресса, в который ее вовлекала судьба. «Только бы подольше не видеть Павла!» — записала она в дневнике.

Ей выпали три недели уединения, причем в условиях, о которых она никогда и не смела мечтать. Из дневника: «Я не знала, что Царское Село так полно красоты и поэзии. Дворец Екатерины, ее личные комнаты и половина императора Александра I это же чудо красоты, вкуса, изящества. А парк! Царское вполне может соперничать с Версалем и затмевает Потсдам. Мне все мерещится молодой Пушкин в тенистых аллеях парка. <...> Но то, что строили последние цари, скучно и безвкусно».

Имея возможность выбора, она устроилась в покоях Екатерины Великой. Найдя в библиотеке описания нравов и привычек бывших обитателей Царского, выбирала для прогулок те аллеи и тропинки, по которым особенно любила гулять императрица со своими знаменитыми фаворитами почти полтора столетия назад. Анна Луначарская, напротив, облюбовала комнаты детей последнего царя и принимала посетителей в кресле, где императрица выслушала известие об отречении мужа и о своем аресте — вместе с детьми. По вечерам с половины Луначарской доносились веселые голоса и полупьяные песни — там любили собираться «революционные» художники и артисты, которым особенно благоволил ее муж, нар-

ком просвещения. На эти «художественные вечера» звали и Коллонтай — она ни разу не пришла.

Одиночество в опустевшем дворце, щемящая тревога, которую всегда навевают белые ночи, полный отрыв от всего, что происходит в мире, внезапно вспыхнувшая тоска по Дыбенко, которого она собиралась не видеть «как можно дольше», — таким остался в памяти этот странный, никем не дозволенный отдых, который она устроила сама себе. Но Миша был рядом — это служило оправданием всем неприятностям, которые могли ее ожидать. Сын жил в одном из домиков дворцовой обслуги — там ему было спокойнее и уютней. Однажды по какой-то причине он остался ночевать во дворце — посреди ночи Коллонтай решила ему отнести хлеба и молока. Длиннейшую анфиладу парадных комнат освещал только призрачный свет белой ночи. В царской библиотеке она споткнулась о чье-то тело, распростертое на полу. Неведомая пара предавалась любви и никак не отреагировала ни на привидение в ночной рубашке до пят, ни на расплеснутое молоко. Ей вдруг отчаянно остро захотелось в Москву, к Павлу... Но где он сейчас? От него не было никаких вестей.

Два телефонных разговора вернули ее в сладкое и тревожное прошлое, и оба оставили горький осадок. Саткевичу она позвонила сама — как всегда, его голос был ровен и нежен, но в нежности этой ей почудились холодность и отстраненность. Чего, впрочем, могла она ждать от брошенного ею, беспредельно ей преданного человека, потрясенного и общественными событиями, к которым она сама имела прямое отношение, и ее скандальной связью с малограмотным матросом, прилюдно обещавшим «рубить головы» белым генералам, Саткевичу, стало быть, в том числе. Поговорив с Дяденькой, Коллонтай разрыдалась.

Второй звонок добавил к первому новых слез. В Петроград из Москвы приехал на несколько дней Маслов вернувшийся из эмиграции еще весной

семнадцатого и с тех пор не имевший с Александрой никакого контакта. От Зои он узнал о ее пребывании в Царском и позвонил сам. Разговор не клеился — оба поняли, что — по крайней мере, сейчас — им не о чем говорить. Совсем недавнее прошлое становилось давним и безвозвратным, еще и мстящим за то, что сама она так круто повернула свою жизнь...

Несколько раз звонила из Москвы Тина, ее секретарша. Строго говоря, секретарши у нее уже быть не могло, ибо Коллонтай не занимала в то время никакого поста. Но эта восемнадцатилетняя девушка, вдохновленная революцией и покоренная ораторской страстью Коллонтай, продолжала служить ей, не получая жалованья и не числясь «совслужащей», что обрекало ее на статус «лица без определенных занятий» и, стало быть, высылку из Москвы в любой момент. Александре удалось наконец пристроить ее на работу в наркомпрос, но фактически Тина продолжала преданно служить лично ей, выполняя роль «связника» между Коллонтай и Дыбенко. Все письма с фронта тот пересылал через Тину, у которой их скопилось уже целая пачка. «Сохрани до моего приезда, не к спеху, — с деланным равнодушием отвечала Коллонтай на ее запросы. И добавляла вполне доверительно: — Пусть помучатся без ответов, Павлу это полезно».

Из Москвы пришла весть об убийстве германского посла Мирбаха левым эсером Блюмкиным и о мятеже, который должен был последовать за этим убийством. Но не политическая сторона происшедшего потрясла ее, а личное участие в акции близкого друга — того самого Славушки Александровича, который утешал ее во время ареста Павла и удерживал от роковых поступков. Будучи заместителем Дзержинского — председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК), — он был душой и мотором заговора, продиктованного возведенными в культ якобинскими

целями. Дзержинский сам арестовал своего заместителя и потребовал его немедленного расстрела.

Только тут Коллонтай позволила себе признаться, что Славушка относился к ней вовсе не платонически и мечтал об их совместной судьбе. Этот ушедший в революцию сын губернатора (его подлинное имя — Вячеслав Александрович Дмитриевский) бежал с каторги, где пробыл шесть лет, и под видом кочегара на русском фрахтовом суденышке добрался из Мурманска до Норвегии. Здесь он и встретился с Коллонтай. Тяжелая болезнь обезобразила его голову, лишив растительности, но не смилив революционного пыла. Живя впроголодь и не замечая никаких житейских невзгод, он оставался до конца фанатиком и певцом террора, видя в нем единственный путь к освобождению человечества от всех социальных несправедливостей. С партийным псевдонимом Пьер Ораж, с фальшивым паспортом на имя Федора Темичева, он еще летом 1916 года нелегально вернулся в Россию и встретил Коллонтай в Петрограде уже в качестве члена исполкома Петроградского Совета от левых эсеров.

Узнав об аресте Славушки, Коллонтай тут же поехала в Петроград и остановилась у Зои, которая жила в гостинице «Астория», занимаясь эвакуацией в Москву правительственных учреждений. У нее был телефон спецвязи, и Коллонтай, позвонив Дзержинскому, пыталась ему рассказать биографию Пьера Оража, которую он, видимо, знал не хуже, чем она.

— Лучше вам, Александра Михайловна, — сухо сказал Дзержинский, — не вмешиваться в эту историю. Мы уже вынесли приговор. Александрович расстрелян.

Из дневника: «Сознавать, что «мы» (то есть и я) подписали смертный приговор Славушке, было мучительно больно. <...> Провела с Зоей в ее комнате бессонную ночь. Нет больше нашего Славушки. Ведь он безумно хотел своим выстрелом разбудить немецкий пролетариат от пассивности и развязать

революцию в Германии. <...> Под утро мы вышли на улицу. Светлая, бело-сизая ночь, любимая ночь в любимейшем городе, переходила в день, но Славушки уже нет и не будет. Милый мой Исаакиевский собор. Зеленый скверик. Пока пустынно. Скоро город заполнится спешащими по делам людьми. Кто и что для них Славушка? А ведь он жил и страдал за них! Сколько еще будет жертв ради нашего великого дела!»

В ожидании вызова от Свердлова Коллонтай вернулась в Царское и написала статью «Памяти товарища Александровича». Была отчаянная смелость в том, чтобы написать ТАКУЮ статью, да еще и отправить ее в «Правду»: «<...> Даже Троцкий признал, что Александрович умер мужественной смертью, как истинный революционер. Значит, есть что-то, что заставляет склонить голову перед его светлой памятью. <...> Пусть мы и осуждаем террор, но моральный облик тех, кто беззаветно, во имя идеи интернациональной солидарности и ускорения мировой революции, пожертвовал собою, остается чистым и незапятнанным. Такие бойцы навсегда с нами».

Статью никто не напечатал. Она сохранилась лишь в рукописном варианте. Коллонтай имела мужество не уничтожить оригинал, хотя двадцать лет спустя только этого манускрипта было достаточно для пули в лубяном подвале...

За последующие три четверти века будут написаны тысячи строк, чтобы объяснить, кто первым начал террор: белые или красные. Не все ли равно, если смотреть на это с высоты наших сегодняшних знаний о прошлом? От крови равно пьянеют и те, кто первые, и те, кто вторые. Никто не имеет права на оправдательный приговор истории, но вина большевиков усугублена тем, что они подводили под массовую резню философский фундамент и умство-

вали у подножия виселиц насчет объективной закономерности социально полезных убийств.

Совсем не случайно советские историки вели счет красному террору с начала сентября восемнадцатого года, утверждая, что то был ОТВЕТ советской власти на ранение Ленина, на убийства Урицкого и Володарского. Но меньше чем через две недели после убийства Мирбаха Ленин лично дал приказ уничтожить царя и его семью. В 1976 году, беседа с поэтом-сталинистом Феликсом Чуевым, Молотов на вопрос, знал ли Ленин о предстоящем расстреле царской семьи, вполне однозначно ответил: «Никто ~~на~~ себя не взял бы такое решение». В самом конце июля Дзержинский начал беспощадный террор против «монархистов и изменников» — якобы как ответ (всегда как ответ!) на убийство в Киеве германского фельдмаршала Эйхгорна. Только в Петрограде без суда было расстреляно около тысячи человек, в Москве чуть меньше. В августе Ленин отправил в Пензу наркома внутренних дел Украины Евгению Бош — Пенза не имела никакого отношения к Украине, зато эта фанатичка даже среди коммунистов отличалась особой жестокостью. Ей вослед полетела ленинская телеграмма: «Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов, белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Максим Горький в своей газете «Новая жизнь» написал, что страна переживает «дни безумия, ужаса, победы глупости и вульгарности». По рекомендации Зиновьева Ленин распорядился закрыть газету — и эту, и другие, сохранявшие еще достоинство и независимость.

За покушением на Ленина, подлинная мистерия которого лишь сейчас начинает постепенно открываться, последовал арест участников «заговора послов»: английского генерального консула Локкарта, французского — Гренара, начальника французской военной миссии генерала Лаверня и других. Все это входило в общий замысел подготовки массовой кровавой резни, для которой нужны были «моральные

основания». На британское посольство в Петрограде было совершено нападение, и защищавший его капитан Кроми убит. Донос на Локкарта, Гренара и других сделал корреспондент газеты «Фигаро» Рене Маршан с благословения сотрудника французской военной миссии Жака Садуля, симпатизировавшего большевикам и ставшего впоследствии членом французской компартии. С ним Коллонтай поддерживала дружеские отношения и от него узнала подробности всей задуманной операции.

Итоги не заставили себя ждать. 5 сентября 1918 года Совнарком принял постановление «О красном терроре». В обсуждении участвовало сорок три человека — не только наркомы, но и некоторые их заместители. После долгих дебатов все проголосовали за предложение Дзержинского, Шляпников — в том числе. (Восемнадцать из них сами станут жертвами термидора, двенадцать обреченных не доживут до того, как он начнется.) Классовых врагов предписывалось ссылать в места лишения свободы, а «уличенных или заподозренных в контрреволюционной деятельности» расстреливать. Большевики всегда выступали против смертной казни, и термин этот был изъят из лексикона еще в начале революции. Вместо него появился другой: «высшая мера наказания» или «высшая мера социальной защиты». Большевики никого не казнили — они лишь «социально защищались». Официальные (только официальные) цифры этой защиты таковы: в течение августа — сентября репрессировано 31 489 человек, из них расстреляно 6185, причем 4068 в качестве заложников. Смешные, «детские» цифры — в сравнении с тем, что наступит потом.

У Коллонтай — в дневнике: «Стреляют всех проходя, и правых, и виноватых. <...> Конца жертвам на алтарь революции пока не видно».

С Дыбенко удалось провести в Москве только два дня — его отправляли с «особым заданием» во

вражеский тыл, на оккупированную немцами Украину: Каменев передал ему от имени Ленина, что лишь геройское поведение и исключительные заслуги перед революцией могут вернуть его в партию. Эти два дня снова напомнили Павлу и Шуре их «медовый месяц». Все прошлые обиды и размолвки были забыты, и они снова почувствовали, как их тянет друг к другу. До Павла Коллонтай и в сексе оставалась мужчиной, то есть «хозяином положения», требующим подчинения и повиновения. Дыбенко быстро преодолел барьер робости и неуверенности и на склоне короткого «бабьего века» фактически стал ее первым мужчиной.

Едва встретившись, они сразу же разлетелись в разные стороны. Коллонтай отправили в текстильные районы (Кинешма, Орехово-Зуево и другие города), где большинство составляли женщины, для выступлений на собраниях и митингах. У Дыбенко задача была куда труднее: разжечь в украинском тылу партизанскую войну против немцев и их местных союзников. Эта миссия длилась недолго, но он успел с верными людьми отправить Коллонтай письмо.

«Дорогой мой голуб, милый мой мальчугашка, я совершенно преобразился, я чувствую, что во мне с каждой минутой растет буря, растет сила. <...> Я решил уехать для организации Крыма, первым делом еду в Одессу. Мой псевдоним Алексей Петрович Воронов. Милый мальчугашка, буд добра <...> через Чичерина достат паспорт на проезд через границу. Явка: Одесса, Греческая, 14. Внизу спросит хозяина. Пароль: «Лошадь продается? <...>»

С «организацией Крыма» ничего не получилось. Еще в августе Павла арестовали в Севастополе. Он пытался бежать, но был пойман, закован в наручники и переведен в симферопольскую тюрьму, где просидел до тех пор, пока его не обменяли на пленных немецких офицеров. Но и после освобождения не смог приехать в Москву — ему было приказано отправиться на Южный фронт, где начал наступать

Деникин. Отсюда он с оказией слал Коллонтай короткие записочки и большие кульки. «Шура милая Тебе посылаются продукты которыми ты поделишься с голодающими товарищами коммунистами твой друг Павел» — одно из многих и типичных его посланий того времени.

После долгого перерыва у Коллонтай открылось наконец второе дыхание — она снова активно взялась за перо, возвращаясь к своим излюбленным темам. Этому способствовали принятые один вслед за другим новые законы: о семье и браке и о школе. «Брак революционизирован! — с восторгом откликнулась она на первый из них. — Семья перестала быть необходимой. Она не нужна государству, ибо отвлекает женщин от полезного обществу труда, не нужна и членам семьи, поскольку воспитание детей постепенно берет на себя государство». Ей вторила жена Зиновьева Злата Лилина, руководившая народным образованием в Петрограде: «Детей надо национализировать, ибо они, подобно воску, поддаются влиянию, из них можно сделать настоящих, хороших коммунистов». Если бы эти слова не принадлежали члену ненавидимой ею семьи, Коллонтай с восторгом сама подписалась бы под ними. Но в любом случае они отвечали и ее мыслям. Если быть объективным, следует признать, что попытку сломать семью как основу социальной структуры общества осуществил не Ленин (его взгляды на брак, как, впрочем, и на литературу и искусство, были вполне традиционными), а левые фанатики, типичным представителем которых в то время была Коллонтай.

Одна за другой вышли новые и были переизданы старые ее книги. Статьи печатались в «Правде», «Известиях», в других газетах. Редко проходил день, чтобы она не выступала на многолюдных митингах, — и всюду звучала тема, вдруг ставшая для нее главной: полная свобода любви — знак полного освобождения от пут буржуазной морали. Однажды она прибегла к метафоре, ставшей сразу же крыла-

той и на многие десятилетия пережившей своего автора: в свободном обществе удовлетворить половую потребность будет так же просто, как выпить стакан воды. Она говорила о будущем, причем о будущем весьма неопределенном, но новое общество уже считалось свободным (так, по крайней мере, утверждали все агитаторы), стало быть, речь у нее шла не о будущем, а о настоящем. Она использовала это сравнение в пылу полемики, чтобы сразу же быть понятой, — ее слова возвели в концепцию и окрестили то, что за ней скрывалось, «теорией стакана воды».

С этой «теорией» не мог смириться такой консерватор в вопросах морали, как Ленин. Но вслух, публично никогда об этом не говорил. О его отношении к коллонтаевским проповедям известно лишь из воспоминаний немецкой коммунистки Клары Цеткин, которая подолгу бывала тогда в Москве, встречалась с Лениным и позже воспроизвела свои беседы с ним. Положение Цеткин было тем деликатней, что она была близкой подругой Коллонтай и вместе с тем чтילה Ленина, безропотно признавая в нем вождя мирового пролетариата. Поэтому ее воспоминания написаны с претензией на объективность — в них нет и намек на ее собственную позицию, она лишь механически записывала за Лениным его слова.

«Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, — растолковывал Ленин Кларе Цеткин, — что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. <...> Конечно, жажда требует удовлетворения, но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. Питье воды дело действительно индивидуальное. Но в любви

участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу».

Но не только «теории» волновали Владимира Ильича — он коснулся и личностей. По имени не называл (или из деликатности Цеткин их опустила), но лишь недоумок не мог понять, кого он имел в виду: «Я не поручусь за надежность и стойкость в борьбе тех женщин, у которых личный роман переплетается с политикой <...> Нет, нет, это не вяжется с революцией». Так что о подлинном отношении Ленина к Коллонтай можно судить не только на уровне версий...

Много позже Сталин повелит издать эти воспоминания без всяких комментариев и тем самым канонизировать критику Коллонтай, придав словам Ленина в изложении Цеткин нормативный характер. Не совсем, правда, ясно, на каком языке беседовали Клара и Владимир Ильич: с немецким, как он сам признавался, дела у него обстояли лучше, чем с другими языками, но все же очень неважно. Тем не менее разговор он поддерживать все же мог, кто, однако, поручится за точность воспроизведенной Кларой прямой речи? Тем не менее именно эти слова бесчисленная армия советских историков, философов, лекторов, пропагандистов будет цитировать без всяких оговорок как ленинские, словно тот лично их написал или высказал публично. Сама же Коллонтай их узнала от Цеткин: Ленин не брал со своей собеседницы обета молчания — напротив, хотел, чтобы о его мнении непременно узнал автор пресловутой «теории стакана воды». Пропасть, отделявшая Ленина и Коллонтай (только ли во взглядах на любовь?), становилась все глубже. Мало надежды оставалось на то, что их соединит какой-нибудь мост.

В то время как ленинский скепсис по отношению к ней становился все заметнее (скорее всего, не без влияния Инессы Арман), Сталин относился к ней хоть и с иронией, но добродушной. Не будучи при-

частен официально к каким-либо иностранным делам, он дружески ей посоветовал уехать в Германию («Вас все там знают, у вас огромные связи, лучше вас с этим не справится даже Радек»), чтобы побудить немецких товарищей поскорее разжечь революционный пожар и «на время уйти с глаз долой». «Может быть, так и поступлю», — откликнулась Коллонтай на этот совет в своем дневнике. Не поступила: разделенная войной и границами, она чувствовала бы там себя лишенной самого главного — Павла. Хоть и на фронте, он был, казалось ей, рядом. Но только если она в Москве...

Вот несколько фрагментов из ее писем Дыбенко того времени. Первое написано сразу по окончании проведенного ею Первого Всероссийского съезда работниц и крестьянок.

«Мой бесконечно, нежно любимый <...> всю эту неделю я провела в безумной лихорадочной работе. Съезд удался лучше, чем можно было ожидать, хотя вначале были на меня нападения с тыла и истерики бабьи. <...> Когда работаешь, не чувствуешь так остро разлуки с тобой, но стоит работе оборваться, и на сердце заползает тоска. Не люблю я приходить в свою холодную, одинокую комнату холодной женщины. Я опять одна, никому не дорогая, будто снова должна бороться с жизнью, не ощущая ничего тепла. Ты же далеко, мой мальчик, Павлуша мой дорогой. <...> Тревожусь, что ты так похудел, так хочется хоть письмо от тебя или краткую телеграмму. Приехала Зочка, но хочется тебя, только тебя.

<...> Мой горячо, нежно любимый, на съезде петроградцы пересолили своей ненавистью ко мне и этим проиграли. Дошло до того, что сорвали со стены мой портрет. Работницы отнеслись к этому факту достойным образом, мне была устроена демонстративная овация. Но до чего же это все подло! <...>»

От него не было никакого ответа, а она все писала, согреваясь в ледяной комнате на Серпуховской

улице — ей дали ее «на двоих» — бутылками кипятка, которые держала под мышками.

«<...> Не знаю, когда эти строки попадут тебе в руки. Но бывают дни, когда неудержимо хочется говорить, беседовать с тобой. Мысленно я часто рассказываю тебе все свои беды и радости и стараюсь угадать, что с моим большим и маленьким другом. Везде ты, и только ты, ведь ты же мой мальчик. Словами все равно не скажешь тебе, как люблю тебя. Сегодня мне особенно не хватает тебя и хочется забраться к тебе на колени, спрятаться в твоих объятиях, чувствовать себя маленькой-маленькой, ощущать, что ты не даешь обидеть мальчугашку. <...> Ты думаешь, что мальчугашка совсем глупый и капризный? Нет, он не всегда такой, много воюет и много работает, но когда кругом столько много мелких уколов, так трудно придти домой в одинокую комнату, некому слова сказать, никому до тебя дела нет, никому ты не дорога. <...>

Нужна Александра Коллонтай, а маленькая Коллонтайка — кому она дорога? И вот тогда так хочется быть ближе к тебе. После мучительно трудного дня прилягу, засну и вдруг сразу проснусь — мучаюсь, мучаюсь, лежу в темноте, а сердце ноет, ты, такой близкий, с которым мы пережили такое яркое животворное счастье, ты уже пресытился им, и мальчугашка тебе не самое нужное и дорогое в жизни. И думаешь, думаешь до рассвета <...> Но важно другое: мы с тобой крепкие, крепкие товарищи, правда?

<...> Завтра еду на 3—4 дня в Петроград, хочу повидать Мишу, Зою и Танечку. <...> Как мало людей — коммунистов, как я понимаю это слово! Помнишь поездки в Кронштадт, звездное небо, темный, душный театр, полубессонная ночь в холодной комнате, как это было прекрасно, как все это близко и далеко <...>».

Захлебнувшаяся в крови германская революция,

подогретая и спровоцированная неутомимыми борцами за принудительное счастье мирового пролетариата, парадоксальнейшим образом позволила Ленину доказать свою проницательность. Он же предупредил, что постыдный Брестский мир дело временное и спасительное для ЕГО (говорилось: советской) власти. 11 ноября стало днем победы союзников, в советской России отмечалась другая радостная дата: 13 ноября Москва аннулировала Брестский договор. Но виды на международный красный бунт отнюдь не исчезли. Чтобы реанимировать революционный подъем, Кремль снова задумал послать туда факельщиков, которые хоть что-нибудь обязательно разожгут. «Главное ввязаться в драку», — со знанием дела говорил знаток наполеоновских афоризмов Владимир Ильич. Коллонтай снова было предложено стать одной из факельщиц. С поддельными документами (ей не привыкать), нелегально она должна была пересечь границу, чтобы стать Валькирией еще и той революции. Кто еще сочетал в себе столько талантов: ораторский пафос, громкое имя, способность магически воздействовать на толпу, блестящий немецкий язык — и связи, связи, связи?..

«Вчера чуть не уехала в Германию, — писала она Павлу, — задержалась только потому, что мало было времени сдать дела. Я и хочу ехать туда, и как-то больно отрываться от дома. Как будто буду дальше от тебя. Так все-таки есть надежда повидаться».

Но мало кто знал, что она переживала очередной душевный кризис. И не только из-за того, что Дыбенко был далеко и что сомнение в прочности этих отношений — без видимых, казалось, причин — уже становилось навязчивой идеей. Внутрикремлевские интриги, в принципе ей чуждые, становились обыденной повседневностью, к ним надо было привыкать, жить с ними и в них, а она этого не умела. И не хотела. К тому же жизнь все время ставила вопросы, на которые не находилось ответа.

Нежданно — сам, добровольно — явился из германского плена разоблаченный (еще следственной комиссией Временного правительства) бывший член большевистского ЦК и депутат Государственной думы, платный полицейский агент Роман Малиновский. Сдал себя в руки революционного правосудия и потребовал над собой суда. Мрачная и загадочная эта история не могла не привлечь к себе внимания — Коллонтай пошла на процесс, где судьями выступали семь большевиков с дооктябрьским стажем, а обвинителем — все тот же Крыленко. Бывший зал судебных установлений в Кремле был забит получившими специальные пропуска — Ленин сидел среди публики и что-то механически чертил, не поднимая головы.

Кого выдавал полиции Малиновский, было не так уж и интересно, следователи Временного правительства досконально выяснили все подробности, осталось только один, самый главный, вопрос: что заставило Малиновского вернуться? На что он рассчитывал? Какая дьявольская драматургия скрывалась за всей этой историей? А драматургия разыгрывалась поистине беспримерная — мало кто (почти никто!) знал ее невидимые миру пружины. Коллонтай была одной из этих немногих.

Возлюбленная Малиновского и первая, самая активная, его разоблачительница — Елена Розмирович — участвовала в следствии, а ее муж — Николай Крыленко — выступал обвинителем! Одно это делало сюжет пленительным и зловещим. Но в не менее пикантной ситуации оказывался сам Ленин. Он не только отвергал — за три года до этого — все ОЧЕВИДНЫЕ обвинения против Малиновского, но и после того, как тот был интернирован в Германии, посылал разоблаченному агенту продукты и революционную литературу, чтобы тот агитировал своих солагерников «за большевиков». Во время следствия Малиновский настоятельно просил об очной ставке с Лениным, но, естественно, получил отказ. Он, конечно, ни за что не приехал бы, если бы не имел

гарантий своей безопасности и — больше того! — обещаний простить его ради прежних заслуг и вернуть к активной политической деятельности: человек он, судя по всем данным, был на редкость способный.

«Тьма, тьма, беспросветная тьма», — вот и вся, известная нам, реакция Коллонтай на эту «революционную» драму. Не пришла ли и ей в голову та мысль, которая не может не прийти нам сейчас: а не знал ли Ленин и раньше о работе Малиновского на полицию, не извлекал ли из этого пользу? То есть, выражаясь сегодняшним языком, не был ли Малиновский двойным агентом, которого полиция считала своим, заброшенным ею в ряды большевиков, а Ленин — тоже своим, внедренным в святая святых и осведомлявшим партию (Ленина) о полицейских тайнах? Не обещана ли была ему свобода в обмен на признания и не был ли он подло обманут, ибо знал слишком много и потому представлял опасность? Если все это так, то Сталин, который — потом, потом! — пойдет на сделку с Зиновьевым и Каменевым, пообещав им жизнь в обмен на «признание своей вины», был не автором этой кровавой драматургии, а всего лишь талантливым плагиатором. Эпигоном...

Тьма, тьма, беспросветная тьма — что еще можно было сказать, наблюдая за этой мистерией? И что рассказать Павлу — даже ему, самому близкому и любимому? Вместо тех, что просились, на бумагу ложились другие слова.

«<...> Родной, опять ты балуешь меня, я получила гуся. Спасибо, спасибо! <...> Ну, мой милый, как живешь? Так хочется обнять тебя, приласкать, люблю нежно, многое хотела бы рассказать, но надо прервать, целую твою головушку родную. Напиши мне с оказией, милый, письмо. Хорошо что-нибудь знать друг о друге, чувствуй — в моем сердце всегда ты».

Ему было не до сантиментов — только бы вернуться в лоно партии, ни о чем другом он не хотел

думать. Коллонтай знала это, поэтому традиционное выражение чувств сопровождала сугубо деловой информацией, изложенной абсолютно прозрачным эзоповым языком.

«Сегодня удалось по-товарищески поговорить с Каменевым, который несомненно хорошо относится к нам обоим. От него узнала следующее: вопрос, который нас с тобой интересует, был поставлен самим В. И. <Лениным> на заседании ЦК, причем В. И. внес предложение аннулировать бывшее постановление <об исключении Дыбенко из партии>, но большинством двух голосов рассмотрение вопроса было отложено до получения сведений о работе того лица, о котором шла речь <то есть о Дыбенко>. Каменев советует, чтобы ты посылаи краткие извещения в ЦК — по моему почину в таком-то месте сделано то-то, например, выпущена газета, создана коммачейка и т. д. Посылай хоть раз в неделю, я буду следить <...>».

Создавать коммачейки — не по его нраву: у Дыбенко был другой размах, другие масштабы!

Запись в дневнике Коллонтай: «29 декабря 1918. Ворвался Павел, привез выкраденные у белогвардейцев документы — и снова уехал на фронт. Я была с ним у Свердлова — тот остался доволен докладом и сказал, что вопрос о восстановлении в партии будет поставлен в ближайшее время».

Фронт был рядом — туда и обратно всего несколько часов. 31-го они были снова вместе. Новый год встречали с военными: генеральный штаб устроил торжество в бывшем охотничьем клубе. Хрустальные люстры, зеркала, золотая лепнина, выцветшие, затоптанные, покрытые толстым слоем пыли, но все еще прекрасные ковры... Но столы без скатертей, ужин: горячий суп «без ничего», котлеты из картофельной шелухи, ломоть черного хлеба с сыром, яблочный чай с куском сахара. Дыбенко с Коллонтай внесли самый шикарный пай: бочонок красной икры. На каждого хватило по не-

сколько икринок. Зато водки — без всяких ограничений...

«Много прежних офицеров, вытщенных Троцким, — отмечала Коллонтай, — во френчах, но без погонов. У дам нарядные платья, которые за границей носили в 15—16 годах: узкие к низу юбки и низкая талия». Пришли только его друзья — и никто, кто мог бы, хотя бы и с оговорками, считаться ее другом. «Может, и к лучшему, — делилась она со своим дневником в первый день наступившего года, после бурного застолья и не менее бурной ночи вдвоем. — <...> Сегодня я не мудрая Коллонтай, а влюбленная девчонка, которая пользуется взаимностью своего избранника».

Похоже, это был пик их любви.

ОРЕЛ И ГОЛУБЬ

Год начался счастливо.

Хотя Дыбенко к вечеру 1 января уже был снова в пути на фронт, вопрос о его партийности решался заочно. 3 января на заседании ЦК исключение из партии признали аннулированным. Это было больше, чем восстановление: сочли, что он вообще не исключался. По правилам партийной бюрократии такие нюансы имели принципиальное значение — Коллонтай и Дыбенко могли ликовать. Они и ликovali, по крайней мере она.

«Павлуша мой, бесконечно любимый! Прежде всего о делах. Посылаю тебе постановление партии. <...> Счастлива за тебя безмерно. <...> Успеха тебе во всем, во всем, мое сердце с тобой, с тобой, шлю тебе все, все мое тепло, мою неизменную нежность, если б ты знал, как много ты в моих мыслях и как неизменно и крепко в моем сердце. Обнимаю тебя, мой милый. <...> Вместе с постановлением партии к тебе летит мое сердце. Твой Голубь».

Этот полет не мешал ей, однако, отнестись к своему Орлу с трезвой критичностью. Несколькими днями раньше помечена в дневнике такая запись о нем: «Дыбенко (не «Павлуша», не «любимый», не

«милый»!) несомненный самородок, но нельзя этих буйных людей сразу делать наркомами, давать им такую власть. Они не могут понять, что можно и что нельзя. У них кружится голова. Это я все говорила Ленину. Свердлов не скрывает своей антипатии к такому «типу», как Павел, и Ленин, по-моему, тоже». С такой же холодностью — и почти теми же словами, совсем в других, казалось, условиях — она размышляла в своем дневнике о Шляпникове. Тогда, в Норвегии... Так недавно. И так давно.

Пылкая любовь не мешала ей смотреть на любимого со стороны и видеть его таким, каким он был, а не таким, каким казался. Точно так же, как холодный анализ не мешал ни взвинченной экзальтации, ни туманившему голову порыву. Эта — постоянная и резкая — смена регистров едва ли не больше всего поражает, когда читаешь ее дневники тех лет. «От Павла нежное письмо, и сердце полно тепла и нежности к нему, к моему большому ребенку-мужу. Все существо мое трепещет. У него уже опять трения с комиссарами, он не может найти с ними общий язык. Придется разъяснять ему его ошибки. <...> На Украине бои. Мой милый, милый! Странно, что я никогда не опасаясь за его жизнь. У меня одна забота: чтобы он проявил себя дисциплинированным партийцем. <...> От Павла привезли с Украины хлеб, колбасу и повидло. Он там командует батальоном. Отзывы о нем хорошие <...>».

Из Германии пришла весть об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург. С Карлом были связаны воспоминания не только о совместной партийной борьбе, но и Розу она считала своей близкой подругой. Тем более удивляет, что о гибели Розы в ее дневнике нет ни слова. (Именно в дневнике! В ее статьях, посвященных этой трагедии, упоминаются, естественно, обе жертвы.) Как будто был убит только Либкнехт. «Любимый Карл! — записала она. — Ты останешься нашим социалистическим святым. <...> О тебе скорбит весь русский пролетариат». Если о скорби пролетариата судить по названиям

улиц, то пролетариат скорбел больше о Розе, поскольку улиц имени Люксембург до самого последнего времени было в бывшем Советском Союзе сотни, а возможно, и тысячи. Улиц Либкнехта почему-то во много раз меньше...

А на митинг памяти их обоих пришло несколько десятков человек — в основном красноармейцы, которых привели их командиры. «Как это понять?» — не вполне ясно, к кому обращен вопрос в дневнике Коллонтай. И есть ли какая-то внутренняя связь между заданным ею вопросом и запечатленным тогда в дневнике неожиданным ее размышлением: «Думаю о будущем. Нашим следующим кумиром после Ленина станет какой-либо великий изобретатель в области техники, физики или химии, который перевернет все социальные взаимоотношения и сведет физический труд к минимуму».

Причудливый и не всегда поддающийся точной расшифровке ход ее мыслей не мешает, однако, увидеть, какие проблемы тревожили ее, ибо сохранились, хотя и конспективные, записи ее выступлений того периода. Не агитационных — для публики, а настоящих — для «своих», для партийцев. Как раз в эти дни проходила Московская городская партийная конференция, и Коллонтай впервые заговорила на ней о засилье бюрократии, о том, что «партия единомышленников превращается в партию чиновников с партийными билетами в карманах». И впервые Ленин — не в письмах к «товарищам», а с трибуны — дал отповедь ей и тем, кто ее поддержал: то, что критиканы считали бюрократизмом, он назвал «порядком и организованностью». А поскольку Коллонтай, как всегда, говорила от имени женщин, разъяснил ей, чем женщины должны заниматься. Не борьбой же с бюрократами! Разумеется, нет! «Женщины, — заявил он, — должны учиться ставить ясли, столовые, проводить правила санитарии и гигиены». Коллонтай снова взяла слово. Обойдя молчанием развернувшуюся полемику, она сказала: «Рука Ленина повернула рычаг мировой истории на

несколько лет вперед». Поморщился ли Ленин от этого натужного пафоса? Не почувствовать фальшь он не мог...

Газеты сообщили о том, что на Украине Красная Армия под водительством Дыбенко взяла город Екатеринослав и что Дыбенко «с исключительной храбростью вел свои части». По такому случаю ему был обещан отпуск в Москву на несколько дней, но воспротивился Троцкий — вместо этого разрешили Колонтай его навестить. Как раз снарядили спецпоезд, который повез делегацию создавать на Украине советское правительство и свою (но, конечно, под московским контролем) Красную Армию. Начальником ехал Николай Подвойский — хороший знакомый Павла и неплохо (так ей казалось) относившийся к Колонтай.

Всю дорогу она не отходила от окна. «Кругом талый, грязный снег. Люди спят прямо в лужах. Ничего подобного я в своей жизни не видела...» Революция представляла пред ней не в утопических идеях и не в кабинетных схемах — поворачивалась подлинным ликом. Дыбенко шиканул во всю ширь своей буйной души — отправил навстречу «спецпаровоз» вместе с единственным «спецвагоном» — обрубленное это словечко (спец, спец, спец!..) успело уже прочно и очень надолго войти в совлексикон. Обстановку этого вагона, который молва тотчас окрестила «коллонташкой» (по другим воспоминаниям — «коллонтаевкой»), Александра описала кратко и ярко: «Вагон разделен на две части — за перегородкой постель и умывальник, спереди ковер, стол, самовар. <...> Стол накрыт красным сукном, тепло — топится печка, на столе масло, булка, фрукты, шоколад». Последние два слова густо зачеркнуты — видимо, в 1946 году, когда Колонтай подвергла тотальной редакции свои дневники, создав, по сути, совершенно новый их вариант. С этими, много говорящими, разночтениями нам придется встретиться еще не раз.

Харьков был тогда столицей Украины, но нахо-

дился в непосредственной близости к русским областям и был населен почти исключительно русскими. Здесь шла своя политическая грызня — среди «своих»: «национал-коммунисты» считались «левыми самостийниками» и добивались создания независимой коммунистической республики. Им противостояли сторонники центральной (то есть московской) власти, которые, однако, выступали против «генштабистов и бюрократов». Разобраться в перипетиях этой борьбы сейчас довольно сложно, да и зачем? Важно лишь, что Дыбенко тоже был втянут в нее — он примыкал к «москалям». Неизбежно пришлось втянуться и Александре. «Мне неприятно: я здесь не Коллонтай, а жена Дыбенко. Павел зовет работать на Украину, тогда я совсем перестану быть Коллонтай». Быть Коллонтай — вечный ее «пунктик» — определял все поступки, и это омрачило радость краткосрочного их свидания. Правда, вместо разрешенных двух дней она провела с Дыбенко целых пять, но все они ушли на политические споры. Может быть, из духа противоречия она поддержала не Дыбенко, а тех, кто считался «центристами», — их возглавлял Христиан Раковский, чье имя в равной мере связано с историей компартий Румынии, Болгарии, Франции, Германии и России. И естественно, Украины, где он был фигурой первой величины. Раковский очень хотел, чтобы Коллонтай осталась работать на Украине. «Мы вас сделаем наркомом, — пообещал он. — Или отправим в Америку на нелегальную работу». Про Америку не могло быть и речи, а про наркомовский пост на Украине, возможно, и подумала бы, но другие мысли занимали ее.

Коллонтай жила в квартире, которую занимал Павел, богатой, принадлежавшей кому-то из тех, кто бежал от большевиков. «Странно, — признавалась она себе, — в этой покинутой буржуазией квартире я сразу почувствовала себя, как дома. Все для удобства: ванна с горячей водой, уютная постель, красиво сервированный стол. Прекрасные продукты. И

это после московской пытки!» Радость от комфорта омрачалась присутствием двух лиц женского пола, которые пробудили в ней смутные подозрения. Одна — «товарищ Сальковская» — раздражала своим злословием и нескончаемым хохотом. «Такие и раньше бывали при полках, — отмечала Коллонтай, — она в курсе всех военных дел. Но в качестве кого она здесь находится?» Павел на этот вопрос не отвечал, только отмахивался, и это еще больше ее тревожило.

Другая была полной противоположностью боевой хохотунье. Горничная в черном платье и кокетливом передничке перешла к Дыбенко вместе с квартирой от прежних хозяев. От этой девчонки лет девятнадцати — худенькой, с детским румянцем и ямочками на щечках — нельзя было выжать и слова: она безропотно выполняла любые распоряжения приехавшей из Москвы госпожи, но упорно отказывалась вступать с ней в какой-либо разговор. Свои безответные монологи — в попытке разговорить девочку и понять ее истинное место в доме — Коллонтай произносила, когда они оставались вдвоем. Но Дыбенко узнал о них: значит, с ним служанка не была такой молчаливой.

— Ну, что ты к ней пристала? — выговаривал Павел. — Ты не знаешь украинок, от них все равно ничего не добьешься.

— А есть чего добиваться? — поймала она его на слове.

И опять он отмахнулся — ушел от ответа.

Так ни в чем и не разобравшись, но со смутной тревогой на сердце, она вернулась в Москву. За опоздание никто ее не отчитал — было не до этого. Открывалось собрание коммунистов нескольких стран, которое почти сразу же объявило себя Третьим Интернационалом. Разумеется, тут уж без Коллонтай обойтись не могло. Формально она считалась делегатом от РКП(б), фактически выполняла роль переводчицы. Особенно кстати было ее знание нескольких языков, что давало возможность обойтись

без посторонних: заседания происходили «тайно, конспиративно» (это ее дневниковые характеристики — эмоциональная окраска выбранных слов весьма показательна). «В первый вечер все шло по-семейному, — продолжала Коллонтай. — было человек 20—25, из настоящих иностранцев приехали Платтен, немец Альбрехт и норвежец Станг. Остальные — самодельные иностранцы, вроде Ротштейна <...> Ни по одному вопросу разногласий не было. Тон задавали наши». Это краткое, замечательное своей точностью (ибо подтверждается документально), свидетельство очевидца получило в 1946 году, когда Коллонтай корежила свои дневники, такую редакцию: «Ни по одному вопросу не возникало разногласий, потому что направление давали Ленин и Сталин». Что касается Сталина, то он, видимо, направлял иностранных товарищей прямо с Южного фронта, где тогда находился.

Днем она заседала на конгрессе, ночью мчалась в аппаратную генерального штаба, чтобы вступить в разговор по прямому проводу с вызывавшим ее Дыбенко. Письма, которые она писала ему в эти дни, резко выпадают из привычного тона. «Все эти дни острая тоска по тебе» — единственная фраза, хоть чем-то напоминающая прежние чувства. Нет уже ни Голубя, ни летящего сердца, ни «всей моей нежности», ни «мыслей, которые вьются вокруг твоей головы». Еще совсем недавно поток ласковых слов перемежался с сухой партийной риторикой. Теперь только она и осталась. «Каков же итог зимы? — спрашивает она Павла. И сама же отвечает: — Устойчивость советской власти неоспорима».

В душе уже созрело решение: «Уеду на Украину. Там тревожнее, но зато во мне живая надобность, новая полоса». Это явное лукавство — даже пред собою самой. И слова о «живой надобности» какие-то неживые... Ее тянуло туда желание не столько быть с Павлом, сколько возле него. Неотвязные

мысли то о товарище Сальковской, то о горничной, вошедшей в образ непорочной гимназистки, определяли выбор пути.

«Скорпионьим самоедством» называла она бурю своего сердца. Но, поедая себя, она не смела перестать думать обо всем человечестве и особенно — о женской его половине.

7 марта — запись речи на граммофонной пластинке, предназначенной для распространения на правах листовки: «Большевицкая зараза свободно гуляет сейчас по Германии, нет от нее спасения, нет защиты! Ею заражены уже войска французов, от нее не уберегли английские генералы своих матросов и солдат! Плохо ваше дело, господа мировые хищники! Рабочий народ подымается, рабочий люд понял, что спасение его в коммунизме. <...> Дрожите, грабители! Ваш час пробил».

22 марта — доклад на Восьмом съезде РКП(б) «О работе среди женщин»: «Не бойтесь, будто мы насильно разрушаем дом и семью, не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, плошки и горшки <...> Если мы разъясняем значение социалистического воспитания, говоря, что такие детские колонии, трудовые коммунуны, — матери спешат к нам с детьми, несут их к нам в таком количестве, что мы не знаем, куда их поместить <...> Работница должна перестать быть хозяйкой на дому <...> должна перестать заниматься детьми...»

Ленин был отнюдь не в восторге, слушая о замыслах «революционизировать» семью. Зачем это? Революция — путь к власти, но какую власть можно иметь от того, что женщины будут рожать детей и сдавать их на воспитание государству? Только одни заботы, только непосильное бремя для и без того обнищавшей на дрожжах революции, недавно еще процветавшей страны. Он добился того, что поправка Коллонтай к новой программе партии («бороться за исчезновение замкнутой формы семьи») была съездом отвергнута. Возмущенная Коллонтай страст-

но пропагандировала свои взгляды в кулуарах, не скрывая недовольства решением, которое принял съезд. Одну из ее кулуарных речей услышал Ленин. «Существует партийная дисциплина», — совсем недвусмысленно напомнил он. Но ее уже понесло: зачем семья, если нет частной собственности, если переходим на общественное питание, если детей будем воспитывать в социалистическом духе? «Это ненужный институт буржуазного строя! — кипятилась она. — Зачем ребенку принудительная отцовская любовь?» К счастью, прозвенел звонок, созывая в зал заседаний. Могло бы кончиться скандалом...

На Украину она уехала, уже договорившись, что по возвращении начнет работать в Коминтерне. Там была ее стихия, лишь одно обстоятельство омрачало предстоящую перспективу: председателем Коминтерна был утвержден Зиновьев, а их взаимная антипатия еще со швейцарских времен была общеизвестной.

На этот раз она ехала не в качестве жены Дыбенко — к мужу, а в качестве Александры Коллонтай с пропагандистской миссией в Донбасс. Это поднимало ее настроение и удовлетворяло вполне извинительное тщеславие. ЦК выделил для поездки «спецвагон первого класса» (эта деталь отмечена ею несколько раз в дневнике, в письмах, в черновиках будущих мемуаров), но, правда, не ей одной, а еще и украинским наркомам, возвращавшимся с партийного съезда. Вместе с собой она взяла Мишу, чтобы «увидел реальную жизнь и приобщился к борьбе за дело революции». Еще ехали в том же вагоне два француза. Одного — бородатого и тучного — она уже знала и любила говорить с ним, строя грандиозные планы создания всемирной советской республики. Это был Жак Садуль, симпатизировавший большевикам «наблюдатель французского правительства», посланный в Москву Альбером Тома и выполнявший одновременно функции корреспондента нескольких французских газет. Другой, его

товарищ, — молодой, черноусый, преждевременно облысевший (это все, что она тогда запомнила) — был угрюм, застенчив и молчалив, но зато любил слушать ее разговоры и смотрел на нее с любопытством, которое ее раздражало. Осталось в памяти только имя: Марсель.

Путешествие было полно опасных приключений, к которым мало кто из пассажиров первого класса был готов. В Курске по вагонам стреляли: армия Деникина уже приближалась к Москве. Даже украинские наркомы в панике легли на пол, спасаясь от пуль. Лишь Коллонтай, уложив Мишу вместе с наркомом, да еще два француза остались на местах, — впрочем, Садуль скорее из-за своей тучности. То же самое повторилось при подъезде к Харькову, только там стреляли не деникинцы, а петлюровцы, что для возможной жертвы, как известно, разницы не имеет. И на этот раз Коллонтай проявила завидную выдержку, поддержав не столь уж беспочвенную легенду о своем мужестве.

Харьков встретил ее уютом знакомого дома. Товарища Сальковской уже не было, и Александра даже не стала спрашивать, куда же та делась. Но «гимназисточка» оставалась все в той же роли, и демонстративный вид ее невинности раздражал Коллонтай даже больше, чем она сама. Приказала ей убраться из дома, и та безропотно повиновалась. В своих подозрениях Александра укрепились окончательно после реакции Павла. Точнее, после отсутствия всякой реакции. Он словно вообще ничего не заметил. Просто смирился. И этим — она была убеждена — выдал себя.

Штаб Заднепровской стрелковой дивизии, которой командовал Павел, переместился в маленький городок Александровск. Коллонтай поехала с ним. «Пишу в садочке за домом, — писала она в дневнике. — Тихо, цветут вишни. Думаю о Москве. Как это все далеко: заседание в Кремле, митинги, съезды <...> На местах не исполняют указаний Ленина. Что сказал Ленин о середняке? С годок будем с ним

поосторожнее, а там, если надо будет, скрутим по своему. Как всегда, ясно и мудро. А тут действуют грубо, оголтело. Результат плохой <...> К Павлу здесь почему-то недружелюбное отношение, а Ленин передавал ему привет. Странно все это, очень странно».

Ей было скучно, одиноко и тоскливо в чужой обстановке, среди незнакомых людей. Жизнь словно замерла, отшвырнула ее на обочину — без бешеного темпа, без привычного ритма она чувствовала себя беспомощной и ненужной. Это сублимировалось в обширной переписке и в дневниковых записях — благодаря им можно не только день за днем проследить ее жизнь, но и поспеть за ходом ее мыслей.

«Недавно на вечеринке, — писала она Зое, — один товарищ сел за рояль, играл Шопена. А будут ли будущие поколения любить Шопена? Люди воли, борьбы, действия, смогут ли они наслаждаться размагничивающей лирикой Шопена, этим томлением души интеллигентов конца 19-го и начала 20-го века? Полюбят ли 17-ю прелюдию или 4-й вальс те, кто победит капитализм и культуру эксцентричного буржуазного мира? Едва ли... Мне не жалко Шопена, пусть его забудут, лишь бы дать трудовому человечеству возможность жить, как подобает человеку с большой буквы. А культурные ценности мы сами создадим — не сентиментальные и плаксивые, а новые, бодрые».

Совсем близко, в Полтаве, жил человек, имя которого с благоговением произносила вся цивилизованная Россия. Владимир Короленко отличался от многих других больших русских писателей того времени особым гражданским мужеством и острой потребностью помогать попавшим в беду не столько словом, сколько делом. До революции он считался главным заступником, безотказно откликавшимся на любую просьбу о помощи и пользовавшимся влиянием и авторитетом даже в дворцовых верхах. О той роли, которую он сыграл в разоблачении мрако-

бесов, спровоцировавших «ритуальные» судебные процессы против удмуртов и против евреев (дело Бейлиса), знала вся страна. Издававшийся им журнал «Русское богатство» пользовался репутацией самого достойного и в литературном, и в общественно-нравственном смысле. Свои первые литературные опыты молодая Александра Коллонтай еще в конце девятнадцатого века послала именно ему и получила теплый отклик.

При большевиках Короленко — уже тяжело больной и в годах — с прежним рвением пытался обратить внимание власть имущих на развязанный ими террор, на жестокость, жертвами которой становились ни в чем не повинные люди. Его письма Луначарскому, который почему-то считался наиболее гуманным и цивилизованным наркомом, ходили тогда в списках, став прообразом будущего «самиздата». Короленко узнал, что его бывшая корреспондентка, ставшая влиятельной особой, чье имя гремело на всю Россию, находится неподалеку и обладает какой-то властью. Он попробовал вступить с ней в контакт — в надежде на понимание и на помощь. Повод был более чем тревожный: исключительно высокий процент евреев в карательных службах новой власти не мог не породить юдофобские настроения у населения. Узнав о том, что в мстительном порыве толпа линчевала ни в чем не повинную еврейскую семью Столяревского, Короленко обратил внимание Коллонтай на необходимость обуздать рвение чекистских садистов еврейского происхождения во избежание новых актов спонтанного «антитеррора». Увы...

На обращение литературного патриарха, продолжавшего оставаться живым голосом совести, Коллонтай не ответила. Две недели спустя, на одном из ее пропагандистских выступлений в Донбассе, пришла записка: не хочет ли она получить информацию о том, что творится в советских районах Украины, от Короленко? Не огласив его имени, Коллонтай ответила, что располагает всей информацией от

компетентных и объективных источников. «Тот, кто не хочет слышать, хуже глухого», — кажется, так звучит известная французская пословица.

Дыбенко переводили из одной войсковой части в другую — она всюду следовала за ним, как бы ей ни хотелось сохранить свою «самостоятельность». Все объяснялось предельно просто: там, где был Дыбенко, властвовали большевики, там, где его не было, — те, в чьих руках оказаться ей вовсе не улыбалось. Временное (пока) завоевание Крыма снова принесло ей наркомовский пост. Правда, всего лишь в границах марионеточной Крымской советской республики. И на этот раз они оказались вместе: Коллонтай вошла в «правительство» наркомом пропаганды, Дыбенко — наркомом по военным делам и командующим крымской армией. Прицепленная к «спецпаровозу», «коллонташка» отправилась в Крым. «Я помогу Павлу, — записала в дневник Александра. — Он недисциплинирован, самолюбив и вспыльчив».

Первый же крымский город — Мелитополь — встретил Коллонтай дивным летним утром. «Цветет белая акация, пьянящий запах и такой знакомый. Где они, где они, душистые, белые гроздья акации в милом Пасси? <...> Ничего этого нет и никогда уже больше не будет <...>». Эта дневниковая запись — не содержанием, а интонацией — говорит, пожалуй, больше, чем все остальные. «Меня всюду узнают. Имя Коллонтай что-то все-таки значит». Маниакальное чувство значимости собственной личности свидетельствует обычно о комплексе неполноценности. Она им отнюдь не страдала. Что же побуждало ее — не публике, а самой себе — все время доказывать, что она значительна, популярна, любима? При том не только в столицах. Скорее всего, отторжение от первых ролей, политическая, а не только географическая периферийность, и еще двусмысленность своего состояния «при», больно ранившая ее самолюбие.

Едва прибыв в Симферополь, она как «главный грамотей» получила задание сочинить приказ Совета обороны Крымской республики — угрозу «трусам и саботажникам», которые не хотели сотрудничать с «красными» и ждали прихода «белых». Недрогнувшей рукой она этот приказ написала: «Совет обороны доводит до сведения, что все служащие, безотносительно к их партийной принадлежности, которые своим отсутствием на месте службы нарушают нормальный ход жизни, будут считаться дезертирами и как таковые будут преданы военно-полевому суду, а также все граждане, распространяющие провокационные слухи, будут наказаны по всей строгости военно-революционных законов». На этом Дыбенко предлагал поставить точку, но Коллонтай, вспомнив реакцию Ленина на отмену смертной казни в ту, историческую, ночь 25 октября 1917 года, преодолела протестующий внутренний голос и дописала: «...вплоть до расстрела».

Во главе крымского «правительства» стоял младший брат Ленина Дмитрий Ульянов — человек мягкий, тихий и недалекий. Врач по образованию, типичный чеховский «Дядя Ваня», как характеризовала его Коллонтай, он мог оказаться на политическом посту исключительно по признаку родства, ибо не имел для этого никаких иных качеств. И желания, кстати, тоже. Ни в политике, ни в военных вопросах он не разбирался, но поручения брата исправно выполнял. А поручение было, в сущности, только одно: подобрать их общей сестрице — Марии Ильиничне — комфортабельный санаторий, поскольку той захотелось отдохнуть на благодатном черноморском берегу. Шла война, и деникинцам предстояло взять Крым со дня на день, но Кремль явно жил в атмосфере победной эйфории и с реалиями не считался. Не мог же, однако, младший брат не порадовать старшему! Для подбора подходящего санатория Дмитрий Ульянов отрядил Коллонтай.

Правительство размещалось в Симферополе — теперь ей предстояло ехать на Южный берег. Эта

странная, не имевшая аналогов в ее жизни, командировка совпала и с отъездом Дыбенко: вместо того чтобы заседать в Совнаркоме, он отправился на фронт. «Собери вещички, — второпях сказал он, — и портфель с бумагами». Проверяя, на месте ли носовой платок, она нащупала в кармане френча два письма. Любопытство победило врожденную воспитанность.

Оба были адресованы Павлу, но почерк был разный. Дрожали руки, когда разворачивала и читала сложенные вчетверо бумажные листки. Одно письмо кончалось: «твоя, неизменно твоя Нина». Другое — тоже любовного содержания — написано до боли знакомым почерком, только подпись была неразборчива. Было еще и третье, недописанное, письмо, оно лежало в том же кармане — начало ответа Павла: «Дорогая Нина, любимая моя голубка...» Александра ничем не выдала себя — лишь переложила письма из внутреннего кармана френча в наружный: чтобы заметил. И ушла.

Вернувшись домой, нашла его записку: «Шура, я иду в бой, может не вернусь. Моя жизнь, как и всех нас, нужна Республике. Помни, что ты для меня единственная. Только тебя люблю. Ты мой ангел, но ведь мы с тобой месяцами врозь. Вечно твой Павел». Дневник запечатлел ее реакцию: «Умом понимаю, сердце уязвлено. Неужели Павел разлюбил меня как женщину? Самое больное — зачем он назвал ее голубкой, ведь это же мое имя. Он не смеет его никому давать, пока мы друг друга любим. Но может быть, это уже конец? Выпрямись, Коллонтай! Не смей бросать Коллонтай ему под ноги! Ты не жена, ты человек».

Больше всего ее мучило второе письмо — то, где знакомый почерк. Казалось бы, все равно, раз есть — не одно, а два сразу — письменные доказательства его измены. И все же неведомая Нина приносила меньше боли, чем явно ей знакомая и еще не открытая женщина, предававшаяся любви с Павлом у нее за спиной и, возможно, расточавшая ей

льстивые слова, торжествуя от того, что крадет чужого мужа. Спасением от мук ревности и унижения могло быть только осознание тех великих деяний во имя революции, которые совершают они оба.

Из дневника: «Звонок от Раковского из Харькова. Идут бои. Стараемся продержаться. Павел, как всегда, в первых рядах. Где же братская рука пролетариев Франции, Англии? Могли бы ударить в тыл Антанте. Неужели пролетарии еще верят в эту комедию Мирного конгресса, который сейчас проходит в Париже? Но все же больше меня мучает ревность. Я думала, что это чувство во мне атрофировано. Видимо, потому, что раньше всегда уходила я, а страдали другие. А теперь Павел уходит от меня. Ночью написала ему длинное письмо, утром разорвала. Как в такие дни можно думать о ревности? Видимо, во мне все еще сидит проклятое наследие женщины прошлого. Пора призвать Коллонтай к порядку. Ведь и в Крым я попала только для Павла. Не хочу быть женой! Так тебе и надо, Коллонтай!»

На Южном берегу ничто не напоминало о том, что рядом — совсем рядом — идет война и льются потоки крови. Наркома встретили ненавидящие глаза персонала крымских санаториев и приторная почтительность, с которой они выслушивали ее и ей отвечали. «Начало пути: Гурзуф. Все дышит Пушкиным и напоминает о нем. Мирная, чудесная ночь. Кипарисы, пирамидальные тополя — как это прекрасно! Но почему нас так здесь ненавидят? Особенно татары <...> Дальше — Ялта. Всюду Чехов. Как будто и не уезжал из Ялты. И не умер. Ливадия, Массандра, царские дворцы. Хорошие доктора, полный порядок. Но как приедет сюда Мария Ильинична, когда все тут ждут деникинцев? Здесь лучше, чем на французской Ривьере или в Калифорнии. Розы. Магнолии. Черешня. Павел на фронте, а я упрекаю его за какие-то глупые поцелуи. Все это мой грех. Зачем я вьюсь вокруг Павла, точно ползучее растение? Руку, товарищ Дыбенко, я твой соратник по общему революционному делу. Но Коллон-

тай я тебе больше под ноги бросать не буду. Подумала так — и вдруг стало легко и свободно на душе. В такое великое время нельзя возиться с психологическими драмами. Да и что вообще произошло? Словно я не учу всегда своих сотрудниц: героини Октября должны с достоинством нести знамя своей партии?»

Как в воду глядела: через два дня армия Деникина взяла Симферополь, едва не отрезав застрявшую на берегу наркомшу от советской метрополии. Чудом ей удалось спастись, на ходу перехватив вагон, в котором удирало все крымское правительство во главе с Дмитрием Ульяновым. До Киева тащились более недели. На одной из небольших станций захватили нескольких деникинцев. Начальник поезда галантно доложил Коллонтай: «Я велел трогаться немедленно. Вы не вынесете зрелища, как из живых людей делают котлеты». Когда поезд тронулся, начало этого зрелища она все-таки увидала.

«Крым пришлось очистить, крестьяне не за нас. А кто за нас?» Она поставила в дневнике вполне резонный вопрос, но ответа не дала. И давать не хотела, хотя ее цепкий, наблюдательный взгляд точно и выразительно фиксировал происходившее. «Я уже в Кременчуге. Здесь штаб Ворошилова. Армейские начальники грызутся между собой <...> Солдаты бегут из частей куда попало. Авторитет командиров падает. <...> Встретила Дыбенко впервые после истории с письмами. Сказала, что я рвусь на свободу от нашего брака. Павел заплакал. Стали говорить о больших делах, а не о любви. Какая любовь — у него опять конфликт с Ворошиловым <...>».

Какая любовь?! Да она только об этом и думала! Даже получив — уже в третий раз за свою жизнь — министерский пост: ее назначили наркомом агитации и пропаганды Украины. На этот раз Павел в правительство не вошел, лишив потомков возможности констатировать уникальный рекорд: тройное супружеское участие в трех разных правительствах. Впрочем, достаточно, пожалуй, и двух...

Но в киевской гостинице «Континенталь», где они оба обосновались, Коллонтай мастерски вывела командарма на чистую воду.

— Неужели ты думаешь, — сказала она, — что я не узнаю этот почерк? Подумай, сколько раз я читала бумаги, написанные ее рукой! Меня не ты поражаешь, а эта женщина!

— Да какая же это женщина! — воскликнул Павел. — Глупая, не знающая жизни девчонка! Но не ты ли, Шура, всегда говорила, что каждая женщина имеет свое право на счастье? Даже и мимолетное... Будь снисходительна к Тине.

К Тине?! Как же могла она не узнать сразу почерк своей секретарши?! Тина — хрупкое, болезненное создание с выпирающими из платья ключицами, горящая на работе и тем пленившая Александру! Сколько она сделала ей!.. Сделала ее своей confidentкой, доверяла самые интимные тайны, просила быть посредницей в ее переписке с Павлом. Напосредничала — ничего не скажешь...

Она молча вышла из комнаты, долго бродила по Крещатику, нарядному, полному людей, чуждому, казалось, всяких забот. Рекламные тумбы извещали о спектаклях и концертах — на одной из афиш она увидела имя Веры Юреновой. Послала судьба человека, кому могла бы она сейчас все выплакать. «Павел! Не жди меня и забудь. Воюй за наше светлое коммунистическое будущее, за счастье пролетариев всех стран». Так написала нарком пропаганды командарму после ночи, проведенной ею с Верочкой — в слезах и воспоминаниях.

«Шура, мой милый, мой нежно, нежно любимый Голуб, — отвечал он ей с дороги. Запечатанное сургучом письмо — как важнейшее боевое донесение — привез в Киев специально отряженный курьер. — Скажи хотя бы одно: могу ли я взглянуть на твои милые, родные очи? Скажи, осталась ли хоть капля любви в твоём сердце? Спаси меня, не дай погибнуть. Иначе погибнет моя первая любовь к тебе. Скажи хоть слово, разреши хоть слушать звук

твоего милого, нежного голоса. <...> Шура, милая, ты хорошо знаешь я не могу жить без тебя. Шура мой Голуб, мой милый, милый Голуб, знаешь ли ты что происходит в моем растерзанном сердце? Знаешь ли ты эту светлую любовь к тебе? Нет и тысячу раз нет, для меня нет никого другого, кроме тебя, Голубя <...> Милый Голуб не дай погибнуть мне. Дай ответ скорее. Знай что твое письмо был мой надгробный акт. Вечно вечно твой нежно нежно любящий любящий тебя Павел».

Она ждала этого письма, в душе уже все готовая простить, только бы не потерять любимого человека. Но внешне ничем не выдавала того, что творилось в ее душе. Жак Садуль, которого она снова встретила в Киеве, рассказывал ей о международном положении, о мирной конференции, которая продолжалась в Париже, но больше о самом Париже. С наслаждением предавалась она воспоминаниям, мысленно совершая прогулки по улицам этого города, с которым у нее было столько связано! Было! И уже не будет... «Почему никак не поднимутся европейские пролетарии?» — допытывалась она у Садуля. Но он вообще не верил в мировую революцию. «Поймите, люди устали. Все хотят мира». — «Полноте! — возражала она. — А как же Венгрия? А Бавария, где уже все начиналось?» — «Вот они-то больше всего и напугали». От холодной логики Садуля гас ее революционный пафос, и она с удивлением замечала, что не находит слов для возражений.

От Павла примчался посыльный: будет ли ответ на его письмо? «Ответа не будет!» Ей очень хотелось ответить, но усилием воли она сдерживала себя. Посыльный, однако, имел указания и на этот случай. Он привез письмо Павла, которое мог ей вручить, если от нее ничего не получит.

«Шура, милая, милая, дорогой, нежный Голуб, в минуту выезда на рассвете в бой пишу тебе и вижу твои страдания. Мне никого другого не нужно, другой у меня нет <...> Я умоляю, чтобы в этот день когда у меня больше нет моего Голубя, нет смысла

жизни, пусть меня сразит пуля на посту — твоего верного, нежно любящего тебя <...> Это для меня единственное спасение и единственная радость. Прощай мой милый Голуб вечно вечно твой Павел.

Сегодня бой за обладание Екатеринославом. Потерю сизого Голубя я не признавал только в разгаре боя. А забывал, что я один и только в эти минуты мне казалось что ты попрежнему любишь меня что ты мне близкая и родная. Но вот кончался бой и мысль обжигала меня зачем я остался, ведь я никому не нужен. И в эти минуты больно становилось в душе сознавая что я одинок и есть только одно дорогое и близкое и незаменимое существо, во имя которого я готов переносит все. И теперь <...> я хочу сказать только тебе, что любовь к моему Шурику становится все сильнее. Тебя мне никто не может заменить. Я верен всегда только тебе <...>».

Ответа он не дождался. Впрочем, он его и не ждал. Счастливая оказия — внезапный вызов в Москву — позволила ему по дороге заскочить в Киев. Оба ждали этой минуты: он — прокляв себя за малодушие, она — давно уже готовая все забыть и простить. Уже не в первый раз примирение сопровождалось такой бурей ничем не сдерживаемых чувств, что напрочь забывались к утру недавние обиды и слезы. Презрев срочный ленинский вызов, Дыбенко решил убить двух зайцев: повидать родителей и показать им свою Шуру, еще больше тем самым привязав ее к себе. Родная деревня Дыбенко была неподалеку — вблизи города Новозыбкова, и поборов свои сомнения, Коллонтай смирилась с неизбежным, испросив, однако, для поездки у председателя Совнаркома Раковского спецвагон из агитпоезда.

Как раз в это время пришло сообщение, что Инесса Арманд вместе с Дмитрием Мануильским отправились во Францию — формально для вызволения застрявших там во время войны русских солдат, а на самом деле (кто бы в этом мог сомневаться?) для установления связей — официальных и не

совсем. Наверно, Коллонтай сделала бы это никак не хуже, но ее путь лежал в Новозыбков. «У каждого своя судьба», — философски отметила Александра. Как могла бы она уклониться? «Не поедешь, — сказал Павел, — родители подумают, что ты ими пренебрегаешь».

В деревне провели два дня. «Хатка середняка, — первое впечатление Коллонтай от этого посещения. — Много икон. Расшитые полотенца, огромная печь, выбеленные стены, на полу холщевые ручные дорожки. <...> У Павла чудесная мать. В ней что-то эпическое. Темно золотые волосы, глаза умные, внимательные. Гордая, степенная женщина. Совершенно неграмотная. Один ее сын погиб на фронте. Старик хозяйственный, у него своя рожь, своя гречиха, две коровы, одна лошадь. Вряд ли он в душе за советскую власть. Рядом земля мужа дочери. <...> Мать месит тесто, готовит борщ, рассказывает о детстве Павла, о желании Павла учиться, да не было денег, и он втихомолку бегал учиться у поповны, за это пас гусей по па».

Попа еще не убили и не изгнали. Он сам, и семья его, и вообще вся деревня сбежалась посмотреть на Павлову жену, слух о которой докатился уже и до этой глуши. Пришла и поповна — перезревшая девица с каменным выражением лица и неутоленным голодом в глазах. Но не всегда же она была перезрелой!.. Павел слишком нарочито обнял при ней Александру — властно, грубо, по-хозяйски, Александра поняла (и все тоже поняли) его жест, но на этот раз он ее не задел. Ведь все это было до нее, теперь ей досталось насладиться ревностью той, которая была у Павла когда-то. Да и кем, собственно, она могла ему быть? Разве что поводырем, приоткрывшим запретную дверь, не более того. Поповна опустила голову и молча удалилась. «А мы с Павлом словно снова нашли друг друга. Стоим у плетня, смотрим на гоголевский пейзаж окрест и ждем минуты, когда снова окажемся только вдвоем». Это был очередной взлет их любви. Привезенный из города

фотограф запечатлел их и вдвоем, и всех вместе: сохранившийся снимок хорошо передает и лица, и чувства.

Дыбенко умчался в Москву, Коллонтай возвратилась в Киев. Деникин с юга, Петлюра с запада приближались к городу, и поляки, как говорили тогда, тоже «зашевелились». В агонии близящегося бегства машина уничтожения набирала новые обороты. На утро по возвращении в гостиничный номер ворвалась плачущая женщина. Хорошо одета — это первое, на что обратила внимание Коллонтай.

— Спасите мужа! — кричала женщина, упав на колени. — Его арестовали. За что? Вы его знаете, его фамилия Левенстам. Он бывал в доме ваших родителей, вы барышней играли с ним в домашнем театре. Неужели не помните?

— Отчего же, помню... Нам было тогда по шестнадцать лет — другая эпоха. Что сейчас делает ваш муж?

— Он директор банка.

— Вот видите — директор банка... Ничего не могу поделать — его должны расстрелять.

«Странная женщина», — прокомментировала этот визит Коллонтай в своем дневнике.

Деникинцы перерезали все железные дороги — оставался только один путь для бегства — вверх по Днепру. Перед погрузкой на пароход «Большевик» Александру снабдили фальшивым паспортом и обрядили в одежду сестры милосердия царского времени. По слухам, именно благодаря такой одежде сумел скрыться от большевиков из Гатчинского дворца Александр Керенский. Совпадение не утешало, а унижало. К тому же, по слухам, деникинцы падки на санитарок и сестер милосердия. Она сказала об этом вслух, перед посадкой, и портовый грузчик злорадно ее отбрил: «Старух не насилуют, девки есть».

Пароход отвалил, когда с берега прокричали:

«Пала Одесса». С киевских окраин уже были слышны выстрелы вступающих в город белогвардейских частей. Об этом такая короткая запись в дневнике: «Не горюй, — утешает меня товарищ из Наркомпроса. — Мы еще вернемся, искупаемся в Днепре и еще шире развернем сеть детских учреждений».

К прибытию парохода в очередной порт посмотреть на всероссийское чудо — живую Коллонтай — сбегались толпы. Весть о знатной пассажирке облетела все прибрежные города. Она произносила очередную речь, но без привычного энтузиазма. И не только потому, что поражение — плохой повод для энтузиазма. На лицах слушателей она видела в лучшем случае любопытство, чаще всего — затаенную злобу.

Местом назначения был белорусский город Гомель — отсюда заблаговременно высланный спецпоезд должен был доставить Александру в Москву. В Гомеле ее встречала добравшаяся туда раньше Вера Юренева. Она оставила воспоминания об их совместном путешествии до столицы. «Агитационный поезд носил имя Коллонтай. Мы ехали до Москвы неделю: многие мосты были взорваны. Чуть поезд подходит к станции, откидывают стенку вагона, и он превращается в площадку. Играет оркестр. У поезда собираются люди. Коллонтай произносит речь. Вечером на остановке показывают кино — многие впервые видят это «движущееся чудо». В купе Коллонтай похожа на английскую девочку. Бирюзовые глаза двигаются быстро-быстро под крутыми черными бровями <...>».

Временная квартирка на Серпуховской была уже занята очередными постояльцами. Коллонтай поселили во 2-м Доме Советов (ныне гостиница «Метрополь»), потом перевели в более престижный 1-й Дом Советов (ныне гостиница «Националь»). Там давали суп из селедочных голов, кашу с крошечной порцией постного масла, а на сковородке жарили сахар — он служил десертом. В сравнении с «городской» едой — осьмушка фунта хлеба и изредка

кусок конины — это было едва ли не пиршество. Впрочем, Дыбенко, переброшенный на фронт под Тулой, совсем вблизи Москвы, продолжал снабжать Коллонтай маслом, колбасой и другими деликатесами. Их не только привозили посыльные, но и он сам: с фронта и обратно можно было управиться за несколько часов.

Этой, ставшей уже привычной, жизни вдруг наступил конец: Дыбенко получил приказ отправиться в Сибирь. Там наступал Колчак, блистательный царский адмирал, объявивший себя Верховным правителем России. Отправиться вместе с ним — опять в качестве жены — Коллонтай не хотела. Да и захотела бы — вряд ли смогла: она все еще была в распоряжении «партии», на вторых ролях, но все же... Удрученный (или делавший вид, что удручен?) Дыбенко писал ей из своего спецвагона номер 981: «<...> Скоро ли я увижу обойму прильну к тебе мой Голуб? Мне скучно, одиноко без тебя, моего родного Голубя, без моего мальчугашки. <...> Я так надеялся, что мы будем вдвоем согривать друг друга. Но тоска щемит мое сердце. Голубя моего не удастся схватить за крылышки и поднять его высоко, высоко и прижат его к своей раскаленной груди. Шурочка, мне скучно и тяжело. Хочу верить что Голуб скоро прилетит и я не буду одинок в Сибири. <...> В Реввоенсовете на меня такую грязь лили, но Ильич был весьма внимателен <...> И ты буд тоже <...>».

Она уже окунулась в работу и снова почувствовала себя не женой, а Коллонтай, и это было важнее всего, несмотря на интриги и беспрестанное ущемление самолюбия. Ее определили заместителем двух председателей: женотдела ЦК и женской секции Коминтерна. В обоих случаях председателем была Инесса Арманд, но она еще не вернулась из Франции, так что, пусть и временно, Коллонтай опять ходила в начальниках, и это не могло не греть ее душу. Но главой Коминтерна Ленин назначил Зиновьева — его она не терпела, так же, впрочем, как и он ее. Еще сложнее были ее отношения с женой Зи-

новьева Златой Лилиной, считавшей себя крупнейшей специалисткой по женскому вопросу. Особая тяга партийных дам к некоей женской специфике вполне объяснима, как и их соперничество друг с другом, но чете Зиновьевых благоволили Ленин и Крупская — этот барьер Коллонтай преодолеть не могла. И все же кое-что ей удавалось. Несмотря на протесты Зиновьева, она смогла убедить «Ильича», что надо освободить триста арестованных крестьянок, обратившихся с «мольбой» к Коллонтай, которая «лучше всех на свете понимает женщину-мать и женщину-жену». В этом, конечно, они ошибались, но их «мольба» подвигла Коллонтай на крутой разговор с вождями, и он принес ей успех.

Требовать самой суровой расправы с «врагами» и заступаться за тех, кого таковыми не считала, — в этой «гармонической диалектике» она не видела никакого противоречия. Много сил положила на то, чтобы выволить из тюрьмы Марию Спиридонову — легендарную эсерку, прошедшую царскую каторгу, напрочь не принявшую ленинскую власть и арестованную в июле 1918 года после убийства германского посла Мирбаха.хлопотала за нее у Дзержинского, у Каменева. Тот признал, что Спиридонову подвергли унижению, поместив в промерзлое караульное помещение и заставив пользоваться общей с солдатами уборной. Спиридонову перевели в больницу. «Победа!» — написано об этом в дневнике Коллонтай.

Вернулась Инесса — работы стало вроде бы меньше, но Коллонтай любила как раз, чтобы — больше. Короткая передышка дала ей возможность закончить книгу «Семья и коммунистическое государство», написать несколько статей для газет и журналов. Павел был уже не в Сибири. По дороге в Царицын, где шли жестокие бои, «заскочил» в Москву, чтобы обнять своего «мальчугашку», а тот как раз в это время чуть не угодил в новый переплет. В одном из зданий Леонтьевского переуллка шло очередное партийное мероприятие, с которого Коллон-

тай вместе с Инессой ушли, не дождавшись конца, — торопились в ЦК на свидание с Крупской. Через полчаса после их ухода в здании прогремел взрыв от заложенной там бомбы, о чем тут же доложили, естественно, Ленину. Он знал, что там — Инесса...

— Что с Арманд? — кричал он в телефонную трубку.

Ему отвечали:

— Ведётся опознание жертв. Но товарищ Коллонтай ушла раньше — это заметил дежурный у входа.

— Я спрашиваю, что с Арманд? — срывая голос, кричал Ильич.

— Товарищ Стасова тоже ушла, — не сознавая, что он издевается над Лениным, продолжал говоривший с ним сотрудник.

— Арманд! Арманд! — твердил Ленин.

Звонок Крупской внес ясность, но четверть часа, проведенных в неведении, сломили вождя: он ушел домой и слег, а срочно приехавшие Инесса и Крупская отпаивали его чаем. В черновике неопубликованной автобиографии, рассказывая о том, как Ленин, никого не стесняясь, рыдал в телефонную трубку, Коллонтай называет его «Виктор Иванович», — инициалы совпадают, а ужас Ленина (Инесса погибла!) корректно зашифрован. От кого?

У каждого — свой ужас. Павлу сказали, что после взрыва Коллонтай вынесли на носилках, и он весь день бегал по больницам и моргам, разыскивая ее труп. Обезумевший, ввалился вечером в их общий гостиничный номер: жива! Ради ночи, которую они пережили, стоило хоть иногда считаться погибшей...

Жизнь, казалось, вошла в нормальную колею, если это повседневное безумие можно было считать нормальным. Коллонтай получила новую кличку — Центробаба — и новую квартиру. Целых три комнаты на четверых! В одной жили она и Дыбенко, в другой Миша, работавший на строительстве электростанции в подмосковной Шатуре, в третьей

Мария Ипатьевна, утвержденная ее секретаршей. Шефом Коллонтай в ЦК стал Вячеслав Молотов. Более чем скромный его «потолок» был для нее очевиден, но она умела ладить со всеми, кто изначально ее не отвергал, и это короткое сотрудничество имело хорошие последствия.

Однажды она столкнулась с Молотовым не в рабочей обстановке, а в спецраспределителе, куда партийную номенклатуру стали вызывать для «отоваривания» и «экипировки» — оба эти, ранее не существовавшие, слова только-только вошли в оборот. Счастливики получали предписание явиться по такому-то адресу к такому-то часу, не зная при этом, куда и зачем. Там их ждал сюрприз. Коллонтай отказалась получать что бы то ни было. Молотов, не смутившись, взял шляпу и галстук — с тех пор эти два атрибута стали определять лик партийного бюрократа.

В утверждении, что Дыбенко жил в той же квартире, есть, конечно, натяжка. «Жил» он скорее на фронте, а сюда приезжал иногда ночевать. Коллонтай тем временем нашла для себя новое занятие: чуть ли не ежедневно в разных московских залах она читала лекции о вреде проституции. На них ломились: заводясь, лекторша выходила за строгие рамки темы, упоенно делясь со своими слушательницами мыслями о свободной любви, не стесненной ни узами брака, ни оковами постылой буржуазной морали. Вечера, свободные от лекций, она проводила в литературном кругу, сама становясь слушательницей. В холодной, одичавшей Москве после стольких грубостей, которые она слышала в партийной, военной, мужичьей среде, ее потянуло (увы, не надолго) к духовности и культуре. Вечера писателей Бориса Зайцева, Федора Сологуба, концерты пианиста Исаия Добровейна были светлым лучом в той бесконечно тянувшейся, постылой зиме. С каким удовольствием послушала бы она сейчас стихи своего кузена Игорька Лотарева — знаменитого Игоря Северянина. Но он жил теперь за границей, на

своей любимой музыке в Эстонии, и оттуда — будто лично к ней обращаясь — писал стихи, облитые горечью и злостью, так не похожие на то, что всегда было связано с его именем:

Отправьте ж Искусство куда-нибудь к мифу —
Трещит от него материк,
И кланяйтесь в пояс Голодному Тифу —
Диктатору ваших интриг!

Отнесла ли она эти строки к себе? Точнее: и к себе тоже? Из-под ее пера выходило нечто совершенно другое — поражает даже не мысль, а то, во что она облечена. Набор одних и тех же стершихся слов — лексика сокращена до убогого минимума, в чтении язык совершенно невыносим, в устной речи его бедность компенсировалась, видимо, модуляцией голоса и завораживающей слушателя экзальтацией.

«Старое представление о семье и браке отмирает на наших глазах — сама молодежь начинает смотреть на девушек своего класса как на своих товарищей. Чем была девушка для старших поколений? Или только женой, или только игрушкой. Теперь это товарищ по общей борьбе».

«Частной собственности нанесен смертельный удар. И от этого удара легче дышать. Все были сжаты в тисках, и не было выхода до того момента, пока неизбежно царил частная собственность».

Это — из опубликованных речей, произнесенных ею в ту осень и зиму. Молодежь слушала Коллонтай с восторгом — возможно, поэтому Ленин решил сделать ее полномочным представителем ЦК в только что созданном комсомоле. Он слышал ее выступление на конференции беспартийных работниц — сам выступал, и Крупская, и Луначарский, а овации достались только ей. Но Ленина это ничуть не смущало, лавры «артиста», срывающего аплодисменты, его вовсе не привлекали. Его интересовала лишь власть, безграничная и абсолютная, и если кто-то своим ораторским блеском мог способствовать

этому лучше, чем он сам, — и отлично, какие могли быть счеты?

Казалось, после драматичного, принесшего столько мук восемнадцатого девятнадцатый год обещал ей вернуть былое положение — на нее сыпались все новые и новые должности, назначения, поручения. Но свалилась и новая беда: в Петрограде арестовали Дяденьку. Ни за что ни про что... К бывшей столице приближался Юденич, и Троцкий охотно выполнял поручение, данное ему Лениным: «...нельзя ли мобилизовать еще тысяч двадцать питерских рабочих плюс тысяч десять буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича». Саткевичу, дворянину и царскому генералу, предстояло стать одним из этих десяти тысяч, а то и одному из нескольких сот. Об этом сообщила Александре по телефону жена Дяденьки — к кому же было ей еще обратиться, с кем еще — из «нынешних» — у него была «связь»?..

«Хожу с камнем на сердце, ни о чем другом не в состоянии думать» — эти несколько строк дневника определяют ее душевное состояние после полученного известия. Но что же так ее удивило? Ведь ленинская мера сама по себе никаких возражений у нее не вызвала. Просто «буржуями» она считала людей, лично ей не знакомых, чья судьба не вызвала никаких переживаний: то были не люди, а всего лишь «представители класса», обреченного на уничтожение. Но Дяденька?! Разве он — «представитель»?..

Прежде всего она позвонила Горькому — он считался главным петроградским заступником. Но Горькому если что и удавалось, то в той же Москве, куда он звонил, а то и ездил — в особо экстренных случаях. Она кинулась — по старой памяти — к Леониду Красину, — увы, в таких делах его влияние было не велико. Дзержинский мялся, пространно рассуждал о спасении революции, о партийном долге, о чем-то еще, и она поняла, что от праздной их бол-

товни только теряется драгоценное время. Тогда решилась на звонок самому Ильичу. Сантиментов тот не любил, разговоры о гуманности воспринимал как личное оскорбление, а панические сводки из Петрограда делали его еще более непримиримым. Но когда Коллонтай сказала: «Это для меня вопрос жизни. Не для Саткевича, а для меня», — сразу все понял и, не вдаваясь в детали, приказал освободить. Личное распоряжение Ленина осталось в составленном на генерала чекистском досье.

У нее еще хватило сил провести конференцию женщин-работниц, и она тут же свалилась с тягчайшим воспалением почек. Болезнь сопровождалась сильными болями, но, преодолевая их, Коллонтай запоем читала и запоем писала. «Попалась старая книга о мадам де Сталь и Наполеоне. Она его считала узурпатором, но он не был узурпатором, а внешнее соотношение сил и победоносная буржуазия сделали из него фетиш и превратили в тирана. Места для Бабефа и Геберов не осталось, или их время еще не пришло. Мысли Вольтера и Руссо, все их идеалы о свободе и равенстве уложили в четко сформулированный кодекс Наполеона».

Так писала она для себя. А так — для читающей публики: «Участие женщин на обоих фронтах — трудовом и красном — разбивает последние предрассудки, питавшие неравенство полов. Необходимо вовлечь женщин в военное дело <...> Всех пропустить через Всевобуч <...> Это путь к свободе. Внушайте женщинам, что только коммунизм освободит их от всех болезненных и будто бы неразрешимых проблем в области личной жизни, под тяжестью которых, уступая предрассудкам и устарелым традициям, до сих пор задыхаются и женщины-работницы, и женщины-интеллигентки».

Она долго болела. Дыбенко, мотаясь с одного фронта на другой, забрасывал ее письмами, которые мало чем отличались друг от друга. «Шура, Голуб милый нежный любимый несколько слов пишу под звуки боя в 8 верстах от Царицына. Я разгромил

царицинский фронт противника, взят в плен гренадерский полк целиком. Я потерял в бою почти весь командный состав. Жажду видеть моего мальчугашку и сжат его в своих объятиях». И сразу же вслед: «<...> Невообразимая тоска обхватила меня. Кипит работа, но все это тоска, кроме моего мальчугашки. <...> Ты единственное достойное существо, тобою наполнены все мои фибры. <...> Многим женщинам хотелось бы занят твое место, но нет на них времени, даже на письма его нет <...>». Она с горечью отшутилась в ответном письме, посоветовав все же найти время: не на письма — на женщин. Последовал телеграфный отклик: «Вечно твой Павел жаждет отдохнуть на Кавказе под крылышком Голубя и в объятиях мальчугашки».

С отдыхом пока ничего не получалось. Центробаба занималась всем — и в женотделе ЦК, и в таком же — в Коминтерне, наставляла комсомольцев, читала лекции, проводила митинги, готовила конференции и выступала на них и еще писала книги и статьи — как всегда, не было отбоя от заказов, но и времени не было тоже. Если удавалось выкроить день-другой, она мчалась в Петроград, чтобы повидаться с Зоей. На Дяденьку времени не находилось — похоже, она боялась этой встречи, боялась воспоминаний, боялась проявления еще не умерших чувств. А в Москве ей всегда не хватало времени на Петеньку — Маслов звонил множество раз, всегда натываясь на ее безмерную занятость. Зато в один из своих петроградских наездов, после долгого перерыва, она увидела Раскольниково: с поста командующего Волжско-Каспийской флотилией он был снова «брошен» на Балтику и приехал не один, а с женой.

Имя этой женщины уже было Александре хорошо известно, но встретиться с ней лицом к лицу еще не пришлось. Лариса Рейснер, писательница и журналистка, чуть ли не во всем была точной копией Коллонтай и вместе с тем всем — буквально всем — разительно от нее отличалась. Дочь извест-

ного всей культурной России петербургского профессора права, аристократка и интеллигентка, она неистово увлеклась революцией, ее масштабом, ее стремлением переделать мир и поставила ей на службу свое блестящее перо. Ни в какую политику не лезла, ни к каким постам не стремилась, агитацией не занималась и была бесконечно далека от того, что теперь называют популизмом. Лариса Рейснер не стремилась быть понятой всеми — она писала для тех, с кем был у нее общий язык, то есть для хорошо образованной, грамотной публики. И — странное дело — как раз оттого, что она не становилась на корточки, чтобы расширить читательский круг, он был необычайно широким. Может быть, потому, что у нее был действительно яркий, самобытный стиль, богатый, гибкий язык, метафоричность — все то, что так контрастировало с плоским, унылым, доведенным до примитива бесстилем Коллонтай. Писать, как Лариса, она не могла, но была достаточно умна, чтобы понимать это. Ревность творческая множилась на женскую ревность.

До встречи с Раскольниковым у Ларисы была большая и взаимная любовь с Карлом Радеком, блистательным авантюристом, партийным идеологом и стилистом, к тому же и вселенским полиглотом, но он был женат и предпочел остаться хорошим семьянином, любящим мужем и отцом. Раскольников был свободен не только формально, он успел уже вырвать из сердца так пленивший его образ Коллонтай, найдя в Ларисе, с которой встретился на Волге, то же сочетание интеллигентности, аристократизма и революционного романтизма. Другое дело, что, применительно к Коллонтай, он все это скорее выдумал, чем увидел, но ведь человеку свойственно верить в свое воображение куда сильнее, чем в постылую реальность.

Лариса была на 23 года моложе Коллонтай, и уже одно это не могло не ранить соперницу, с которой они встретились в Петрограде. Несколько раз их пути пересеклись — в частности, у Горького, — и

всюду душой компании оказывалась Лариса, а не Александра. Вот как описывает Ларису в тот год мемуарист: «Косы уложены кольцом вокруг высокого чистого лба. Звенящий, как сталь, смех. Коварная наивность, заставляющая пошляка открыться, откровенничать и получить внезапный, убийственный удар острием бритвы. Во время беседы надо быть всегда начеку, как в разведке, чтобы не оказаться осмеянным, опустошенным и отброшенным в сторону, как шелуха».

Раскольников смотрел на Ларису восторженными глазами — всего три года назад он так же смотрел на Коллонтай, а теперь его взгляд, обращенный к ней, не выражал ничего, кроме уважения к стареющей даме. Все остальные, кто был влюблен в нее раньше — и Дяденька, и Петенька, и Санька, — остались столь же восторженными ее обожателями. Стремилась к общению с ней, к беседам и переписке. От Раскольникова, когда она заговаривала с ним, веяло скукой.

То, что не получилось в декабре, удалось осуществить полгода спустя. В мае двадцатого Дыбенко и Коллонтай получили короткий отпуск и встретились на Кавказских минеральных водах — в правительственном санатории Кисловодска. Ему добраться до санатория не стоило труда — он воевал поблизости, командуя Кавказской дикой дивизией, влившейся впоследствии в Первую Конную армию Семена Буденного, вскоре так ярко явленной миру в классических новеллах Исаака Бабеля. Коллонтай пришлось вымалывать спецвагон — передвигаться иным транспортом она уже разучилась — и спецхрану.

Но отдых был коротким — недолго пришлось нежиться ее Орлу «под крылышком Голубя и в объятиях мальчугашки». Путь лежал снова в Крым, где укрепилась армия барона Врангеля. В созданное при нем «правительство Юга России» вошел в качестве министра иностранных дел известнейший эконо-

мист, философ, историк, публицист Петр Струве, с которым когда-то молодая Шуручка Домонтович осмелилась спорить на чашке чая в доме Стасовых. Через четверть века после этой встречи ему предстояло отправиться в изгнание на последнем пароходе, покидавшем Севастополь, а его оппонентке вторично войти в Крым — на красных штыках.

Врангель отверг предложение о капитуляции и вывез из Крыма 83 тысячи человек — солдат и беженцев. По официальным сводкам красные взяли в плен 25 тысяч бойцов, но «в наличии» не оказалось ни одного. В Москве эти подробности мало кого волновали, зато все, кто находился в Крыму, хорошо знали, куда эти тысячи «испарились». Руководившие «чистками» два чекиста — обезумевшая Розалия Землячка и другой садист, венгр Бела Кун, — расстреляли не двадцать пять, а восемьдесят тысяч бойцов, окончательно решив тем самым «проблему». Коллонтай была знакома с Землячкой и затеяла разговор о незаконности этих расстрелов. Чекистка не удостоила дискуссии «Дыбенкову жену», ткнув ей в лицо написанное ею же год назад обращение к жителям Крыма и приказ: «вплоть до расстрела». «Война», — кратко подытожил Дыбенко, «закрывая» вопрос. «Революция», — поправила его Коллонтай.

Печалиться времени не было — 19 июля 1920 года в Петрограде открывался Второй конгресс Коминтерна, Коллонтай участвовала в нем на правах делегата. Обещал «подскочить» и Дыбенко: просто поразительно, с какой легкостью — при тогдашнем транспорте — он передвигался в пространстве, успевая всюду оставить лихой и кровавый след. На этот раз своих представителей прислали разные партии и организации из 37 стран. Открывшись в Петрограде, конгресс затем перебрался в Москву, где Коллонтай стала членом коминтерновского исполкома. Но запомнился ей этот конгресс совершенно другим.

Дыбенко примчался в Петроград накануне переезда конгресса в столицу, и вечером, перед отходом

поезда, друзья сошлись в квартире Ларисы. Бывший и нынешний глава Балтфлота, а также две женщины с причудливо связанными в один узел судьбами — общими и своими.

— Не ждали нас беяки, — упоенно вещал Дыбенко, — мы ворвались на станцию, а там их высокоблагородия дрыхнут. Представьте, выбегает на перрон лысый пузан, штаны с генеральским лампасом, одна нога в сапоге, другая босиком...

Он сделал выразительную паузу, ожидая реакции. Но реакции никакой не было.

— И что же? — спросила наконец Лариса.

— Зарубили, — восхищенно выдохнул Дыбенко.

Молчание на этот раз длилось еще дольше.

— Пора на поезд, — завершила встречу Коллонтай.

Купе на двоих в коминтерновском поезде не нашлось. Коллонтай ехала с французами, выполняя, как всегда, роль бесплатного переводчика. Она проплакала всю ночь.

Шляпников, который исполнял обязанности губернатора Астраханского края, зачастил в Москву, каждый раз нанося визит Александре. Их отношения перешли в новую стадию: доверие и дружба остались, но уже без былых лирических чувств. По обоюдному согласию они скрепили этот переход обращением друг к другу на «вы». Наверно, были в этой нарочитости и искусственность, и наивность, но внешняя отчужденность не упразднила внутреннюю близость. Эта близость не была декларативной, она вскоре подтвердилась такой общей акцией, которая навсегда соединила их имена и поставила перед совместным выбором, который вполне мог оказаться фатальным для них обоих.

— Революции три года, — размышлял Шляпников, — а что дала она пролетарию? Выступать от имени класса вовсе еще не значит действовать в интересах этого класса. Мы создали сложную и запу-

танную бюрократическую машину и оградили ее от всякой критики. Как рабочему защищать свои интересы? Профсоюзы подмяты партаппаратом и лишены всякой самостоятельности. Дальше будет еще хуже. В семнадцатом мы верили в классовый инстинкт масс, теперь массе не доверяют, присвоив себе право выступать от ее имени. Это не революция, а контрреволюция.

— Во всем виноват Троцкий, — робко пробовала возразить Александра. — Милитаризация рабочего класса и палочная дисциплина в партии — это его идея.

— Допустим... Но Ленин же не возражает. И какое дело рабочему, кто там командует, Троцкий, Ленин или кто еще? Революцию делают не вожди, а массы.

— Если бы так!.. — вздохнула Коллонтай.

Шляпников не скрывал, что группа видных партийцев собирается начать борьбу за обретение профсоюзами независимости от партии, что хорошо ей известные деятели — такие, как Михаил Томский, Соломон Лозовский и другие, — разделяют его взгляды и — это самое главное — их разделяют тысячи партийцев на местах. Александра тоже их разделяла, но дух партийной дисциплины, которым она уже успела проникнуться, не позволял ей идти дальше разговоров при закрытых дверях и согласия (в душе) со всем, о чем говорил Шляпников. Гоня от себя крамольные мысли, она перевела разговор на милую им обоим Норвегию: Шляпников был там недавно в командировке и встречался с общими друзьями, которые занимали теперь ведущее место в профсоюзах.

— Вот увидите, Александра Михайловна, — гнул свое Шляпников, — они завоюют для рабочего класса без революции такие права, которые мы не дадим ему никакой революцией. И обойдутся без жертв, которые мы понесли.

— Пахнет примиренчеством и реформизмом, — укоризненно сказала Коллонтай.

Да чем бы ни пахло! Лишь бы права и свобода...

Ленин отчаянно испугался начавшей складываться оппозиции, понимая и ее правоту, и неизбежность ее успеха у рядовых рабочих. «Рабочие не хотят быть при бюрократах, — записала Коллонтай в дневнике. — За это В. И. обозвал их синдикалистами. И дал указание отправлять строптивых на самые трудные участки, чтобы все недовольство масс обрушилось на них». А для агитации против «крамолы» в наиболее крупные промышленные города были брошены лучшие партийные агитаторы — Коллонтай среди них считалась едва ли не первой. Ей повезло: рецидив почечного воспаления, перешедшего в хронический нефрит, позволил ей уклониться от этой миссии. Впрочем, еще не известно, кому повезло: оказавшись в качестве агитатора, она, возможно, повела бы толпу совсем не в ту сторону, в какую хотелось Владимиру Ильичу. Но она все еще была на распутье.

Внезапное событие снова резко повернуло ее жизнь. В северокавказском городе Нальчике внезапно умерла Инесса Арманд. Она поехала туда подлечиться и отдохнуть — по настойчивому требованию Ленина, обеспечившему ей царские условия в одном из санаториев. Царские условия не помогли: для буйствовавшей тогда повсюду холеры они не помеха. Инессу привезли в цинковом гробу и хоронили на Красной площади. Траурная процессия — от вокзала — растянулась на километры. «Что поразило меня, — записала Коллонтай, — в этот темный, холодный, сырой и тоскливый день у гроба Инессы — это лицо, весь облик В. И. Я его даже не узнала. Он стоял все время без шапки, опустив голову и закрыв глаза. Слышал ли он речи? Лицо его было желтобледное и такое застывшее, точно мертвое. Он ни разу не поднял голову, ни разу не открыл глаза. Не человек — живой труп». В сороковые годы, жестоко корежа свои дневники, весь этот пассаж Коллонтай густо зачеркнула карандашом.

Но только ли от холеры умерла Инесса? Через три четверти века после ее смерти стали известны фрагменты из ее дневника. Вот что записала она за две недели до смерти: «Я теперь почти никогда не смеюсь <...> Меня также поражает мое теперешнее равнодушие к природе. Ведь раньше она меня так сильно потрясала. И как мало теперь я стала любить людей. Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с теплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна. <...> И люди чувствуют эту мертвенность во мне, и они оплачивают той же монетой равнодушия или даже антипатии. <...> Я живой труп, и это ужасно».

Поражает не только текстуальное совпадение в дневниках этих двух женщин. Правильно ли говорить в данном случае лишь об убитой любви? Разве не знаменательно: «самая человечная из революций» (выражение Ленина) убила все человеческое и в ее знаменосце, и в той, которая была ему дорога?

Теперь оба поста умершей Инессы перешли к Коллонтай. Она возглавила и женский отдел ЦК, и женскую секцию Коминтерна, чуть позже став еще и заместителем Клары Цеткин в Международном женском секретариате, и членом исполкома Коминтерна. Волей-неволей ей приходилось теперь еще чаще встречаться с Зиновьевым, которого она органически не выносила. Вот только одна ее запись о нем — безусловно, тогдашнего, а не позднейшего происхождения, — не только лишенная конъюнктурности, но, напротив, пугавшая столь обнаженным отношением к члену политбюро и ближайшему к Ленину человеку: «Он не терпит возле себя ни одного имени, которое популярно за границей. Его политика поощряет бесцветные величины, во всем послушные. Отвратительный тип этот Зиновьев. И трус!» О ее отвращении к Зиновьеву хорошо знали партийные верха. И Ленин знал, что не сулило никакой теплоты в их отношениях, и без того весьма прохладных. Знал и Сталин. И мотал на ус...

Если тяжкий недуг можно считать спасением от чего бы то ни было, то обострение болезни действительно спасало ее, избавляя от необходимости постоянного общения с «отвратительным типом». Окольными путями дошло до нее известие, что Павел на фронте снова кем-то увлекся. И о своей болезни, и о том, что она думает про него, Коллонтай сгоряча написала ему. Быстро пришел ответ: «<...> Передо мной твое письмо, твои страдания, слезы, передо мной моя могила. Не дай погибнуть мне, моей любви к тебе, мой Голуб сизокрылый, дай мне прижат к груди твою любовь. О! Коварство женщины разбивает нашу жизнь. Шура, Шура, зачем дальше жить? Нет цели в жизни, есть только ты, пока не погиб в бою и не получил свой надмогильный камень. Мой мятежный Голуб, о где твои несколько слов?.. <...>»

Это заклинание, не производившее уже прежнего впечатления из-за чрезмерного употребления и избытка восклицательных знаков, она читала, корчась от боли, когда жизнь висела на волоске: врачи установили у нее быстро прогрессирующую уремию. Но медицина оказалась на высоте: ее спасли.

ДИАЛОГИ ГЛУХИХ

Все свалилось сразу: болезнь, работа — в таком объеме, о котором она могла только мечтать, но который был теперь ей не под силу, — борьба с бюрократией — так называла она акцию Шляпникова, к которой безраздельно примкнула, и окольными путями дошедшая до нее информация, что у Павла «опять кто-то»... Дыбенко по-прежнему делил время между Москвой и фронтом. Фронта в привычном смысле уже не было, но в военных частях и округах, куда его посылали, обстановка все равно оставалась фронтовой. Было уже очевидно, что советская власть выстояла, начинается новая эпоха, а с этим пришло и осознание того, что отнюдь не все люди, стоящие у руля, обладают достаточными познаниями и квалификацией. Павла отправили на учебу в военную академию. Занятия то и дело прерывались командировками. Жили, как на вулкане.

Подмосковный санаторий, где Коллонтай медленно приходила в себя после очередной почечной атаки, отрезал ее на время от активной работы, но зато позволил сосредоточиться на дневнике: лучшего собеседника у нее не было — ни теперь, ни

потом. Так появилась запись, отражающая ее душевное состояние в те дни.

«<...> почти уверена, что у Павла кто-то есть на стороне, женщина, может быть, не одна. Что это нечто мимолетное, что это на почве физиологии и невольного мужского стремления покорить — в этом я уже убеждена. И все это неизбежно и естественно <...>. Я вечно занята. Работа, семейные заботы о Мише, Марусе <то есть о Марии Коллонтай, второй жене ее мужа>. В доме толчея, телефон, меня нет дома, а когда я дома, я озабоченная. А он молод, ищет радости, смеха, чего-то яркого. Наконец просто «переживаний».

Все понимаю! И никогда его не спрашиваю, не подтруниваю. Когда одна из них (их несколько, голоса разные и способ осведомления по телефону о нем разный) просит позвать товарища Дыбенко и нарываясь на меня, мне вдруг делается неприятно. Безотчетно, стихийно неприятно. И особенно когда они явно подыскивают, как себя назвать. «Скажите, спрашивает сестра Петрова» или «Это говорит — секундное замешательство, пауза — это говорят из партячейки академии». — «Товарища Дыбенко нет», — кладу трубку, а сердце почему-то бьется. И в ушах что-то стучит. И горько, и обидно. Зачем эти псевдонимы? <...> Значит, с ним уславливались? Это чтобы я не узнала? <...> Самое обидное — этот сговор против меня. Павел! Павел! Почему не сказать прямо? <...> Нет, хуже, больше будет. Лучше не знать подробностей.

<...> Приходит Павел. «Тебя вызывала сестра Петрова — очевидно, одна из твоих красавиц?» — «Не знаю такой». Сказано с таким пожатием плеч, что вдруг кажется, что я ошиблась, и делается легко <...>. Но дня через два — опять «сестра Петрова» <...> а дня через три женский голос (как будто тот же), передаю с равнодушным видом Павлу: «Тебя кто-то спрашивает». — «Здравствуйте. Узнал, конечно. Очень занят был эту неделю. Часов в шесть в пятницу? Постараюсь. До свидания». Голос нарочи-

то сухой и официальный, но первая фраза: «Узнал, конечно» <...> заставляет меня будто услышать и ее заигрывающий вопрос: «Узнали меня?»

<...> И все же я себя усовещаю. И не позволяю поддаваться «атавизму». Как-то в момент душевной распаханности со стороны Павла (это у него бывает, когда он не то что «навеселе», а «на подъеме») он стал говорить о своей любви ко мне и о том, что все остальное «ерунда», «если и есть, так чисто платоническое», причем слово «платоническое» Павлуша <...> применяет тогда, когда дело идет о «физиологии». <...> Раздвоенности у такой здоровой натуры, как Павел, нет, баб он вообще презирает. Я для него не женщина, а нечто другое, свое, родное, близкое и «старшее», та, которой он «верит». А те — я знаю — именно «платоническое» в Павлином смысле. И все-таки... <...>

Когда они не попадают на моем пути, я совершенно к этому равнодушна. А вот когда они телефонируют, отравляют час-другой жизни! Не больше... И уже на другой день могу сама смеяться над собою и дразнить Павла без капельки горечи или обиды, просто чтобы заставить его сконфуженно, по-детски отнекиваться и пренебрежительно говорить: «Очень нужны мне эти красавицы» <...> А все-таки, когда на работе неприятности, препятствия, борьба, когда сверх того заботы о близких (Миша, Маруся), и вдруг телефоны Павлиных красавиц, хочется попросить, взмолиться: «Павлуша! Побереги меня хоть с этой стороны!» <...> Я не прошу твоей опоры в жизни ни в чем, я несу все сама, я перекладываю часть ноши жизни твоей на себя, я всегда, как верный товарищ, подставляю тебе свои плечи, если трудно тебе, чтобы облегчить твоё бремя, но ты хоть в этой мелочи побереги меня. Так хочется сказать. Но я не говорю. Что-то удерживает. И, глубже запрятавшись в себе самой, я иду по пути жизни рядом со многими близкими товарищами, дорогими мне. И все же я одна! Вы, люди будущего, вы не будете никогда так одиноки, я в это верю <...>».

Не названные по имени «близкие товарищи», с которыми Коллонтай «идет рядом по пути жизни», это прежде всего Шляпников: она с ним общалась теперь почти ежедневно. То был уже не «Санька», уверенный в себе «пролетарий», забравшийся на партийные верха, которого она учила уму-разуму и подтрунивала над его непомерными амбициями. То был авторитетный партийный товарищ, не участвовавший в борьбе за власть и оставшийся в плену романтических иллюзий борца за интересы «рабочего класса», разуверившийся в своих товарищах, отклонившихся от правильного пути. Ленин и прочие утверждались во власти, на ходу меняя «концепции» и подгоняя их к практическим нуждам борьбы за «место под солнцем», Шляпников всерьез принимал те лозунги, с которыми «партия» шла в бой с «самодержавием», остался им верен и приходил в ужас от того, что реальная жизнь не имела с этими лозунгами ничего общего. Он и Коллонтай хорошо понимали друг друга. Ленин гибко менял тактику, они же оставались по сути партийными ортодоксами.

Их рассуждения вовсе не были умозрительными, а покоились на реальных фактах, на информации, которой в достаточной мере они обладали. В Петрограде начались стачки и демонстрации голодающих, безуспешно пытавшихся раздобыть хлеб в селах и наталкивавшихся на заградительные большевистские отряды: хлеб отнимали, добывших его сажали в тюрьмы, а то и расстреливали. Петроградский диктатор Зиновьев отличался особой жестокостью, но эти акции не были его самовольством — их полностью поддержал Ленин и, собственно, весь ЦК, который тогда еще не был декоративным органом. Не только в Петрограде, но и в других городах были разбросаны листовки и прокламации: «Требуется освобождения всех арестованных социалистов и беспартийных рабочих, отмены военного положения, свободы слова, печати и собраний для всех трудящихся».

В те же дни в Москве проходила конференция беспартийных рабочих-металлистов. Доклад делал тогда никому еще не известный Андрей Вышинский — представитель наркомпрода. Рабочие требовали отмены привилегированных пайков, в том числе совнаркомовских, разгона новых чиновников, справедливости в распределении продовольствия. Ждали Ленина, но он не явился, послав вместо себя Каменева. Это подлило масла в огонь: рабочие потребовали отмены советской власти, созыва Учредительного собрания... Дело принимало дурной оборот. Для успокоения массы Ленин предлагал послать Коллонтай, уповая на ее митинговый талант. Она отказалась. Пришлось ехать самому. Ленина встретили свистом, но он сумел усмирить зал — и как?! Простейшим образом: во всем, оказалось, виноват мировой пролетариат, не поддержавший своими выступлениями русскую революцию!

На одном из многочисленных тогда съездах выступала крестьянка «из глубинки»: «Все обстоит хорошо, только <.. > земля-то наша, да хлебушко ваш; вода наша, да рыба-то ваша; леса наши, да дрова-то ваши». Другая крестьянка говорила не столь образно, зато не менее четко: «Коммунисты сели на шею беднейшего крестьянина крепче помещика». О таких настроениях и Шляпников, и Коллонтай имели ежедневную информацию — не потому, что специально ее собирали, а потому, что она шла потоком.

Дыбенко был снова в Одессе — и город другой, и среда другая, и интересы другие. О нарождающейся оппозиции он знал, и о симпатии к ней Коллонтай знал тоже, но от политики старательно уходил и близко к сердцу метания Александры не принимал. Может быть, и поэтому очередное послание Павла, повторявшее все предыдущие, не только оставило ее равнодушной, но ранило еще больше своей глухотой.

«Дорогой, родной друг, мой нежный Голуб. Хочется как можно скорее видеть тебя. Хотел бы при-

летет к Тебе, моему Голубку, моему милому другу и нежному Голубю, скажат все, открыт свое сердце, свою душу и найти то, что так неудержимо и страстно тянуло нас друг к другу, открыт себя. Не подумай, милый Голуб, что я хочу отделит тебя, нет мы оба катимся в неведомое, до сих пор для нас зыбкое пространство, но, милый друг, как я одинок, и я люблю, люблю, люблю Тебя. Любов к тебе еще не остыла. Твой Павел».

Впервые она ему не ответила — не то чтобы не было времени (ночь для этого есть всегда), просто перо не тянулось к бумаге. Не тянулось для письма ЕМУ, а вообще-то писала она непрерывно, набрасывая тезисы своего выступления на предстоящем партийном съезде и сочиняя брошюру «О рабочей оппозиции», которая никогда не увидит света на русском языке.

При всей своей наивности, абсурдности и обреченности это была первая оппозиция внутри большевистской партии, которую можно назвать идейной. До сих пор различные «платформы» лишь камуфлировали идеями откровенную борьбу за власть, приспособлявая их в качестве орудия политической борьбы. В «рабочей оппозиции», напротив, не участвовал ни один из большевистских вождей, никто из стоявших хоть сколько-нибудь близко к партийной верхушке. Возглавившие ее Александр Шляпников и Сергей Медведев были людьми, конечно, известными, но с начала 1918 года весьма удаленными от кремлевских кабинетов и кулуаров. Медведев, потомственный токарь, вступил в партию пятнадцати лет от роду и уже имел более чем двадцатилетний партийный стаж. Он возглавлял Красноярский Совет депутатов, позже комиссарил на фронте. К Шляпникову и Медведеву присоединились руководители некоторых отраслевых профсоюзов — Юрий Лутовинов, Алексей Козлов и другие. Но главные шефы профсоюзных объединений, входившие в ЦК — Ян Рудзутак и Михаил Томский, — оппозицию не поддержали. Участники оппозиции исходи-

ли, в сущности, из предпосылки, что властвующая верхушка всерьез воевала и продолжает воевать за подлинные интересы рабочих, и достаточно открыть ей глаза на ее ошибки, чтобы она тут же принялась их исправлять для блага российских пролетариев и беднейших крестьян. Абсурдность этой исходной позиции, в которую авторы новой платформы, похоже, искренне верили, обрекала предстоящую дискуссию на диалог глухих.

Коллонтай не сразу вошла в состав оппозиционеров — ее решению предшествовали долгие раздумья. До поры до времени она была с оппозиционерами — точнее, лично со Шляпниковым — только мысленно, только духовно. Страх ли ее останавливал, инстинкт ли самосохранения, неизжитый пиетет перед Лениным, к которому относилась отнюдь не почтительно, но внешне никогда этого не выражала? Кто знает... Так или иначе, присоединение Коллонтай к оппозиции — подпись под декларацией, обращенной к Десятому партийному съезду, — состоялось почти перед его открытием. Ее вступление в борьбу придало оппозиционной платформе несколько иные краски. К главному тезису — передача всей власти «Всероссийскому съезду производителей» — прибавились требования внутрипартийной свободы, разрешения дискуссий, освобождения от чиновничьего засилья.

Понимая, что это именно идейная борьба, а не политиканская свара, что лозунги оппозиции понятны и близки тем, кого высокомерно продолжали называть «партийной массой», Ленин был явно напуган предстоящими выступлениями оппозиционеров на съезде. К тому же он знал, какой магической силой обладает ораторский талант Коллонтай. Впервые за многие годы не она с ним, а он с ней искал контакта и в нескольких коротких, но содержательных беседах пытался заставить ее отказаться от выступления на съезде. Никто не знает, чем бы кончилась эта психологическая атака, если бы не события, развернувшиеся за шесть дней до его открытия. Из

Петрограда пришло паническое известие, что в Кронштадте — на главной базе Балтийского флота — мятеж. Матросы образовали Временный революционный комитет и требовали передачи власти по всей стране Советам без коммунистов.

Непосредственным поводом послужили массовые аресты в Петрограде, восставшие потому и надеялись на поддержку петроградских рабочих. Но истинные причины были очевидны: глубочайшее разочарование в том, какую «свободу» и какое «счастье» принесла революция рабочим и крестьянам, — все матросы были выходцами или из городского пролетариата, или из деревенских работяг. За три с половиной года, отделявших март 1921 от октября 1917, большевики выдержали не один мятеж, но не было более опасного и зловещего для них, чем Кронштадтский, — из-за обращения не к «вражеским», а к большевистским же лозунгам и идеям, к их незамутненным истокам, так цинично преданным и загаженным. Этот мятеж, дававший, кстати сказать, рабочей оппозиции неотразимые аргументы, во что бы то ни стало должен был быть подавлен, уничтожен в зародыше, выкорчеван.

Съезд проходил под аккомпанемент сводок, летевших из Петрограда. Газеты и листовки, выпускавшиеся мятежниками, распространялись по городу, чьи-то невидимые руки расклеивали по стенам тексты, переданные из Кронштадта по радио. Свободного слова большевики боялись больше всего на свете: крамола могла расползтись по всей огромной России. Аргументы рабочей оппозиции и призывы кронштадтских мятежников смыкались друг с другом и дополняли друг друга. Проходя в перерыве мимо Коллонтай, Ленин остановился, чтобы снова уговорить ее отказаться от выступления. В голосе звучала угроза, но Коллонтай ощутила скорее мольбу. Решение, однако, она уже приняла.

— Партия потеряла свое подлинно пролетарское лицо, — страстно взывала она с трибуны, — вырождается в касту бюрократов и карьеристов. Засилье

партийного чиновничества видит каждый. Бюрократизм проникает и во все звенья государственного, советского аппарата. Три года назад насчитывалось 231 тысяча чиновников, теперь, после объявленного сокращения, — их 243 тысячи. Что выиграл от революции пролетариат, в интересах которого она и совершалась? Не случайно рабочие массами выходят из партии. Они вступали в СВОЮ партию, теперь они видят, что это не их партия, а партия чиновников и бюрократов... ЦК отсылает инакомыслящих в отдаленные края, чтобы не путались под ногами, чтобы голос их никем не был услышан. Почему ЦК так боится инакомыслия?

Шляпников обращался с трибуны прямо к Ленину:

— Разрешите вас поздравить, Владимир Ильич, вы являетесь авангардом несуществующего класса... Надо раз и навсегда запомнить, что другого, «лучшего» рабочего класса мы иметь не будем и нужно удовлетвориться тем, который есть. Не только расточать ему похвалы, а дать ему подлинную власть, поверив в его силу.

Оппозиционеры ограничивали понятие демократии лишь ее рабочей ипостасью и ставили целью всего-навсего смягчить режим большевистской диктатуры, учитывать различные мнения, укоротить дистанцию между верхами и низами, а вовсе не поделить власть с другими политическими организациями. Однако даже на столь скромный «партийный нэп» Ленин пойти не захотел. Партийные мятежники были обречены — так же, как мятежники флотские. Оппозиционеры рассчитывали, что Кронштадт укрепит их позиции — он, напротив, их ослабил, напугав делегатов. К кому, в сущности, обращались Коллонтай и Шляпников? Как раз к той партократии, к тем чиновникам и бюрократам, обретшим реальную власть, против которой и выступила оппозиция. Наивно было рассчитывать, что эти люди отдадут ее во имя чистоты какой-то идеи. К тому же в пылу полемики Шляпников и Медведев перестара-

лись, обвинив Ленина и его окружение в том, что «партия перегружена интеллигенцией, оттеснившей собственно рабочих». Из контекста явственно вытекало, что речь шла не просто об интеллигенции, а о товарищах еврейского происхождения, помыкающих истинно русскими пролетариями. Эти выпады зал отверг: ТОГДА такое еще не поощрялось.

Против оппозиционеров ополчились все партийные начальники, имевшие по другим вопросам отнюдь не общее мнение: и Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и Бухарин. Троцкий — тот вообще требовал немедленного исключения из партии всех «отступников», включая и Коллонтай. Ленин предложил пока ограничиться строгим предупреждением. Шляпникова, Коллонтай и их группу поддержало только 18 делегатов, за платформу Ленина было подано 336 голосов. Но самое роковое, поистине иезуитское решение протащил Ленин уже после того, как рабочая оппозиция потерпела поражение. Он предложил принять резолюцию «О единстве партии», снабдив ее секретным 7-м пунктом, сыгравшим зловещую роль в период чисток двадцатых и тридцатых годов. За этот пункт, предусматривавший исключение из партии — даже и членов ЦК — за так называемую фракционную деятельность, проголосовало всего лишь 59 процентов делегатов. Но все же он прошел!

Ленин и здесь проявил свою феноменальную гибкость. Никто не смог бы обвинить его в сведении счетов: он сам предложил избрать Шляпникова в ЦК! Коллонтай не предложил — и не только потому, что та заставила его испытать унижение, дважды, а то и трижды выслушав его просьбы воздержаться от выступлений, но не посчитавшись с его мнением.... Нет, не только поэтому: он давно уже не относился к ней всерьез. И опасался. Слишком много она знала про то, что было для него сокровенным! Станным, необъяснимым логически образом он накладывал ее облик на облик Инессы. По отношению к Коллонтай никакой гибкости быть не

могло. А Шляпникова он не только сделал членом ЦК, но и поручил ему возглавить комиссию по улучшению быта рабочих и предложил войти в комиссию по чистке партии. Как после этого обвинить Ленина в зажиме критики, в нетерпимости к инакомыслию?

Съезд был скомкан — надо было громить кронштадцев. На подавление мятежа Ленин отправил 300 делегатов партийного съезда. Уехали Троцкий, Ворошилов, Дзержинский, Тухачевский и другие лидеры — партийные и военные. Вместе с ними — на родимую Балтику — отправился и Дыбенко: он уже несколько дней был в Москве, готовясь к экзаменам в академии. Его победный рапорт из Кронштадта привел Коллонтай в ужас. Не считаясь с возможными жертвами, красные каратели предприняли штурм по ломкому льду Финского залива — оттуда их, естественно, не ждали. Лишь по официальным данным, штурмовавшие потеряли 700 человек убитыми и 2500 ранеными, мятежники — 600 убитыми и 1000 ранеными. Но жертв было куда больше: 7500 пленных убили на месте. Командовать низвергнутой крепостью Ленин назначил Дыбенко. «Партия снова мне доверяет», — обрадовал тот своего нежного Голубя.

Именно в эти дни Коллонтай впервые ощутила нежелание заниматься политической деятельностью. Из разрозненных ее заметок, впоследствии тщательно законспирированных, с очевидностью вытекает, какой вывод она сделала для себя: власть перешла не к народу, а в руки одной партии, ставшей партией-государством, притом переродившейся. Надо было искать свое место в том гигантском, чудовищном механизме, победе и становлению которого она посвятила жизнь. У нее оставалось ее детище — женотделы, да еще перо, чтобы создать сочинения об освобождении женщины от домашнего ига и о свободе любви.

Придя в себя после съездовской встряски, Коллонтай снова ощутила тоску по Дыбенко, который

все еще наводил порядок в Кронштадте. По счастью, его отпустили на сдачу очередных экзаменов в академии. «Скупой на письма, — записала Коллонтай в дневнике, — Павел привез их целый пакет. Все ко мне и все не отправлены. В них отражение и его мук. Значит, еще любит? Значит, чувство еще живо? <...> И все-таки мы душевно не слитны, и все-таки, Павел, большой мой ребенок, ты не видишь, не слышишь, не умеешь угадать всей той мучительной работы, что проделала моя душа за эти недели. О, если бы понял! Если б услышал! Как бы тогда стало легко, как полно бы стало наше чувство, как совершенна близость! Но этого нет».

Она не могла смириться с тем, что ее верная и справедливая позиция отвергнута съездом. Решению большинства она обязана подчиниться, но как быть, если большинство не право? Павел упорно не хотел больше «вникать в политику», поделиться было не с кем. Обостренному чувству одиночества не могло помешать даже присутствие Павла. Коллонтай поехала в Петроград — выплакаться у Зои. Они проговорили весь день и всю ночь. Наутро Зоя письменно присоединилась к платформе оппозиции, ведь это была не платформа верхов, а вопль «рядовой массы». Зоя как раз и была маленькой ее частичкой. Они вместе нашли решение, которое сразу же поддержали и Шляпников, и Медведев. По уставу Коминтерн стоит НАД всеми компартиями, в него вошедшими, и каждый партиец имеет право обжаловать решения высших органов своей партии в этот наднациональный ареопаг. Клара, Отто, Бела — старые друзья, неужели они ее не поддержат? Сошлись в одном: поручить Коллонтай выступить на конгрессе Коминтерна и рассказать делегатам о положении в русской компартии.

С равной страстью Коллонтай играла две роли. С одной стороны, стремилась довести до конца (разумеется, победного) свою борьбу с бюрократизацией партии и превращением ее в придаток к узурпировавшей власть группке переродившихся пар-

тийных иерархов. С другой — столь же упоенно она продолжала руководить женским движением, проводя «линию партии» и воспевая ее в своих статьях и книгах. Одна мораль «для внутреннего употребления», другая — для «внешнего»: ничего неестественного и несовместимого в этом расхождении она не видела. Одна и та же рука писала: «Рабочие и работницы жестоко разочарованы, потому что все результаты их усилий и жертв оказались напрасными, они стали лишь достоянием оформившегося в касту, всемогущего партийного аппарата» (конфиденциально, столпам Коминтерна). И — на публику, для «Правды» (в те же самые дни): «...каждое новое усилие русской работницы, каждая ее жертва, ее труд не напрасны, они уверенно ведут к постепенному строительству новой жизни, к облегчению страданий трудового народа, к тому, чтобы прокладывать путь к счастью. <...> А в буржуазных странах сколько ни трудись, какие жертвы ни неси, — в прибыли остается только хозяин. <...> Когда-нибудь каждая мать-работница сможет сказать своим детям: «Что я делала в великий 1921 год? Я боролась под красным знаменем плечо к плечу с вашим отцом, за диктатуру рабочего класса, за вашу свободу и счастье, за коммунизм».

Накануне Третьего конгресса Коминтерна собралась Вторая Международная конференция коммунистов — Коллонтай произнесла страстную речь о грандиозных успехах и исторических завоеваниях. Сразу же после ее завершения открывался конгресс, для которого у нее была заготовлена совсем иная речь. Содержание предстоящей речи ни от кого (в партийном руководстве, конечно) не скрывалось. Ленин снова (с его самолюбием не так-то легко было на это решиться) звонил Коллонтай, умоляя не выступать, чтобы не демонстрировать «перед международным пролетариатом» расхождения и разногласия внутри РКП. Она выслушала его монолог, но ничего не пообещала. На «военный совет» собрались Шляпников, Медведев, Лутовинов и другие.

Они просили ее не поддаваться давлению. Она и сама уже так решила: своим откровенным и весьма грубым нажимом Ленин не остановил ее, а, напротив, подвигнул.

22 июня, в день открытия конгресса, на который съехались делегаты компартий и рабочих организаций из 52 стран, Коллонтай сразу же записалась для выступления на пленарном заседании. Ленин сделал последнюю попытку удержать ее. Проходя между рядами к сцене, он остановился возле сидевшей с краю Коллонтай и произнес только одну фразу: «Не надо, Александра Михайловна, не надо!» Ответа не получил — ответом было ее выступление.

Ей дали слово первой после очередного перерыва, и много делегатов и гостей видели, как вместе со всеми, повалившими в зал из фойе, протиснулся и Ленин. Он слушал ее стоя, прислонившись к стене. Коллонтай говорила по-немецки. Она назвала наметившиеся в русской компартии тенденции архибюрократическими, представляющими «смертельную опасность для революции, которая теряет свою главную опору — рабочих». Она призывала указать русским товарищам «от имени коммунистов всех стран» на их «ошибки» и «возродить в партии дух свободных и открытых дискуссий, допускающих полную свободу выражения мнений и право на инакомыслие». Зал слушал ее в мертвой тишине. После того как она закончила речь, не раздалось ни одного хлопка.

В перерыве Ленин прошел мимо нее и остановился на одно лишь мгновение, чтобы сказать: «Это разрыв». Они вместе участвовали потом в разных съездах и конференциях, но не пересеклись ни разу и ни разу не обменялись друг с другом ни одним словом. «Это разрыв» — такими были последние слова Ленина, обращенные к ней. Она не хотела разрыва, она искренне верила в то, что помогает партии стать ближе к рабочим и служить их интересам. Но партия — в лице тех, кто говорил от ее

имени, — имела совсем другие интересы и именно им служила. Это и был — в классическом варианте — диалог глухих.

Но больше всего, пожалуй, ее потрясла откровенная провокация, которую учинил Дзержинский. Его агент Рубинов (тогда лубянские секреты были известны широкому кругу партийной верхушки, и агентов, крутившихся в этой среде, знали всех поименно) явился к Шляпникову и Коллонтай с предложением от «группы товарищей» — создать нелегальную группу Четвертого Интернационала для борьбы с «изменившим интересам пролетариата» Третьим... Провокация была слишком грубо сработана, но она имела место. Была ли это самовольная акция «железного Феликса»? Он не выступил против «рабочей оппозиции», навлек на себя за это гнев Ильича и теперь, возможно, замаливал грехи. Но если и замаливал, то, скорее всего, по сговору с Ильичем. Эта низкая и подлая акция сломала Коллонтай. Тайный обыск, который был произведен в квартире Шляпникова, окончательно открыл ей глаза на то, какой стала ее «партия» и что скрыто за ее фасадом. В отчаянии, ожидая обыска и у себя, она стала уничтожать старые записи и бумаги. По счастью для истории, вовремя остановилась. Близких не было рядом: Зоя в Петрограде, Павел в Одессе, Миша в Кашире...

С помощью Коллонтай, написавшей за Павла — от первой до последней строки — дипломную работу о роли личности полководца в военных действиях, Дыбенко окончил академию и получил назначение все в ту же Одессу. Он стал начальником черноморского сектора Одесского военного округа. Коллонтай еще не знала, почему его так тянет в Одессу (он сам туда напросился), но полностью одобрила его выбор. Этот шумный, веселый, ни на один другой не похожий город поднимал ее настроение, позволяя отвлечься хотя бы на время от тревожных дум. К тому же чем-то неуловимым — акацией? каштанами? стремительным полетом облаков? — он

напоминал ей милый Париж. Петеньку. Саньку. Не Шляпникова, а именно Саньку. Сладкую нищую жизнь. Споры. Надежды.

От надежд ничего не осталось, но надо было делать свое дело. Это слово, давно уже ставшее для нее фетишем, превратилось теперь в палочку-выручалочку. Уйти в дело — означало забыть об унижениях и невзгодах, перестать ревновать, смирить гордыню, непрестанно напоминавшую ей о том, что ее потенциал растрачивается впустую, что она, имея возможность так много сделать, отброшена на обочину и что с неумолимостью, от нее не зависящей, она все больше из Коллонтай превращается в жену Дыбенко. Наверно, вынесла бы и это, если бы не ставшие привычными загадочные телефонные звонки, злорадные хихиканья дам в телефонную трубку, постоянные отлучки Павла, не дававшего по сему случаю никаких объяснений.

Получив отпуск, она поехала к нему в Одессу. Заказы из газет, журналов, издательств, которые она набрала, создавали ту самую иллюзию дела, без которой она бы закисло даже в роскошном особняке Павла на берегу моря. В ту пору чудовищный голод охватил Россию — голод, унесший миллионы жизней, голод, порожденный большевистским террором, ужасами гражданской войны, беспощадностью по отношению к крестьянству. Коллонтай тоже писала про это — в лучших традициях партийных пропагандистов.

«Голод <...> в плодороднейших губерниях Советской России — это великое стихийное бедствие, вызванное засухой. Солнце, вместо того чтобы живительными лучами выхватить из земли увеличение народных богатств в виде хлебных запасов, безжалостно спалило поля и осушило луга. <...> Без коммунизма человечеству не справиться с голодом. <...> Получить власть над природой возможно только при торжестве коммунизма. <...> Бороться с голодом значит отстаивать основы строительства коммунизма».

Привычное краснбайство, безвкусные красивости плюс высокомерное пренебрежение грамматикой могли бы вызвать только улыбку, но эти словесные узоры вышивались на костях миллионов безвинно погибших. К тому же сама она сознавала, что ни в одном написанном слове нет даже крохотной частички правды. Не могла не сознавать, если только что дала столь точный и беспощадный анализ партийных реалий. И располагала не фиктивной, а подлинной информацией, которую посылали с мест и международные организации (АРА Герберта Гувера), и официальные, советские (Помгол, возглавлявшийся Львом Каменевым, хотя все советские и даже постсоветские справочники упорно называют главой Помгола Михаила Калинина). Но принцип «двух правд» — одной для «узкого круга», другой для «массы» — властно диктовал ей слова, подходящие только к «данному случаю».

От Павла, куда-то беспрестанно уезжавшего по своим делам, несло, когда он возвращался, водочным перегаром. И взгляд был мутный, и речи бесвязны.

«Мы объяснялись несколько часов. Павел приехал днем. Я ждала его напряженно. Одеда новое платье. Напудрилась. Ждала. А пропустила момент, когда подъехал автомобиль. Павел прошел в свой кабинет. Вхожу — уткнулся в угол дивана. Плачет. Не сразу растаяло сердце. Не сразу захлестнуло теплом. Но понемногу оттаяла. Павел выкупал все мое платье в слезах. <...> Потом... неизбежные объятия, поцелуи. Пока чувство живо — обычный финал. И внешне примирение состоялось. Но на душе у каждого осадочек. И оба очень бережны друг к другу, будто боимся ранить».

В промежутках между объяснениями и примирениями, между упреками и выяснением отношений они вместе работали над так называемой военной доктриной: выпускник академии Дыбенко получил задание наркомвоенмора Троцкого представить свои соображения о том, как следует реорганизовать

Красную Армию и к чему ее готовить. Идеи высказывал Дыбенко, Александра же облекала их в подходящую словесную форму. Но так увлеклась, что сама предлагала идеи, приводившие его в восхищение. Исходная установка: неизбежность победы коммунизма в мировом масштабе, а значит, обязательная военная помощь «массовым революционным выступлениям трудящихся капиталистических стран». Позже — перед ней, перед ней! — он все эти идеи припишет себе. И сам (она почувствует это) будет верить в свое единоличное авторство. Но все это будет потом.

«Мы работаем. Павел не пьет, выдерживает характер. Оба стараемся друг другу «сделать удовольствие». Я снова взялась за хозяйство. Души наши после всего пережитого еще далеки друг от друга, но страсть, тяготение вспыхнули с новой силой. Страсть ли? Не больное ли сладострастие, когда зажигаешь друг друга, чтобы получить еще одно доказательство любви другого? <...> Чувствую, что за эти годы созрела. Наконец любовь перестала быть важным моментом жизни. Набралась мудрости. Выросла. И переросла себя, ту, что была еще три-четыре года назад».

«Важным моментом жизни» любовь еще быть не перестала — Коллонтай выдавала желаемое за действительное. Но все больше и больше приходилось ей заниматься не «делом», а внутривнутрипартийными дрязгами, склоками и интригами. Личные свары ради овладения командными высотами выдавались за борьбу концепций и позиций, вольно или невольно задевая лично ее. «Новое горе <...> камнем придавило плечи: поход на женотделы. Организованный и решительный. Где корень? В чем? Суть ли в том, что хотят дискредитировать меня, или же это узость, доктринерство и тот формальный подход к вещам, который мертвит нашу работу?»

В этой дневниковой записи нет ни одного имени, но разгадать, к кому обращены ее инвективы, совсем не трудно. Из опубликованных воспоминаний

Клары Цеткин с непреклонностью явствует, кто был непримиримым противником партийных «женотделов» — этого истинного детища Коллонтай. Действительно ли Ленин был принципиально против партийных структур «по половому признаку» или все дело в его личной антипатии к Коллонтай — кто знает? Но, так или иначе, между этими двумя фигурами, находившимися (воспользуемся спортивной терминологией) в абсолютно разных весовых категориях, началась непримиримая война. Кто бы мог подумать, что для нее это станет спасением?! Потом, потом...

Хорошо известно о злопамятстве Сталина. Ленин в этом отношении был вне подозрений. Всегда отмечалось, что он не только не мстил Зиновьеву и Каменеву за их выступления против него накануне октябрьского переворота в 1917 году, но остался с ними на весьма короткой ноге, «доверяя» высокие посты в партийной и советской иерархии. Все зависело, видимо, от градуса личных отношений. Но близким — особенно идейным фанатикам, воевавшим с ним его же оружием, никакого своеволия он не прощал. Шляпников не смирился с поражением на съезде и даже осмелился в партийной ячейке, где был на учете, излагать свои взгляды. Еще того более: он критиковал любые решения, если, по его мнению, они шли вразрез с интересами рабочих. Ленин потребовал в ЦК исключить Шляпникова из партии «за нарушение партийной дисциплины». Предложение провалилось: не хватило всего лишь одного голоса...

Совершенно раздавленная этой планомерной атакой — и на себя, и на своих единомышленников и друзей, — Коллонтай не имела сил писать Павлу в Одессу. Зато он забрасывал ее письмами.

«Шура, милая, ты ничего не пишешь, от тебя ни звука, я окончательно потерял голову. Что это значит? Я боюсь, что ты лежишь больная и снова от меня скрываешь. <...> Разве я могу спокойно работать, когда около меня не витает твой, ИМЕННО

ТВОЙ, любящий дух? Шура, Шура, что ты делаешь со мной? Неужели ты не знаешь своего Павла? <...> Ты безжалостно его бросаешь. Шура, милый Голуб, когда же ты поймешь меня, скажи, я жажду твоих слов, Тебя, и я тоскую невероятно. <...> Хочется бежать, бежать, что-то бурное совершит, сломат себе голову и на время хотя бы успокоит себя. <...> Жажду Тебя. Твой Павел».

«ИМЕННО ТВОЙ» — совсем не случайно он выделил эти слова. Там, в Одессе, уже витал вокруг него другой «любящий дух», и она знала об этом, и он знал, что она знала... Точнее, она не знала еще этого «духа» по имени и даже не знала точно, в какие «тела» он облечен. Но то, что такой «дух» существует и что он весьма и весьма активен, знала наверняка.

Восемнадцатилетняя Валя Стафилевская, дочь не слишком богатых, но считавшихся «буржуями» родителей, безуспешно пыталась бежать из Крыма от красных. Родители ее погибли, саму ее толпа, штурмовавшая пароход, сбросила в море. Валу спасли. Один из спасателей стал ее возлюбленным — вместе с ним она перебралась в Одессу. Здесь подчиненный уступил подруге своему начальнику: та была во вкусе Дыбенко — смазливая юная простушка с трогательной невинностью во взоре. Об этом романе знали все вокруг — жена, как водится, узнала последней. Но узнала...

Вдали от Одессы, в суматохе нервного повседневья, личные обиды и уколы переносились легче. Съезд Советов, на котором ее избрали членом ВЦИКа, этого советского квазипарламента, вновь на какое-то время вернул ей настроение, но обида за Шляпникова, которого — после принудительного медицинского обследования — врачебная комиссия признала «абсолютно негодным на ближайший период для ответственной работы» (ослиные уши инициатора этой «заботы о человеке» торчали слишком уж нарочито), подвигла Коллонтай на новый —

и последний в ее партийной биографии — отчаянный шаг.

Она лично написала, лично собрала подписи и лично передала в Секретариат Коминтерна официальную жалобу на РКП(б), обвиняя ЦК в подавлении демократии и провокациях. Рассказала и об обысках, и о предложении Рубинова создать нелегальные группы, и о постоянной перлюстрации писем — о подлинной травле, которую устроил ЦК (читай: Ленин) по отношению к своим бывшим товарищам лишь за то, что они задели самое больное его место: положение рабочих и свобода выражения мнений. Письмо это — по количеству подписей — вошло в историю как «Заявление 22-х».

Зиновьев поручил «разобраться» — для полной «объективности» — иностранным коммунистам. В комиссию, руководимую болгаринном Василем Коларовым, входила и близкая подруга Коллонтай — Клара Цеткин. Но у коммунистов, как видно, не бывает друзей — лишь «товарищи по борьбе». Комиссия осталась глуха к обвинениям, содержащимся в жалобе: зажим рабочей демократии, репрессии против инакомыслящих, то есть все то, что давно уже стало печальной и общепризнанной очевидностью. Осуждающее жалобщиков заключение было передано для рассмотрения на расширенном пленуме исполкома. Объяснения давали Троцкий, Зиновьев и Рудзутак. Легко понять, что и как они «объясняли». Решение было поистине сомоновым: право обжаловать действия своей партии в Коминтерн ИККИ подтвердил, но ДАННУЮ жалобу счел «подрывом авторитета РКП(б)» и передал ее для рассмотрения самой же РКП(б). Любопытно, что в этом цинизме ни русские товарищи, ни иностранные не увидели никакого позорища, никакой насмешки над элементарной логикой и справедливостью.

«Проверочной» комиссией руководил Дзержинский. Ему во что бы то ни стало надо было доказать свою лояльность. Истине? Нет, Ленину. Его не сму-

шало, что он «проверяет» жалобу на самого себя (эпизод с Рубиновым). Такая практика давно уже стала нормой в большевистской среде. Одиннадцатый партийный съезд, которому комиссия доложила о результатах своей работы, как и следовало ожидать, признал «Заявление 22-х» клеветническим. Ленин потребовал исключения из партии «клеветников», но в голосовании предусмотрительно не участвовал, опасаясь поражения. Как в воду глядел! Ленинская резолюция не собрала необходимого количества голосов. Съезд ограничился предупреждением Шляпникову, Медведеву и Коллонтай о том, что их ждет исключение, если они не прекратят «фракционную борьбу».

Политическая (или, если хотите, «деловая») драма дополнялась драмой душевной. Кто скажет теперь, какая из них была острее? Об этом их письма. Первое написано в поезде Одесса — Москва: перед заседанием исполкома Коминтерна Коллонтай на несколько дней успела съездить к Павлу, чтобы «перевести дух». О том, как она его «перевела», видно из письма.

«Глубокая ночь. Шестой час. Где ты, Павел? Где ты сейчас, мой близкий и все же <...> далекий? Неужели твое сердечко, твоя любовь ко мне не подсказывают тебе, что значит мучительно ждать час за часом и прислушиваться к шуму шагов в коридоре? <...> Ночь не для поцелуев только, не в поцелуях цена для нас, а в том общении сердца, что обоим дорого ночью бывает. На душе холодно, холодно, одиноко, больно до ужаса. Где ты? <...> Меньше любить стал? Нет, я знаю, я верю в твою любовь, в ее глубину, и знаю, что я тебе дороже всех в мире <...> Я не хочу, Павлуша, мой дорогой, чтобы ты повторил боль, что мучает меня. Я слишком люблю нашу любовь, большую и красивую, чтобы не желать сбросить ее. Но я знаю слишком хорошо неизбывные законы любви, знаю, что нельзя безнаказан-

наносить уколы, и потому я пишу тебе, мой жно любимый, мой большой мальчик. <...> Самое чительное то, что не знаю, что тебя влечет от ня. <...> Что бы ты сказал, Павлуша, если бы я ехала в Одессу и через день-два стала бы исче- гь так таинственно — на ночь, на полночи <...> Да ж тут особенного, небывалого, но пойми, Павлу- получается, что с чужими людьми у тебя «сго- р», тайные соглашения от меня — вот и боль не в м, что женщины тобою увлекаются, мне это даже авится, пусть влюбляются в моего красавца вла, я-то знаю, что он мой. И не в том, что в тебе гда-нибудь заговорит физиология, все это понятно не больно <...> Ты боишься, милый, сказать мне ямо: «Шурочка, у меня есть одна женщина, она ня интересуется, забавляет, я иду к ней, не жди ня, вернусь к утру». Я бы только улыбнулась, я почувствовала твое доверие ко мне, и мне было светло, я знала бы, что мы с Павлом одно, заго- р у нас с тобою, а не у него с какой-то чужой гей <...>».

Месяц спустя — из Москвы:

«Нет слов, чтобы сказать тебе, что со мной, Павел, Павел! Все было готово, билет взят, вещи уложены, командировка в кармане, еще 3—4 часа, и я лечу к тебе. О, как радостно билось сердце при мысли, что буду с тобой. Как хотелось скорее об- нять твою дорогую головушку, прижать к моей груди, к сердцу <...> И вдруг — самокатчик! Пись- мо: постановление ЦК, не разрешающее мне вы- ехать до съезда. Вопрос о заявлении 22-х будет раз- бираться на съезде. Что сказать, Павел? Что пере- жила я за эти часы! <...>

Павел, слышишь ли, как в эти темные дни я зову тебя, дорогого, и как хотелось мне именно сейчас быть с тобою, чтобы всю мою нежность, все богат- ства моей души отдать тебе, только тебе. Ведь сей- час моя энергия, моя вечно бурлящая, беспокойная душа натываются на стену. Но ничего, Павел! Сей- час моя рука товарища протянута к тебе не за помо-

щью только, а чтобы поддерживать тебя, мой близкий, родной, в эти темные дни <...> Уже не Коллонтай, а твой голубь, точно в клетке, бьется в тоске. Пойми, крыльями уже махнула — и вдруг жестокое, формальное: «нельзя». Павел, любимый мой, мне больно сейчас. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я остро страдаю об одном: что меня жестоко лишили права ехать к тебе <...> Слышишь ли мою боль, слышишь ли мой зов, мне больно, Павел, я бьюсь в тоске, мне все кругом опостылело, так остро по тебе я еще не тосковала. Павел, мой безмерно любимый — твой, твой Голубь».

Ответ пришел уже через девять дней.

«Шурочка, милая, родная <...> Я жажду Тебя, а ты, маленький скандалист, все буянишь. <...> Приезжай, будешь жить на даче, только на другой теперь: хороший сад, огородик свой, море — приезжай, отдохнем. <...> Весна, милая, а мы ведь с тобой весной вместе не были, хотя вся наша жизнь должна быть весной».

Через несколько дней ей исполнялось пятьдесят лет. Как ни крути — рубежная дата. Тем более в ее положении: Павел только что вступил в возраст Христа, ему «стукнуло» тридцать три. Она ждала его — раз уж ей не удалось уехать в Одессу, надеялась провести этот день вместе. Только вдвоем. Но не вышло и у него. На самом ли деле или «работа» была только предлогом? Трудно сказать. Во всяком случае, с ней его не было. Как и не было никаких юбилейных торжеств: об этой дате все забыли. Впрочем, не все. Звонил Дяденька — говорил сдержанно, но так тепло, что у нее захолонуло сердце. Звонил Петенька — шутил, но в шутке ей почудилась грусть. Приехала Зоя. И зашел Шляпников. С ними, с Мишей, с Марией Ипатьевной провела она этот вечер. Записала коротко: «вечер итогов».

Не дождавшись своего Голубя, Дыбенко все же примчался в Москву, но позже и всего на несколько дней. Напрасно он уверял ее, что летел только к ней — к милой и родной Шуре. Она-то знала, что у

Троцкого обсуждается военная доктрина, от этого во многом зависит карьера. Как и знала, что ЕГО доктрина это еще и ЕЕ доктрина. Но кто, кроме них двоих, мог догадываться об этом? «Совместная работа над военной доктриной, — писала она в дневнике, — одно из самых больших моих увлечений. Тезисы мои легли в основу. Вторая и последняя главы вообще написаны только мною. <...> Особая гимнастика мозга, ума. Читала военные книги, освоилась с тактикой, стратегией, военными понятиями. <...> Это особое наслаждение».

Ей все еще не давали отпуска. Павел уехал — она осталась одна. К нарастающей — из-за полного неведения — ревности прибавилось чувство унижения. Она хорошо понимала, что не реальная потребность в ее присутствии побуждала Зиновьева не отпускать ее, а возможность показать свою власть, покуражиться, отомстить за неслыханное ее своеволие. Оставалось терпеть.

«Две задачи не доделаны еще в моей жизни, — записала она в дневнике: — 1) поставить женское движение в России <...> и 2) начать мировое движение против смертной казни». Обе эти задачи находились в полном противоречии с тем, что считал правильным Ленин. Как раз в эти самые дни он писал наркому юстиции Дмитрию Курскому в связи с подготовленным проектом нового Уголовного кодекса: «Открыто выставить принципиальное <...> положение, мотивирующее суть и ОПРАВДАНИЕ террора, его необходимость <...> Обосновать и узаконить его принципиально...»

Через несколько дней Ленина постиг первый инсульт. Не только в партийных кругах — по всей стране говорили об этом. В дневнике Коллонтай, в ее письмах этого периода о столь важном событии — ни единого слова. Зато есть о другом: о нэпе, не совместимом с ее схематичными представлениями о коммунизме.

«Павлуша, нежно-нежно любимый, сейчас вечер воскресный, в доме нашем тихо, все на даче, я же,

проработав усидчиво весь день, не вставая, прошла в садик поблизости и теперь, в ожидании чая, пишу тебе эти несколько строк. Хочется хоть мысленно почувствовать, что ты есть, — твою близость, твое нежное тепло, на душе щемит <...> Такой поворот в политике! <...> Мне жутко, тоскливо. <...> Куда же дальше идти, любимые мои товарищи? Друг Павел, так не хватает мне тебя сейчас <...> Едут в Москву наши иностранные товарищи <...> На днях прибудет Клара Цеткин <...> в связи с ее приездом предстоит пережить много неприятного. Будут неизбежные трения, у меня все последнее время были конфликты с верхами. <...> Я подавала два раза в отставку. Пока не отпускают, но я решила добиться своего <...> Родной Павлуша, мне сегодня так не хватает тебя, Голубь тоскует, нежно обнимаю тебя...»

Ее ни за что не отпускали, но какая-то сила заставила ее выклянчить разрешение на поездку в Одессу — хотя бы на несколько дней. Перед самым отъездом она почувствовала признаки беременности. «Рождается старая боязнь, — поделилась она своими опасениями с дневником, — а вдруг? Нелепо двоятся чувства: радость Павла и ужас новой скованности. Ребенок, теперь?! В мои годы?! Когда эти годы на счету... Когда надо спешно дать итог накопленного, излить свое творчество, пока не поздно...»

Эти страхи оказались напрасными, но столь желанная и столь долгожданная встреча радости все равно не принесла.

«Павел, мой дорогой! Если я так остро воспринимаю сейчас, что ты не выдержан, то только потому, что начали появляться у тебя нехорошие симптомы <...> твой организм уже поддается разъедающему яду алкоголя. <...> Стоит тебе выпить пустяк, и ты уже теряешь умственное равновесие. <...> Ты стал весь желтый, глаза ненормальные <...> Если не при-

нять меры, тебе может грозить нечто худшее, чем смерть. <...> Теперь ты, может быть, поймешь и мою истерику — результат бессонной и жуткой ночи с твоим жутким бредом накануне. <...> Пойми, только забота о тебе и только безграничная моя любовь к тебе заставляют меня писать это письмо. <...> Твой верный Голубь».

«Павел, мой родной, нежно, нежно любимый мальчик <...> Что нас связывает крепко и неразрывно? У нас огромная душевная близость — такая близость великое счастье и большое, ценное богатство. Но я же вижу, знаю, что не сумею, не могу дать тебе полного счастья. <...> Я не та жена, какая тебе нужна — может быть, потому, что я вообще не тип жены. Ты видишь, я искренне стараюсь быть женой, как полагается женам, но... Я же чувствую и понимаю, что это не то! Как много сторон твоей жизни я не могу заполнить и удовлетворить. А главное, конечно, ребенок. Я знаю, что значит для тебя ребенок и как мучительно ты о нем тоскуешь. Это нормально и это должно быть. Но я ведь уже никогда не смогу дать тебе эту радость. <...> У меня такое чувство, как будто я ворую тебя у воспроизводящей силы природы. <...> Ты должен постепенно приучить себя к мысли <...> иметь постоянную «маленькую жену» и своего ребенка. Ты имеешь на это право, право молодости.

<...> Есть еще одна причина. Ты мой самоцветный камень. Но, чтобы самоцветный камень получил свой блеск, надо придать ему грани. В твоих гранях есть доля и моего творчества, я люблю тебя, как художник любит свое творение, и самое ценное для меня, чтобы ты блистал все ярче, горел всеми огнями. Было время, когда наша близость помогала, облегчала твой путь. Сейчас ты очень вырос, я горжусь тобой, но наша близость определенная помеха твоей дальнейшей деятельности. Я бросаю теперь на тебя тень <...> нужна настоящая «маленькая жена», которая не заслоняла бы тебя, а по-житейски помогала в создании твоего дома. <...>

Ты читал о романе Наполеона с Жозефиной, — как он ее ни любил, но ради своей цели он женился на австрийской принцессе и имел страстно любимого им сына. А с Жозефиной он никогда не порывал, и когда его сослали на остров Святой Елены, не королева Луиза, а Жозефина умоляла отпустить ее с Наполеоном на остров, она его не разлюбила. <...> Я всегда, всегда буду с тобой, люблю тебя со всей нежностью и горячей влюбленностью <...>».

Его сумбурный ответ не только ничего не прояснил, но еще больше заставил ее поверить, что в психике Павла происходят какие-то перемены. «Шура, мне холодно, — писал он, — мне хочется вспять, я вспоминаю всю нашу жизнь, ты хочешь ее завершить. <...> Я читаю твою душу, но моей ты еще никогда не прочитала. Что же дальше? Дальше темный лес <...> Мне холодно, Шура <...>».

Теперь с еще большей остротой ей захотелось быть рядом с ним. Ушли все мысли о «красивой девушке», которая может его украсть, и обо всем другом — тоже ушли. Скорее в Одессу! Ее настойчивость была такова, что уже через три недели и ЦК, и Зиновьев в Коминтерне дали ей двухмесячный отпуск.

«Вечер. Дивная ночь. Луна на море. Но почему южная природа не радует меня? В ней что-то слишком яркое, богатое. Она беспокоит. И есть, я его всегда ощущаю, есть какое-то несоответствие между красотой природы и буднями жизни. Здесь жизнь должна была красочной, яркой, пестрой, подъемной, как и сама дивная южная природа. Раз этого нет, здесь томишься невольно...»

Так писала она «по горячим следам», еще не осмыслив того, что произошло, и не имея сил записать все отстраненно, в хронологической последовательности. Через год она нашла в себе силы это сделать.

«...Томительно жаркая ночь в Одессе. Черное море играло в лунных лучах, а в саду нашей богатой виллы (какого-то бывшего богача) удушливо пахло

розами <...> Я ждала Павла в саду в своем белом шелковом платье-хитоне. Я приоделась для него. Я не хотела верить слухам, что у Павла есть «красивая девушка», и все еще верила в его любовь. Павлины подчиненные разошлись по домам. Я осталась одна в саду. <...> Павел поехал верхом без постового, обещав скоро вернуться. Шел час за часом. Я не могла читать, я не любовалась морским прибоем, я не дышала красотой южной ночи. Я ждала Павла. Ждала напряженно и жадно. Я решила не верить своему чутью, что между нами что-то легло. Не хотела верить и шепоткам. Меня волновало другое: я упрекала Павла, зачем он дружит с этим подозрительным типом Азбукиным, бывшим управляющим винными погребами великих князей, зачем пьет не в меру, зачем слишком часто ездит к Азбукину играть с ним в карты. Это непартийное поведение, оно меня мучает, задевает.

Но весь этот день Павел был такой нежный, растроганно нежный, как в былые дни. И я с радостью схватилась за надежду: «Павел любит меня. Все эти слушки — обычные сплетни кумушек. Я им не верю. Только бы Павел не пропадал по вечерам у Азбукина за картами». Утром он, весело смеясь, обещал мне не бывать больше у Азбукина. «Я сам знаю, что эта компания не для меня. Ты напрасно беспокоишься, что он может втянуть меня в неприятную историю. Я ни с кем у него не встречаюсь».

— Так ведь вы вечно играете в карты.

— Наши партнеры все свои товарищи, из штаба.

Весь день я ждала вечера, мы договорились с Павлом вечером покататься на лодке по морю. Я хотела «поговорить»... Слова этого я ему не сказала, как и все мужья, он очень не любит этого слова, но про себя решила: в лодке поговорим как следует, укажу ему на его непартийное поведение, его дружбу с сомнительными элементами. Сделаю последнюю попытку.

Настал вечер. Павла вызвали в штаб. Часы в сто-

ловой громко пробили девять. Я слышала их бой в саду. Потом 10, 11, 12... А Павла все нет и нет. <...> Адъютант, уходя, сказал, что в штабе нет совещания. Где же Павел? Опять у Азбукина, ужинает «по-семейному» вдвоем или кутят со всякими «бывшими». Это после обещания мне утром, после того, как Павел, глядя мне в глаза «как честный человек», обещал.. Как я могу ему верить после этого? Может быть, слушок о красивой девушке не выдумка? Может быть, это так и есть? <...>

Ревность обожгла острой болью, подступила к горлу. Нет, я бы почувствовала. Но все же Азбукин подозрительная, темная фигура, не место Павлу в его доме, попадет в историю, а я должна вызволять его от партийных неприятностей. <...> Часы снова бьют час или половину второго. Нет, я больше не в силах выносить эту пытку вечного страха за Павла, за его поведение. Что меня удерживает в Одессе? К черту неиспользованный отпуск, в среду идет прямой вагон на Москву. Я уеду. Уеду от Павла совсем, навсегда. Я разорву с Павлом. Мы больше не товарищи, я его не понимаю, я ему больше не верю.

Часы дают два звонких удара. И за ними вслед гулко стук копыт во дворе. Павел спешит ко мне, походка твердая. Нет, он не пьян. Значит, «красивая девушка»... Что-то обожгло меня. <...>

До этой минуты вся картина той жуткой ночи четка, как на пластинке: и бой часов, и цвет моря, и аромат роз, и мои собственные мысли. Но с того момента, как Павел быстрым шагом, какой-то взволнованно виноватый, приближается ко мне, все расплывается, как во сне. <...> Я, кажется, бросила ему упрек, что он, партийный товарищ, нарушив данное мне партийное слово, опять был у Азбукина.

— Что ты пристала ко мне с этим Азбукиным? — раздраженно перебил меня Павел.

— Не лги. Мне все равно, где ты был. Между

нами все кончено. В среду я уеду в Москву. Совсем. Ты можешь делать что хочешь — мне все равно.

Павел быстро, по-военному, повернулся и поспешил к дому. У меня мелькнуло опасение: зачем он так спешит? Но я медлила. Зачем, зачем я тогда не бросилась за ним? Поднимаясь по лестнице террасы, я услышала выстрел. <...> Павел лежал на каменном полу, по френчу текла струйка крови. Павел был еще жив. Орден Красного Знамени отклонил пулю, и она прошла мимо сердца. <...> Начались жуткие, темные дни борьбы за его жизнь и тревог за его непартийный поступок. Я ездила для доклада и объяснений в парткомитет, старалась смягчить поступок Павла (они там уже знали больше, чем я думала, и больше меня самой). <...> Я во всем винила себя. Только позднее я узнала, что в тот вечер «красивая девушка» поставила ему ультиматум: «либо я, либо она». Бедный Павел! Она навещала его больничного тайком, когда я уезжала в партком.

Я больше не говорила Павлу о своем намерении уехать. Но это решение крепло. <...> Я выходила Павла. Рана оказалась менее опасной, чем вначале опасались. Павел стал быстро поправляться. Но ко мне он был нетерпелив и раздражителен. Я чувствовала, что он винит меня за свой поступок и что его выстрел вырос в непроходимую моральную стену между нами. <...>»

Когда Павел засыпал, Коллонтай выходила к морю, подолгу оставаясь наедине с прибором. Стихия приносила не столько душевный покой, сколько ясность мысли. К чему пришла она, переступив свой полувековой рубеж? Пять бурных революционных лет промчались, как один миг, — и что дальше? С Павлом покончено, это совсем очевидно, неизбежность стала реальностью, а не только прогнозом. «Дело»? То, что всегда было для нее превыше всего? Но время «валькирий» безвозвратно ушло. Наступила рутина. Пора склок, интриг и аппаратных игр.

Она умела разве что агитировать и митинговать — никакой потребности в таких достоинствах у «партии» больше не было. Какая партийная карьера могла ее ждать после того, что произошло на Десятом, а тем более на Одиннадцатом съездах? С Лениным все отношения оборваны, Троцкий ее не ставил ни в грош, взаимная «любовь» с Зиновьевым перешла во взаимную ненависть, ироническое отношение других партийных шефов давно уже перестало быть секретом. Даже прежние друзья, обретя власть, круто переменялись, стали холодными и чужими. Особенно отличился Чичерин, получивший пост наркома иностранных дел: он едва достаивал ее кивка. Их союз с Дыбенко стал притчей во языцех для всей страны, а для партийной верхушки тем паче: сколько злословия, ухмылок и косых взглядов придется ей теперь испытать!..

Был только один выход: сбежать куда подальше. Перестать мозолить глаза. Не эмигрировать, разумеется, — об этом не могло быть и речи, — но получить партийное поручение. Проще всего по линии Коминтерна. Но не только работать под началом Зиновьева, а даже о чем-то его просить она не могла. Мелькнула мысль: обратиться к Бухарину! Он набирал тогда силу, пользовался весом и даже полностью поддержал Коллонтай в одном из самых дорогих для нее утверждений: «Ребенок принадлежит обществу, в котором он родился, а не своим родителям». Но властных полномочий он не имел, а любая протекция ее унижала.

И тогда ее осенило. То был поистине Божий перст. Сталин только что, на прошедшем съезде, стал генеральным секретарем ЦК. Такого поста в партии никогда не было, и что он практически означал (а тем более — что он будет означать очень скоро), никто тогда толком не знал. Но в любом случае это был крупный партийный пост, и человек, его занимавший, имел право что-то решать. Никаких столкновений со Сталиным у нее не было — потому, возможно, что по работе их пути никогда не

пересекались. Ревновать к Дыбенко он ее тоже не мог — как женщина она была абсолютно не в его вкусе.

В обращении к Сталину не было никакого расчета. Никакого дара предвидения. Он просто оказался для нее (для НЕЕ!) единственным «адресатом» из всех возможных в то время. И обращение к нему — человеку, с которым никак не было связано ее прошлое, — Коллонтай не унижало. Это, быть может, и стало решающей причиной, побудившей ее написать именно ему. Письмо ее до сих пор в сталинском архиве не обнаружено, но то, что оно было, — не подлежит никакому сомнению: есть множество прямых и косвенных свидетельств его существования. Под конец жизни Коллонтай в нескольких обращениях к Сталину напоминала ему о том письме. Она не посмела бы это сделать, если бы его не было.

Из дневника: «Я написала Сталину все, как было. Про наше моральное расхождение с Павлом, про личное горе и решение порвать с Дыбенко. Написала, что меня не удовлетворяет работа в международном Женском секретариате и что мне будет трудно работать в ИККИ с Зиновьевым, особенно после Одиннадцатого съезда. <...> Я прошу партию направить меня на другую работу: на Дальний Восток <там только что была создана марионеточная Дальневосточная Республика: «иностранное государство» под контролем Москвы> или за границу на год-два. Ведь можно зачислить меня корреспондентом РОСТА <будущий ТАСС> или рядовым сотрудником в одном из наших полпредств. Я сумею там быть полезной партии и нашей республике. Я хочу писать труд о коммунистической морали».

Опять счастливо сошлись несколько не связанных впрямую друг с другом обстоятельств, которые предопределили благоприятный для Коллонтай выход из положения. К Сталину мало кто обращался с подобными просьбами. А может быть, и вообще никто... Он уже начал набирать своих сторонни-

ков — имя Коллонтай все еще много значило в партийных кругах, оказаться ее куратором было кстати для нового генсека. С другой стороны, она слишком намозолила глаза, была слишком непредсказуемой с ее повышенной эмоциональностью и даже порой экзальтацией — добровольный отход от всякой партийной активности в условиях нарастания борьбы за власть представлялся делом желательным, мешать этому порыву не имело никакого смысла. Убивались сразу два зайца: Коллонтай уходила с политической сцены, а Сталин при этом оказывался ее благодетелем.

Но в том-то и дело, что уходить с политической сцены она вовсе не собиралась. Естественный — при чрезмерном эмоциональном напряжении — тактический ход (укрыться вдали и переждать!) скрывал глубоко запрятанную надежду: не дадут ей уйти, осознают ее незаменимость и попросят остаться. Еще и уговаривать будут, ведь другой Коллонтай в партии нет..

Ответ пришел незамедлительно. Причем — телеграфный: психологически тогда это значило очень много. «Мы назначаем вас на ответственный пост за границу. Немедленно возвращайтесь в Москву. Сталин». Убежав к морю, втайне от всех, она десятки раз перечитывала эту телеграмму. И чуть не плакала — то ли от счастья, то ли от обиды, — совершенно не осознавая, насколько круто и бесповоротно судьба меняет свой курс.

Павел уже оправился от раны, начал ходить. Состояние ее была спокойна: она оставляет не больного, а выздоровевшего человека. И есть кому ухаживать за ним... О переписке со Сталиным и о ее планах ни слова ему она не сказала. В любом случае с прошлым покончено — решение принято, но Павел все еще не мог с этим смириться. О чем он думал? На что рассчитывал? Возникшая вдруг у него потребность тоже вести дневник — вопреки его натуре, вопреки всей его сути, чуждой рефлексии и самокопания, — говорит о многом.

«Мучительная тоска гложет сердце. Нет радостных надежд. Уехала — все! <...> Что ждет меня? Может ли быть кругом столько ненависти? <...> Тянутся мысли. Я одинок, и она уезжает. Таков финал пятилетней любви <...> Как можно теперь верить, с кем же можно теперь поделиться своими душевными переживаниями? Тут идеализм не поможет, тут страдания и жгучая мука за все, чем я дышал. Переживаю трагедию своей жизни».

Письмо вдогонку развивает дневниковую запись.

«<...> Я рвался к тебе, Шура, потому что я страдал по тебе. Ты говоришь, что твое тело для меня все равно. Нет ты не права, твои очи вместе с телом опьяняли меня. Да, я никогда не подходил к тебе как к женщине а к чему-то более высокому, более недоступному. А когда были минуты и ты становилась обыденной женщиной, мне было странно и мне хотелось уйти от тебя. Ты в моих глазах и в сердце, когда я рвусь к тебе, выше достигаемого. Но теперь я слабый, так же, как и все мужчины, открыл мои изломы души. <...> Ты покидаешь меня, а я был наивен, Шура <...> мне казалось, что все тебе скажу откровенно, и ты поймешь меня, и я спокойно всеми фибрами моей души останусь с тобой, и будем опять вместе <...> чтобы упиться друг другом и с новой силой насладиться своими жизнями. Но твой мучительный взор, твои страдания говорят другое, и мне кажется я был прав, скрывая от тебя свои переживания. <...> Не могу видеть твои муки, они душат меня. <...> Все это тебе говорит только, только твой Павел, он никому не принадлежал и никогда не будет принадлежат, но ты ведь все понимаешь, ты должна понять без слов <...>».

Ответа Дыбенко не получил — ответом была лишь ее запись в дневнике, ему не доступная: «Я убегаю не от Павла, а от той «я», что чуть не опустилась до роли ненавистного мне типа влюбленной и страдающей жены». Оказалось, однако, что «убежать» за границу не так-то легко: Сталин мог при-

нимать любые решения, но реализовать их без согласия страны, в которую Коллонтай собирались послать, он был не в состоянии. Впрочем, сопротивление оказали и весьма могучие силы внутри страны. Внешнеполитическое ведомство возглавляли бывшие друзья — и все они были против. Дипломатия требовала спокойствия, выдержки, отказа от публичного проявления идеологических стереотипов — Коллонтай была до тех пор известна качествами, прямо противоположными. Воспротивился Чичерин, а он все-таки был наркомом, воспротивился давний приятель Ганецкий, с которым они вместе были причастны к афере с немецкими деньгами, — теперь он был помощником Чичерина. Но Сталину, как оказалось, эти «могучие» силы уже не были помехой. Он их просто презрел.

Необычайная настойчивость, с которой Сталин решил во что бы то ни стало «уважить» ее просьбу, насторожила Коллонтай: не пришлось ли кстати ее отчаянный шаг, не хотят ли ее сплавить за границу — подальше от всяких партийных дел? Зиновьева ее бегство могло лишь обрадовать, но и Сталина тоже: он был тогда — великий хитрец! — в одной упряжке с Зиновьевым. Для подобных подозрений были серьезные причины. Никакого поста в сколько-нибудь крупной стране, игравшей заметную роль на внешнеполитической сцене мира, ей не предложили. Друг Коллонтай — Леонид Красин — был в то время полпредом в Лондоне. Она вполне бы справилась и с такой работой. Но об этом даже не шла речь: ей была уготована всего-навсего почетная ссылка — прием, многократно применявшийся Сталиным и его наследниками в последующие годы. (Если бы Африка в ту пору была свободной, Коллонтай наверняка загнали бы в одну из африканских стран.) Запросили агреман для работы в советской миссии в Канаде — пришел решительный отказ, о чем Александре с нескрываемым удовольствием поведал Ганецкий: в Канаде помнили митинговую

страсть партийной агитаторши во время ее турне по Соединенным Штатам.

В этой задержке на какое-то мгновение она увидела добрый знак: а вдруг сорвется, а вдруг с Павлом, который забрасывал ее письмами, еще не все потеряно? «Весь запас моей любви я хочу сейчас щедро отдать ему, обогреть <...> Куда делась вся моя требовательность к Павлу? Все мои сомнения, ревность, мой бунт против него? Только бы он не страдал, только бы вернуть его к жизни, уже не только физически, но и морально!» Но за этой записью в дневнике сразу же следует другая: «Нет, я уйду. Довольно. Старалась, билась сделать из него человека — партийца, развить вложенные в этом самородке возможности, качества, военный талант. Не сумела, значит. Стать «женой» не могу, не хочу. Коллонтай жива, и я уйду. Уйду на новую работу по призыву партии». Даже в дневнике, не предназначенном для чтения посторонними, она называла свое бегство «призывом партии». Кого обманывала? Себя саму? Кто знает...

— Где вы еще не нашумели? В какой стране? — полушутливо, полураздраженно спросил Сталин, вызвав Коллонтай для беседы. — Может быть, у вас есть какие-то пожелания?

Ей вспомнилась Норвегия — милая, милая Норвегия — тихий, уютный Хольменколлен, счастливое время любви и надежд.

— Вас оттуда, кажется, выслали, — напомнил Сталин.

— Из Швеции...

— Один черт... — Он критически оглядел ее, давая понять, что не одобряет выбор Дыбенко. — Попробуем...

Ответ пришел поразительно быстро: Норвегия согласилась выдать визу госпоже Коллонтай «для посещения страны». Но только такую визу, как оказалось, Москва и запрашивала. Коллонтай снесла и

этот удар. Прославившаяся на весь мир, один из лидеров переворота, бывший член ЦК, несравненный оратор и конспиратор, выполнявший секретные поручения Ленина (еще недавно их имена вообще стояли рядом), она должна была довольствоваться в Норвегии положением... Кого? Гости? Туриста? Частного лица? Ей не дали никакой должности — просто снабдили небольшой суммой денег и отправили за границу. Если это не ссылка, то что же тогда называется ссылкой?

Могла, наверное, отказаться. Встать в позу... Не встала, и этим проявила — мудрость? дар предвидения? смирение и покорность? Или все вместе? Так или иначе, то был разумный поступок. Прошли годы, прежде чем она осознала, какой спасательный круг бросила ей судьба.

Многие десятилетия спустя одна из самых загадочных женщин в истории лубянской разведки — Зоя Рыбкина, — о которой речь еще впереди, в своих тенденциозных «мемуарах» утверждала, что не кто иной, как Ленин, в начале 1923 года «посоветовал Коллонтай ехать торгпредом в Норвегию», чтобы «научиться у приказчиков торговать» и тем «спасти страну от голода». Но в начале 1923-го Коллонтай уже несколько месяцев пребывала в Норвегии отнюдь не в качестве торгпреда; Ленин, разбитый параличом, не мог произнести ни слова, кроме «вот-вот», а страна, благодаря нэпу, уже начала забывать о голоде. В том-то и дело, что к заграничной ссылке Коллонтай Ленин никакого отношения не имел. Разве что молчаливо одобрил. После «Заявления 22-х» все отношения между ними — и личные, и партийные — были прерваны.

Сборы были недолги. Ни с кем из друзей она не просталась. Да и были ли у нее теперь друзья? Миша провожал до Петрограда, встретившего их нудным октябрьским дождем. Последний вечер с Зоей был полон воспоминаний. Выплакавшись, она окончательно подвела под прошлым черту. На вокзал пришел проводить ее Дяденька. Он был по-

прежнему элегантен и — при своем низком росте — даже показался ей стройным. Но морщины и седина выдавали годы. И печаль в глазах — только ли от разлуки с нею? Они и так-то почти не встречались. Просто судьба вырывала одну за другой дорогие сердцу страницы жизни. И у нее, и у самых близких людей.

Путь лежал через Финляндию. Первая запись в дневнике сделана еще в Хельсинки: «Финляндия пропитана духом белогвардейщины. <...> На улицах я обхожу эмигрантов, едва слышу русскую речь. <...> Тоскую по февралю 1918-го». Страницы жизни судьба вырывала, но Коллонтай продолжала оставаться самой собой.

Она была первой (а в высшем большевистском эшелоне — даже единственной), кто вовремя соскочил с «поезда революции», для пассажиров которого была лишь одна дорога — в бездну.

ВОТ И КОНЕЦ!

На вокзале в Христиании (название «Осло» этот город получит лишь через два года) Коллонтай встречали только шофер и технический сотрудник советской миссии. Никто не мог понять, в каком качестве приезжает сюда партийная знаменитость, а после скандальной истории с «рабочей оппозицией» неясность статуса при заграничной поездке могла означать только высылку. Уже тогда наркоминдел строго следил за соблюдением протокола, тщательно дозируя меру почестей, оказываемых за границей тому или другому гостю. Отсутствие всяких указаний касательно товарища Коллонтай не могло не навести перепуганных дипломатов на тревожные мысли.

Скорее всего, особую осторожность проявил представитель Коминтерна в Норвегии Михаил Кобецкий. Формально он находился здесь по рядовым «служебным делам», фактически был важнее главы официальной советской миссии Сурица — в недавнем прошлом меньшевика. Суриц не пришел встретить Коллонтай даже просто в качестве давнего знакомого, хотя их добрые отношения, казалось, к этому располагали: в сентябре 1917 года это он от

имени Центрального исполкома Советов вел переговоры с Временным правительством о снятии караула у квартиры отпущенной под домашний арест Коллонтай.

Ошарашенная таким приемом, она отказалась остановиться в гостинице, где для нее оставили комнату, и потребовала, не заезжая в миссию, везти ее в Хольменколлен — тот самый горный пансион, где прошли такие счастливые годы и откуда, полная надежд, она отправилась пять с лишним лет назад в охваченную революционным подъемом Россию. Ее не смущало, что комната в пансионе заранее не заказана, — там, в Хольменколлене, она себя чувствовала как дома и знала, что без крыши над головой не останется никогда.

Так оно и оказалось. Все та же хозяйка, несколько не постаревшая и ничуть не удивившаяся неожиданной гостье, встретила ее неизменной улыбкой, будто расстались только вчера. Нашлись комнаты и для Александры, и для приехавшей вместе с ней на правах «кузины» и личного секретаря Марии Ипатьевны Коллонтай: вторая жена ее мужа стала для Александры близким и добрым другом. Радость встречи с любимым Хольменколленом, пробудивший сладкие воспоминания неповторимый горный воздух, знакомые тропинки, исхоженные и ею одной, и вдвоем с Санькой, — все это скрасило горечь от оскорбительной двусмысленности, в которой она оказалась.

Уже утром на следующий день прибыл рано облысевший черноусый товарищ, лицо которого ей показалось знакомым. Его безупречная вежливость и отнюдь не безупречный русский язык выдавали в нем иностранца. Александра безуспешно пыталась вспомнить, на каких перекрестках их сводила судьба. Визитер сам напомнил об этом. Март девятнадцатого... Она и Миша едут в Харьков, к Дыбенко. У Курска на поезд напали петлюровцы. Этот черноусый француз пытался заставить ее лечь на пол вагона, чтобы спасти от шальной пули...

Вдохновленный пафосом русской революции, двадцатипятилетний Марсель Боди приехал в Петроград и создал там группу французских коммунистов в изгнании. Вместе с Виктором Сержом, который стал его другом, Боди начал работать в аппарате Зиновьева, тогда еще «только» диктатора Петрограда, а потом вместе с ним перешел в Коминтерн, где редактировал журнал «Коммунистический Интернационал». Зиновьев же отправил Боди в Норвегию — в советскую миссию: связи, знание нескольких языков, коммунистическая восторженность вкупе с хладнокровием и быстрой сообразительностью делали Боди незаменимым на этом поприще, тем паче при крайнем дефиците дипломатических кадров у новых хозяев России. Имея статус второго секретаря, Боди был фактически личным помощником Сурица, который пользовался в Москве куда меньшим доверием, чем его помощник-француз. Одно то, что Боди был «кадром» Зиновьева, повергало Коллонтай в ужас: даже здесь, стало быть, она оставалась под жестким контролем. Просто из одной клетки переместилась в другую. Прочный альянс Боди с Кобецким (они вместе работали у Зиновьева) предвещал с неизбежностью: замок на этой клетке будет особенно прочным.

Боди не скрывал первейшую цель своего визита — уговорить Коллонтай обосноваться в столице, а не в горах. Это было подано как дань неизбежному протоколу. Но она-то понимала, что протокол существует для дипломатов, — стало быть, не для нее. И что, находясь в Хольменколлене, она просто затрудняет контроль над собой. Партийная дисциплина и страх победили женскую гордость. Через несколько дней Коллонтай переместилась в пансион рядом с советским представительством. Ее покои составляли спальня и крохотная гостиная («салон»), где она могла принимать посетителей. Первыми пришли старые друзья: вдова создателя Норвежской рабочей партии мадам Грепп и Мартин Транмель, который был в то время секретарем этой партии и

членом руководства Центрального объединения норвежских профсоюзов.

До революции, следуя Ленину, Коллонтай высмеивала своих друзей — социалистов и социал-демократов — за их стремление к мирному пути постепенных реформ, за «игру в парламентаризм», за вхождение в «буржуазные правительства». Теперь «ренегаты» стали влиятельными в своих странах людьми (министрами, депутатами, руководителями крупных общественных объединений), они беззлобно вспоминали ее обличительный пафос и были готовы сотрудничать — ради общей пользы и прежней дружбы. Но она все еще была «никто» и сотрудничать — в деловом смысле — ни с кем не могла.

Никаких известий из Москвы не было, хотя зарплату — невесть за какую работу — ей исправно платили. Сохранив резиденцию в Христиании, Коллонтай, прихватив Марию Ипатьевну, вернулась в Хольменколлен. Только перо было спасением от тоски, безысходности и отчаяния. Она работала, не разгибая спины, вернувшись к любимым темам, так накладывавшимся «теоретически» на ее личную «практику». Здесь за рекордно короткий срок — возможно, как раз потому, что хотелось забыться, — она написала самую знаменитую из своих книг «Любовь пчел трудовых», переведенную вскоре на много языков мира.

Работа над книгой уже подходила к концу, когда Боди примчался с радостной вестью: пришла шифровка от заместителя наркома иностранных дел Литвинова — Сурицу разрешалось «интегрировать» Коллонтай в персонал советского представительства на правах советника. Запоздалое разрешение, да притом выраженное в столь унижительной форме, побуждало гордо отказаться от милости, свалившейся вдруг на нее. Но Боди горячо убеждал этого не делать. Суриц, говорил он, вот-вот уедет, и тогда Коллонтай займет его место. Боди, как она убедилась, обладал богатой и точной информацией, но

про предстоящий отъезд Сурица знала «вся Христиания». Оставив законную жену в Москве, он сошелся здесь со своей машинисткой, Лиза ждала ребенка — пребывать и далее в полпредстве они оба уже не могли. Почему, однако, это означало, что преемником станет обязательно Коллонтай?

Провидение опекало ее, понуждая принимать спасительные решения. Она безропотно согласилась на данный ей пост, но к работе не приступила: нахлынули другие заботы, возродившие (уже в который раз!) былые надежды.

Из дневника: «Письмо за письмом летело ко мне из Могилева <там располагался штаб дивизии, которой командовал Дыбенко> с одним рефреном: «хочу в Норвегию», «тоскую», «люблю». Я поверила и растаяла <...>».

Легко понять, с какими проблемами пришлось ей столкнуться. Без согласия ЦК и двух наркомов — военных и иностранных дел (Сталина, Троцкого, Чичерина) Дыбенко за границу поехать не мог. Эта любовная история давно осточертела Кремлю, отъезд Коллонтай — тем более из-за разрыва с Дыбенко — навсегда, казалось, подвел под нею черту. Теперь предстояла ее реанимация. Но, даже и получив «добро» от Кремля, Дыбенко, прославивший за границей головорезом, повинным в гибели тысяч людей, вовсе не становился в Норвегии *persona grata*. Красному «палачу-генералу» никто не дал бы въездной визы.

Теперь Коллонтай пригодился даже ее скромный формальный статус, иначе в официальных учреждениях ее не могли бы принять. Перед незнакомыми чиновниками пришлось обнажать душу, объясняя то, что не всегда она могла объяснить даже себе самой. «Но это же мой муж!» — «Извините, мадам, в запросе на вашу визу указано: вдова. Вы что, вышли замуж заочно, уже после приезда в Норвегию?» О ее личной жизни трубили газеты всего мира, тайны тут не было никакой, но отчего бы не покуражиться над Валькирией Революции? Пришла

спасительная идея — обратиться к влиятельному другу из соседней страны: он мог все, даже здесь. Если бы захотел...

Карл Брантинг был одним из основателей и лидеров шведской социал-демократической рабочей партии, многолетним председателем ее исполкома, депутатом парламента. Вот уже не один год он возглавлял правительство Швеции, а недавно стал вдобавок и министром иностранных дел. Наконец только-только оттремели пышные торжества по случаю присуждения ему Нобелевской премии мира. Его авторитет был безграничным — не только в столь пустяковой, но и в куда более серьезной просьбе ни один норвежский политик не смог бы ему отказать. Захочет ли, однако, он вмешаться в такой щекотливый вопрос? Их прежняя близкая дружба давала надежду.

Брантинг откликнулся незамедлительно, и вопрос с въездной визой был тут же решен. Оставалась еще выездная. Снова Сталин пришел на помощь, разрешив Дыбенко поехать «в отпуск для лечения легких в горах Норвегии». Такой была официальная формулировка, устранившая последние барьеры. Тянувшаяся пять лет и прогремевшая на весь мир история их любви получала нежданный *post scriptum*.

Приезд Павла сопровождала шумная газетная кампания. Каждый писал, что знал, что думал и что хотел, все больше про «аморальность», «распущенность» и «наглый цинизм» советской дипломатши, приехавшей сюда «развращать благовоспитанных норвежцев». Отчеты об этой кампании исправно посылались в Москву — их читали (кто знает, с каким чувством) и Сталин, и Зиновьев, и Троцкий. Но эти стрелы летели мимо нее — другие уколы жалили больнее. Уже через несколько дней Коллонтай поняла: разбитое вдребезги склеить не удастся.

Из дневника: «Ложь, помноженная на ложь! Каждый день, каждый час. <...> Он пишет ЕЙ все время, неумело скрывая от меня <...> Невероятная

усталость и тупая до отчаяния тоска. Сознание <...> непоправимого. Наконец-то я поняла: надо уступить, немедленно уступить Павлиной красавице место жены. <...> Если ему нравится молодая содержанка, это в конце концов его дело. <...> Говорят, что она из типа совбарышень. <...> Ну и вкусы у нее! Заказала Павлу список зарубежных подарков. Вполне типично для этого типа. *Des maillots de soie, de la belle lingerie etc!* <...> Павел о ней говорит как о дочери польского аристократа. А по-моему, просто плебейка <...>».

Твердо приняв решение, Коллонтай умела его осуществлять. Доводить до логического конца. Разговор с Дыбенко был коротким и жестким. «Это конец, — сказала она. — Раз и навсегда». Он мог бы, видимо, вспомнить, что точно такие же слова она говорила ему уже не однажды. Что «конца» не получалось. Что расстаться друг с другом они никак не могли. Но, пожалуй, и сам понимал: пришел действительно конец.

Они кинулись друг другу в объятия. Именно так и бывало всегда. Никогда еще их ласки не были столь бурными. Столь истерически бурными, если точнее... «Пик страсти», «угар» — так сказано об этом в ее дневнике. Она не вышла ни к чаю, ни к ужину. И утром прибыла в миссию подчеркнута деловой и спокойной. Обычно после таких катаклизмов их любовь обретала второе дыхание, жизнь возвращалась в привычную колею. На этот раз было иначе: Дыбенко моментально собрал свой багаж и тотчас уехал, хотя виза его была действительна еще целый месяц. С дороги послал телеграмму — ее содержание комментировать трудно, смысл очевиден, цель не ясна: «Мой большой крылатый голуб моя голландская девочка Павел любит тебя последней встречи твой твой Павел». Ей хотелось ответить, что надо бы, мол, обратиться к врачу, подлечить нервы и голову. Не ответила — никак, вообще...

1 Шелковые рубашки, красивое белье и т. д. — А. В.

Из дневника: «Вот и конец! <...> Вот и конец!
<...> Вот и конец! <...>»

Вот и конец...

Пока шел эпилог ее затянувшейся любовной драмы, Михаил Кобецкий находился в Москве, срочно вызванный туда Зиновьевым. По его возвращении Марсель Боди доверительно поделился с Коллонтай информацией, которую тот привез и, конечно, не скрыл от Боди, ведь они были в одной упряжке! За Коллонтай необходим постоянный контроль, на нее ни в чем нельзя полагаться, она крайне опасный человек, от которого можно ждать любых выходов. Это были слова Зиновьева, который никогда не видел нужды выбирать обтекаемые формулировки. «Наблюдайте внимательно, — напутствовал он Кобецкого, — другой такой женщины в природе не существует». И — он же, со ссылкой на Сталина: «У нее дружба с Транмелем, который не скрывает своих симпатий к Троцкому».

Сам Зиновьев ее мало интересовал, зато опасения Сталина она понимала и смогла бы его переубедить, если бы он к ней обратился. Но главное — этот разговор заставил ее пересмотреть свое отношение к Боди. Он был явно не тем, за кого она его принимала. Боди все больше и больше нравился ей — восторженной почтительностью, которая вовсе не рвалась наружу, быстротой реакции и вместе с тем неторопливостью суждений, европейским лоском — она очень его ценила в людях коммунистической ориентации. Ей казалось, что это вполне совместимые вещи, как бы жизнь ее ни учила иному. И, наверно, чем-то еще — неуловимым, не поддающимся объяснению. Тем, чем тянет к мужчине... Боди не был классическим «рыцарем ее мечты», его облик отличался от всех, в чьи объятия до тех пор ее кидала судьба. А уж от Дыбенко, который предстал пред Боди «неотесанным грубияном» (так он о нем отзовется впоследствии), —

просто как день от ночи. Разве что возраст — моложе, чем Александра, на 21 год — вполне соответствовал...

Только ли доверие, которое он сумел ей внушить, подвигло ее поделиться с ним новостью, которую доверяют обычно лишь ближайшим из близких. Положение, в котором Коллонтай оказалась, ее саму повергло в полное замешательство. Врач, рекомендованный верной Эрикой, вскоре после отъезда Дыбенко констатировал у нее беременность. Вот уж чего она никак не ожидала! Мысль о каких-то предохранительных мерах ей даже в голову не приходила. В ее 51 год, да еще после полного разрыва с Дыбенко, это могло стать истинной катастрофой. Но Эрика, как бывало уже не раз, в беде ее не оставила. Исчезнуть, не уведомив никого из полпредства, Коллонтай, естественно, не могла. Выбор пал на Боди.

Ее приютила небольшая частная клиника при французской религиозной общине. Служители этой общины сопровождали французскую военную миссию на русский фронт, потом с миссионерскими целями обосновались в Норвегии. Еще по России они знали и Коллонтай, и Боди, но его появление в лазаретных стенах встретили холодно: оно нарушало правила этого заведения. Для Коллонтай же уважительное соучастие Боди в ее личных проблемах было еще одним тестом на доверие: по каким-то неуловимым признакам она поняла, что его жена — переводчица и машинистка Евгения Орановская — ничего не узнала. Теперь у Коллонтай и Боди появилась общая тайна. Но если есть одна, могут быть и другие.

Операция прошла успешно. Сославшись на нездоровье, она снова уехала в Хольменколлен. Здесь, в так благотворно действующей на нее тишине, Коллонтай по привычке сублимировала переживания последних недель в черновых набросках к будущему эссе, уповая на то, что мысли, рожденные ее драмой, помогут другим избежать таких же. Холодным

скальпелем — не хирурга, а патологоанатома — она препарировала свои чувства, стремясь на привычном для нее философско-канцелярском сленге теоретически обобщить опыт, поставленный ею на себе самой.

«Ревность — это конгломерат биологических и социальных факторов. В ревности есть биологическое начало воссоздания себя в потомстве: стремление получить ласку, связанную с воспроизводством. Чем больше этой ласки (полового акта) достается на долю другой особи, тем меньше вероятия воспроизводства для обойденного субъекта. Тот же физико-биологический инстинкт подсказывает, что чем больше половой энергии растрачено в половом общении с другими, тем меньше этой энергии остается на мою долю и тем ограниченнее удовольствие и радость, порождаемые половым общением, каковые выпадут на мою долю. Таково было интуитивное начало ревности.

Дальше оно усложнилось еще социальным фактором: УСТАНОВЛЕННЫМ, ВНЕШНИМ ПРАВОМ одного лица на всю половую энергию другого, на весь запас половых ощущений, им порождаемых. Чем крепче внедрялся в человечестве принцип частной собственности, тем больше крепло исключительное право одного лица на ласки другого, купленного им или добровольно отдавшего ему.

Еще позднее к ревности примешалось чувство оскорбленного самолюбия, вытекающее из той же биологической основы: стремление через половой акт утвердить воспроизводство и продление своего биологического существования в потомстве. Эти мотивы порождают слепую, инстинктивную ревность к самому факту полового общения. Но ревность, как и все душевные эмоции, отрываются постепенно от своей биологической основы, осложняясь душевно-духовными переживаниями. <...>

Что победит ревность?

1) Уверенность каждого мужчины и каждой женщины, что, лишаясь любимых ласк данного лица,

они не лишаются возможности испытать любовно-половые наслаждения (смена и свобода общения служат этому гарантией). 2) Ослабление чувства собственности, отмирание чувства ПРАВА на другого <...>. 3) Ослабление индивидуализма, из которого вытекает стремление к самоутверждению себя через признание себя любимым человеком. При самоутверждении личности через коллектив, а не через признание отдельными людьми, отомрет оскорбленное самолюбие при измене. 4) Тогда не будет страха душевного одиночества, даже без общения с любимым и горя от лишения его ласк.

ОСТАНЕТСЯ ОДНО: поскольку Эрос налицо, измена будет лишь порождать боль, что половые и душевные радости любви любимый делит не со мной, а с другими. Но это будет горе ослабленное, без примеси горечи ОБИДЫ. Чем в более очищенном виде предстает Эрос в новом человеке, тем реже будут факты измены. Самое понятие «измена» отпадет».

Похоже, эти «философские» экзерсисы «ослабляли», если пользоваться ее же терминологией, муки, которые она переживала. Уйти просто в «работу», как было уже множество раз, она не могла: не помогало! Выход давало лишь другое могучее ее увлечение — тяга к перу и бумаге: тривиальная графомания была великим спасением для нее и великим даром для нас, запечатлев на бумаге внутренний мир человека, оставившего заметный след в истории XX века.

Сурица отозвали, дав ему другой дипломатический пост. Коллонтай получила наконец официально ту должность, которую она исполняла фактически: главы советской дипломатической миссии и торгпреда в Норвегии. По сути, лишь с этого времени начинается ее дипломатическая карьера, чему в очень большой мере она обязана Боди, который пользовался тогда в Москве особым доверием. Его аттестации имели вес и у Зиновьева, и у Дзержинского, и у Чичерина. Коллонтай тотчас оплатила

Боди, представив Москве его кандидатуру в качестве первого секретаря полпредства и, стало быть, своей правой руки.

Не только чувство благодарности руководило Коллонтай — еще и другое чувство. Ей показалось, и, кажется, не без оснований, что Марсель Боди, которого все в миссии звали на русский лад Марселем Яковлевичем, заменит ей в какой-то мере потерянного Дыбенко. Во всяком случае, отношения, сложившиеся между ними уже в то время, свидетельствуют об исключительной интимной близости, далеко выходящей за рамки обычного служебного доверия и приятельских отношений.

Осваиваясь на новом поприще, она охотно прислушивалась к советам Боди, который быстро стал для нее единственным и незаменимым консультантом — как в вопросах политических, так и экономических. Он убедил ее, а она — Москву, что необходимо купить у Норвегии большую партию ее коронного продукта — рыбы, поддержать тем самым экономику страны пребывания и помочь все еще не вышедшим из голодного кризиса россиянам. Восшествие Коллонтай на русский дипломатический «трон» в Норвегии было ознаменовано покупкой 400 тысяч тонн сельди и 15 тысяч тонн соленой трески. Газеты, до тех пор печатавшие лишь язвительные статьи о «распутной бабе», приехавшей из «совдепии» совращать благовоспитанных норвежских мужчин и женщин, круто сменили тональность, воздавая должное мудрости новой амбассадриссы, благодаря которой сотни рыбаков получили работу. Ее пришло приветствовать — в полном составе — все руководство профсоюза рыбаков, приведшее с собою своего переводчика. Гости онемели, услышав речь торгпреда, произнесенную на чистом норвежском...

Понимая, что это ее конек, и стремясь использовать его максимально, Коллонтай устроила грандиозный прием в шикарном столичном Гранд-отеле в честь Фритьофа Нансена, который, как было сказа-

но в разосланном приглашении, «спас тысячи людей на Волге», возглавив широкомасштабную акцию помощи голодающим в советской России. На прием пожаловали добрая половина кабинета министров и духовная элита страны, равно как и весь дипломатический корпус. Чопорность и скованность царили только в начале приема — Коллонтай быстро растопила «норвежский лед» уже привычным для нее способом: тост в честь Нансена она произнесла по-норвежски, повторив его по-французски, английски, немецки, шведски, фински и русски. Как говорят люди театра, такая роль обречена на успех. И все-таки он превзошел даже то, чего Коллонтай ожидала.

Бурная деятельность, в которую вдруг она оказалась вовлеченной после полного отлучения от активной работы, отвлекла от мыслей о крахе самой безумной любовной истории, которую она перенесла, но забыть об этом было не суждено. Судьба продлила многоактную драму, непредсказуемо повернув сюжет в другую сторону. С короткой сопроводительной запиской Дыбенко пришло вдруг письмо от барышни, которую без обиняков он назвал «светлым Лучиком». Барышня выразила желание вступить в переписку с «дорогой Александрой Михайловной» и прислала в дар свою фотокарточку. К сожалению, это письмо не сохранилось — о его содержании можно судить лишь по ответному письму Коллонтай.

«Милая Валя, ясная моя девочка с горячим наболевшим сердечком! Ваше письмецо <...> — радостный подарок. Я не ошиблась в Вас. И после Вашей весточки ко мне яснее вижу ваш облик. Пишу вам и думаю: а что, если мой порыв сердца просочится через песок непонимания? <...> Что, если она из тех чужих мне женщин с мелко бабьими черепочками? Нет, Вы юная, порывистая, горячая и «человек». Хочется взять Вашу милую головку обеими руками и нежно Вас поцеловать.

Вы пишете о чувстве «неправоты» и «раскаяния».

Не надо этого, девочка! Ведь страдания все позади. Давно не было так светло, покойно и радостно у меня на душе, как с тех пор, как все стало ясно. Вся мука этих двух лет для всех нас троих построена была на том, что до лета прошлого года не было ПРАВДЫ, а с осени была ПОЛУПРАВДА. Из писем Павла Ефимовича <...> у меня создалось впечатление, что Вас с ним нет, что эта «связь» (я ведь все время считала, что это просто «связь») порвана. Иначе неужели же, милая Валя, Вы думаете, что я бы устраивала приезд Павла сюда? Чтобы длить общую муку? <...>

Но теперь все сложилось к лучшему. Приезд Павла <...> помог мне наконец понять, на чем основаны Ваши отношения с Павлом. Если бы я знала, что здесь не «связь», а любовь, красивая, властная, молодая обоюдная любовь, неужели я не сделала бы еще два года тому назад то, что делаю радостно сейчас? Сколько мук и страданий было бы этим спасено! <...>

Милая девочка, настойте <так!> теперь, чтобы Павел признал Вас открыто своею женой. Пусть кончится эта никому не нужная игра в «прятки». Это вовсе не значит, что я «рву» с Павлом, нет, мы слишком большие друзья-товарищи с ним, чтобы такой разрыв был нужен. Но женой Павла, признанной всеми, должны быть Вы, девочка милая. <...> А я ведь всегда была «холодная женщина» и, как ни старалась, из любви к Павлу, одеть на себя личину «жены» — это мне совсем не удавалось. <...>

Не терзайте себя сомнениями, юная, милая девочка, что я хочу отнять у вас Павла. <...> И не жалеете, что Павел приехал сюда — теперь всем будет легче, потому что все ясно. <...> Забирайте Павла и с просветленными глазками и успокоенным сердечком уезжайте ВМЕСТЕ в Могилев, в открытую. Мое дело позаботиться о том, чтобы это не повлекло неприятностей Павлу ни с какой стороны. А в дни сомнений помните: «Вы — Павлика

Она». Теперь улыбнитесь мне и протяните руку той, для кого всегда близка боль женского сердца. А. К.».

Дипломатической почтой приходила информация о том, что происходит в Москве. Ленина постигал удар за ударом, и для всех уже было очевидно, что идет жестокая борьба между претендентами на трон. Александру огорчало, что благоволивший ей Сталин объединился с ненавистным Зиновьевым, но мысль о том, что альтернативой может быть только Троцкий, побуждала ее желать успеха зиновьевско-сталинскому альянсу. На самом же деле душа была безусловно с Бухариным, которого Коллонтай считала самым умным из руководства. Самым знающим и перспективным. Решение пленума ЦК о «развертывании внутрипартийной демократии» вселило надежду, что «рабочую оппозицию» наконец-то услышали. Требование Дзержинского — «обязать членов партии, знающих что-либо об антипартийных группировках, сообщать об этом в ГПУ и в ЦК» — существенно уточнило партийное понимание демократии, положив конец несбыточным надеждам. У Шляпникова снова был обыск — об этом ей сообщил всезнающий Боди. Внутрипартийная «демократия» набирала темпы, открывая свой истинный лик.

Сама Коллонтай была уже далеко от этой возни. Не только географически, но и в мыслях. Работа на новом поприще не на шутку ее увлекла, общение с новыми людьми — совсем из другого, куда более ей близкого мира — доставляло удовольствие и помогало залечить сердечные раны. Среди новых друзей были Амундсен и Нансен — не чета Зиновьеву или Троцкому! Как поздно, однако, она осознала это...

Потрясающий сюрприз приготовила ей Мария Ипатьевна, сообщив, что выходит замуж за норвежца и навсегда остается в Норвегии. Счастливым избранником оказался коммунист Лайф-Юль Андерсен, помогавший советским сотрудникам обобщать

с ежедневную прессу. Коммунист, да не «нашенский»!.. За родство с «перебежницей» могло бы, конечно, достаться, но — обошлось: времена Ежова и Берии еще не настали.

Норвегия не признала пока de jure Советский Союз, однако почва для признания старанием Коллонтай была уже подготовлена. С проектом договора ее вызвали в Москву. Ответной шифровкой Коллонтай сообщила, что выедет вместе с Боди. Чичерин согласился, не зная, возможно, что за этой просьбой стоят не только «интересы дела». Впрочем, его-то как раз это вряд ли волновало.

Наконец-то — вполне легально — Коллонтай и Боди оказались вдвоем. Только вдвоем! Как мало походило все это, однако, на прежние ее романы! Ни восхищения Дяденькой, ни нежности к Петеньке, ни стихийного порыва к пролетарию-Саньке, ни безумной страсти к Дыбенко — ничего этого не было в той закатной любви, которую она сейчас ощущала. Да и любви ли?.. Были страх перед одиночеством, попытка догнать навсегда уходящее, потребность в руке, на которую можно еще опереться. Не любовь и не страсть, а последние отзвуки отгремевшей грозы. Иллюзия нерастраченной силы.

Один день они вместе провели в Стокгольме: советский полпред Валерьян Осинский, бывший «левый коммунист», почтительно принял обоих, не задавая лишних вопросов. Пароходом, заняв две соседние каюты, они добрались до Хельсинки, оттуда поездом до Петрограда и наконец оказались в Москве. Для них были забронированы два номера в 1-м Доме Советов, снова ставшем гостиницей «Националь».

Предупрежденный о ее приезде, из Могилева примчался Дыбенко. Он пришел к ней в гостиницу с полненькой девчушкой, которой на вид было не более шестнадцати лет, — она сразу же начала опустошать чемодан, в котором Коллонтай привезла и «гостинцы». Боди деликатно оставил их втроем, а вернувшись после ухода гостей, застал Александру

лежащей поперек кровати с тяжким сердечным приступом. Спешно вызванный врач предписал полный покой, но уже завтра их ждали в наркоминделе и наркомвнешторге, и на следующий день Коллонтай, не подав вида, отправилась на деловые встречи. Поход оказался бесплодным: ни один, даже самый высокий, чиновник не решался дать новых инструкций. Разве что совет — идти к Сталину, который практически уже стал хозяином партии и — в значительной мере — страны.

В приемной генсека аппарат всячески демонстрировал величие своего патрона — свита играла короля. Пришлось ждать почти два часа. Наконец их впустили. Сталин встретил холодно, не поднявшись из-за стола, на котором не было ничего, кроме чистого листа бумаги. Его желтое, изрытое оспинками лицо не выражало никаких эмоций, рекомендации были крайне расплывчаты: возможно, его заботило что-то другое. У Коллонтай создалось впечатление, что он не был уверен, на чьей она стороне в набирающей силу и обострявшейся до предела внутривнутрипартийной борьбе. Ее авторитет все еще был высок, а дар оратора мог послужить его противникам, если бы она оказалась с ними. Мог послужить и ему, но, чем дальше была она от поля битвы, тем лучше: почему-то он ждал от нее дерзких поступков.

Ее подозрения еще больше укрепились, когда визит в «Националь» нанесли некоторые члены бывшей «рабочей оппозиции». Один из них, Николай Кузнецов, заявил ей: «Вы наш представитель за границей». Прогнать вчерашнего товарища она не решилась — предпочла промолчать. Но через несколько дней ее вызвали в Центральную контрольную комиссию — зловещий парттрибунал — и потребовали дать объяснения: там слово в слово знали об их разговоре. Провокация Кузнецова стала вполне очевидной. Значит, теперь нельзя никому доверять. Никому!

Возвращение в Осло успокоения не принесло:

почти сразу же после ее отъезда «Правда» начала публиковать серию пошлых статей о свободной любви, о сексуальной «раскованности», об амурных приключениях комсомольцев и комсомолок — в положительном, естественно, смысле. Смакуя — в стиле плотского натурализма — «любовные» сцены, автор этих «подвалов» на третьей странице ставил анонимную, но легко читаемую подпись: «А. М. К.». Претендующие на жанр бытовых зарисовок с теоретическим авторским комментарием, эти статейки представляли собой плоскую пародию на подлинные книги и статьи Коллонтай. Ее возмущенные письма в редакцию — и самому Сталину! — остались вообще без ответа. Вне себя от этой иезуитской клеветы вполне очевидного происхождения, она вновь помчалась в Москву.

На этот раз Сталин принял ее с восточным радушием — спросил, не нужна ли его помощь.

— Я за тем и пришла, — сказала Коллонтай, умолчав о статьях в «Правде», которые только и вынудили ее приехать. — Меня терзают вопросами об оппозиции, с которой я давно порвала. Я полностью разделяю генеральную линию партии.

«Генеральная линия партии» уже тогда начала становиться эвфемизмом «линии» товарища Сталина. Это был с ее стороны очень мудрый и точный шаг.

— Как посмели они причинить вам боль?! — сочувственно произнес Сталин и ласково погладил ее руку.

Статьи про свободную любовь, не имевшие к оппозиции никакого отношения, уже на следующий день исчезли со страниц «Правды»: в поношении Коллонтай Сталин больше не видел нужды.

Светские приемы и переговоры об очередных бочках сельди, импортируемой в Россию, занимали все время и все мысли. В них вторгались, однако, письма, приходившие «оттуда». Если бы с прошлым действительно было покончено, если бы Боди полностью вытеснил из ее сердца Дыбенко, она не за-

водилась бы так от каждого очередного письма и перестала бы сочинять — невесть для кого — нескончаемые эссе о ревности и любви, о том, кто кого должен «бросать», когда остывает страсть. После каждого нового витка переписки Боди приходилось вызывать к ней врача.

«Милая, славная Александра Михайловна! <...> Часто-часто вспоминаем о Вас с чувством большого уважения, которое даже трудно выразить словами. Родная, спасибо за все. <...> Приехав в Могилев, занялись хозяйством. П. Е. обменял «немца» <лошадь> на корову, теперь их две. Курицы, которые никак не хотят реагировать на мое желание иметь каждый день свои яйца, отказываются нестись. Решила сделать им «чистку». Поросята уже выросли, большие и такие забавные. <...> П. Е. каждый день встает в 6 часов и роет грядку, осматривает «хозяйство», теперь это его очередное увлечение. Никак не могу повлиять на него, чтобы он <что-то> читал <...>»

Милая Александра Михайловна, когда Вы приедете в Россию? Мне кажется <...> там должна у Вас являться тоска по родине, хотя, конечно, у Вас несомненно есть везде люди, друзья, которые Вас глубоко уважают и любят. <...>»

К письму была приписка Дыбенко: «Милые серые глазки они когда-то будут читать и мое письмо». И оттиск его статьи в журнале «Революция и война» — о роли личности в истории. Это был фрагмент его дипломной работы, от первой до последней строки написанной ею. На оттиске «автор» начертал посвящение: «Шуре — гордой пальме оазиса творчества и великой свободной неповторной любви от Павла». Ее не так задело послание Валентины, сколько эта приписка и этот подарок: заколотилось сердце, пришлось выпить лошадиную дозу валерьянки...

Скомкав письмо и статью, она поехала показывать очередной делегации из Москвы новые жилые кварталы — объяснять, как много могут дать пролетариям муниципалитеты, если они находятся в руках рабочих депутатов. «Для этого не обязательно

делать революцию», — с подчеркнутой злостью сказала она и встретила укоряющий взгляд сопровождавшего их Боди. Странно: доносчика не нашлось. Просто было еще не до ТАКИХ доносов...

Почта приносила не только огорчения. Пришло сообщение о том, что Британское общество сексуальной психологии избрало Коллонтай своим почетным членом. Чуть не кинулась к шифровальщику: скорее сообщить в московскую прессу об этом событии. «Все-таки не так уж много русских женщин, — написала она в дневнике, — избираются почетными членами научных ассоциаций, да еще в самой гордой Британии». Но вовремя спохватилась: новый повод для насмешек — «Коллонтай — специалист по части половых дел». Лишь отправила в Лондон благодарственное письмо, бросив его (сама!) в почтовый ящик: сомнений в том, какую роль играют «сотрудники», уже не осталось.

Ощувив себя признанным мировой наукой авторитетом в теории секса, она снова взялась за перо. Без творческих мук, на особом нервном подъеме родилось эссе «Об Эросе».

«У мужчин любовь гораздо <...> сильнее окрашена половыми побуждениями, чем у женщины. Эрос полнее выражен у мужчин. У женщин любовь, осложненная душевными эмоциями, бедностью душевно-духовной жизни вообще, отсутствием поля душевного творчества, за исключением любовных переживаний, в гораздо большей мере, чем любовь мужчины, окрашена привходящими психическими эмоциями, оттесняющими на задний план половое влечение. Для мужчины Эрос — основа любви, для женщины Эрос привходящий и преходящий момент. Отсюда — конфликтность, несозвучие. <...> Мужчина может продолжать уважать женщину, которую он разлюбил, может сохранить с ней даже духовное общение, но душевно она ему будет глубоко, неизменно безразличной. Женщина, разлюбив мужчину, утратив с ним даже духовную связь, может испытывать к нему органическое, почти ма-

теринское тепло и понимание. Он остается ей внутренне родным и близким <...>».

Потребность в сочинении малограмотной, примитивной банальности не отпускала ее ни на день после того, как в Британии такие писания сочли за науку. Доказать, хотя бы себе самой, что она способна загнать личные переживания в научное русло, — это стало навязчивой идеей, воплощению которой в слова Коллонтай посвящала все свободное время.

«Конечно, и у женщин, — продолжала она свое эссе, — как и у мужчин, бывают периоды повышенных сексуальных запросов. Почему-то они стыдятся говорить открыто. <...> У женщины, даже когда физическая потребность, когда страсть налицо, она старается надеть героя вечными «добродетелями», чтобы можно было дать ему душу. Иначе она сама себя презирает. Отсюда масса запутанностей. Страсть потухла, но ее подменяешь «душевной близостью» и завязываешь нити, которых нет. Мучаешься непониманием, пока не дойдет до ненависти <...>».

Глупо, глупо делают женщины, каждое свое увлечение «позитизируя», переводя возлюбленного в мужа. Тогда-то и наступает всему конец. <...> Чем богаче личность, тем любовь многограннее, красивее, богаче, тем меньше места для узкого сексуализма. В будущем любовь будет разлита во всем. К половой особи — чистый Эрос, без примеси привычного преклонения, жалости и других привходящих эмоций, искажающих Эрос. <...> Любовь — это творчество, выявление лучших сторон своего «я», дает удовлетворение. Любовь без возможности себя проявить — мука».

Вряд ли эти «теоретические» конструкции, к тому же изложенные сумбурно, на чудовищном советском арго могли хоть чем-нибудь обогатить науку. Зато они позволяют понять, что происходило с ней самой. Из за чего она мучилась, как стрела. Чем больше она даже Буди поделилась тем, что «раппирало» оставалось одно — довериться бумаге.

Но Боди все равно избавлял ее от одиночества. Она позволяла себе доверить ему другие тайны — то, что думала о творившемся дома. Выезжая на уик-энд в Хольменколлен, она просила его быть рядом, и дневные прогулки в горах восполняли то, чего не могло быть между ними, когда они оставались вдвоем в уютной комнате семейного пансиона. О чувствах она могла говорить и в помещении, делиться мыслями — только вне стен. Ибо стены имеют уши — в этом она убедилась (или просто поверила в это) уже тогда. «Никаких следов демократии в партии не осталось», — жестко сказала однажды во время прогулки. «ОНИ» — только так и называла она людей из ЦК: их конкретных имен для нее не существовало. И — самое горькое, что тогда услышал Боди: «Ради этого мы делали революцию? За это боролись? Об этом мечтали?» Он не спрашивал, что такое «этого», «это», «об этом», — все было ясно без уточнений.

Она дала волю своим чувствам, прочитав в «Правде» статью Шляпникова. Если что ее и удивило, так это сохранившаяся еще возможность напечатать такую статью в партийном органе: «Всему есть предел. Партийный режим, построенный на удушении <...> критики, не только изжил себя давно, но и поставил партию на край пропасти <...> Где у нас гарантия, что та шумливая борьба против «аппаратчиков», поднятая ныне, даст реальные политические результаты, а не приведет лишь к замене одних аппаратчиков другими?»

«Все ОНИ, — окончательно поверив в порядочность нового друга, сказала ему Коллонтай, — мазаны одним мирром. Я для себя решение приняла: отстаивать долговременные, постоянные интересы России, а не интересы политиков, которые там сегодня у власти». От них она себя отделила, а работала все же на них, сама этого не сознавая. А может, и сознавая, но теша себя иллюзиями, с которыми трудно расстаться.

В ее милой Германии началась тем временем «за-

варушка» — в Коминтерне решили, что там сложилась революционная ситуация, и Зиновьев стал готовить свою рать к «борьбе за социализм в мировом масштабе». Иные горячие головы уже распределяли портфели наркомов Германской советской социалистической республики. Отсюда, из Христиании, было виднее, чем из Москвы, что это не более чем авантюра. Такая же, как в Болгарии, где поднявшие восстание — не без указки Москвы — коммунисты обрекли поверивших им на жестокий террор. Так получилось и здесь — разве что без большой крови. За год своего пребывания в тихой Норвегии, взглянув на нее и на мир иными глазами, Коллонтай поняла, что рабочие не стремятся ни к каким переворотам, хотя норвежские коммунисты и создали партию, поставившую себя на службу Москве.

Но об этом не хотелось ни думать, ни рассуждать. Заиклившись исключительно на любовных проблемах и не имея здесь собеседников, с которыми можно было бы о них говорить, она писала статью за статьей, отправляя их в советскую прессу. Норвегия знала ее как специалиста по сельди, умело закупавшего лучшие сорта по выгодным ценам, советская Россия — по-прежнему — как специалиста по сексу и свободной любви. Журнал «Молодая гвардия» охотно предоставил ей свои страницы для ответа на письма, волнующие молодежь. Похоже, она сама их выдумывала («моделировала», как стали впоследствии именовать такую фальсификацию советские журналисты), выдавая свое волнение за волнение молодежи.

«Вы спрашиваете меня, мой юный товарищ-сратница, почему вам и многим учащимся девушкам и трудящимся женщинам «близка и интересна» Анна Ахматова, «хотя она совсем не коммунистка». <...> В ее трех белых томиках трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщин переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии. <...> Ахматова на стороне не отживающей, а создающейся идеологии. <...> Ахматова вскрывает

весь наивный эгоизм любящего мужчины, наносящего легко и небрежно глубочайшие раны своей подруге... <...> Пролетарская идеология в области отношений между полами построена на иных принципах, она не может допустить неравенства даже в любовных объятиях. <...> У каждой женщины прежде всего долг служения коллективу, а затем уже обязанности к мужу и детям».

Знала ли Ахматова про этот «научный» разбор своих стихов? Как отнеслась к весьма своеобразному чтению ее (ее ли?) мыслей всемирно признанным теоретиком «новой любви»? Об этом легко догадаться. Бывая в Москве, Коллонтай читала лекции все на ту же тему, оснащая их обильным цитированием ахматовских стихов. Высокая поэзия плохо сочеталась с умозрительными схемами лектора, но, похоже, Коллонтай этого не замечала.

Вернувшись в Христианию, она получила письмо из редакции о том, что ее статьями «зачитывается молодежь», и это подвигло плодовитого автора на новые откровения. Самой популярной, пожалуй, стала опубликованная в той же «Молодой гвардии» статья «Дорогу Крылатому Эросу», название которой сразу же стало пословицей.

«Безкрылый Эрос поглощает меньше чувств, он не родит бессонных ночей, не размягчает волю, не путает холодную работу ума. Классу борцов, когда неумолимо звучит колокол революции, нельзя поддавать под власть крылатого Эроса. В те дни нецелесообразно было растрачивать душевные силы членов борющегося коллектива на побочные душевные переживания, непосредственно не служащие революции. <...> Но теперь, когда революция в России одержала верх и укрепилась, когда атмосфера революционной схватки перестала поглощать человека целиком и без остатка, нежнокрылый Эрос снова начинает предъявлять свои права. Он хмурится на осмелевший безкрылый Эрос — инстинкт воспроизводства, не прикрашенный чарами любви. Много-

струйная лира пестрокрылого божка любви покрывает одноструйный голос безкрылого Эроса».

Партийной московской верхушке было не до любовных теорий — совсем другие вопросы тогда занимали Кремль. Поэтому сочинения Коллонтай многими, особенно в провинции, воспринимались чуть ли не как партийные указания, как руководство для принятия к «безкрылым» административных мер. Любая местная шишка могла потребовать доказательств, что у той или этой пары все не «просто так», а «прикрашено чарами любви», что «пестрокрылый божок», а не «инстинкт воспроизводства» кидает их в объятия друг к другу. Другие, напротив, считали, что «революция продолжается» (об этом без конца твердили газеты), а коли так, то и время для бескрылого Эроса еще не пришло. И в том, и в другом случае аргументом в споре и доказательством своей правоты были сочинения Коллонтай: они оказались пригодными на все случаи жизни.

«Ты, конечно, знаешь, — писала ей Зоя Шадурская, — что у нас чистка членов партии непролетарского происхождения. Об одной студентке вуза, комсомолке, мне сказал один ее товарищ: Лену вычистили. Помилуйте, за что? Она же ради партии из дома ушла, она такая преданная! — Верно, но они с Николкой обособились. Любовь, говорят. То мы жили все вместе, даже переживания вместе переживали, и все другое тоже вместе, по желанию и по справедливости, а они теперь не коллективно, а только вдвоем. Это же конфликт с коллективом. — Да что же, разве уж и жениться нельзя? — Сейчас? Жениться?! Да вы что!.. Почитайте товарища Коллонтай. — Отвечаю со смехом: «Я читала». — «Значит, плохо читали. Почитайте еще раз».

Смерть Ленина не была неожиданной, и все же она, несомненно, стала событием мирового значения. Для Советского Союза (он уже существовал) — тем более. Однако в дневниках и «Записках на

лету», в огромном эпистолярном наследии Коллонтай тщетно искать хоть какую-то реакцию на это событие. Факт сам по себе чрезвычайно примечательный, говорящий о многом. Ее подлинные записи того времени, не подвергшиеся последующей авторедактуре, отличаются несомненной искренностью — отсутствие даже упоминания о смерти вождя соответствует известному принципу: «О мертвых или хорошо, или ничего». Когда же многие годы спустя она станет готовить свои записи для возможной публикации, в имени Ленина вообще не будет нужды — чуть ли не на каждой странице появится, естественно, не он, а Сталин...

Но, конечно, смерть Ленина не прошла для нее совсем незамеченной. О чем-то с Боди они все-таки говорили. В его скупых воспоминаниях, написанных почти через тридцать лет, это событие отражено лишь в нескольких строчках. Гуляя по Хольменколлену, он спросил Коллонтай, был ли ленинский сифилис наследственным или приобретенным. По-красневу, Коллонтай ответила: «Приобретенным». И добавила: смерть Инессы обострила болезнь Ленина, ставшую для него роковой...

Сразу вслед за этим пошла полоса формального признания СССР многими странами мира: Англия, за нею Италия, Австрия, Греция, Швеция, Китай, Дания, Франция... Не отстала и Норвегия. С известием об этом Коллонтай приехала в Москву — ее сопровождал неизменный Боди. В подготовке договора о признании была, конечно, и ее личная заслуга, но Литвинов выразил недовольство: Норвегия обусловила признание *de jure* предоставлением ей ряда концессий и закупкой Советским Союзом очередной партии рыбы. «Англия признала нас без всяких условий», — проворчал он.

Но Сталин, к которому Коллонтай пошла на прием и рассказала о реакции Литвинова, полностью одобрил ее работу. Вряд ли только в пику Литвинову, которого он не любил. Скорее всего, потому, что в разыгравшейся после смерти Ленина

битве за власть хотел иметь Коллонтай на своей стороне. Как минимум — не на стороне оппонентов. Он стремился ее обласкать — и добился своего: когда хотел, Сталин умел очаровать собеседника. «Уходя от Сталина, — записала Коллонтай в своем дневнике, — бегу, не дождавшись лифта, по лестнице с чувством величайшего счастья и благодарности». Не похоже, что это позднейшая, «смоделированная» запись: среди косых взглядов, насмешек и беспрестанных уколов добрая интонация лукавого генсека была для нее, как глоток чистого воздуха. Но, вернувшись в тихий Хольменколлен, она отрезвела.

Только там, а не на пути из Москвы в Христианию она позволила себе быть откровенной с Боди. Гуляя по ухоженным горным тропинкам и любуясь раскинувшимся внизу городом, Коллонтай сказала вдруг, без видимой связи с тем, о чем они говорили до этого: «Борьба за власть будет жестокой, продлится несколько лет, и повторится пример французской революции. Очень скоро Сталину придется прибегнуть к насилию, чтобы ИХ победить, и он прибегнет, будьте уверены. Ничто его не остановит».

Она так разволновалась, что ночью у нее начался сильный сердечный приступ, осложненный острой почечной коликой. Коллонтай запретила Боди вызывать скорую помощь и о чем-нибудь сообщать в полпредство. Дождавшись утра, она сама позвонила Эрике. Под величайшим секретом ее устроили в частную клинику, а Боди объявил сотрудникам, что Коллонтай переутомилась и просит ее не беспокоить. Благожелатели, естественно, тут же дали знать Москве о ее исчезновении, и Литвинов прислал паническую телеграмму: «Немедленно сообщите что случилось». «Спасибо за беспокойство полностью выздоровела», — повелела ответить она, корчась от боли. Ничего не понимавшему Боди объяснила: «ОНИ ТАМ рады не рады, если я заболела. Пришлют какого-нибудь интригана — временно меня за-

менить. А временное станет постоянным». Выходит, все уже понимала про родимую власть...

Есть и другие свидетельства: действительно, все понимала. Пришел секретный циркуляр — о том, какие книги запрещены в России к изданию и распространению. Предписано было изъять их из всех библиотек. В том числе и посольских... В списке более ста авторов, сотни названий: Библия, Коран, Данте, Шопенгауэр, даже Жюль Верн, ставший крамольником лишь за то, что в его фантастике не нашлось места для мировой революции и власти Советов. Комментируя этот список в своем дневнике, Коллонтай записала с видимым равнодушием: «Меня пока там нет. Буду». «Позабыла» отметить лишь подпись под циркуляром: гонителем книг была заместитель наркома просвещения Крупская.

Дыбенко прислал свою книгу «Мятежники» — рассказ о том, как лихо он и его товарищи потопили в крови восстание кронштадтских матросов. Книге предпослано посвящение: «Эти воспоминания посвящаются другу и соратнику на революционном поприще Александре Михайловне Коллонтай». Читать воспоминания об этой трагедии ей почему-то не захотелось. Той же датой, когда пришел пакет от Дыбенко, помечена ее дарственная надпись на очередной своей книге про свободную любовь: «Марсело Боди — незаменимому соратнику, ценному советнику, очень дорогому другу». Вряд ли кто-нибудь, кроме нее самой, понимал истинное значение и этой надписи, и даты, стоящей под ней.

Ее переписка с Валею Стафиленковой не прекращалась, но сохранились (тоже, возможно, не полностью) лишь письма «оттуда». Письма самой Коллонтай (кроме еще одного) пропали, ведь их сохранность зависела не от нее. Однако по ответным письмам можно судить и о том, что и как писала она сама.

«<...> Шурочка меня спрашивает, в чем мое призвание? Я всем увлекаюсь, но к стыду своему ни до чего не дошла. <...> А потом Шурочка мне напишет

еще чем заниматься и какой язык лучше изучить. Спасибо спасибо милая я получила ваш журнал мод. Какой интересный! Там такие славные шляпы и воротник один мне очень понравился, так что я хочу уже его позаимствовать. Такой пикантный и сзади ленточки. А прически какие! Но все не домашние, а куда же у нас ходить? <...>

У нас большое хозяйство. Огороды полоть надо. Пропали три курицы, тщетно искали их. Посадили с Павлом расаду капусты, окапывали малину. Взосли огурцы. Теленок уже большой, беленький, такой кудрявый, как Павел. Завтра начинаю его отпаивать отваром льняного семя а то Павел сердится что молока много выпивает. <...> Шурочка, знаете чего еще хочется? Угостить Вас своей домашней сметанкой с творогом, так густо залить и засыпать сахаром. Шурочка я знаю сладкоежка, как бы Вас угостить? Я люблю свою сметану и прозвана Павлом сметанщицей, но к конфетам я в противоположность Шурочке безразлична <...>».

Писем много, некоторые сохранились только в обрывках. Вот еще одно.

«<...> Хочется чтобы Вы были близко близко такая тепленькая и чтобы слышать Ваш голос. <...> Вот Вы описали ночную Христианию. Ведь как музыка. Только знаете Шурочка мы письмо читали вместе с Павлом и когда он прочел, что Вы проводите эти чудные вечера с М. Я. <Боди>, ревнивые искры так и запрыгали в глазах. Я заметила это. Я всегда говорю Павлу, что он большой эгоист. Вот мне даже стыдно, что Вы считаетесь со мной (в письме Вы так много об этом пишете) а ведь он об этом никогда не думает. И когда от этой обиды я часто плачу то он мне говорит, что у меня «просто глаза на мокром месте». И я теперь часто и с ужасом думаю какая бы «постоянная драма» была у нас если бы Павел узнал, ну например, что Вы встретили человека который бы Вам нравился и стал бы Вашим мужем. Что бы тогда было даже страшно подумать. <...> тепленькая наша Шурочка напишите

что Вы делаете, над чем работаете, как проводите дни».

«Дорогая Валя <...> с большим интересом прочитала о Ваших хозяйственных заботах <...> У меня тоже работы хватает. Например, за последние три дня два официальных обеда, два деловых завтрака, четыре интервью, выезд на фабрику сардинок и безсчетное количество телефонных разговоров. В ближайшие дни предстоит обед у германского посла и чай у шведского. <...> Много встреч с артистами, художниками, музыкантами. <...>

Вы спрашиваете, милая Валя, что я читаю, что нового в театрах. <...> Ибсена, конечно, прежде всего. Гамсуна, Стриндберга. Юхан Стриндберг шведский писатель, но его очень любят и в Норвегии, и во всем мире, он ярко показал гнилую сущность мещанства. Очень интересен драматург Хельге Крөг, продолжающий традиции Ибсена, он ярко показывает деградацию буржуазной семьи и убожество мещанской морали. <...> Можно отметить и творчество Сигрид Унсен, чьи исторические романы овеяны духом романтики. <...> Любопытна философская драма Вильденвея «Движение по кругу». <...> В музыке, кроме Грига, конечно, безраздельно царит Свенсен. Интересен и Хурум, у него очень ощутимы влияния музыкального импрессионизма. И конечно, Вален, сумевший преломить принципы так называемой новой венской школы. А вот своего балета у норвежцев почти нет, балеты здесь ставит русский танцовщик Тарасов, он живет здесь еще с довоенной поры. <...> Читаю певцов утонченного индивидуализма — Гауптмана, Гамсуна, Уайльда, Рескина <...>».

Формальное признание Советского Союза Норвегией автоматически превратило миссию в посольство (полпредство по тогдашней советской терминологии), а Коллонтай — в полпреда, полномочного министра. В дипломатии к тому времени работало уже много женщин, и все на крупных постах: норвежки, болгарки, венгерки... Но в ранге посла ни

одной еще не было: волею судьбы Коллонтай стала первой в мире! «Удовлетворение от этого получила, — комментировала она это событие в дневнике, — радости никакой». Но зато из пансиона «Рица» смогла, сообразно новому положению, перебраться в квартиру «богача» Анкера на Томас-Хефтигатен. Здесь, под живописными портретами многочисленных предков хозяина, она принимала коллег-дипломатов, устраивала официальные обеды и интимные музыкальные вечера. А в промежутке между светскими мероприятиями — повседневная посольская рутина: подготовка торгового и навигационного договоров, соглашения об экспорте леса, переговоры со смешанной судоходной компанией, штаб-квартира которой располагалась в Лондоне, что дало ей счастливую возможность — после двенадцатилетнего перерыва — вновь посетить туманный Альбион, но поселиться уже не в бедной каморке, а в шикарном отеле «Рубенс».

Старые друзья по «революционной борьбе» — главным образом лейбористы — стали министрами и депутатами, и ей было очень трудно «соблюсти дистанцию» и официальный протокол с теми, кто в ее памяти и душе остался отнюдь не чинным государственным деятелем, а романтиком-вольнодумцем. Еще ее поразила отсталость бытовых удобств по сравнению с высокой бытовой культурой Скандинавии — раньше она на это не обращала внимания, теперь полный комфорт стал непременным условием ее жизни. Даже резиденция посла (им тогда был Христиан Раковский, который не выносил Дыбенко) показалась ей убогой в сравнении с ее роскошной квартирой в Осло, а уж типично лондонский домик советника Ивана Майского — тесным и жалким, не достойным его поста. Это, впрочем, не помешало ей охотно гостить в «жалком» домике советника, сблизиться с Майским, тоже в прошлом меньшевиком, и пронести эту близость через всю оставшуюся жизнь.

Под предлогом укрепления советских кадров за границей практически в изгнании оказались тогда наиболее крупные деятели разных оппозиций — кроме самой Коллонтай и Раковского, еще и Крестинский, Осинский, Юренев, Красин, Иоффе, Лутовинов... Оппозиционеры более низкого уровня без всяких почестей были отправлены в Сибирь и на Дальний Восток, а люди с громкими именами пребывали за границей на почетных постах, создавая во всем мире иллюзию «партийной терпимости». Шляпникову, однако, посольский пост не доверили — его отправили советником полпредства во Францию. Он очень любил Париж, но это назначение воспринял как издевательство и всей работой своей — скорее, отлыниванием от нее — стимулировал скорейший свой отзыв в Москву.

Ему сразу же припомнили «открытое письмо» — его и Медведева, — опубликованное в газете «Бакинский рабочий». Такие особенно строки, которые всей своей остротой были обращены против Зиновьева (а тот как раз в то время и на очень короткий срок оказался в «дружбе» со Сталиным): «...вся деятельность Коминтерна свелась к насаждению материально немощных <зарубежных> секций и к содержанию их за счет достояния российских рабочих масс, за которое они платили своей кровью и жертвами <...> Создаются оравы заграничной коммунистической челяди, поддерживаемые русским золотом...» Мог ли Сталин такое простить? Шляпникову объявили строгий выговор, Медведева как самого нестигаемого исключили из партии.

«Дорогая Александра Михайловна, — перейдя почему-то на официальный тон, писал ей Санька. — <...> Письма от Вас, числом три, нами получены. Не писал, так как ждал Вашего приезда. < > Здоровье немножко поправил, но все же от головокружения не избавился. Закончил брошюру о революции 1900 года и еще одну о Франции — а теперь работаю над третьим томом <воспоминаний> «1917». —
прежнему — тою распоряжении и —

но ни партийной, ни профсоюзной работы не дают. Так что Вы можете себе представить, каков круг моей общественной жизни. Мириться с таким положением, конечно, нельзя <...> Что подделывают наши норвежские друзья, что в моей милой Франции? Я ничего не знаю, от всего оторван. Хольменколлен, наверно, в снегу. Вспоминаю наши прогулки...»

Как им было хорошо, когда они «боролись», и как стало плохо, когда «победили»!.. Но Коллонтай уже жила в другом измерении — другими интересами и с другим прицелом. Сама того не подозревая, она оказала Сталину царский подарок — переслала подлинники ленинских — предреволюционных, естественно, — писем к ней, и Сталин повелел тут же их опубликовать. Коллонтай хотела просто напомнить о том, как некогда ее ценил почивший вождь, но в письмах была весьма неслестная оценка Троцкого: человека неустойчивого, подверженного колебаниям, с которым можно «увязнуть». Она пригодилась Сталину в борьбе с конкурентом. К тому же Сталин понял, что она НЕ с Троцким, и это во многом определяло потом его отношение к ней.

Она вообще уже была «ни с кем», если говорить о набравшей силу межпартийной борьбе. Не только потому, что ее одолевали недуги, — пришлось несколько раз ложиться в клинику, ездить на воды в Германию — в Баден-Баден. Мысли ее были в прошлом, интересы — в том, что теперь ее окружало и к чему она почувствовала — с таким опозданием! — истинный вкус.

«Мои милые сестрички, Зоя и Вера, — писала она из больницы сестрам Шадурским, — как странно подумать, что мы все трое прошли такую путаную, странную, необычайную дорожку жизни. <...> Вижу, как вьется наша жизнь тоненькой тропочкой среди серых, нахмуренных гор, среди зелени полей. Вьется, все ищет вершины. По-своему вьется, новую тропочку кладет...

Забрались высоко, дышится легко, перевал впереди, а вместо того летим вниз, в долину, где пасутся коровы со звоночками, тихо, ладно, мирно. «Отдохни», — приглашает жизнь. Некогда. Вершин-то много, всюду перебывать надо. И торопимся, и ползем... Закроешь глаза — плывет прошлое. Будущего нет. Только прошлое и прочитанное. И ничего больше».

Но в этом «ничего больше» крылись не столько лукавство и подлинная печаль о безвозвратно ушедшем, сколько суеверный страх: как бы не сплутнуть то, что она опять почувствовала в себе: прилив новой энергии и новых желаний. Не хотела смотреться в зеркало — вид грузнеющей, теряющей былую гибкость и легкость, респектабельной дамы приводил ее в ужас, хотя Боди уверял, что она по-прежнему обаятельна и прелестна. Была ли в этих словах только учтивость или на самом деле он ее видел такой? Заботясь о поддержании формы, Коллонтай стала чаще, чем раньше, позволять себе отдых в горах — все в том же Хольменколлене, где жило столько милых ее сердцу людей. Стала посещать вечеринки, которые устраивали прежние друзья или уже выросшие их дети. «У меня новое увлечение: танцы! — писала она Зое. — Все танцуют, и я с ними. Очень понравилось. Ритм. Движение. Какую-то легкость в себе чувствуешь. Значит, соки не иссякли...»

Постепенно она осваивала нравы «растленной буржуазной морали» и столь же «растленный» образ жизни, чуждый пролетариату. Обнаружила красоту в прочности семейных устоев и в традициях, создающих домашний уют. И в то же время в Хольменколлене, где эту «растленную» красоту она как раз и наблюдала, писала в нашумевшей своей статье о советских нравах («Быт и пролетарская мораль»): «Четкий, истинно пролетарский подход снова затягивается тиной мещанских идеалов и привычек. Вместо начавшего входить в обиход определения «мой товарищ по жизни» снова фи-

гурируют юридические термины «жена», «муж». <...> Кого считать женой партийца? Законнобрачную жену, имя которой занесено в регистрационную книгу браков, или также и «временных» жен? <...> Которую счесть за настоящую? <...> Пора ставить вопрос о новых основах пролетарской морали».

Каждая ее книга, каждая статья о проблемах пола, даже опубликованные только в далекой России, немедленно находили отзвук и в зарубежной прессе. Но у европейских критиков был весьма своеобразный взгляд на ее сочинения. Например, книгу «Любовь пчел трудовых» они сочли острым политическим памфлетом на положение женщины в Советском Союзе. Эта аттестация настолько ее напугала (вдруг и в Москве так кто-то подумает!), что она решила воздержаться от новых эссе на любимую тему.

Воздержание причинило бы ей еще большие муки, если бы она не вошла уже целиком в другие заботы и не ощутила бы полного удовлетворения от неведомого ей до сих пор сочетания политики со светской жизнью, в которой наконец она нашла свое истинное призвание. В этой роли с особым блеском она проявила себя, устроив грандиозный прием по случаю очередной годовщины Октябрьской революции.

Были сняты все залы в самом роскошном отеле Осло, на прием пожаловали министры, высшие государственные чиновники, главы партий и профсоюзов, дипломатический корпус в полном составе и, конечно, множество знаменитых артистов, писателей, журналистов, музыкантов, ученых. Из Москвы спецкурьеры доставили два пуда икры — шестнадцать двухкилограммовых бочонков были расставлены в разных залах, а положенный в бочонки лед подсвечен разноцветными лампочками, чтобы ярче сверкал. Но в этой «рекламе» не было никакой нужды: икру гости и так поедали ложками, никого не стесняясь. Особенно отличились жены минис-

тров — они переходили из зала в зал и, останавливаясь перед очередным бочонком, набирали новую порцию. Несметное количество напитков взвинтило настроение, хозяйка бала танцевала без усталости, меняя знатных кавалеров и языки, на которых она с ними вела светскую беседу. Только светскую — ни слова о политике! Венцом вечера был концерт, завершившийся танцем под русские мелодии совершенно нагой красотки с двумя гроздьями винограда в руках: она изображала Айседору Дункан.

«Провела исключительно важное деловое мероприятие, устала до чертиков <...> Очень, очень довольна» — так рассказала Коллонтай об этом приеме в письме к Зое. И в сущности, так же, но без эмоций, — в официальном отчете для наркоминдела: «Прием прошел с большим успехом и еще выше поднял авторитет Советского Союза в государственных кругах и у общественности Норвегии. <...> Все газеты пишут о приеме, отмечая его высокий уровень <...> и что посольство царской России никогда не устраивало ничего подобного <...>». Еще бы!..

Наконец-то она могла быть довольна жизнью. Занималась делом, к которому почувствовала призвание, вращалась в рафинированном, аристократическом кругу, в полной мере проявляла себя и свои возможности. Жила вдали от повседневных свар и интриг, от мышинной кабинетной возни. Рядом был человек, на которого могла опереться и который не давал ей забыть, что она все еще женщина. И Миша получил работу за границей — представлял то в Англии, то в Швеции, то в Германии различные внешнеторговые ведомства. И женился: его жена Ирина, которую она успела повидать в Берлине, пришлась ей по душе.

Письма Павла тоже несли радость, напоминая о самом бурном, самом драматичном и самом счастливом периоде ее жизни.

«Милая, родная, как Твое здоровье? Удалось ли Тебе <...> уехать в горы? Кто с Тобой? О как бы

мне хотелось хотя бы на минутку быть возле Тебя, вдохнуть в Тебя жизнь, поднять на мои грубые сильные руки, заглянуть в глаза, увидеть Тебя снова бодрой, жизнерадостной. <...> Еду на два месяца в Кисловодск ремонтировать себя. Скверно с сердцем, сильное расширение. Буду жить там, где были прожиты красивые, неповторимые минуты с Тобой. За этот год стал совершенно лысым. Работаю много. Устаю невероятно. Шура, почему ты не пишешь? Неужели Ты стала безразлична ко мне? Я жажду Твоих писем. Твой Павел».

«Шура милая, родная! Весьма и весьма рад и благодарен твоему письму. Значит ты скоро приедешь? С тревогой жду увидеть тебя, поделиться с тобой моим верным преданным другом. <...> В деловой жизни все идет как будто бы гладко. Личная жизнь с неровными скачками. <...> Живется не совсем сладко. Часто вспоминаю Тебя. Но увы... Твой Павел».

«Кто с тобой?»... Слухи о том, что «с ней» Боди, конечно, дошли до Москвы и получили распространение в верхах. С ревизорскими функциями прибыл в Осло полномочный представитель Центральной контрольной комиссии ЦК, беседовал с Коллонтай и Боди по отдельности, явно стремясь их поспорить друг с другом. Коллонтай он разъяснил, что к иностранцу, пусть он хоть тысячу раз коммунист, надобно относиться с повышенной осторожностью, а у Боди допытывался, не состоит ли он с товарищем Коллонтай в неких особых, не только служебных, отношениях.

Но была у проверяльщика еще и другая задача. Шумиха в западной прессе о чрезмерной тяге амбассадриссы к роскошным нарядам не могла не дойти до Москвы. Имея в виду как много у нее в Москве оставалось заклятых друзей, эти слухи пришлись кое-кому очень кстати. Ревизор допытывался, сколько платьев, манто и мехов закупила в Европе товарищ полпред и даже требовал предъявить их в наличии. Возмущенная Коллонтай написала письмо

председателю ЦКК Куйбышеву — ответом была лишь шифровка Литвинова о том, что Боди отзывается для получения нового назначения. Коллонтай заявила, что они поедут только вместе. Но подтверждения вызова долго не было: в Москве что-то решали и никак не могли решить.

Тем временем их отношения — доверительные, дружеские — стали еще ближе, что, конечно, не обошло внимания посольских стукачей. На прогулках в Хольменколлене Коллонтай делилась с Боди своими подлинными, а не излагаемыми публично или хотя бы в «интимном» дневнике впечатлениями о кремлевских вождях. Сравнивая Сталина с Троцким, она сказала, что у Сталина нет ни культуры Троцкого, ни знания марксизма, что он не оратор, не писатель, но зато обладает адским терпением. И наблюдательностью — он сразу заметил, что у Троцкого есть поклонники, но нет друзей. С брезгливостью отзывалась она о Зиновьеве («надутый хвостун, опьяневший от неожиданно доставшейся власти»), Бухарина и Рыкова уважала, Молотова считала воплощением серости, тупости и сервильности. Словом, от истины была очень близко.

Наконец из Москвы пришло подтверждение — Марселю Боди предписывалось немедленно прибыть за новым назначением. Не испрашивая ничего согласия, Коллонтай отправилась вместе с ним. В Осло остались его жена и трехлетняя дочь Пьеретт. Путь лежал через Швецию и Германию — это был их личный выбор, о смысле которого можно лишь догадываться. Ехать через Финляндию было короче и дешевле, но они оба (или одна Коллонтай) имели какие-то виды на Германию. В Стокгольме, у советского посла Осинского, случай свел Коллонтай с секретаршей представителя Волховстроя в Швеции Августой Барановой — последней привязанности ее кузена Игоря Северянина, которая показала ей новые стихи поэта, бедно, но счастливо жившего на своей эстонской мызе:

Привет Республике Эстляндской,
Великой, честной и благой,
Правленья образ шарлатанский
Поправшей твердою ногой...

Стосковавшись по прежним своим увлечениям, Коллонтай решила потряхнуть стариной и, ни у кого не испрашивая согласия, устроила в Стокгольме свою лекцию о «семье будущего». Строго говоря, это была лекция не о семье, а об ее упразднении. «Изживший себя институт семьи, — заявила она, — противоречит идее коммунизма; вместо нее надо просто создать фонд помощи всем, кто нуждается из-за последствий свободной любви».

В Берлине Коллонтай и Боди предполагали остаться несколько дней, но неожиданная встреча с Раковским, ставшим уже послом в Париже, изменила планы Боди. Раковский посоветовал хотя бы временно воздержаться от поездки в Москву и сначала отправиться во Францию, чтобы «урегулировать свой статус». Во Франции Боди не был девять лет, и ему грозило наказание за дезертирство. Однако же после беседы с Раковским он предпочел отправиться навстречу реальной опасности, вместо того чтобы ехать за новым мандатом наркоминдела. Видимо, у Раковского были веские аргументы, но о содержании их бесед ничего не известно — они не нашли отражения ни в дневниках Коллонтай, ни в ее письмах, ни в позднейших мемуарах самого Боди. В один и тот же день — 23 декабря 1925 года — Коллонтай и Боди выехали из Берлина: она в Москву, он в Париж.

В Москве она снова окунулась в межпартийную свару, уже походившую на грызню с близким кровавым исходом. Ее пригласили и на московскую партийную конференцию, и на съезд партии. Зиновьев и Каменев все еще были в «связке» со Сталиным, и на конференции Каменев, которого она считала интеллигентом и либералом, с пафосом провозглашал, бросая шпильки в адрес уже не существо-

вавшей «рабочей оппозиции»: «Сегодня говорят — демократия в партии; завтра скажут — демократия в профсоюзах, послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам такую же демократию. А разве крестьянское море не может тоже сказать: подавайте сюда демократию! Этого нам еще не хватало!»

Наркоминдел Чичерин — старый парижский друг! — разнес ее в пух и прах, размахивая лежавшей перед ним бумажкой — заключением приезжавшего в Осло ревизора. В заключении говорилось, что хранящиеся в делопроизводстве полпредства счета неопровержимо доказывают: только за одну поездку Коллонтай купила в Берлине около пятидесяти платьев. Ее доводы насчет того, что хорошие наряды полпреда поднимают престиж страны, которую тот представляет, Чичерин отверг: «Вы представляете не просто какую-то страну, а государство рабочих и крестьян. У нас другие нравы, подлаживаться под буржуазный мир мы не будем».

Посчитав себя оскорбленной, Коллонтай попросила освободить ее от поста в Норвегии, но оставить на дипломатической работе. В Осло, естественно, оставаться она уже не могла: и разрыв с Дыбенко, и отношения с Боди — все прошло на глазах персонала, с которым она работала. К тому же в Осло оставалась жена Боди. И наконец, теперь из-за нее полпредство оказалось на урезанном денежном пайке... Против отзыва из Осло никто не возразил, а нежелание при этом вернуться на работу в Москву было очень кстати для Сталина: на финальном этапе битвы с Троцким генсек предпочел ее сплавить подалее. Ей был обещан пост полпреда в Испании, и Коллонтай тотчас сообщила Боди окольным путем, что он поедет в Мадрид вместе с ней. Но Литвинов разбил эти надежды: Мадрид, сказал он, не дал агремана — эта отсталая клерикальная страна не может смириться с тем, что туда приедет послом женщина. Скорее всего, агремана вообще не запрашивали.

Сталин хотел одного: пусть она едет, но очень, очень далеко...

Назначения не было, а решение о смене посла в Осло уже состоялось. Ей разрешили отправиться туда для вручения отзывных грамот, а затем уехать в Германию на несколько месяцев для лечения обострившегося нефрита. В апреле Коллонтай уже была в Германии и поселилась в Халензее — курортном пригороде столицы. Через два дня на берлинском вокзале она встречала приехавшего из Парижа Боди и сразу же увезла его в Халензее, где в семейном пансионате заранее сняла для него комнату, соседнюю с той, в которой сама поселилась. На столе Боди уже ждало написанное ею письмо по-французски. Она только шепнула ему: «ЭТО я не смею сказать вслух».

«Дорогой Марсель Яковлевич! По зрелому размышлению хочу предложить Вам продолжить нашу совместную работу, и это предполагает, естественно, что мы официально поставим в известность ЦК о нашем решении. Мы обоснуемся во Франции или какой-то другой стране. И будем писать. Став свободными, мы сможем объективно и честно говорить вслух о событиях и людях Революции, предупреждая о нежелательных эксцессах или опасных последствиях различных политических шагов. Скажите мне, что Вы об этом думаете».

Это неожиданное предложение повергло Боди в шок, но обсуждать его с помощью переписки было абсурдно. Они сразу же отправились на прогулку вдоль озера. «Все идет к тому, что ТАМ скоро начнет литься кровь», — это были первые слова Коллонтай, казалось бы объяснявшие все. Но он остудил ее логикой своих рассуждений. Раз она собирается давать объяснения в ЦК, значит, на полный разрыв не готова. Но какими бы ни были объяснения, для ЦК их решение будет означать только одно: разрыв.

— Вас обольют грязью на страницах «Правды», и вы никогда не отмоетесь. Нас объявят беглецами. У

вас есть силы — и нервные, и физические — начать борьбу?

— Вы правы, — согласилась она, — ложь и клевета их обычное убийственное орудие. А сил все меньше...

— Если вы порвете с партией, у вас не будет никаких источников информации, ваши мемуары быстро устареют. Вам надо впитывать в себя как можно больше фактов и писать о них для будущих поколений. Это будет ваш неограниченный вклад в историю.

Его доводы были неотразимы, в них недоставало лишь одного аргумента: оставаясь, она, конечно, подвергает себя реальной опасности утонуть в том море крови, которое, по ее же словам, не за горами. Но погибнуть за революцию — разве это не святой долг коммуниста?

Если он даже так не сказал, то подумал, и Коллонтай поняла его мысли. Поняла и — согласилась.

В любом случае они решили не расставаться. Боди уехал в Норвегию, чтобы повидаться с семьей. Коллонтай осталась долечиваться в Баден-Бадене, собираясь вскоре вернуться в Москву, куда приедет Боди, и получить для себя и для него новое назначение. «Мне здесь все не по душе, — написала она Зое, оставшись в тоскливом одиночестве. — Очень уж курортно, дорого, неудобно. <...> Принимаю ванны, хожу на массаж, много гуляю. <...> Надоедо!»

Коллонтай приехала в Москву раньше, чем Боди. Ее уже ждало известие о новой работе: пост был посольский, но в какой стране! Ей предложили Мексику, причем Литвинов предупредил, что «вопрос уже согласован со Сталиным». Вскоре по косвенным признакам она поняла, что Сталин не столько одобрил это решение, сколько сам его принял. Она безропотно подчинилась, обратившись в ЦК с единственной просьбой: отправить в Мексику и Боди. К Сталину с таким вопросом лучше было не соваться — оставалось ждать ответа какого-либо чиновни-

ка, сознавая, что фактически ответ даст САМ. Так оно и получилось.

Секретарь Молотова Евгеньев предложил Боди на выбор пост секретаря в советских посольствах Токио или Пекина. Разговор был коротким. «Я же не знаю условий работы в этих странах». — «Ничего, научитесь, вы еще молодой». Коварство было вполне очевидным: даже географически разделить Коллонтай и Боди так, чтобы их встреча ни в коем случае не могла состояться. Боди отказался, а Коллонтай отказаться от поста, на который, с ее согласия, уже запрошен агреман, разумеется, не могла. Они попали в западню. Причем Боди — в большей мере: у него отобрали паспорт, лишив его возможности выехать за границу в каком бы то ни было качестве. Вспомнился совет Раковского, которым он пренебрег: воздержаться от поездки в Москву...

Коллонтай поселилась на этот раз в «гостевой» квартире дома наркоминдела — на набережной Москвы-реки, напротив Кремля. Здесь же жил и Литвинов с семьей. Они нередко заходили друг к другу, но разговор не клеился: Литвинов избегал любых деловых бесед, предпочитая объясняться намеками и жестами. Однажды — был дивный июльский вечер — он пригласил Коллонтай прогуляться по набережной. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, сказал: «Если бы только я мог сбежать за границу! В любую дыру...»

Как-то зашла к Коллонтай совершенно ей незнакомая юная девушка — дочь одного из ближайших сподвижников Троцкого Адольфа Иоффе. Она не скрывала, что послана Троцким, который опасается ей навредить, если сам выйдет на связь. Цель визита была очевидной: убедить ее стать в ряды оппозиции, уже объединившей вчерашних противников — Троцкого, Каменева и Зиновьева. Раковский по старой дружбе не преминул встретиться лично, убеждая, что ничто еще не проиграно, что оппозиция очень сильна. Но Коллонтай уже решила: никакой политики! Никакой!

Свое временное безделье в Москве она решила использовать по-другому. Скопилось много писем, от женщин особенно, удручающе похожих одно на другое: все рассказы об арестах безвинных людей, об издевательствах местных чекистов, о высылках и реквизициях. У нее искали защиты, а что, в сущности, могла она сделать? Отобрав самые вопиющие случаи, ходила к Менжинскому, только что заменившему внезапно умершего Дзержинского. Он старался изображать внимательность и понимание, но тоска и равнодушие, исходившие от него, повергали Коллонтай в отчаяние. Все же, пусть редко, он что-то делал, и восторженные слова благодарности — от тех, кому выпал счастливый жребий, — приносили ту единственную радость, которую на этот раз ей давала Москва.

Другой радостью был новый семейный кодекс, развивший еще дальше ее идеи, заложенные ею же в кодекс 1918 года. Методичное разрушение семьи продолжалось: брак и развод низведены до простой регистрации, правовое различие между детьми, рожденными в браке и вне брака, устранено, даже формальная регистрация потеряла значение, поскольку сожительство в пределах ничтожного срока давало «супругам» те же права, что и законный брак. Это была ее победа, но осознать, что победа-то пиррова, ей было еще не дано.

Каждый вечер Боди ходил к Коллонтай на ужин, но мог у нее оставаться как лицо «постороннее» лишь до одиннадцати часов. Так было ПРИНЯТО в этом доме, — нарушить заведенный ОБЫЧАЙ считалось здесь моветоном. Совсем недавно еще бросавшая дерзкий вызов всяческим условностям, страстный глашатай свободной любви, Коллонтай приняла как должное и эти оковы. Задача была теперь только в одном — обеспечить Боди возможность вырваться за границу. Он просил чекистских чиновников разрешить ему ехать во Францию и там издавать переводы классиков ленинизма. Вопрос «решался» — пока что Боди подвизался в издатель-

стве Коминтерна на скромнейших ролях и боялся собственной тени.

Пора было уже выезжать в Мексику, но Сталин продолжал свой отдых на Кавказе, а без его напутствия трогаться не разрешалось. Коллонтай принял Молотов — пугал несносным климатом Мексики и ее отдаленностью. По его указанию секретарь приволок огромный атлас, чтобы наглядно ей показать, как Мексика далека от Москвы. Игра была примитивной: Молотов (Сталин!) ждал, что она с радостью ухватится за эту соломинку, дабы остаться в Москве и вступить в ряды оппозиции. Но Коллонтай проявила твердость, лишь попросила послать вместе с ней близкого человека — Пину Прокофьеву, исполнявшую роль ее личного секретаря. Двадцать лет спустя Коллонтай обогатит свою дневниковую запись об этой встрече таким дополнением: «Вячеслав Михайлович улыбнулся своей согревающей, приветливой улыбкой. Он умеет подбодрить товарища, с ним легко говорить».

Сталин вернулся в Москву и дал ей аудиенцию. О ее политических взглядах не задал ни одного вопроса — Коллонтай сама затеяла разговор, чтобы развеять его сомнения.

— Я не разделяю, — сказала она, — позицию Троцкого и Зиновьева, а мое личное отношение к ним вам хорошо известно. Целиком поддерживаю генеральную линию <то есть лично Сталина>. Но есть некоторые вопросы внутривластной демократии, в которых я еще на перепутье.

Это была очень мудрая оговорка, иначе Сталин не поверил бы в ее искренность. Оба хорошо понимали правила игры.

— Вы что, за фракции? — решил он уточнить.

— Фракции в партии уже существуют. Если их задушить силой, они опять возникнут.

— Не силой, а партийной логикой и дисциплиной, — жестко оборвал ее Сталин. — Парламентаризма в партии мы не допустим. Все эти дискуссии — сплошная интеллигентщина...

Коллонтай сделала вид, что согласилась. Спросила:

— Могу я рассчитывать на вашу помощь?

— Можете писать прямо мне. — Повторил многозначительно: — Прямо мне! Обо всем. Вы меня поняли?

Еще бы ей не понять!.. Это напутствие скрасило горечь расставания и вселило новые надежды.

Она была уже у двери, когда Сталин окликнул ее:

— Тут есть один любопытный документ, долго лежит — вас поджидает. Вам будет интересно с ним ознакомиться. — Протянул несколько скрепленных машинописных листков. — Это копия, можете оставить себе.

Польщенная его доверием и благожелательностью, Коллонтай чуть ли не бегом помчалась к себе, чтобы прочитать врученный ей Сталиным документ с грифом «Совершенно секретно».

«Товарищу Мехлису Л. З. Если будет время — сообщите т. Сталину о сибирских деревенских нравах в коммуне, которая носит имя т. Коллонтай и осуществляет на практике ее теорию: Ф. Дзержинский». К записке были приложены материалы, присланные в ОГПУ из провинциальной партийной ячейки.

«<...> В одно прекрасное время веселого вечера жена секретаря ячейки оказалась акушеркой и начала производить телесный осмотр мужчин вымериванием через тарелку, у кого конец перевесится через тарелку, с того еще бутылка с носу, а также был произведен и женщинам осмотр <...> Об этом поступило заявление и все члены комячейки настаивали зафиксировать в протоколе расследовать поступки секретаря и его жены, но он забрал книгу протоколов к себе подмышку не дал фиксировать в протокол <...> И не дал ходу заявлению комсомольца ячейки что «Однажды вечером я шел из Нардома зашел в предбанник оправиться смотрю идут двое я притаился рассмотрел женщина и мужчина. Смотрю

в баню заходят уселись на полки стали друг другу объясняться влюбви и так далее потом Фанька говорит сколько я перебрала мужчин но на тебя нарвалась по моему вкусу. Потом Мануйлов говорит а вы когданибудь пробовали раком. Фанька говорит давай поконски вот я стану раком тебе сразбегу ни-попасть. Мануйлов говорит попаду и вот она стала раком Мануйлов отошел немного и побежал на нее она немного отвернулась он мимо я грянул хохотать. Ани выскочили безума Фанька оставила платок и перчатку которые сичас у меня <...>». Этим заявлениям нидали ходу секретарь говорит мы Коллонтай или мы не Коллонтай нужно расследовать все поступки и выявить факты виновности <...> Председатель Ильинского сельсовета Панкрушихинской в<олости> Каменского уезда Н<ово>-Николаевской губ<ернии> А. Липский».

Казалось, расколосось и обрушилось небо! Все тут было: унижение, оскорбление, чувство полной раздавленности и осознание — нет, не краха, а просто того, что жизнь вышвырнута на помойку. Она заставила себя дочитать до конца, понимая, что Сталин в довершение ко всему загнал ее в хитроумную ловушку. Должна ли она «реагировать»? Имеет ли право уничтожить «секретный партийный документ», хотя бы и копию, врученный ей лично генсеком? Кому такой «документ» она может вернуть? Сталину, к которому второй раз уже не было хода? Его секретарю, ненавистному Мехлису, который подвергнет ее новым унижениям? Даже с Боди посоветоваться она не могла, если бы и захотела: «документ»-то был совершенно секретным!..

До самого отъезда она таскала эти листки с собой, не зная, что с ними сделать. Все ждала, что Сталин вдруг позвонит и спросит, как реагировать на «сигнал» из Сибири. Сталин не позвонил. Оставить на сохранение тоже было некому: Зоя работала в Берлине. Решила оставить в запечатанном пакете у сестры Зои — Веры Юреновой. «Секретный документ» — у беспартийной! Позор... Ей показалось,

что за эти дни она постарела на двадцать лет. Не было даже сил порадоваться свержению Зиновьева с поста председателя Коминтерна.

Боди провожал ее до Смоленска. У Коллонтай было купе на двоих с Пиной, но все время она проводила в соседнем: Коллонтай не сомневалась, что прощается с Боди навсегда. Поздним вечером он махал ей рукой с перрона смоленского вокзала до тех пор, пока стоявшая с каменным лицом у окна ярко освещенного вагона Коллонтай не растаяла в ночи...

На пограничной станции Негорелое оказалось, что куда-то исчез ее багаж. «Следуйте спокойно в Берлин, — посоветовал ей начальник пограничного ГПУ — Ваш багаж мы вышлем туда». Багаж действительно пришел через восемь дней — достойные ученики Дзержинского не потрудились даже скрыть следы взлома.

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ИЗГНАНИЕ

Десять дней в Берлине — это был праздник души. Здесь жил Миша с женой Ириной — Коллонтай удалось пристроить его во внешнеторговое ведомство, и это обеспечило ему на долгие годы не слишком хлопотную работу за границей. Сама-то Коллонтай уже давно поняла: у революции, за победу которой она так страстно боролась, надо вырвать самое главное — право жить и работать в какой-нибудь приличной стране, где революция, слава Богу, победить еще не успела. Здесь же, в Берлине, — и тоже по внешнеторговой линии — устроилась Зоя: они проговорили целую ночь, только поздний осенний рассвет заставил их разойтись.

Здесь вообще было множество старых друзей — в Берлине (Париже, Осло, Стокгольме...) Коллонтай чувствовала себя как дома куда больше, чем в Ленинграде или Москве. К ней, в отель «Nordland», пришла вдова Карла Либкнехта Соня, пришли немецкие приятели, с которыми ее связывала романтика борьбы за неведомое, но непременно счастливое будущее. Постепенно входя в круг совершенно чуждых ей проблем, Коллонтай дала обед мексиканскому послу в Берлине де Негри, который

ввел ее в курс событий, происходящих на его родине.

Несмотря на все попытки влиятельных немецких заступников добиться для нее американской транзитной визы, из этого ничего не вышло. Вот уже почти десять лет Коллонтай входила в список лиц, не желательных для этой страны, — лекции пламенной большевистской пропагандистки продолжали приносить плоды. Но не те, на какие были рассчитаны.

Пришлось ждать отправления прямого парохода из Европы в Мексику. Ближайшим был голландский, чтобы успеть на него, пришлось торопиться. Перед отъездом в Гаагу, по совету Зои, которой она, чуть ли не заикаясь, рассказала о последней кремлевской встрече и об унизившем ее «документе», Коллонтай отправила письмо Сталину. Лично ему, как он повелел. В сущности, ни о чем. Но самым своим фактом оно говорило, что дама, над которой так мило он пошутил, по-прежнему остается верной ему.

«Дорогой товарищ Сталин, завтра покидаю Берлин <...> Перед отъездом хочется послать Вам самый искренний мой привет. Кто знает, что ждет в дороге, пусть же этот привет будет знаком моего искреннего и теплого к Вам товарищеского отношения.

<...> Из Мексики напишу, только уж очень, очень это далеко! Оторванно! Всего Вам хорошего. С коммунистическим приветом Александра Коллонтай».

До отхода поезда оставалось всего два часа, когда расположившийся к ней посол де Негри посоветовал задержаться с отъездом: отношения Мексики с США внезапно ухудшились, и советскому полпреду не удастся держать полный нейтралитет. Но указания задержаться не было, и Коллонтай, хоть и с камнем на сердце, тронулась в путь.

В Гааге ее ждало новое разочарование: оказалось, что пароходная компания оставила для нее внутрен-

нюю каюту, без окна, других свободных кают не было, и Коллонтай от поездки отказалась. Через несколько дней из Сен-Назара отходил — тоже прямо в Мексику — французский пароход «Лафайет». Ей отвели хорошую каюту, оставалось вовремя получить французскую визу.

Она ожидала ее, нежась в шикарном апартаменте шикарного отеля. Номер стоил баснословные деньги, но подъемных было достаточно, и она наслаждалась роскошью, отводя душу и гоня от себя тревожные мысли. Наконец от Раковского из Парижа пришла телеграмма: «Виза во французском посольстве вас ждет». Он не скрывал, что удручен ее бегством от политической борьбы и что считает ее поступок изменой делу своей жизни, но исправно выполнял посольские обязанности. В Париже Раковский вел себя крайне сухо, подчеркивая показной вежливостью свои подлинные чувства. Впрочем, в Париже у нее не было нужды в его теплоте.

Навсегда прощаясь с прошлым, она обошла все любимые уголки, каждый из которых напоминал ей о казавшихся порою печальными, а на самом деле счастливейших минутах ее жизни. Пансион, куда к ней приходил Петенька, а потом и Санька... Театр, где впервые она положила голову на Санькино плечо... Кафе, где несколько часов они проболтали с Владимиром Коллонтаем... Успела даже выпить чай с мексиканским послом Матти в кафе на Елисейских полях и выслушать советы мадам Матти, весьма критически осмотревшей ее гардероб. К сожалению, упоенно следя за тем, как лихо посетители кафе танцуют чарльстон, и ногою отбивая такт под столом, она не слишком внимательно выслушала эти рекомендации, которые вполне могли бы ей пригодиться.

Нелестные замечания посольской жены побудили ее презреть недавно полученный нагоняй и, несмотря на опасность подвергнуться более суровым санкциям, навестить дорогие бутики. Не спускав-

шие с нее глаз журналисты засекли Коллонтай возле ювелирной лавки на рю де ля Пэ, и газеты тотчас предали огласке это событие, отметив, как сказано в одной из публикаций, что «блеск ее туалетов и мехов затмевают туалеты мадам Каменево и мадам Красиной». Жена бывшего советского посла во Франции и жена Льва Каменево (сестра Троцкого), часто навещавшая Париж, давно уже были отмечены своей любовью к дорогим нарядам и неограниченностью в средствах — теперь им предстояло уступить лавры прославленной конкурентке. Осаждавшим ее журналистам Коллонтай разъяснила: «Можно оставаться хорошим коммунистом, элегантно одеваясь и пользуясь помадой и пудрой».

На «Лафайете» ей досталась просторная каюта с мраморной ванной, где всегда была подогретая океанская вода. После бара или ресторана она забиралась в ванну, отдохнув, с наслаждением возвращалась к светской жизни. Среди пассажиров она быстро обрела свой круг: председателя верховного суда Мексики Падилло, шведского посла Андерберга с влюбленной в него юной женой Розарией, художников и актеров. На палубе было холодно, все предпочитали проводить время в салонах или барах, всюду звучал входивший в моду чарльстон, и Коллонтай удручало, что новое ее положение не позволяет ей вместе с молодежью разучивать замысловатые па.

Кубинские власти запретили ей сойти на берег во время остановки в Гаване. Чтобы скрасить ее огорчение, пассажиры принесли ей с берега конфеты и цветы. Но скрасить ничего не могли — пока они гуляли по Гаване, огорчение сменилось глубокой скорбью: по радио она услышала, что умер Леонид Красин. Это был один из немногих большевиков, с которым ее все еще связывали очень добрые отношения. В эмиграции она была с ним весьма близка, в Петрограде, когда ее арестовало Временное правительство, Красин вместе с Горьким был

готов внести за нее залог и добиться освобождения. Ни Ленину, ни Сталину этот романтик, интеллигент, специалист своего дела ко двору не пришелся, и его, как водится, сплавил за границу. «Весь день, — записала Коллонтай в дневнике, — я думала не о жене его, Любовь Васильевне, а о той, другой, которую он так любил все последние годы и с которой бабья ревность Любовь Васильевны его так жестоко развела». Для любого человека Коллонтай имела свой — один и тот же — угол зрения. И возможно, была права...

Пароход прибывал в мексиканский порт Вера-Крус. Еще с палубы она увидела довольно большую толпу с плакатами «Вива Унион советика!» и с превращенными в грязные тряпки американскими флагами. Из доносившихся с берега звуков Коллонтай поняла, что встречающие выкрикивают нечто антиамериканское. Сталин же категорически ей повелел ни прямо, ни косвенно «не вступать» в мексиканско-американские отношения и держаться как можно дальше от местных друзей Советского Союза (читай: коммунистов). Она уже приняла решение, как следует себя вести, и поэтому ничто не помешало ей любоваться белой крепостью на фоне ярко-синего моря, живописной грядой низких домов, роскошными пальмами, которые — в такой изобилии и такой пышности — она видела только на фото. «А над головой, — торопливо записывала в свою тетрадку, — вовсе не синее небо, а молочно-голубое, будто выцветшее. Синева морского залива убивает его цвет».

На палубу поднялся, встречая ее, единственный дипломатический сотрудник советского представительства Леон Гайкис. Она не слышала приветственных слов, а с ужасом разглядывала его потрепанный серенький костюм и мятую кепку — вместо положенной соломенной шляпы. «Стараюсь быть вежливой, но первое впечатление не по мне» — такова ее первая запись о первых минутах в порту. Впечатление стало еще хуже, когда Гайкис восторженно со-

общи́л, что на берегу «делегаты трудящихся» ждут ее приветственного напутствия мексиканскому пролетариату. «Вы забываете, что я официальное лицо, представляющее здесь не партию, а государство», — дала она отповедь Гайкису. «Шарже Д'аффер онемел», — позже вспоминала она.

Уже на берегу какой-то черный от избытка чувств бросился жать ей руку, бормоча что-то невнятное (она поняла лишь одно слово — «Ленин»), и хотел поднять на руки. Коллонтай отшатнулась — возможно, не слишком вежливо, но обстановка к нежности не располагала. В отеле, походившем на сомнительную ночлежку, ее ждала комнатенка с двумя металлическими кроватями, а за занавеской — умывальник и клозет. Остаться тут и несколько минут было выше ее сил, благо близился вечер, и вместе с Гайкисом они отправились в таверну. Ритмичная музыка отвлекала от мрачных дум: вот здесь, в такой обстановке, предстоит ей жить и работать?!

Ночью она не сомкнула глаз — от духоты и от пения птиц. После полуночи вдруг наступила прохлада, с океана подул ветер, раздавались крики — не то людей, не то животных. Но вытерпеть было можно, ведь уже утром отходил поезд в столицу страны. Денег за гостиницу с нее не взяли: губернатор велел передать, что сеньора Коллонтай его гость. Все складывалось благополучно, но тут ее ждал новый удар. Гайкис взял билеты в третьем классе, а не в пульмане, считая, что скромность произведет хорошее впечатление на мексиканскую публику. «Где вы набрались таких извращенных понятий о демократизме?» — спросила она, в отчаянии оттого, что ей предстоят тринадцать часов пути в переполненном, жарком вагоне на высоте три тысячи метров. От духоты, от запаха чеснока и человеческих испарений она начала задыхаться, закружилась голова, появились все признаки повышенного кровяного давления. Но вагон-ресторан соединялся только с вагоном первого класса, из

других туда не пускали. Продававшуюся на станциях воду в глиняных кувшинах, как и тропические фрукты, она использовать не могла без длительной акклиматизации — об этом предупредили еще в Москве.

В пульмановском вагоне уже не было ни одного свободного места, но перетрусивший Гайкис добился, чтобы в порядке исключения Коллонтай принесли кофе, минеральную воду и сэндвичи. Еще полезнее оказалась нюхательная лечебная соль — она сняла головокружение, стало легче дышать. Вечером подъехали к Мехико, на перроне и тут оказалась кучка коммунистов, яростно кричавших «вива компаньера Коллонтай!». Гайкис не мог ничего понять: она категорически отказалась встретиться с «делегатами». На приветствие шефа протокола мексиканского министерства иностранных дел — «салудо, компаньера Коллонтай» — вообще не откликнулась, и лишь когда сообразительный чиновник назвал ее «экселенца», крепко пожала его руку. Чиновнику это явно понравилось, и всю дорогу до отеля они обменивались шутками на английском языке.

В отеле «Хенова» — он располагался в десяти минутах ходьбы от полпредства — для Коллонтай был заказан апартамент из двух комнат с ванной комнатой и гардеробной. В первую же ночь начался сильный сердечный приступ с признаками затяжного удушья. Гостиничный врач дал успокоительные таблетки, заказал, подняв на ноги спавшую обслугу, несколько бокалов выжатого лимона, а главное — развесил в обеих комнатах для увлажнения воздуха мокрые простыни. Коллонтай, не вставая, лежала два дня, вспоминая добрые советы Сталина и Молотова подумать о своем здоровье. Вместе с деловой почтой ей принесли письмо от Дыбенко — оказалось, оно плыло тем же пароходом «Лафайет», которым добирался до Мексики его адресат.

«Дорогая Шура, после твоего отъезда я получил

новое назначение начальником снабжения Красной Армии. Я боюсь, хватит ли у меня силы и энергии все повернуть по-своему. <...> Единственная надежда на Климента Ефремовича Ворошилова, который мне всемерно оказывает поддержку. <...> Я его не только уважаю, но и люблю. <...> Жаль, что перед отъездом не мог видеть тебя. Сегодня как-то особенно хочется твоего тепла. Искренний привет от Вали. Павел».

Оглядка на неизбежную цензуру была вполне очевидна, но и в такой необычной редакции письмо доставило ей радость — оно было ниточкой, связывавшей с домом, которого не было, и с прошлым, которое было. Здесь, на краю земли, в отрыве абсолютно от всех — не только близких, но и просто знакомых — людей, на невысказанной высоте, мучившей ее удушьем и тяжкими предчувствиями, оно побуждало снова и снова пересматривать свою жизнь, терзая навязчивым вопросом: где, когда и почему была сделана фатальная ошибка? И была ли она вообще?

Еще мучило сознание, что писем от Боди нет и не будет. Дыбенко, по крайней мере, мог не скрывать своих отношений с Коллонтай — они были общеизвестны. У Боди такой привилегии не было, а в реальных условиях Мексики получать от него письма по другому адресу или даже просто на почте она не могла. Что касается писем в адрес полпредства, то они, безусловно, проходили через цензуру, и Боди при шатком своем положении не мог позволить себе рисковать.

Двухэтажный особняк полпредства на кайя дель Рин располагался за высоким каменным забором. Весь дипломатический персонал, кроме Гайкиса, состоял еще из одного человека, совмещавшего в себе все возможные и невозможные функции, включая и функции машинистки. Сторожем служил хорватский коммунист Видас, потерявший в России на гражданской войне все пальцы правой руки. Дворник, кухарка и горничная были из местных и ни на

одном другом языке не говорили. Еще жила смешная и умная обезьяна — Коллонтай сразу же показалось, что та понимает ее лучше, чем персонал. В кабинете полпреда, над столом, висел огромный портрет Троцкого, и теперь, в самом конце 1926 года, Коллонтай могла себе позволить выразить личные чувства, совпадавшие с «генеральной линией партии»: портрет «этого товарища» (все еще, однако, товарища!) повелела тотчас убрать, не заменив его каким-то другим...

По-испански она не читала, хотя и начала спешно учить язык. Приходилось ограничиться американской прессой, оценка которой любой ситуации была диаметрально противоположна той, что давала мексиканская пресса. Столь странным образом — «с точностью до наоборот» — она сама, без посредников, постигала позицию страны пребывания. Но особенно забавляло то, что американские газеты уделяли много внимания ее собственной персоне. Они писали об известной всему миру аморальности Коллонтай и ее необузданном стремлении насадить коммунизм во вселенском масштабе. Авторы этих статей вряд ли подозревали, насколько в ту пору была она далека от подобных мыслей. Гайкис был убежден, что нет важнее задачи, чем контакты с близкими «нам» мексиканцами и компропаганда. Нет, возражала ему Коллонтай, главное — это торговля на взаимовыгодных условиях. Он пожимал плечами: они не понимали друг друга.

Президент Кальес держался не столько левых, сколько ультранационалистических взглядов. Он преследовал католическое духовенство, терпеть не мог американцев, весьма сдержанно относился к испанцам. Гайкис, следуя старым инструкциям, подбивал Коллонтай на поддержку этой политики («нам на руку все, что против американцев»), она же, помня напутствие Сталина, всячески уклонялась от выражения любых политических симпатий.

Строго говоря, ей было вообще не до этого: она задыхалась от сухости воздуха, от мелкой пыли —

частичек лавы и пепла. «Чувствую, что под нами кипят и бурлят вулканы» — так — кратко и выразительно — отражено ее состояние в дневнике. Долгими ночами, не имея сил заснуть, она смотрела из окна на далекое красное пламя — «кипел и бурлил» вулкан Попокатепель. Днем глаза не могли отдохнуть, созерцая всегда ее успокаивавшую зелень: трава и листья были не зелеными, а серо-голубоватыми, и от этого ей казалось, что она попала вообще на другую планету.

Как всегда, отводила душу наедине с пером и бумагой — сочиняла в основном «служебную вермишель» — отчеты, справки, доклады, — но еще и письма. Они создавали иллюзию не совсем потерянной жизни. «Хочу описать тебя во весь рост, — писала она Дыбенко. — Ведь ты дитя революции, ее создание. Я помню твой яркий образ в очистительном пламени революции. И таким я люблю вспоминать тебя и сейчас». Каким иным она могла бы его вспоминать? Что еще было связано с ним в ее воображении — лучшего, а не худшего? Здесь, в душной, обжигающей Мексике, ей только и оставалось жить в мире фантомов, мысленно возвращаясь к самым бурным и самым ярким страницам своей жизни и видя их только в романтическом ореоле. Эти воспоминания помогали как-то переносить новую — уже даже и не почетную — ссылку.

Формально она все еще не была полпредом — Кальес никак не мог найти времени, чтобы принять у нее верительные грамоты. Наконец день и час были назначены, и накануне президент прислал ей букет фиалок, что считалось здесь особо хорошим знаком. Она все еще мучилась над церемониальной речью по-французски: едва ли не самый для нее легкий язык на этот раз почему-то отчаянно сопротивлялся. Церемония, однако, прошла хорошо. Коллонтай надела черное шелковое платье — строгое, но с рукавами «летучей мышью». Белые перчатки, шляпа, туфли... Кальес выслушал ее французскую речь, но

отвечал по-испански, и беседовать пришлось через переводчика. Президент то ли не знал ни одного другого языка, то ли демонстративно утверждал равноценность испанского.

Став одновременно и полпредом, и торгпредом, Коллонтай, как и в Норвегии, тянулась больше к коммерческой деятельности, чем к политической. Там все было ясней и конкретней, а главное — меньше опасности «проколоться». «Надо прежде всего налечь на торговые дела <...> — повторяла она в дневнике то, что записывала в дневник официальный, полпредский. — Каждая наша торговая сделка — лучшее доказательство серьезности наших дружеских намерений в отношении Мексики». Вступив в переговоры с мексиканскими партнерами о закупке у них хлопка, свинца и кофе, Коллонтай сразу же заявила о себе как о человеке дела, а не светского пустословия. В обмен предложила Мексике прославленную (тогда!) русскую пшеницу — целых 25 тысяч тонн, о чем тут же с восторгом сообщили газеты. Но особое удовольствие доставляло ей «размещение» (это слово почему-то ей понравилось) советских фильмов. Рынок был заполнен, естественно, американской кинопродукцией, ненавистой здесь уже потому, что была она американской, — качество фильмов значения не имело. Советские тоже встречали сопротивление — у тех влиятельных лиц, которые боялись распространения коммунизма, — но у публики, в том числе вполне респектабельной, встречали горячий прием.

Однажды Коллонтай устроила «чай» с показом советских фильмов. Приглашенные сановники явились все до одного, но почему-то не с официальными, а с «нелегальными» женами. Эту загадку, столь близкую ее теоретическим интересам, она никак не могла разгадать, но поняла, что проблема «свободной любви» волнует мексиканцев ничуть не меньше, чем комсомолок и комсомольцев в далекой Сибири.

Немыслимая тоска не покидала ее ни на час: по-прежнему не было рядом ни одного человека, с кем можно было отвести душу. Круг новых знакомых ограничивался дипломатическим корпусом. В германском посольстве разговоры велись на высоком интеллектуальном уровне, но больше походили на научные симпозиумы, чем на нормальные беседы нормальных людей. Полной противоположностью было французское посольство: овдовевший посол Перье, бонвиван и жуир, зазывал к себе местный бомонд на вечеринки, ничего не дававшие ни уму, ни сердцу. Сухость и чопорность английского посла оттолкнули ее, а непременные здравицы итальянского в честь Муссолини и «великой идеи фашизма» — вызвали стойкое отвращение. Был единственный дом, где она себя чувствовала хорошо и уютно: у посла Швеции Андерберга и его жены Розарии, с которыми Коллонтай познакомилась еще на пароходе.

Приехав в шведское посольство на прием, к которому она тщательно готовилась (специально подобрала платье в «скандинавском» стиле), Коллонтай застала там леденящую кровь картину: Андерберг рыдал, как ребенок, не заботясь ни о каком дипломатическом этикете. За полтора часа до начала приема Розария внезапно скончалась от разрыва сердца. На постели лежало белое нарядное платье, которое она собиралась надеть... «Проклятая разреженность воздуха! — так прокомментировала это горестное событие Коллонтай в своем дневнике. — Убийственная его сухость! Я ведь тоже скандинавка, житель ленинградских болот. Тоскую по воде!»

Она тосковала не только по воде — по привычной среде, по близким людям. Единственный сотрудник раздражал ее и пугал. Мало того что Гайкис непрерывно поучал полпреда, как учитель бестолкового ученика, он еще был неотлучно при ней, что заставило ее заподозрить советника в принадлежности и к другим службам. Ведь кто-то же обяза-

тельно должен был за нею следить! Это не помешало ей однажды сказать Гайкису, когда совсем уже стало невмочь: «Вы не дипломат, вы парторганизатор». По тому, как вытянулось и застыло его лицо, она поняла, что попала в самую точку. Раньше Гайкис был секретарем наркома Чичерина, она же — без всякой видимой причины — считалась «литвиновкой». Отношения между Чичериным и его замом Литвиновым дошли до того, что они перестали разговаривать друг с другом и обменивались только записками. Возможно, за повышенной бдительностью Гайкиса скрывалось вовсе не поручение Менжинского, и даже не Сталина, — просто-напросто он исполнял деликатное поручение своего шефа. Ей не было от этого легче.

Праздником была очередная почта — это совпало с приходом парохода из Европы в какой-нибудь мексиканский порт. Почти никто из близких ей не писал — сознание того, что ответ придет не раньше чем через два месяца, не способствовало переписке. Пройдут десятилетия, прежде чем в Советском Союзе свыкнутся с тем, что письма даже из соседней страны путешествуют почему-то неделями, если не месяцами... Единственным исключением была Татьяна Щепкина-Куперник, она писала регулярно, и Коллонтай охотно отвечала ей длинными, подробными письмами.

«<...> Как мне здесь тоскливо, дорогая Танечка, как невыносимо одиноко, как плохо без всех вас, любимых, дорогих! <...> Нахожу утешение, читая книги по истории человечества. В каждую эпоху люди думали, что их эпоха особенно тяжелая, особенно кровавая и особенно нуждающаяся в переменах. <...> Редкому поколению удавалось прожить без войн или других социальных потрясений и бедствий. <...> Каждое поколение всегда говорило о том, что заработки стали хуже, что жить стало труднее и что человечество еще никогда не знало столько страданий и бедствий. <...> На нашу долю выпало уж очень много <...> но когда оглянешься, не-

вольно спрашиваешь себя: когда же такого не было? <...> Когда же на земном шаре было хоть полстолетия, чтобы не было полей сражения, взаимного убийства, преследования за убеждения <...> и всяких других социальных страданий».

Трудно не заметить в этих размышлениях попытки взглянуть по-иному, без сложившихся догм, на события 1917 года. Октябрьская революция, хотя и не названная по имени, предстает в процитированном пассаже уже не как смена эпох, не как уникальный социальный катаклизм за всю историю человечества, а как довольно ordinaria реакция на всегда ощущавшуюся людьми социальную несправедливость и извечное стремление всех поколений ее преодолеть.

Не будь Коллонтай здесь так одинока, не страдая от вынужденного безделья, вряд ли могла бы она остаться наедине со своими мыслями и подвергнуть жестокой ревизии казавшиеся бесспорными идеи, которым посвятила всю жизнь. И только то, к чему пришла она сама, а не взяла у других, — ее концепция женской свободы и права на любовь, не ограниченную никакими рамками, — по-прежнему оставалось незыблемым, не поддающимся коррективам. Этому способствовали известия из разных стран об успехе «Любви пчел трудовых». Книга издавалась в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Амстердаме, выходила вторым изданием в Берлине, авторские права запрашивали из Копенгагена и Рима.

Зоя сообщила Коллонтай тревожную весть: Боди все еще не дают разрешения покинуть Советский Союз. Обычно крайне осторожная в столь щепетильных делах, Коллонтай отважилась за него заступиться. Отсюда — за тысячи километров от дома... Она отправила несколько телеграмм — Бухарину, заменившему Зиновьева в коминтерновском руководстве, и старой своей подруге Елене Стасовой, ставшей — ни много ни мало — консультантом Сталина по делам Коминтерна. Трудно сказать, кто сы-

грал решающую роль, но, так или иначе, Боди решили вернуться во Францию. Встреча с ним в Европе становилась реальной.

Деть себя было некуда, особенно в выходные дни. Город пустел, работы не было никакой, вентиляция в отеле, где она по-прежнему жила, работала из рук вон плохо. Однажды новая знакомая мексиканка — очаровательная Элеонора, владелица новенькой американской машины — пригласила ее на экскурсию в загородный монастырь. У него была дурная слава — там, по преданию, живо замуровывали еретиков. Коллонтай жаждала хоть каких-нибудь приключений, поэтому ничто ее не остановило. Даже предупреждение, что комната, которую им отвели, расположена как раз над тем подземельем, где совершались эти жестокие казни.

Едва улеглись, откуда-то стали доноситься крики и стоны. Зажгли свет, осмотрели комнату и коридор, выглянули во двор: полная тишина и безлюдье. При погашенном свете сразу началось то же самое. Элеонора разбудила хозяев, с зажженными фонарями обошли весь монастырь и, естественно, никого не нашли. Не желая искушать судьбу, Коллонтай потребовала счет и уехала посреди ночи.

На другую экскурсию они поехали с Пиной. В таверне, за соседним столом, кутил красавец генерал, облаченный в расшитый золотом красочный мундир. Он, не отрываясь, восхищенно смотрел на Коллонтай, и ей показалось, что генерал любит ее не как знатной иностранкой, а как женщиной. Что-то снова зажглось... Генерал представился губернатором здешней провинции, пригласил на следующий день разделить с ним компанию в прогулке по окрестностям. К договоренному часу никто не приехал. Хозяин отеля сообщил, что ночью в перестрелке между враждующими хунтами генерала убили.

Все это не столько пугало, сколько заставляло снова и снова почувствовать себя в совершенно чуждой среде. Сердечные приступы следовали один за другим, просыпаться посреди ночи от жестокого удушья стало для нее просто привычным делом. Она решила написать Литвинову, что по состоянию здоровья оставаться в Мексике больше не может и что готова занять любой другой пост. Шифровальщика в посольстве не было, дипкурьеры не приезжали — приходилось пользоваться обычной почтой.

Ответ пришел гораздо раньше, чем она ожидала. Литвинов предлагал сменить Мексику на Уругвай, где климат, по его данным, гораздо лучше. Но Уругвай еще дальше, чем Мексика! — сразу же сообразила она. Сам ли Максим Максимович придумал для нее эту запредельную ссылку или просто выполнил сталинский приказ? В Москве борьба с зиновьевцами и троцкистами достигла уже апогея, нарыв вот-вот должен был прорваться, Сталин явно не хотел ее видеть в Москве или даже поблизости. Между тем никаких поводов сомневаться в ее отношении к «новой» оппозиции она не давала.

Мысль о том, что ей опять грозит заточение в Латинской Америке, хотя бы и не на такой высоте, была невыносима. Коллонтай написала Литвинову, что готова выполнить любое задание партии, но только в Европе. Когда-то она мечтала о путешествиях в разные страны, ее манила экзотика и вообще любая непохожесть на то, что привычно. Теперь она осознала себя европейкой, поняла, что ничего другого, кроме любимых европейских пейзажей и столь же любимого европейского комфорта, ей просто не нужно. К тому же всех «сомнительных» Сталин ссылал в европейские страны, почему ей одной, с ее здоровьем, в ее возрасте, предстояло мучиться на краю света? Каменева назначили послом в Риме, даже неутомного Шляпникова снова отправили за границу — представителем «Металло-

импорта» в Берлин. Неужели ей выпадет самая худшая доля?

Она только что довела до конца переговоры по поставке в Советский Союз мексиканского свинца, и это дало ей повод написать Шляпникову в Берлин, поздравить с новым назначением. Она приняла предложенный им официальный тон и перешла на такой же. «<...> Вы знаете, Александр Гаврилович, — писала она Саньке, то бишь «товарищу Шляпникову А. Г.», — что мы приняли заказ Металлоимпорта на свинец. Сейчас пишу Вам лично с оказией и улыбаюсь. Если бы в 1911 году, когда мы гуляли с Вами по Аньеру, нам бы сказали, что мы будем переписываться о ценах на свинец и о его качестве, мы сочли бы это бредом. Не правда ли?» Она сообщала ему последние новости о мировом рынке нефти, олова и кобальта, о настроениях здешних коммунистов, о том, как те чтут Ленина и ленинизм. Во всем письме не было ни одного человеческого слова, и трудно понять, зачем для такого письма понадобилась специальная оказия. А может быть, как раз затем и понадобилась? Чтобы «верный человек», ознакомившись с его содержанием, успокоил Москву: никаких крамольных мыслей и планов в доверительной переписке между двумя лидерами «рабочей оппозиции» не существует?

Обычной почтой пришло решение политбюро: Коллонтай разрешался отпуск для лечения — на два месяца. Но все в Мексике знали, что из отпуска она уже не возвратится. Откуда же все все узнали? Не иначе как из подвергшейся перлюстрации переписки... Прощального приема не было — при отъезде «в отпуск» этого не позволял протокол, но те немногие, с кем уже установились добрые отношения, пришли пожелать ей доброго пути, а коммунисты опять устроили в Вера-Крус пышные проводы, преподнеся отполированный кокосовый орех с надписью по-русски: «Товарищ Коллонтай

империалисты тебя ненавидят революционеры тебя любят».

Расставаться с тем, к чему, несмотря ни на что, успела привыкнуть, было немного грустно, ведь и эти полгода неповторимы. Но мысль о том, что уже через несколько дней она увидит Мишу в Берлине, что вот-вот должен появиться на свет ее внук, скрасило эту легкую горечь. В пути она узнала, что в Варшаве убит советский посол Петр Войков. Несколькими днями раньше были порваны отношения с Англией из-за обыска, устроенного властями в представительстве советской фирмы «Аркос». «Чувствую со всех концов накопление враждебности к Союзу, — записала она в путевом дневнике. — <...> Я очень устала от атмосферы вражды к нам».

Устала она, похоже, совсем от другого...

Из Берлина Коллонтай почти сразу же уехала в Баден-Баден. Уже знакомые ей врачи установили еще более осложнившийся хронический нефрит и сильно выраженную гипертонию. Боди приехать в Баден-Баден не смог: во Франции он сразу же окунулся в тамошнюю политическую борьбу. На национальной конференции компартии в Лиможе он резко выступил против резолюции, осуждающей русских оппозиционеров и даже требовавшей применения санкций против Троцкого и Зиновьева, став тем самым «анфан терриблем» для находившейся полностью в услужении Москвы ФКП. «Не мучайся, что я одна, — писала Коллонтай Зое. Та была на советской службе и ни на день не имела права покинуть Берлин. — Я уже притерпелась, худшее позади. <...> Только денег все нет и нет. Хочу послать в Москву телеграмму. <...>»

В Берлине, по окончании курса лечения, она встретила наконец с Боди: он приехал на два дня позже, чем она, и поселился, как обычно, в соседней с нею комнате, в уже знакомом отеле. Надежды

на совместную работу больше не было никакой, но мысль о том, что им нельзя расставаться, владела ею по-прежнему. Они договорились, что дождутся решения Москвы о ее будущей работе и после этого определят, как им быть дальше. Боди уехал в Осло, чтобы отправить оттуда во Францию жену и дочь, Коллонтай осталась в Берлине дожидаться рождения внука. В сентябре внук появился на свет — ему дали имя деда: Владимир. «Бабушка» Коллонтай, все еще не чувствовавшая, ни груза лет, ни нового своего «статуса», поехала в Москву навстречу неизвестности.

Она не знала, что решение о ее новой работе уже принято. Работа была, в сущности, не новой, а старой: Сталин решил опять отправить ее в Норвегию. И на отшибе, вне политических игр, и вполне ей по вкусу... Это известие, которым ее встретила Москва, было одним из самых радостных за все последнее время.

Тем временем в Осло, в советском полпредстве, ничего еще об этом не знали. Даже о том, что Коллонтай уже покинула Мексику. Советский полпред проявил к Боди сухую, официальную вежливость. На коктейле в его честь спросил с чарующей прямолинейностью:

— Почему к Коллонтай здесь относились с таким почтением, а мне все показывают спину?

Боди был столь же прямолинеен:

— Имейте нормальные и искренние отношения, а не заменяйте их пропагандой, и никто никогда не покажет вам спину.

Полпред вздохнул:

— Я с большим удовольствием поменялся бы местами с товарищем Коллонтай.

— Хорошо, я ей предложу, — сказал Боди, но полпред его юмора не оценил.

О том, что Коллонтай возвращается в Осло, Боди узнал раньше, чем об этом узнали в советском полпредстве. Как — это и по сей день остается загадкой. Без сомнения, они договорились о какой-то по-

тайной связи, помогавшей им вовремя находить друг друга и информировать о важнейших событиях. Один этот факт, сам по себе, говорит о мере их близости — отнюдь не только любовной в привычном смысле этого слова. Полученное известие перевернуло планы Боди. Он уговорил жену еще поработать в Норвегии: присутствие там семьи служило идеальным поводом для приездов туда и ему самому.

Сталин хотел, чтобы Коллонтай уехала в Осло как можно скорее. Это вполне отвечало ее желаниям. За полтора месяца, проведенных в Москве, она сделала все возможное, чтобы успокоить Сталина и продемонстрировать не только свою лояльность, но и полную преданность. Наверняка до него дошла информация о том, как резко, если не грубо, она обрезала Карла Радека, встретившего ее новым своим анекдотом: «Знаете ли, что общего между Сталиным и Моисеем? Они оба вывели евреев — один из Египта, другой из политбюро». Речь, естественно, шла о Троцком и Зиновьеве, и шутить на эту тему с циничным и скользким Радеком ни малейшего желания она не имела.

Стосковавшись по перу, которое в мексиканскую ее бытность чуть не заржавело, Коллонтай сочинила несколько статей, напоминая тем самым читателю, что такой автор еще существует. Ее впечатления о только что покинутой стране поражают пустотой, заполненной высокопарными красотами: «<...> Необычайно синие, сапфирной чистоты, волны Мексиканского залива, теплые, как неостывший бульон, омывают золотисто-песочные берега. <...>» Даже туристские путеводители пишут обычно более сдержанно.

Не забыта и женская тема, уже лишившаяся какой-либо примеси секса, но по-прежнему облеченная в унылый канцелярит.

«Женская мелочность, консерватизм и узость понятий, зависть, злоба к другим женщинам как к конкуренткам в охоте за кормильцем — все эти

свойства уже не нужны женщинам Запада <...> Миллионы трудящихся женщин во всем мире спешат морально перевооружиться».

«Рождение ребенка не есть частное дело, в нем прежде всего заинтересовано само трудовое общество. <...> Октябрь втянул самих матерей в строительство важной отрасли культурной жизни трудового человечества».

Трудно поверить, что человек достаточно высокой культуры может вообще писать таким языком на какую угодно тему. Понимала ли она сама абракадабру, которую сочиняла? Что такое «трудовое человечество»? В строительство какой «отрасли культурной жизни» матери «втянуты»? Что есть «отрасль»: роды, работа или что-то еще? Бесплезно задавать эти вопросы. Становясь партийным пропагандистом, Коллонтай входила в эту роль и подчинялась правилам игры, установленным для всех, кто стремился на эту сцену...

В Москве ее «рвали на части», стремясь перетаскать на свою сторону или хотя бы понять, как она себя поведет: приближался Пятнадцатый съезд партии, на котором должна была решиться судьба оппозиции. Точнее: кто — кого... Отозванному из Берлина Шляпникову она прямо сказала, что оппозицию не поддержит. Он ответил ей с той прямоотой, которая всегда его отличала: «Вы предатель и карьеристка». Она восприняла это как пощечину — получить такой удар от Саньки, которого, по ее убеждению, она «вылепила» собственными руками, было особенно больно.

На одном из собраний встретила Людмилу Сталь, недавнюю соратницу по работе в женотделе ЦК.

— Вы, конечно, с нами, — не спрашивая, а утверждая, сказала Сталь, примкнувшая к оппозиции.

— Конечно, нет, — громко — чтобы слышали все — ответила Коллонтай.

Ее принял Молотов, позвав на беседу и Стасову. Думал, что Коллонтай придется уламывать, и тогда подруга ее юности пришла бы на помощь. Помощи

не понадобилось — Коллонтай заявила, что оппозицию не поддержит. Как только объединенный пленум ЦК и ЦКК исключил из ЦК Зиновьева с Троцким, она опубликовала в «Правде» статью, однозначно исключавшую для нее выбор другого пути: «<...> Прежде всего нужно единство не только в действиях, но даже в мышлении. Масса здоровым инстинктом это стихийно понимает. И потому так возмущает ее оппозиция. <...> Дисциплина — это цемент, скрепляющий людские кирпичи в единое мощное здание коллектива. <...> Масса не верит в оппозицию и не прощает ей иезуитского политиканства с партией. <...>»

Масса, масса, масса — это слово в очень короткой газетной статье употреблено 27 раз: от ее имени, как водится у коммунистов, писала статью Коллонтай, давая Сталину понять, что не масса (при чем тут масса?!), а лично она верна и будет верна своему вождю. Окончательно и бесповоротно она сделала свой выбор.

Ее пригласили гостьей на съезд, где Сталин и его кратковременные союзники Бухарин и Рыков чувствовали себя триумфаторами. Бухарин травил анекдоты — Сталин терпеливо выслушивал их, ни словом, ни жестом не выказывая своего отношения. Рыков потешался над «свободной выпивкой» — тогда только что, в угоду этой самой «массе», отменили все ограничения на продажу водки и стали выпускать по дешевой цене маленькие «мерзавчики», тотчас получившие в народе название «рыковка». Предсовнаркома сам был не чужд этой пагубной страсти и радостно шутил на любимую тему. Сталин молча слушал и его, мотая на ус и терпеливо ожидая иных времен. Коллонтай не раз имела возможность встретиться с ним в кулуарах. Он был с ней очень мил, про тот — «сверхсекретный» — документ не спросил, и она, разумеется, не напомнила тоже.

Крупская позвала ее в гости — впервые с тех пор, как все они вернулись из эмиграции: ведь Кол-

лонтай у Ульяновых дома не была ни разу ни в Петрограде, ни в Москве. На самом видном месте стояли в гостиной портреты Ленина и Инессы — рядом, повернутые друг к другу. Крупская перехватила взгляд Коллонтай: «Инесса — самый близкий друг». Не добавила только чей: его или обоих... Но Крупская-то знала, что Коллонтай знает, что... Впрочем, никакой надобности в уточнениях не было. Ни у хозяйки, ни у гости.

— Значит, в Норвегию? — спросила Крупская, прощаясь.

— В Норвегию...

— Ну, счастливого пути!

Так Коллонтай и не поняла, зачем Крупской вздумалось вдруг пригласить ее в гости. Это был ее последний визит перед отъездом в Норвегию. Проводов не было: все, кто бы мог ее проводить — Миша, Зоя, Павел, Боди, — были или за границей, или далеко от Москвы.

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

Привычным путем — через Стокгольм — Коллонтай добралась до Осло и тут же уехала в Хольменколлен. Оставалось два дня до Нового года, ей хотелось его провести с Эрикой и другими близкими людьми. Неразлучно была с ней и Пина Прокофьева — секретарь и подруга, с которой, однако, она не могла быть полностью откровенной: мешал какой-то внутренний тормоз. «Я снова в Хольменколлене, — радостно сообщила Коллонтай своему дневнику, — «Туристотель», красненький домик у фрекен Дундас. Даже в той же комнате, где в 1915 году жил Шляпников. Тени прошлого...»

Когда ехала сюда, мечтала сразу же выйти на прогулку, отыскать знакомые дорожки, вернуться в мыслях к тем теням прошлого, которые несли память о лучших годах ее жизни. Но последняя перед праздничными днями почта уходила через несколько часов, и она, запершись в своей комнате, прежде всего написала письмо Боди. Только с ним могла она поделиться тем, что мучило ее весь ноябрь и весь декабрь. Разлад с самою собой, ужас от разрыва с друзьями, потребность оправдаться за поистине судьбоносное решение, которое она приняла, под-

держав Сталина против своих товарищей, надежда, что Боди — последняя ее опора — поймет и не осудит, — все это легко читается в строках и между строк того предновогоднего письма, одного из самых важных в ее огромном эпистолярном наследии.

«<...>Если я Вам редко пишу, то лишь потому, что нахожусь в положении человека, потерявшего самого себя. Вы хорошо помните, как мы страдали в М<оскве> — в те долгие дни, когда надо было принимать окончательное решение. Я знаю, Вы поняли, что у меня не было другого выхода. <...> Это не проявление слабости, но веление масс: пойти за Сталиным, а не за троцкистами. Если бы верх одержали они, репрессии против всех, кто думает по-другому, были бы еще более суровыми. <...> Я потеряла добрых друзей, которые остались с Троцким, и это причиняет мне глубокую боль. Мы с Вами хорошо понимаем друг друга, и как жаль, что нельзя все это выразить в кратком письме. Дорогой друг! Я здесь очень одинока».

Что мог он ей ответить? Во Франции Боди решительно порвал со своей партией, увидев, как рабски она следует за сталинской линией. Но это решение было не более чем делом его совести, за разрывом не могли последовать санкции, угрожающие самому его существованию, его жизни и свободе. Положение Коллонтай было совершенно иным — Боди не смел ее осуждать, хорошо зная реалии той страны, из которой едва унес ноги. К тому же он сам толкал ее на двуличие и даже «триличие», убеждая смириться с той омерзительной жизнью, когда думаешь одно, говоришь другое, а делать приходится что-то третье...

Ответ пришел не скоро. Боди сухо подтвердил, что понял все и что поставленные вопросы можно будет обсудить лишь при личной встрече. Переписка шла через Эрику, уже одно это вынуждало его быть осторожным. Эрика полагала, что способствует контактам двух любящих сердец — не более того,

ни о чем ином даже не подозревала. Но бдительность всегда была кстати, и Коллонтай могла лишь быть благодарной за сдержанность и лаконичность своего французского друга.

Пока что предстояло заново обживать дом. В прямом и переносном смысле. Советскому Союзу норвежские власти вернули здание бывшего царского посольства, и, как шутила Коллонтай, делаясь с друзьями своими заботами, она остро нуждалась в «жене», которая помогла бы обставить пустой особняк. «Жены» не было — эту роль приходилось играть самой. «Я не полпред, я его жена» — самое любимое ее изречение того времени, оно запомнилось всеми, с кем она в ту пору встречалась.

За пределами посольского дома ее главным делом, как и прежде, были сельдь, треска и тюлени. Только о том и шли разговоры на деловых встречах и на светских приемах. Используя свое влияние, Нансен мягко, но весьма энергично настаивал на закупке Союзом большой партии рыбы — в этой сделке были заинтересованы рыбаки, а позиция их профсоюза во многом определяла расклад политических сил в стране. Москва дала наконец согласие, снизив, однако, предложенную Норвегией цифру в несколько раз. Это была очень скромная, но все же победа. Сам Нансен признал: фру Коллонтай сделала все, что зависело от нее.

Возвращение — всего через год с небольшим — того же посла, тем более столь популярного, как Коллонтай, всегда создает особую атмосферу: легко восстанавливаются прежние связи, старые знакомые напоминают о себе, приглашая в гости или прозрачно намекая на то, что сами ждут приглашений. Эти заботы утомляли ее, но то было приятное утомление. Светская жизнь была ее стихией, ее истинной страстью, помогая забыть все душевные муки, пережитые ею в Москве. «Вокруг меня артисты, режиссеры, писатели — это работа по укреплению культурных связей», — деловито сообщала она в наркоминдел. В каком-то смысле, ко-

нечно, работа, но главное: круг, в котором она ежедневно вращалась, так разительно отличался от московской партийной среды! Часы, проведенные в театре, Коллонтай еще с юности считала потерянным временем, теперь без сцены и без кулис она чувствовала духовный голод. Ни одно приглашение на премьеру не оставалось без ответа, ни одно мероприятие Ибсеновских торжеств по случаю его юбилея не прошло без ее участия. Постепенно она стала приходить в себя от того нервного напряжения, в котором находилась между жаркой Мексикой и холодной Норвегией. «Оттаяла...» — ее выражение...

Наркомвнешторг перевел на работу в Стокгольм Зою, и та, еще не приступая к делам, приехала в Осло навестить подругу. Из Берлина Зоя ехала сюда через Москву — привезла слух, что у Дыбенко возникли какие-то «семейные трения». Слух оставил Коллонтай равнодушной: все прошлое перегорело, память старательно отбирала в нем только самое лучшее, отсеивая то, что могло причинить боль. По не очень ей ясным причинам Павла перебрасывали с одного поста на другой, нигде не давая как следует себя проявить. Поруководив несколько месяцев снабжением Красной Армии, он стал вдруг начальником артиллерийского управления и, не успев войти в новую работу, уехал в Ташкент — возглавить Среднеазиатский военный округ. Их жизненные дороги расходились все дальше.

Едва Коллонтай пришла в себя после всех перегрузок последних двух лет, как внезапно последовал вызов Чичерина: «Выезжайте в Москву к 25 апреля». Никакого объяснения не было, можно было строить различные версии, но дата говорила о том, что ее вызывают по какому-то конкретному поводу, а не для санкций. Так оно и оказалось. В частном письме начальник протокола наркоминдела объяснил причину вызова: в Москву с официальным визитом прибывает шах Афганистана Аманулла-хан и с ним шахиня Сурайя, «передовая женщина Восто-

ка», рискнувшая снять чадру. Шахиня слыла знатоком культуры и любительницей искусств, протокол обязывал, чтобы среди хозяев была достойная ей по уровню дама. Советский этикет исключал возможность для жен руководящих работников участвовать в государственных церемониях, поэтому на роль «жены» Сталин избрал Коллонтай.

В том, что это был разумный дипломатический шаг, сомневаться не приходится. Но это был еще и расчетливый шаг политика, продолжавшего бороться за власть. Сталин не только демонстрировал лояльность к бывшим оппозиционерам. Он показывал им, какие блага они извлекут, вовремя сделав ставку на победителя, отказавшись от заведомо обреченной попытки стать ему поперек. В стране к тому времени не было деятеля уровня Коллонтай — из бывших активных оппозиционеров и уклонистов, — которые бы столь решительно, с очевидностью для всех, отказались от конфронтации со Сталиным и демонстрировали полное свое послушание.

Помимо удовлетворенности от выпавшей ей чести и сознания своей уникальности — если не на партийном, то на государственном советском олимпе, — Коллонтай испытывала еще и другое, весьма ей льстившее, чувство. Церемония визита монарха — первого монарха, пробившего дорогу в коммунистическую Россию, — предполагала множество пышных мероприятий, конечно, с участием первой (пусть только декоративной) советской леди. За границей к таким церемониям она успела привыкнуть, зато в родной стране, где уже не однажды ее успели ославить, имя — вывалить в грязи, статьи и книги — осмеять и охаять, ей еще не доводилось показать себя блистательной светской дамой. И вот, кажется, доведется...

С предвкушением предстоящего торжества она вместе с Пиной выехала в Берлин. Внук уже начал ходить — жизнь несла свои обычные радости, но время и мысли «бабушки» были заняты здесь

совершенно другим. Еще совсем недавно Берлин виделся ей не иначе как будущей столицей советской республики, теперь он манил модными магазинами, в которых можно было пополнить весьма скудный выходной гардероб. Вечернее платье из серого бархата, которое ей сшили в Норвегии, — это все, чем она располагала. Не очень-то щедро для встреч монарха, о богатстве которого слагали легенды.

В советском посольстве ей не без умысла дали почитать подборку газетных статей, содержавших «клевету на родину всех трудящихся». Немецкие газеты сообщали о том, что жена Молотова Полина Жемчужина, бывая в Берлине, тратит огромные деньги на меха, одежду и лечебный массаж. С еще большим злорадством газеты писали о том, что новая жена Луначарского, актриса Наталия Розенель, вообще «не выходит» из магазинов: «Ее элегантное платье, — восторгался один репортер, — буквально ослепляет. <...> Фрау Розенель небрежно сказала, что купила его не в Берлине, а в Париже, заплатив 9000 франков, и уточнила, что это всего 500 золотых рублей по официальному курсу».

«К клевете врагов нам не привыкать, — усмехнулась Коллонтай, прочитав статью. — Про меня пишут еще не такое». У нее не было выхода — не могла же она общаться с шахиней и ханом в повседневной одежде.

Это были ее звездные часы. Она блистала рядом с ханом и шахиней на всех приемах, газеты публиковали фотоснимки, где Коллонтай находилась в обществе Сталина и его ближайшего окружения. Как и положено «первой леди», на обедах и ужинах она сидела рядом с ханом, который кое-как изъяснялся на ломаном французском, водила его в качестве гида по кремлевским соборам и палатам. Хан особенно пришелся ей по душе, когда намекнул, что женился на Сурае, не имея развода с первой женой. «Значит, и он за свободную любовь! Безусловно, передовой человек! Особенно имея в виду

нравы Востока! Это с его стороны даже не смелость, а бунт!» Четыре восклицательных знака в дневнике говорят даже больше, чем те слова, за которыми они следуют.

В Ленинграде для приема монаршей четы были открыты залы Зимнего дворца. Здесь им отвели царские опочивальни, здесь устраивали приемы. Извлекли из запасников и вновь украсили стены картинами в золотых рамах, на паркет бросили дорогие ковры, забытые по углам старинные вазы наполнили свежими цветами. Для обслуживания отыскивали бывших дворцовых слуг, которые, облачившись в ливреи, на два дня вернулись в уже забытое великолепие. В ставших музейными залах вновь зазвучало: «Слушаюсь, ваше величество», «Чего изволите, ваше высочество?», «Ваше благородие, соблаговолите сюда». Откуда-то извлекли порядок убранства царского стола: корзины из витого сахара, башни из масла, куропатки, украшенные пестрыми перьями. Коллонтай наслаждалась этой эстетикой, смутно догадываясь, что к ней-то всегда и тянулась. «Кончились наши светлые деньки, — сказал, прощаясь с ней, один из лакеев. — Опять в свои конуры полезем». Десять лет назад за такие слова она окатила бы его презрением, сейчас едва не прослезилась.

На приеме у афганского посла к Коллонтай подошли Раскольников и Дыбенко. Федора она не видела уже несколько лет. Его счастливый брак с Ларисой Рейснер закончился трагически — заразившись тифом, она сгорела за несколько дней. «Лариса, вот когда посожалею, что я не смерть и ноль в сравнении с ней», — откликнулся на эту гибель восторженно горестными стихами влюбленный в Рейснер Борис Пастернак. Обычно такое потрясение иссушает, Раскольников же, напротив, располнел и, как показалось Коллонтай, утратил прежнюю одухотворенность. Теперь, когда уже все прошлое осталось далеко позади, она испытывала к Федору только сочувствие. Дыбенко же, напротив, все время к нему

цеплялся, почему-то упорно называя его буржуем. «Отчего ты такой злой, Павлуша?» — разводил руками Раскольников. Что это, пыталась понять Коллонтай, еще не остывшая ревность или память о весне восемнадцатого, когда Федор требовал суда над Дыбенко?

В шикарном холле посольского особняка перед разъездом Коллонтай придирчиво рассматривала себя в обрамленных золотом зеркалах. Неужели и она стала совсем другой?! Непохожей на ту — из митинговой эпохи... О себе судить трудно, решила она. Но одно было бесспорным: к Павлу все умерло. Ни тепла не осталось, ни холода, одно равнодушие. И только! И только...

Перед отъездом из Москвы ее принял Молотов. «У товарища Сталина нет времени встретиться с вами, — сказал он, — но я вас соединю по телефону». Разговор был коротким — Сталина интересовало, нет ли «уклонов» в норвежской компартии, которая не без оснований считалась одной из самых прилежных — если попросту, то филиалом ВКП(б). Пока никаких! — успокоила Коллонтай, хотя это было и не совсем точно. Но слишком уж хорошо прошли светские дни в Москве и Ленинграде, чтобы испортить их коротким телефонным разговором! Сталин должен был услышать именно то, что хотел. «Сталин мил, Молотов очарователен», — записала она в дневнике. Запись явно тогдашняя — не позднейшая, оттого и особенно поражает.

До отхода берлинского поезда оставались считанные часы, когда она поехала на встречу с рабфаковцами — для них Коллонтай все еще была не послом, а главным экспертом по любовным вопросам. Тряхнув стариной, она завела речь о свободном, ничем не стесненном сексе, с удивлением заметив, что парней куда больше интересует повседневная жизнь заграничных студентов, а их по-

друг — семья и быт. «Неужели у вас нет половых проблем?» — недоуменно спросила Коллонтай. Зал умолк. Тишину нарушил один из рабфаковцев: «Какие там проблемы? С телом все ясно — большого ума не надо. А вот что делать с головой, товарищ Коллонтай? Чем жить, чтобы с толком и по-серьезному... И не зря...» Вопрос ее ошеломил: получалось, что молодежь, которая, как она полагала, нуждалась в школярских откровениях на любовные темы, озабочена совершенно другим. Куда более серьезным и важным. ЧЕМ жить? Неужели через десять лет после революции появился еще и такой вопрос?

Она все более и более отчуждалась от советской жизни, а за границей, напротив, все более и более чувствовала себя как дома. «Как дома» или просто — дома? Ведь никакого жилья — того, что все и зовут домом, — в своей стране у нее не было. У нее вообще нигде не было постоянного дома — вот уже целых тридцать лет! С тех пор она только скиталась по городам и странам, нигде ни разу не бросив якоря. Всюду было лишь временное жилье, с которым в любую минуту судьба могла ее разлучить. Но ОЩУЩЕНИЕ дома — здесь, в Норвегии, особенно в Хольменколлене, в пансионе у фрекен Дундас, — у нее все же было. В Москве же, будь то гостиница «Метрополь» или служебные комнаты наркоминдела, — никогда.

Между оставившим неприятный осадок диалогом с рабфаковцами и отходом поезда она успела еще заскочить к наркому внешней торговли Микояну. Это был самый успешный ее визит за все дни, проведенные в Москве. Микоян обещал перевести Мишу из Берлина в Стокгольм — поближе к маме — и дал согласие закупить у Норвегии 300 тысяч тонн трески. Она возвращалась домой победителем.

Известие о выгодной сделке обошло норвежские газеты. Журналисты атаковали ее, умоляя об интервью. В одном из них Коллонтай заявила: «Мне очень

нравится Норвегия. Норвежцы относятся к числу самых цивилизованных народов Европы. Они являются также самыми демократичными людьми, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Этот народ обладает более сильной волей, чем какой-либо другой народ. <...>» Только исключительная привязанность к этой стране могла позволить ей такую дерзость — в то время, когда вся советская пресса возносила «великий советский народ», а «советскую демократию» называла единственно подлинной демократией, превзошедшей все, что до сих пор знала история человечества.

Неожиданные события отвлекли ее от посольского повседневья. Знаменитый итальянский исследователь Арктики Умберто Нобиле отправился на дирижабле к Северному полюсу и пропал. На поиски его экспедиции вылетел Амундсен. Нобиле он не выносил, но солидарность людей, делавших общее дело, потребность прийти на помощь попавшим в беду оказались превыше всего. Самолет Амундсена также потерпел аварию — в числе тех, кто участвовал в поисках и Нобиле, и Амундсена, был советский ледокол «Красин». «Нобилевцев» ему удалось снять со льдины, Амундсен погиб... В Норвегии моряков советского ледокола, доставивших спасенных полярников, встречали как героев. Коллонтай извлекла из этой торжественной церемонии максимум моральных дивидендов. Странная — и понятная в то же время! — мысль пришла ей в голову, когда она встречала в порту ледокол. Он носил имя Красина — близкого друга. Именами вчерашних изгнанников и изгоев уже стали называть города, проспекты, заводы и корабли. А будет ли что-нибудь и когда-нибудь носить и ее имя?..

Внезапно Коллонтай снова вызвали в Москву — на заседание исполкома Коминтерна. Она давно отошла от коминтерновских дел, к тому же дипломату — формально, конечно, — в межпартийные дела соваться не полагалось. Но в норвежской компании назревал кризис, троцкисты и антитроцкис-

ты столкнулись друг с другом. Сталин хотел узнать от Коллонтай как можно больше подробностей и дать личные указания. Замысел, как оказалось, был куда более крупномасштабным: сориентировать на опасность социал-демократии и вообще любой «левизны», кроме коммунистической, как самого «злейшего врага пролетариата». Сталин уже готовился расчистить Гитлеру путь к власти.

Для поездки из Осло в Москву надо было тогда сменить четыре поезда, ехать несколько дней, но это Коллонтай не смущало — она была по-прежнему легка на подъем. В Ленинграде, ожидая пересадки на «Красную стрелу», набралась храбрости и позвонила Дяденьке: его голоса она не слышала уже несколько лет. Саткевич пришел на вокзал — заметно сдавший, но все такой же элегантно аристократичный. Встреча была скованной и неловкой — ни о делах, ни о мыслях не сказали друг другу ни слова: только о быте. Дяденька обзавелся семьей, преподавал в военных училищах и, как он сказал, был полностью доволен жизнью. Глаза говорили иное...

В том же вагоне ехали на исполком другие товарищи. Со всеми она тут впервые и познакомилась. С Морисом Торезом, о котором в Москве уже сложилось мнение как о «верном друге». С Барбюсом, антимилитаризм которого ей всегда был близок. С болезненно одутловатым болгаринном Георгием Димитровым, в котором она видела одного из виновников провала авантюрного сентябрьского восстания (1923) и который сейчас находился на нелегальной работе в Германии. Все они считались товарищами по общему делу, но с ними, как оказалось, было не о чем разговаривать. «Общего» дела у «товарищей» не было никакого — каждый делал свое и думал исключительно о себе, зато охотно и велеречиво рассуждал о всеобщем благе.

В Москве начался судебный процесс, который войдет в историю под названием «Шахтинский». Крупных специалистов по горному делу, инженеров

старой школы обвиняли в намеренном вредительстве, повлекшем за собой человеческие жертвы. Слово «вредители» — тогда еще непривычное, но быстро вошедшее в обиход — не сходило с газетных страниц. Судил их человек, чье имя она когда-то мельком слышала, — Андрей Вышинский, недавний меньшевик, которому Сталин дал личную рекомендацию для вступления в большевистскую партию. Обвинял ненавистный ей Николай Крыленко, издевавшийся некогда над Павлом и над их любовью, требовавший отправить Дыбенко на расстрел за Нарву и — проигравший. Этот человек всегда поражал ее свирепой жестокостью, облакавшейся в пышные фразы о «беспощадном революционном гуманизме».

Процесс еще был в полном разгаре, когда ей пришлось возвращаться. Об итогах Коллонтай узнала лишь в Осло: 21 смертный приговор! «Казнь... Это всегда, неизменно моя печаль и мука», — запись в дневнике об информации из Москвы.

Неожиданно пришло письмо от Шляпникова. Он снова работал в Париже, но писал из Берлина: «<...> Во Франции много дел, много езжу по Германии, Чехословакии, Австрии — представитель Металлоимпорта. <...> Не завяжем ли деловые отношения? Нет ли в Норвегии никеля — разведайте, черкните, я бы тогда все сделал, чтобы приехать к Вам. <...> Катя <жена> и Юрочка <сын> живут в Париже. <...> Крепко жму руку, Ваш Шляпников». Коллонтай ответила ему — письмо затеряно, но, видимо, оно было выдержано в тех же официальных тонах. С Дыбенко, при всем равнодушии к нему, сохранялась дружба, со Шляпниковым, после ее демонстративного откола от оппозиции, лишь корректные, товарищеские отношения. Вместо Осло ему пришлось ехать в Москву — краткосрочная заграничная передышка окончилась, Сталин счел, что Шляпникову лучше быть в пределах досягаемости Лубянки. Мало ли что...

Для сколько-нибудь подробных записей в днев-

нике не было уже ни времени, ни сил, вместо этого Коллонтай возобновила свои «Записки на лету». Они не были привязаны к каким-то событиям — просто отражали мысли, пришедшие «по ходу дела». Этим она компенсировала потерю тем для книг и статей. Рука по-прежнему тянулась к перу, но писать было не о чем: ее стойкая и, казалось, вечная привязанность к женским проблемам требовала новых впечатлений о процессах, происходивших в стране. О них она знала лишь понаслышке, оставалось лишь перепевать давно спетые ею самой мотивы. «Любовь пчел трудовых» продолжала выходить в разных странах, добралась уже до Японии. Переводы не только приносили известность и деньги, но и льстили ее самолюбию. Ничего нового, однако, — ни на эту тему, ни какую-то другую, столь же читателю интересную, — она сочинить не могла.

Не рассчитанные на публикацию, ее «Записки на лету» говорят о стремлении уйти от политики и расширить круг своих интересов. «Сейчас новая волна в литературе, — писала она в один из хольменколленских уик-эндов, — воссоздание живых исторических фигур. Это не биография, не сухая передача фактов, это и не роман из жизни великих людей. Нет, это совсем нечто новое. Перед тобой, в живой форме, проходит вся жизнь человека, его детство, надежды, радости, трагедии, достижения. Это не вымысел, не роман, это сама жизнь. И потому это увлекает, это волнует. Это вызывает эмоции, которые бессильны вызвать беллетристические произведения. Прежде людей удивляло богатство фантазии поэта. Жизнь казалась беднее, чем вымысел, потому что люди еще не умели ее видеть». Не увидела ли и она свою жизнь пригодной к «воссозданию живой исторической фигуры»? Скорее всего...

Опять приехала Зоя — ее пугали письма из Осло, повторявшие одно и то же: одиноко, неуютно, тоскливо... Коллонтай решила «показать» ей Нансе-

на — самого известного тогда в Советском Союзе норвежца. Нансен принял двух женщин, посвятив разговор одной-единственной теме, которая тогда особенно его волновала: возвращению всемирной армянской диаспоры на землю предков. «Мое правительство заинтересовано в вашей акции», — торжественно заявила ему Коллонтай, выдавая желаемое за действительное. В «Записках на лету» сказано: «У меня к Нансену большое чувство тепла и уважения, несмотря на эти его «нансеновские паспорта», которыми Лига наций снабжает белогвардейцев».

В другой день они пошли в мастерскую самого знаменитого норвежского скульптора Вигеланда. Коллонтай любила его искусство, в котором авторская индивидуальность и поиск новых выразительных средств сочетались с так любезными ей социальными мотивами. Но Зоя, едва они покинули мастерскую, разнесла скульптора в пух и прах.

— Неужели ты не видишь, — горячилась она, — что он до мозга костей консерватор? Какие там социальные мотивы!.. Разве в его работах есть хоть что-нибудь, что отражает те волнующие эмоции, которыми живет рабочий класс во всем мире и что претворяет в Советском Союзе наш народ? Он отстал от своего века. Он мещанин, живущий в идеалах отсталого капиталистического мира. Эмоции коллектива, пафос борьбы и движения вперед до него не доходят.

Сама Коллонтай, для которой плоско утилитарный взгляд на искусство, обязанное служить «интересам пролетариата», тоже был всегда характерен, уже преодолела столь примитивный догматизм. Она попыталась робко возразить:

— Но ведь Вигеланд признан самыми компетентными специалистами, причем именно демократического направления. Его очень любят не только в Норвегии. И потом, нельзя же на искусство смотреть так функционально.

— И это мне говоришь ты!.. — ужаснулась

Зоя. — Что с тобой случилось? Разве в Советском Союзе кто-нибудь понял бы твоего Вигеланда? Уверяю тебя, у норвежских рыбаков он тоже не вызывает ни энтузиазма, ни понимания. Ему чужды мышление и чувства рабочих в странах капитализма, когда они гурьбой, с пением покидают завод, идя на стачку, готовые к тяжелой борьбе. Оглушительный грохот нашей революции, пафос строительства коммунизма — все это прошло мимо него.

Александра слушала ее страстный монолог, увидев в Зое себя — ту Коллонтай, какой она была еще несколько лет назад. Тогда и она смотрела бы на эти скульптуры — на все искусство вообще — такими же «социально» зашоренными глазами, подвергая литературу и музыку, театр и живопись одному-единственному экзамену: служат они или не служат пафосу, грохоту и прочим шумовым эффектам, а главное — пролетариям всех стран в их борьбе против хищников-буржуев. Теперь она лицом к лицу столкнулась с карикатурой на недавний свой примитив, увидев всю его комичность и пошлость. Карикатурой тем более зловещей, что Зоя была ее собственным порождением, — это она сама влияла всегда на нее, навязывая ей свои мысли, чувства и взгляды.

Впрочем, от прежнего догматизма Коллонтай, конечно, не отказалась. Но зато точно знала, где ему место: в статьях для советской прессы, в митинговых речах, в пропагандистских лекциях. Наконец, всюду, где она выступала в качестве должностного лица или «старого партийца». Но оставалась еще личная жизнь, где и мысли, и чувства тоже были личными, не стесненными никакими условностями. Двойное сознание и соответственно двойное его выражение незаметно стали нормой. Не только, разумеется, для нее, а для миллионов ее сограждан, и она привыкла уже жить в этих разных мирах, не путая один с другим. Зоя — ее единственная любимая подруга, ее самый близкий человек — открыла ей глаза на уже свершившуюся для

многих слиянность этих миров, на возможность полного подчинения даже незаурядной личности навязанным пропагандой условностям, которые для сломленного ими человека превращаются в его истинную сущность. Не то чтобы ей стало страшно, — нет, просто она почувствовала себя еще более (а казалось, что больше некуда!) одинокой: с кем же тогда поделиться своими переживаниями, выраженными не в заемных, а в идущих от сердца словах?

В тот день, когда Зоя уехала, пришло письмо от Шляпникова. Облегчения, увы, оно не принесло: «<...> Мы по-прежнему вне того круга, который решает судьбы <...>» В сущности, и она давно уже была вне этого круга, просто ее судьба пока что складывалась удачнее — хотя бы уже тем, что рядом были другие лица, другая эстетика, другой образ жизни. Но стоило ей переступить порог полпредства, и она оказывалась все в той же Москве, в атмосфере склок и интриг, подсиживания и наущничества. Особенно донимал ее торгпред Элердов, типичный советский партвыдвиженец, безграмотный и наглый. Каждого он подозревал в какой-нибудь пакости: регулярно доносил полпреду о «происках» сотрудников и требовал «повысить бдительность». Не встречая должного понимания, «стукал», конечно, и на самого полпреда. Ясно — куда...

Вызов в Москву — после неприкрытых элердовских угроз — показался зловещим знаком. Ехала «на разнос», но оказалось, что просто Сталин хочет узнать «из первых рук», что происходит в норвежской компартии. Раскол стал уже свершившимся фактом, и Сталина тревожило: кто — и сколько! — «за нас», а кто — против. Формально отношения с «братскими» компартиями были вне сферы работы полпреда, но более точной информации об этом никто ему, конечно, дать не мог. Коллонтай уже сообщила шифровкой, что большинство норвежских коммунистов «пошло за нами», — почему-то Сталин

этому не поверил и потребовал подтвердить еще раз. Скорее всего, на него подействовал донос Элердова. Иначе зачем бы он спросил в конце беседы: «Этот, как его — Элердов... Очень вам досажда-ет?» — «Нет, не очень», — соврала она, и потом ругала себя за малодушие: могла бы добиться его от-зыва сразу, а так пришлось ждать еще несколько месяцев.

Ее удивило, что Сталин весьма приблизительно знал расстановку сил в «братских» компартиях, путал имена, не разбирался в том, кто какую пози-цию занимает. Но усвоила главное: он всюду ищет троцкистов, в каждом западном коммунисте ему ви-дится свой противник, нет ни одного руководящего деятеля, которому бы он доверял. «Больше бдитель-ности!» — напомнил он, и Коллонтай поняла, кого, не называя по имени, беспрестанно цитировал в Осло Элердов.

Сталин только что разгромил своих вчерашних союзников — Бухарина, Рыкова, Томского — и по-тому пребывал в добродушном настроении. Он раз-решил ей пробыть в Москве целых полтора месяца. Коллонтай обосновалась опять в квартире для гост-ей наркоминдельского дома на Софийской набере-жной, напротив Кремля. Обзвонила друзей и зна-комых, ее дни были расписаны буквально по часам, но для каждого ей хотелось найти время: все теперь ей были милы, ибо то были спутники жизни, уже повернувшей к закату. Деловых встреч было мень-ше, чем дружеских или, точнее, частных. Литви-нов, Каменев, Микоян, Мануильский — все это были встречи по делу. Даже Мейерхольд — тоже по делу: она хотела устроить гастроли его театра в Нор-вегии, но так и не успела...

Ежедневно бывали у нее Зоя, уже отозванная из Стокгольма, и Вера Юренева. Практически на все время пребывания Коллонтай в Москве «сестрич-ки» переселились к ней, ведя ее нехитрое хозяйст-во. Дважды ужинала у Петеньки. Маслова только что избрали членом-корреспондентом Академии

наук. Теперь это был вполне остепенившийся пожилой ученый, окончательно порвавший с какой бы то ни было политикой и ушедший в далекую от самых опасных рифов теоретическую (не прикладную!) экономику. Все забывшая (а возможно, и ничего не зная) Павочка — грузная дама с тяжелой одышкой — любезно угощала знатную гостью, щеголявшую в туалетах, поражавших воображение иностранцев. Демонстрировать эти платья в совпарткабинетах Коллонтай, разумеется, не решалась. Она смотрела на Петеньку с нежностью и умилением — никаких иных чувств давно уже не осталось.

Раскольников, возглавлявший тогда литературный журнал «Красная новь», возвращался в дипломатию. Уже было принято решение о том, что он станет полпредом в Эстонии, и у него с Коллонтай появились общие интересы. Но не только это сближало их — хотя ничего не было сказано вслух, по каким-то невидимым признакам они оба почувствовали, как близки их взгляды на то, что происходит в партии и в стране. После потрясения от потери Ларисы Раскольников понемногу пришел в себя, у него уже появилась новая любовь, он был полон надежд и планов. От Зои, по-прежнему считавшей его «змеенышем», Коллонтай скрыла две свои встречи с ним — он показался ей хорошим товарищем и добрым другом.

Со Шляпниковым встретилась шесть раз — он бывал у нее, она приходила к нему, даже ездила на его дачу в Серебряный Бор. Жена его Катя ждала еще одного ребенка, а сам Санька почти ослеп — болезнь глаз прогрессировала, и никто из московских врачей не мог ему помочь. Но все равно он рвался к работе, к активному делу, а его никуда не пускали, имея для этого очень удобный повод: какая же может быть работа у почти ослепшего человека? Оглядываясь, они гуляли по лесу и вдоль реки. Он был счастлив, что может выговориться, она неотвязно думала о том, что частые встречи одного лидера

давно не существующей «оппозиции» с другим будут отмечены новыми доносами в ее распухом чекистском досье...

Специально для того, чтобы с ней повидаться, в Москву примчался Дыбенко. Его не допускали до работы в столице, все время перебрасывая, чтобы не слишком засиделся, из одного района в другой. На этот раз судьба (в лице его «любимого друга», наркома обороны Ворошилова) забросила Павла в Среднюю Азию — он командовал Туркестанским военным округом, с трудом привыкая к жаре. «Светлый Лучик» не захотел «губить свою жизнь» в затхлой провинции — Валентина осталась в Москве, используя все права и привилегии жены командарма. Даже посещала официальные приемы и на одном встретилась с Коллонтай. Новинками норвежской литературы больше не интересовалась, не звала «на творог со сметанкой». Только жаловалась на то, что Павел ее «променял на бутылку» и что волочится за каждой юбкой. «Мне неприятно это слышать, — обрезала ее Коллонтай. И добавила — со значением: — От вас...»

В ее рабочих тетрадях педантично отмечены все даты и даже часы московских встреч. С Дыбенко она виделась трижды, и каждый раз у себя в течение часа! «Беседа с Дыбенко на Софийской набережной: 18-30 — 19-30» — так отразила она встречу с человеком, которого еще совсем недавно очень сильно любила. Разговаривать было не о чем: он лишь жаловался на жизнь, ей было неловко рассказывать ему, насколько она довольна своей.

Ее попросила о встрече американская журналистка-коммунистка Анна-Луиза Стронг. Коллонтай знала ее еще со времен гражданской войны и относилась к ней с полным доверием, видя в Анне-Луизе бескорыстно увлеченную идеей революционерку. Разговор за чашкой чая был сухим и официальным, потом Коллонтай вышла проводить свою гостью до трамвайной остановки. Тем же вечером Стронг записала то, что сказала ей Коллонтай по дороге: «Раз-

гул насилия в деревне <..> Расхождение между старыми лидерами и новым безжалостным поколением руководителей, пришедших к власти <...> Для меня человеческая душа — это самое главное в мире. Но мы не сможем обратиться к ней еще лет пятьдесят. Нынешнее поколение создает механизм для будущего, у них нет времени думать о высших идеалах. Тем из нас, кто мечтает о братстве, справедливости и человеческом счастье, нужно вовремя уйти со сцены, чтобы нас не столкнули с нее силой <...> В этом суть трагедии наших лидеров — от Троцкого до Бухарина». Троцкий уже был в то время в турецком изгнании, Бухарин вышвырнут из политбюро...

Перед отъездом в Осло Коллонтай еще раз побывала у Сталина. Его новый секретарь Александр Поскребышев был любезнее прежнего — Льва Мехлиса, — во всяком случае, не унижал ее нарочито томительным ожиданием приема. Сталин, многозначительно напомнив, что «партия доверяет товарищу Коллонтай», повелел бдительно следить за борьбой внутри норвежской компартии. Видимо, опасность потерять верного вассала не на шутку его тревожила. У Коллонтай были свои проблемы: нарком Чичерин уже не один год лечился в Европе, и полпред не знала, вступать с ним в служебный контакт или нет. Сталин ответил с такой раздраженностью, что ей стало вполне очевидно: долго Чичерину наркомом не быть.

— Он там не столько лечится, сколько по концертам таскается. И пить стал. Подрывает наш престиж. Нечего ему проматывать на заграничных курортах государственные деньги.

Сталин конечно же был неправ: Чичерин лечился. Но странно лечился... Считалось, что он болен диабетом, но свой «диабет» почему-то лечил у невропатологов, спасаясь от него сначала горным воздухом в Висбадене, потом морским — в Сан-Рафаэ-

ле, потом водами — в Баден-Бадене. Его тяжкое нервное заболевание, как и любовь к нежным мужчинам и стройным мальчикам, были общеизвестны, — эпоха Чичерина в советской дипломатии подошла к концу, но кто придет ему на смену?

По дороге в Осло она опять задержалась в Берлине — якобы по неотложным торговым делам, а на самом деле, чтобы, обменявшись письмами с Боди, договориться о встрече. Его жена и дочь по-прежнему оставались в Осло, но Евгения Орановская уже не работала в полпредстве и жила, перебиваясь случайными заработками. Боди, однако, не захотел, чтобы семья знала о его предстоящем приезде, хотя и оставались-то они там лишь затем, чтобы Боди имел повод для наездов в Норвегию.

Боясь одиноких прогулок по вечернему городу, Коллонтай доверила Пине свою тайну и вместе с ней встречала Боди ночью в порту. Они укрылись в городской квартире Эрики, которая снова «удрала» в Германию, оставив ключи Александре. «Оставшись вдвоем, мы дали волю своим чувствам», — это все, что рассказал позже Боди об их тайном свидании. Очень кратко, но вполне красноречиво... Коллонтай уже заручилась согласием Москвы на трехнедельный отпуск для отдыха и поправки здоровья — две комнаты в отеле курортного городка Лилехаммер, к северу от Осло, были заказаны тоже.

С утра они работали над переводом сборника ее статей по женским проблемам — Боди занимался во Франции переводами марксистской литературы, прежде всего Ленина. В этом ряду нашлось место и для книги Коллонтай, предназначенной к выпуску Коминтерном, но так и не увидевшей света на русском языке. После обеда отправлялись на прогулку вдоль озера, во время которой Коллонтай давала волю уже не чувствам, а мыслям. Никогда еще Боди не видел ее столь подавленной. Больше всего ее унетало, что с такой немислимой быстротой она стала чужой в своей стране, рядом с теми, кто вос-

пользовался плодами победы, к которой она чувствовала причастной и себя саму.

— Кроме пяти-шести товарищей, я в Москве уже никого не знаю. Совсем другие люди, другая обстановка, другие отношения и образ жизни. Я не знаю, как там себя теперь надо вести, особенно с аппаратом, в руках которого — все! Стараюсь добросовестно исполнять указания, понимая, насколько они бестолковы, ошибочны, а иногда даже вредны.

Больше всего ее пугали разительные перемены в поведении Сталина.

— Все, что было в нем худшего, стремительно развивается. Мы стояли вместе с Рыковым и Томским, и Сталин нес какую-то чушь, выдавая ее за анекдот. По лицу его было видно, что мы все обязаны смеяться. И мы смеялись! Понимаете, мы смеялись... Потом он повторил тот же бред — словно впервые. И мы опять смеялись. Это была чистая паранойя, чистая паранойя...

Психиатром не была, о том, что точно к такому выводу уже пришли крупнейшие специалисты, скорее всего, не знала, но диагноз поставила точный. Боди не посмел, однако, предложить ей все бросить и бежать без оглядки. Теперь он был убежден, что она к этому не готова и, несмотря ни на что, приспособилась к новым условиям, извлекая максимум возможного из своего посольского статуса. Не только ОНИ, но и ОНА была уже совершенно другой.

Три недели пролетели незаметно. Лишь тогда Боди объявился как только что приехавший без предупреждения — специально для того, чтобы забрать свою семью. Жена и дочь собрались за два дня. Провожать их Коллонтай, разумеется, не пошла — с Боди она простилась еще в Лиллахаммере. Коллонтай была совершенно спокойна и больше не строила никаких планов. Боди решил, и был прав, что психологическая усталость и бесконечное ожидание удара из-за угла подавили ее волю, притупили эмоции и сделали ко всему равнодушной.

Даже в самом лучшем случае — она понимала это — следующая встреча с Боди могла состояться не скоро. Коллонтай оставалась в окружении людей, с которыми у нее не было ничего общего. Омерзительный торгпред Элердов, которого она уже в глаза называла тупицей и который по долгу службы молча сносил все ее уколы, ежедневно досаждал ей доносами на сотрудников, а на нежелание выслушивать их язвительно реагировал: «Вы не боитесь утратить бдительность?» Общаться по-человечески Коллонтай могла только с норвежцами, но слишком частое общение с ними неизбежно могло породить нехорошие мысли у коллег «торгпреда» Элердова. Впрочем, мысли эти и так уже к ним давно приходили.

Забрезжил было луч надежды — пришло приглашение на конференцию в Гааге, где ей предложили выступить с докладом о праве женщины на сохранение своего гражданства при браке с иностранцем. Сейчас, почти семьдесят лет спустя, актуален вопрос, как женщине в этом случае НЕ давать гражданство мужа-иностранца. Тогда все еще было наоборот... Но Голландия отказала в визе «даме с дурной репутацией», не смущаясь тем, что дама эта посол при другом европейском королевском дворе. Даже шум в газетах ничего не изменил.

Истинная причина этой скандальной акции была, однако, в другом. Среди бела дня был похищен в Париже царский генерал Кутепов — ослиные уши Лубянки торчали слишком уж явно. Правительства разных стран старались любым способом выразить свое отношение к этой гнусности — Коллонтай просто стала на этот раз искупительной жертвой. В помещение полпредства русские норвежцы подбрасывали анонимки: «Если вы, полпредша (следуют бранные эпитеты), в двухдневный срок не опубликуете в газетах, где вы спрятали генерала Кутепова, ваше полпредство будет взорвано». Король распорядился усилить охрану полпред-

ства, и несколько дней его сотрудники жили в полицейской осаде.

Час от часу не легче: один за другим в разных странах перешли на положение невозвращенцев несколько высокопоставленных советских дипломатов. Элердов стал требовать от Коллонтай разоблачить в полпредстве потенциальных изменников. Не успела она ему указать на дверь, как пришел его заместитель: «Неужели вы доверяете Элердову? Это же кандидат в невозвращенцы!» Чаша терпения переполнилась. Она решила немедленно потребовать от Москвы прекратить эту, как она ее называла, «войну мышей и лягушек», освободить ее от опеки Элердова, потом остыла. Письмо пришлось бы отдать шифровальщику, а то, что и он из того же ведомства, она знала прекрасно. Выхода не было, приходилось терпеть.

С каждым днем Коллонтай все больше ощущала ту «самоцензуру», которая уже не нуждается ни в чьих понуканиях: правила игры становились правилом ежедневного поведения. И даже управляли ходом ее мыслей. В Норвегию приехала на гастроли прославленная балерина Анна Павлова, жившая в эмиграции. На афишах значилось: «знаменитая русская танцовщица». Билеты разошлись моментально, восторженные рецензии появились во всех газетах. Коллонтай не только запретила своим сотрудникам «глазеть на эмигрантку», но и вручила ноту протеста министру иностранных дел: «Госпожа Павлова изменница России, а не русская танцовщица, она не вправе нигде представлять русское искусство». Прочитав в газетах об этой ноте, Эрика не поверила своим глазам. «Тебя опять оболгали, — сказала она по телефону, — ты не могла сказать такой вздор про великую балерину. Я сама была на ее вечере. Это же чудо...» Коллонтай промолчала. В еще большее смятение повергли ее норвежские коммунисты. Забрав в полпредство «с черного входа», они требовали разъяснений: «Верно ли, что коммунист и друг Советского Союза не вправе слушать в опере

эмигранта Шаляпина?» Она пыталась оправдаться, чувствуя, что все доводы звучат неубедительно, а сама она начинает походить на душителя искусства.

В разгар всей этой суматохи пришло приглашение короля пожаловать на обед. Ей захотелось выглядеть на этом приеме особенно элегантно. Вместе с Пиной они выбрали зеленое бархатное платье, украсив его драгоценностями. Выбор оказался удачным — она гляделась ничуть не беднее, чем дамы высшего норвежского света. Коллонтай обожала королевские приемы: блеск мундиров и хрусталя, дворцовые интерьеры, пестроту туалетов, старинный фарфор, сервировку стола, украшенного алыми розами, приглушенную музыку откуда-то издалека, светскую болтовню — ни о чем, а вроде бы и о чем-то... На этот раз ужин у короля Хокона причинил только травму: ее избегали, а если кто-то из гостей и подходил к ней, то лишь для того, чтобы выразить свое удивление «нападками на великую Павлову». Уйти до окончания ужина она не могла — на скандал никто ее не уполномочил. И Коллонтай пришлось выслушивать весь вечер холодно вежливые, недвусмысленные упреки от соседней по столу.

Той же ночью Коллонтай написала письмо в Москву. Краткое и решительное: «Прошу отозвать с дипломатической работы. Хочу к советским людям». Писала вполне искренне, не задумываясь над тем, что же она будет делать в обществе «советских людей» — без королевских приемов и дипломатических раутов, без загородных отелей, без пестрой толпы европейских столиц, без великосветских бесед на нескольких языках сразу, без права кому-нибудь показать свои туалеты, в эпицентре партийных интриг и чиновничьих игр, в атмосфере всеобщей ненависти и всеобщего страха.

Обычно ответ из Москвы приходил через месяц-полтора, редко позже, но никогда — раньше. На этот раз он пришел вечером следующего дня. Ее не только не отзывали — ей дали дополнительный пост: шарже д'аффер в Стокгольме. И повелели не-

замедлительно выехать в шведскую столицу. Шифровку подписал Литвинов, но текст с непреложностью выдавал сталинский стиль.

Причина была очевидной: вслед за советником советского посольства в Стокгольме Дмитриевским на положение невозвращенца перешел и военный атташе Соболев. В посольстве — а еще больше в Москве — царила паника, безнадежно больной посол Копп был при смерти, посольство осталось без присмотра. Сталин же был убежден, что лучшего специалиста по Скандинавии, чем Коллонтай, он не найдет. Тем более — сразу. В преданности бывшей Валькирии он вряд ли мог сомневаться: ловец и знаток ущербных душ, он давно уже понял, что, сломленная, отвергнутая, отторгнутая, она не представляет ни малейшей опасности и мечтает лишь об одном — дожить в покое и комфорте свою жизнь.

Вчера еще хотевшая укрыться в Москве от дождавших ей вопросов и осуждающих взоров, Коллонтай почувствовала прилив новых сил. Польщенная высоким доверием, она ощутила потребность наилучшим образом — и как можно скорее! — «оправдать доверие партии». Проведя в лихорадочных мыслях целую ночь, она едва дождалась утра и выехала первым же поездом. Естественно, с Пиной. В Стокгольме ее уже ждали — шифровка пришла и туда. Поселившись в двухкомнатном апартаменте Гранд-отеля, Коллонтай повелела посольским работникам — всем до единого — поочередно ее навестить.

Это было не столько комичное, сколько печальное зрелище: каждый, кто входил в ее покои, начинал с того, что клялся в верности советской власти и в готовности всячески помочь разоблачению возможных отступников. Впервые со времен гражданской войны Коллонтай ощутила себя полномочным представителем могучей, таинственной силы, которой дано право казнить или миловать. От ее аттестации зависела сейчас если и не жизнь, то, по крайней мере, карьера этих перепуганных людей.

Они смотрели на нее не как на прославленного дипломата или партийного пропагандиста, а как на ревизора с чрезвычайными полномочиями, которого прислал сам великий продолжатель славного дела Ленина. С удивительной быстротой Коллонтай вживалась в эту, вроде бы ей чуждую, роль.

Нет, никакого доноса на конкретных людей она не написала. Да и написать было нечего: не могла же она залезть людям в душу или под черепную коробку! Но отправила рапорт «о нездоровой обстановке в полпредстве Советского Союза в Стокгольме». Сообщала, что «расположение» полпредства «предрасполагает к нежелательным контактам». «Советское полпредство — это просто две квартиры в большом доме; этажом ниже живет портной, этажом выше расположены красильня и чистка, а на первом этаже автосервис. <...> Каждый сам может сделать выводы из такого соседства». Сама Коллонтай «выводы» сделала, запретив всей советской колонии столоваться у белогвардейского повара («видите ли, пироги русские хорошо печет! А что у него при этом на уме? И чьи задания он выполняет?») и шить платья у белогвардеек.

Куда менее плодотворными были ее потуги добиться у шведских властей выдачи сбежавшего атташе. Министр иностранных дел, консерватор Трюггер, которого она посетила, решительно заявил, что у Швеции нет традиции выдавать тех, кто ищет спасения.

— Соболев — командир Красной Армии, — настаивала Коллонтай, — его поступок — это дезертирство и измена.

— Право на политическое убежище, — отвечал министр, — предусмотрено шведскими законами.

— Но Соболев присвоил казенные деньги, — не унималась Коллонтай, — уголовные преступники не имеют права на убежище.

— Уж позвольте шведским властям решать, что следует делать в подобных случаях.

Поняв, что желанный исход ей не светит, Кол-

лонтай решила выторговать хоть что-то, но и тут ее ждал полный афронт.

— Хорошо, прекратите, по крайней мере, шумиху в прессе.

— Вы полагаете, фру Коллонтай, — улыбнулся Трюггер, — что это во власти министра иностранных дел? У нас свобода печати.

Докладывая Сталину о своей неудаче, Коллонтай не скупилась на бранные комментарии насчет коварства буржуазии, завершив свой рапорт выводом, заведомо близким душе и сердцу ее адресата: «Главной причиной невозвращения я считаю наличие в партии оппозиции и усиление провокационной работы враждебных нам зарубежных сил». Сталин получил именно то, что хотел получить.

В Осло ее ждала шифровка, полная достаточно прозрачных намеков: в обтекаемых выражениях Литвинов предлагал «дождаться» смерти полпреда Коппа, умиравшего от рака в берлинской больнице, и занять его место. Реакция Коллонтай на это известие кажется алогичной, неадекватной, даже абсурдной. Так ли уж, впрочем, абсурдной, если к ней подходить не рассудочно, а эмоционально? То есть так, как подходила сама Коллонтай. Вот она, эта реакция, отраженная в дневнике: «Вдруг почувствовала отвращение к запаху ночных фиалок — любимых, всегда напоминавших Куузу, юность, ожидание чего-то прекрасного. Впервые выставила их на ночь за дверь».

Смерть Коппа задерживалась, но пришло известие о другой смерти: в Осло умер Фритьоф Хансен. Совсем недавно, перед ее отъездом в Стокгольм, он заезжал в полпредство — сам управлял машиной, легко взбежал по лестнице, был полон энергии и сил. До него дошли слухи о том, что стремительная коллективизация может вызвать голод в России и на Украине. Хотел их подтверждения, заранее предлагал свою помощь. Коллонтай, как и положено совет-

скому послу, категорически отвергла домыслы буржуазной прессы. В его голубых глазах, так контрастно оттенявших красивую седину, она прочитала недоверие. Таким было ее последнее воспоминание о человеке-легенде, которого в Москве и чттили, и боялись.

На венке, возложенном Коллонтай от имени полпредства, была не согласованная с Москвой надпись: «Титану мысли, воли и сердца». Коллонтай и тут оставалась верной себе: напыщенная патетика сочеталась с примитивной неграмотностью («титан сердца» — за такое красноречие в любой школе поставили бы двойку) и резко отличалась от искренней, не нуждавшейся ни в каком надрыве скорби, охватившей город и всю страну.

Сразу же после похорон ей пришлось снова ехать в Стокгольм. Ее рапорт возымел действие — комиссия из Москвы прибыла для чистки двух полпредств сразу: начинали в Швеции, завершали в Норвегии. В комиссию по чистке включили и Коллонтай. По ее настоянию отозвали почти весь состав полпредства в Стокгольме. Наконец-то представился случай расквитаться и с ненавистным Элердовым: ее заключения оказалось достаточно, чтобы судьба торгпреда была решена. Практического значения для самой Коллонтай это уже не имело: ее миссия в Норвегии подходила к концу. Но эта маленькая победа грела душу, значит, Сталин, на которого, без сомнения, опирался Элердов, предпочел не его, а ее!

Итоги работы комиссии убедительно говорили о весомости ее мнения: все те, кого Коллонтай «отдала», были устранены, но никто из тех, за кого она поручилась, не пострадал. Она явно набирала очки в Кремле, оттого в такой испуг повергло ее неожиданное письмо от Чичерина, который вообще не баловал Коллонтай вниманием, а тем паче особым доверием. «Что же это делается? — восклицал он. — Проститутированный наркоминдел! Хулиганизированный Коминтерн!» Отвечать на такое письмо было немислимо. Промолчать — вроде бы тоже.

Она терялась в догадках: что случилось с Чичериным? Кто он — провокатор? безумец? самоубийца? Разъяснение пришло через несколько дней: Чичерина просто сняли с работы, отправив на пенсию. Наркомом иностранных дел стал Литвинов.

Лето выдалось жарким. В Москве прошел Шестнадцатый партийный съезд, разгромивший «правую» оппозицию — Бухарина, Рыкова, Томского. Из всех партийных деятелей именно к этим людям Коллонтай испытывала особую симпатию, Бухарина еще с дореволюционных лет считала талантом, умницей, добряком, видела в нем надежду на обновление и уж конечно же разделяла все его взгляды на так называемую внутрипартийную демократию и на отношение к крестьянству. Но откликнулась на его низвержение восторженным письмом Сталину, благодаря его за «замечательную речь на съезде» и за «мудрость партии, ведомой таким великим вождем».

О том, как на практике проявляется эта мудрость, рассказал ей некий «гость из Москвы». Имени этого прибывшего в Осло «посланца партии» открыть не удалось, сама Коллонтай в дневнике его инкогнито не раскрывает, но служебная принадлежность визитера не вызывает сомнений.

«Этот товарищ, — записала Коллонтай в дневнике, — сопровождал эшелон выселяемых с юга в Арктику кулаков. Забирали их, — говорит московский гость, — огулом, не всегда точно проверив, есть ли на деле наличие кулачества. Никто не предусмотрел, как это пройдет. Подлое вышло дело, — продолжает товарищ, — прямо смертоубийство без дурных намерений. Везли мы их в товарных вагонах, навалили народ, как баранов, детей, стариков, больных и калек. Кто самовар захватил, кто сбрую, кто настенные часы. Гвалт, писк, драки, спят вповалку, воды не припасли».

Рассказ «этого товарища» в записи Коллонтай длинный, с подробностями — выделим из него еще несколько пассажиров.

«Начались зимние холода, снежные вьюги, не-

проходимые леса. Полное безлюдье. А везут людей из плодородной полосы, из зажиточных деревень степного приволья, бабы леса испугались, никогда не видели. Вагоны нетопленые, из щелей дует. Мороз! Младенцы у груди матери замерзали, трупки из вагона прямо в снежные сугробы выкидывали. Бабы голосят! Старики и больные смерти просили, да и помирали. Одного старика — решили, что труп, — выволокли на снег, он вдруг закашлялся, втащили обратно, отходили. Молодка одна косы отрезала и укутала ими младенца, а я ему на голову шапку свою нахлобучил. Спасли! Кто свиней взял, — те выжили, а бараны и куры от холода сдохли».

Решив, как видно, что «товарищ из Москвы» сочувствует жертвам, которые он «сопровождал», Коллонтай отважилась напомнить, что арестованному министру Временного правительства Сергею Прокоповичу Ленин велел послать в тюрьму подушку и одеяло, а другого министра того же правительства, непримиримого меньшевика Ираклия Церетели, отправил в Финляндию, чтобы спасти от расправы. «Вы берете из биографии Ленина, — не без резона возразил ей московский товарищ, — лишь то, что вас устраивает. Ленин одобрил красный террор, он расстреливал заложников без всякой пощады, пособников буржуазии приказывал вешать на вонючих веревках, а вопли о гуманизме называл не иначе как интеллигентским слюнтяйством».

Беседа с инкогнито оставила у Коллонтай тяжелый осадок. Не столько сам рассказ, сколько доверие, которое ей оказал незнакомец. Мысль пошла по привычному пути: похоже на провокацию. Разоблачать болтливого гостя не стала, но отправила Сталину еще одно письмо с выражением полной поддержки его курса на ликвидацию кулачества как класса. Письмо было призвано обеспечить ей политическое алиби, поэтому писала она его долго, тщательно выбирая слова и преодолевая тягчайшую головную боль. Едва поставила точку, как в глазах по-

темнело, карандаш вывалился из рук, она свалилась на пол, захлебываясь рвотой. Прибежавшая Пина вызвала скорую помощь. Там поставили диагноз: тяжчайший гипертонический криз. В больнице, придя в себя, Коллонтай первым делом спросила, сообщено ли в Москву о ее болезни. «Ждали ваших указаний», — успокоила Пина. «Ни слова!» — дала ей Коллонтай. Но в Москве о болезни уже знали: доброхоты, конечно, нашлись.

Пока она возвращалась к жизни, тот, чьей смерти ждали, из жизни ушел. О кончине Коппа Коллонтай узнала из шифровки, которую ей принесли в больницу: «Вы назначены полпредом в Швеции. Выезжайте за инструкциями в Москву».

«Прощай, Христиания! — записала она в дневнике. — Здесь догорели последние дни моей личной жизни».

ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ

Никаких инструкций в Москве не дали. «Какие вам нужны инструкции, — удивился Литвинов. — Вы сами все знаете». Сталин в кратком телефонном разговоре пожелал успеха — этим его указания на сей раз исчерпались. Зато повелел ей продекларировать свою лояльность: после низвержения самой опасной из всех оппозиций он требовал от каждого «бывшего» заявления о согласии с «генеральной линией партии». Две ее статьи, опубликованные в «Правде» и перепечатанные в «Юманите», не оставляли никакого сомнения в том, что она думает и как она себя будет вести. Нарочитая расплывчатость формулировок свидетельствовала о том, что Коллонтай не считает позицию «правых» столь уж порочной. Категоричность в выражении личной преданности Сталину говорила о том, что в любом случае она сохранит верность ему и его политике.

Сталин удовлетворился. Проявив заботу о ее здоровье, он приказал ей сначала «подлечиться дома» и лишь потом отбывать к новому месту службы. Ей предписали поехать в Сочи, в начавший обретать свой статус курортной «столицы» Черно-

морья городок, где близ источника сероводородных термальных вод был построен правительственный санаторий. Цари и вся русская аристократия, не будь дураками, отдыхали в благодатном Крыму. Теперь по прихоти грузина Сталина началось освоение полюбившегося ему Кавказского побережья, куда до революции, из-за гиблости здешних малярийных мест, ссылали врагов режима.

«Подлечиться» — притом гораздо успешнее — Коллонтай могла бы в Германии, сероводородные ванны не имели никакого отношения к ее недугам. В Сочи ей непременно предстояло увидеть кого-то из давних знакомых, а этого она боялась пуще всего. Но послушаться приказа, естественно, не могла. Первая же встреча повергла в отчаяние: у ворот санатория, словно поджидая машину, которая ее привезла, стоял Крыленко. Весь вид его говорил о том, что он готов забыть прошлое и ее призывает к тому же.

Еще несколько лет назад Коллонтай не приняла бы, наверно, этой игры. Но боевой дух давно покинул ее, к выяснению отношений она не стремилась, а сторониться тех, кто вместе с нею удостоился чести быть гостем этого санатория, позволить себе не могла. Вместе с Крыленко они, как ни в чем не бывало, гуляли по тенистому парку и обсуждали текущие дела. Он сам затеял разговор о Сталине, позволившем — в связи с недавним празднованием его юбилея — возвести себя в ранг вождя мирового пролетариата. «Диктатор России, — кипятился Крыленко, — это бы я еще понял, но при чем тут мировой пролетариат?» Он размахивал «Правдой», на первой странице которой был воспроизведен транспарант над гигантским портретом человека с усами: «Да здравствует вождь мирового пролетариата товарищ Сталин». Подошел Григорий Петровский — Коллонтай с ним работала на Украине, считала его порядочным человеком. «Разве Ленин допустил бы такие восхваления в свой адрес? — поддержал Петровский. — А темпы коллективизации, которые он

навязал?! На Украине доходило до прямых антисоветских восстаний».

Коллонтай явно втягивали в политическую драку, от которой она успела отвыкнуть. По существу она была, конечно, согласна и с тем, и с другим. Но уже научилась держать язык за зубами. Чего от нее хотят эти товарищи, обнажая столь недвусмысленно свои затаенные мысли? А что, если это провокация? Спасительное словечко, недавно вошедшее в обиход, помогало взять себя в руки и не дать обвести вокруг пальца. «Не уверена, что вы правы», — сухо сказала она, прерывая беседу.

Утром, затребовав машину и ни с кем не простясь, Коллонтай отправилась на вокзал. В этом санатории врачи не имели права задавать лишних вопросов: пациенты так же неожиданно уезжали, как и приезжали, никому не давая никаких объяснений. Литвинову сказала, что «прохлаждаться в санаториях» она не имеет права. Тот согласился.

В Стокгольме ее ждал сюрприз: пока она «прохлаждалась» в Сочи, прибыл новый торгпред. С первой же минуты она почувствовала к нему полное расположение. Об этом — спонтанная, по горячим следам — запись в дневнике: «Очень, очень симпатичный кавказец, культурный, умный, приятная внешность, приятные манеры. Интересно разговаривать с таким эрудированным и внимательным собеседником. <...> Уверена, что сработаемся <...>» Это был Давид Канделаки — молодой человек с туманным прошлым, недавно начавший работать в наркомате внешней торговли. Про него говорили, что он очень близок к Сталину, точнее, к Алеше Сванидзе — брату первой жены Сталина и его личному другу. Вхожесть в дом вождя делала нового торгпреда в глазах Коллонтай еще более симпатичным, а его очаровательная молодая жена — врач Евгения Бубнова — покорила своей готовностью немедленно включиться в общественную работу.

Все складывалось как нельзя лучше: штат новых

сотрудников не мог идти ни в какое сравнение с тем, какой ее окружал в Норвегии, а единственного тамошнего сотрудника, с которым она ни за что не хотела расстаться, перевели по ее просьбе в Стокгольм. Это был секретарь по политическим вопросам Семен Мирный, с которым Коллонтай познакомилась еще в Крыму, где он выполнял тайные поручения Дзержинского. На счет того, что здесь, в Скандинавии, Мирный по-прежнему выполняет задания наследников «железного Феликса», сомнений у Коллонтай не было никаких, но это, как видно, ее не смущало. О том — вполне недвусмысленная фраза из ее письма Зое Шадурской, которая к тому времени снова вернулась на работу в Москву: «Главное утешенье — тот, кто заменил мне Б<оди>».

Семену Мирному только что исполнилось 32 года, он был на 26 лет моложе Коллонтай и на четыре года — Марсея Боди. Про таких, как он, говорят, что они «горят на работе»: безотказно, с энтузиазмом выполнял любые задания, был компанейским человеком в советской колонии, светским — в общении с иностранцами, к тому же безупречно владел пятью языками, норвежским и шведским в том числе, что многократно повышало его акции в глазах полпреда. Сочетание европейской культуры и партийной восторженности относилось к числу таких качеств, которые Коллонтай ценила выше всего. Но в полной ли мере он заменил ей Боди, об этом можно только гадать. Нет никаких свидетельств того, что она доверяла ему свои тайные мысли. Он не стал для нее тем конфидентом, который мог бы хоть в малой степени избавить от гнетущего одиночества. Тем более в городе, который пока что был для нее совершенно чужим.

Шведские власти предпочитали не вспоминать, что совсем еще недавно Александре Коллонтай был навеки запрещен въезд в эту страну. Запрета больше не было, но не было и чувства близости ни к стране, ни к ее столице. Ничто не могло заменить

ей ту Христианию, о которой, как писала она Зое, «страшно вспоминать. Взяла газету, там описание вечера осеннего, когда город начинает оживать после летних каникул. Бросила газету, вскочила. Если читать дальше — сделается дурно. Дурно от тоски по всему, что ушло, отрезано. Боль души, превращенная в физическое страдание. <...> Восемь лет жизни — это отрез крупный. <...> А сейчас <...> только дым воспоминаний. <...> И вот от этого сознания — до дурноты безотчетно жутко, страшно и больно».

На третьем этаже дома, который купило полпредство, Коллонтай оборудовала себе квартирку из трех маленьких комнат и украсила ее портретами тех, к кому постоянно возвращались ее мысли. Дяденька, Петенька, Санька и Павел мирно соседствовали на общей стене, напоминая хозяйке о бурно прожитой ею жизни. Чуть поодаль — в гордом одиночестве — висел портрет Боди, а фотографиям родителей, сына и внука был отведен столик возле кровати. Снимку мужа — Владимира Коллонтая — места нигде не нашлось. Ленин за рабочим столом украшал стену гостиной, а Сталин с трубкой и Ворошилов в парадной форме занимали положенное им место в служебном кабинете полпреда этажом ниже. К ним шли из Стокгольма ее письма с выражением преданности, чаще всего без какого-либо формального повода — так сказать, по зову сердца и от души. А Зое она писала: «Что Петр Павлович <Маслов>, где, как он сейчас? Случайно не знаешь?» В другом письме: «Душа болит за А. А. <Саткевича>. Ничего о нем не знаю. А ты?» От Шляпникова приходили письма, полные тоски и отчаяния. От Дыбенко — столь же тоскливые, но прикрытые натужной бодростью и казенным оптимизмом.

Он жил теперь в Ташкенте — командовал Среднеазиатским военным округом. Валентина ехать с ним не пожелала, осталась в Москве и все никак не могла «найти себя», собираясь то в один институт, то в другой. И сына не отдала, хотя в Москве он

жил не у матери, а у родственников. Валентина время от времени наезжала в Ташкент, чтобы проверить «нравственность великого полководца», освободив при этом себя от чрезмерно стесняющих правил. «Мадам стала совсем не выносимой, — жаловался Дыбенко в одном из писем. — <...> Так хочу видеть тебя, так мало отрадного в личной жизни и так мало минут, похожих на те, которые проводишь с тобой». О его связи с известной в то время спортсменкой — рекордсменкой-бегуньей на короткие дистанции Зинаидой Ерутиной — знали тогда не только в Ташкенте. И даже не только в Москве.

В шведской компартии разразился кризис, как всегда основанный на борьбе личностей за влияние и посты, но прикрытый — опять-таки как всегда — расхождением в политических ориентирах. Сначала от промосковской группы отделился Карл Чильбум, приняв линию Троцкого, потом верного сталиниста Свена Линдеруга попытался теснить Хуго Силлен, которого заводила его энергичная и честолюбивая супруга. Дуэль партийных лидеров превратилась в дуэль их жен: против мадам Силлен активно выступала Герда Линдерут, с которой Коллонтай во время их потайных встреч сумела найти общий язык. Это и определило характер рекомендаций, направленных ею шифровкой лично Сталину и в Коминтерн.

Сталин снова вызвал ее в Москву — доложить обстановку. Поездка совпала со скандалом, поднятым в печати. Шведский инженер Карл Россель, давным-давно обосновавшийся в России, был арестован в Ленинграде по обвинению во вредительстве, и все обращения из Стокгольма к советским властям остались без ответа. Министр иностранных дел Рамель попросил Коллонтай перед ее отъездом лично похлопотать за арестованного. Шеф Лубянки Менжинский, к которому она обратилась сразу же

по приезде, сослался на то, что заниматься «таким рядовым делом» ему недосуг.

На следующий день ее принял Сталин. Он одобрил ставку на чету Линдерутов — Коллонтай поняла, что Сталин располагал не только ее рекомендацией. Значит, она не ошиблась, и Сталин оценил это. Без видимой логической связи он предложил ей передать «шведским товарищам» его дружеский совет: изучить гитлеровскую «Майн кампф», которой зачитывались тогда все советские шефы (Сталин приказал ее издать на русском языке «для служебного пользования»), и направить свои мысли «на эту стезю». Коллонтай не осмелилась просить о дополнительных разъяснениях: значит ли это, что коммунистам надо учиться у Гитлера или, напротив, готовиться к борьбе с ним.

Сталин был благодушен, много, хоть и плоско, шутил. Коллонтай решила напомнить о деле Росселя и даже пожаловалась на Менжинского, который не видит в «рядовом деле» большого политического смысла. Сталин молча поднял телефонную трубку аппарата прямой связи с Менжинским: «Чтобы этого Росселя, — жестко сказал он, — через двадцать четыре часа не было на территории Советского Союза».

Россель прибыл в Стокгольм раньше, чем туда вернулась Коллонтай. Едва дождавшись ее, он вломился в полпредство, потребовав немедленной встречи.

— Зачем вы, мадам министр, — чуть ли не кричал он, отказываясь сесть, — разбили мою жизнь? Зачем добились моей высылки из Союза? Я же хотел не в Швецию, в эту насквозь буржуазную страну, где эксплуатируют трудящихся, где царит безработица, я хотел оправдания в советском суде и возвращения на любимый завод. Верните меня в свободную советскую страну, которая идет к коммунизму под водительством великого товарища Сталина. Я ни на кого зла не держу. Ну, арестовали по ошибке, что ж тут такого? Бывает... Это шведские

власти подняли шум из ничего, я-то ни о чем не просил...

Но вернуть Карла Карловича, как себя называл Россель, «в самую свободную» Коллонтай не смогла. Зато на собрании советской колонии, рассказав о его судьбе, восхищалась тем, как трудящиеся всего мира любят Страну Советов и лично товарища Сталина. Давид Канделаки сидел в первом ряду и благоклонно внимал этой восторженной речи: Коллонтай знала, что слова ее дойдут до того, к кому обращена любовь мирового пролетариата. Вечером она написала Зое: «Живу на людях, будто на сцене. Играешь, играешь, не скажешь же того, что думаешь, напротив, все чаще говоришь то, что не думаешь...»

По множеству признаков она все более убеждалась в том, что торгпред действительно близок к вождю и выполняет здесь его личные поручения. Все друзья, которые приезжали к нему в Стокгольм или состояли с ним в переписке, относились к узкому кругу сталинских родственников или домашних приятелей: кроме Алеши Сванидзе, еще и Шалва Элиава, Станислав Реденс, Иван Аллилуев, Зураб Мголоблишвили... Для чего послал его Сталин в Стокгольм? Следить за полпредом? Или с тайными поручениями, исполнить которые, по его мнению, она сама не способна? Эти вопросы мучили ее, и ответа на них она не находила. Но одно не вызывало сомнений: появился прямой канал связи с вождем, до которого она могла довести информацию, не подходившую ни для официальных, ни для личных писем.

Какая-то неведомая сила побуждала ее к тому, чтобы в присутствии Канделаки все время доказывать свою лояльность. Больше того — личную преданность Сталину и его политике. Встреча в Сочи оставила горький осадок, разговор с Крыленко и Петровским пугал своей неясностью. Зачем они ТАК говорили с ней, на кого «работали», чьи поручения выполняли? Мысль о том, что старые то-

варищи могли без всякого поручения, «просто так» отвести душу с человеком, которому доверяли, — эта мысль ей в голову не приходила. Искренние беседы друг с другом без конкретной цели и личной выгоды давно уже вышли из партийного обихода. Особенно угнетало ее замечание Петровского о «немыслимых» темпах коллективизации: как раз на отношении к сталинской мании сплошной коллективизации проверялась в Москве верность генеральному секретарю и «генеральной линии партии».

Восьмого марта Коллонтай решила отпраздновать особым образом Международный женский день. К этой дате она сочинила пьесу в трех актах, которую предстояло разыграть сотрудникам советской колонии. Роль одной из комсомолок («красавицы Ани», как сказано в авторской ремарке) она поручила жене Канделаки. Сам торгпред, как всегда, сидел в первом ряду и хлопал оглушительней всех.

Красавица Аня втолковывала своей косной, отставшей от жизни матери:

— Я тебя уму-разуму научу. Добро копишь, а радости нету. Ты погляди, как в колхозе живут: работа, учеба, трудовой коллектив. Растет колхоз, богатеет. Есть трактор, сепараторы, электричество. И повышение трудовой квалификации. А у тебя — что за жизнь?

Пока мать размышляла над монологом дочери, из радиорепродуктора доносился голос диктора: «В Швеции кризис сгущается. Экспорт падает. Армия безработных принимает угрожающие размеры. За ней черной, мрачной тенью плетется проституция». После столь мощной атаки на ее отсталое сознание мать наконец прозревает.

— И я за тобой, дочка! — восклицает она. — В колхоз! В колхоз!

На следующий день Канделаки докладывал по своим каналам в Москву: «Пьеса товарища Коллонтай, выдержанная в русле поддержки генеральной линии партии, прошла с успехом».

Чтобы сблизиться еще больше с этой полезной

семьей, Коллонтай под началом доктора Бубновой создала «Линию-клуб», который, согласно его «устава», имел целью «сохранение линии, а также исправление испорченной; возбуждение аппетита и обмена веществ, при одновременном обмене мячами; физкультурное времяпрепровождение и сближение членов клуба (до определенных границ)». Экспертом и казначеем клуба была определена совсем юная дочь Канделаки — Тамара, а почетным членом клуба — кот Канделаки по имени Васька — «вследствие образцового умения обращаться с мячом». Таким образом, ни один член семьи Канделаки не был забыт, каждому нашлось подходящее ему почетное место. Следует ли удивляться, что титул «мисс Линия» достался Тамаре, а титул «мистера Линия» ее отцу?

Уединившись в своей квартирке, куда не имел доступ никто, кроме Семена Мирного, Коллонтай давала волю подлинным чувствам. Пине казалось, что, возвращаясь из служебных помещений в личные, она сразу же старела на двадцать лет. Утешением служили добрые слова, которые всегда находил для нее Мирный. После вечера по случаю 8 Марта, назвав ее пьесу прекрасной, он вдруг сказал многозначительно: «Мне кажется, я хорошо понял ваш замысел». Она была благодарна ему за понимание и ответила слабой улыбкой. А ночью вдруг проснулась от внезапно охватившего ее страха. Что такое он понял? Какой именно замысел? Не выполняет ли и Мирный возле нее какую-то специальную миссию, вызывая на особую откровенность?

(Позже судьба предоставит ей очередную возможность доказать свою лояльность. Очередная Нобелевская премия по литературе вручалась русскому эмигранту Ивану Бунину. На официальной церемонии вручения по традиции непременно присутствовал весь дипломатический корпус. Даже не испра-

шивая указаний Москвы, Коллонтай отказалась участвовать в церемонии, не слишком, правда, удивив этим ни шведские власти, ни своих иностранных коллег.)

Жизнь завязывала и развязывала немыслимые сюжетные узлы, на которые так был горазд XX век. Ставленник Сталина (и Коллонтай) коммунист Свен Линдерут загремел в тюрьму по обвинению в государственной измене. Зато все ее бывшие друзья социал-демократы — со многими из них еще так недавно она была на «ты» — стали видными политиками и заняли в стране руководящие посты. Пер Альбин Ханссон, который в качестве члена исполкома социал-демократической партии сопровождал ее в 1912 году на митинги и представлял как дорогого и верного друга, стал премьер-министром. У секретаря правящей партии Густава Меллера она тогда жила в гостях и называла его своим братом. Другой спутник по той давней пропагандистской поездке Рикард Сандлер стал министром иностранных дел, и, нанося официальный визит, она с трудом вместо привычного «Ричи» обращалась к нему: «Господин министр».

Ее предшественник — посол Копп — безуспешно добивался от шведов вернуть Советскому Союзу 10 миллионов долларов — часть золотого запаса России, размещенная Керенским в шведских банках. «Ричи» устроил ей это в два счета, заручившись поддержкой у банкира, в чьем фактическом владении золото оказалось. Встреча с этим — истинным! — хозяином Швеции сыграла решающую роль во всей последующей судьбе Коллонтай.

Они познакомились на обеде у кронпринца. Вальяжный старик, почтительно целовавший ее руку, не нуждался ни в каких рекомендациях. Его звали Маркус Валленберг, он был старшим в некоронованной династии шведских банкиров, а его сын Якоб состоял содиректором могущественного Эншильд-банка, через посредство которого, по рекомендации Коллонтай, Москва поддерживала все торговые и

финансовые отношения со Швецией и другими скандинавскими странами. Этот же банк, кстати сказать, финансировал и основную часть торговых сделок Швеции с Германией.

Глава банкирской династии и советский полпред почувствовали взаимное расположение. Во всяком случае, готовность продолжать деловые отношения, сулившие взаимную выгоду. Об этом тотчас пошла в Москву восторженная информация Коллонтай. С ней ознакомились лишь несколько человек: Сталин, Молотов, Микоян, Литвинов, Менжинский и Ягода. Столь ограниченный круг отобранных лиц с полной очевидностью говорил и о значительности, с точки зрения Кремля, полученной от Коллонтай информации, и о возможных перспективах ее практического использования.

Постепенно она стала привыкать к Швеции, чему весьма способствовали и старые контакты, и знакомства с новыми людьми, которые искали с ней встречи, и то почтение, с которым местная элита всех направлений относилась к первой в мире женщине-послу, оказавшейся волею судьбы именно в этой стране, а не в какой-то другой. Здесь она выглядела респектабельной дамой, влюбленной во все шведское, а в Москву, отлично зная, чего от нее ждут, посылала информацию совершенно иного свойства. «Нацизм и здесь крепнет со всей очевидностью, — сообщала она в очередном посольском рапорте. — <...> Реакционная пресса завела снова старую песню об опасности с Востока. Очень нам нужна Швеция!.. А между тем по всей Швеции создаются чисто фашистские организации под разными названиями».

Сталин снова вызвал ее в Москву. Для того чтобы этот вызов без видимой причины не породил каких-либо подозрений, он был представлен шведскому мининделу как поездка полпреда в отпуск. Обычно о содержании своих бесед с вождем Кол-

лонтай с разной степенью подробностей писала в дневнике. На этот раз нет ни одной детали. Вопрос, ради которого, скорее всего, Сталин и вызвал Коллонтай в Москву, действительно не подлежал никакому отражению в дневнике. По данным советской разведки, скандинавские социал-демократы собирались пригласить находившегося в турецком изгнании Троцкого с лекциями по случаю приближавшейся пятнадцатой годовщины большевистского переворота. Сталин начал готовиться загодя: его явные и тайные посланцы в разных странах получили задание оказать влияние на правительства, чтобы устроить Демону Революции подобающую обструкцию. Особо большие надежды Сталин возлагал на личную близость Коллонтай к правившим в Швеции социал-демократам.

В гостевом дворце наркоминдела на Спиридоновке она принимала кое-кого из старых друзей. Имен нет ни в письмах ее, ни в дневнике: Коллонтай оберегала их от возможных последствий, хотя, конечно, не только о самих визитах, но и о каждом произнесенном в помещении слове прекрасно знали на Лубянке. По крайней мере, одно имя известно: Шляпников. Санька!.. Незадолго до ее приезда группа «красных профессоров» ополчилась в «Правде» против воспоминаний Шляпникова «1917 год», обвиняя автора в том, что тот «не осветил направляющую и руководящую роль товарища Сталина в Октябрьском восстании». Шляпников искал у Коллонтай сочувствия и понимания, но она уклонилась от разговора на столь опасную тему.

«Старые, заслуженные большевики, — осторожно писала она в дневнике, — все критикуют, охаивают, осмеивают, иронизируют, с раздражением говорят, что так продолжаться не может. <...> Мы теряем верный курс, — говорят они. — Компас испорчен. <...> Если спросить, что они предлагают, какие меры? Их нет». Вряд ли она не знала, какие «меры» предлагали «ворчуны» и «критиканы»: уже ходила по рукам так называемая «платформа» Мар-

темьяна Рютина, назвавшего Сталина «зарвавшимся, обнаглевшим и безраздельным хозяином страны», уже многими предлагалось — в частных разговорах, разумеется, — исполнить завещание Ленина, заменив самодержца на его посту другим достойным товарищем. Перед кем лукавила Коллонтай, «доверительно» сообщая интимному дневнику, что «в партии есть недовольство», но «нет разных течений и конструктивных идей»?

В подмосковном лесу, через год после своего внезапного исчезновения, нашелся ее племянник Миша Домонтович. Но, увы, не сам Миша, а его труп — с явными признаками самоубийства. Человек, чуждый революционных убеждений, Миша поступил на службу к большевикам и честно пытался исполнять свои обязанности. Но невыносимый разлад с совестью и отчаяние привели его к трагической развязке. «Отдаться личной печали, — прокомментировала Коллонтай в дневнике это событие, — нет, такая роскошь не ко времени. Надо жить и бороться ежедневно, ежечасно за наши идеалы». Не уточнив, о каких идеалах идет речь и какие из них считаются «нашими», она позволила потомкам толковать как угодно эти слова...

Узнав о ее приезде, в Москву примчался Дыбенко. Павел только что стал дважды отцом: у Зинаиды Ерутиной родился сын, и она без каких-либо возражений отдала его отцу, отказавшись от материнских прав. Это известие не слишком взволновало Александру — куда больше ее интересовали настроения в армии. «За кого наши славные воины — за генеральную линию или за ее врагов?» «Враги» у генеральной линии могли быть лишь тайные — о явном выступлении против уже не могло быть и речи. «Кое-кто за, но с оговорками», — уклончиво сообщил Дыбенко. Боялся называть имена? Или сама Коллонтай не могла их доверить даже своему дневнику? «Главное — сам Павел за генеральную линию, — записала она. — Без оговорок. Хорошо!»

О своей радости сообщила немедленно Сталину. Видимо, именно этим вызван шаг, не имевший аналогов в биографии вождя двадцатых — тридцатых годов. А тем паче — позднее... Сталин пригласил к себе на ужин Коллонтай и Дыбенко. Об их беседе за хлебосольным кремлевским столом остались очень скудные сведения. Говорили все о том же — о настроении в армии. Возможно, и в разговоре наедине с Дыбенко Коллонтай затронула эту тему по подсказке вождя. Сталин, похоже, остался доволен беседой — сам подливал вино, заставил Павла петь украинские песни и не в тон, но с увлечением ему подпевал. Прощаясь, вдруг сказал:

— Скажи-ка, Дыбенко, почему ты разошелся с Коллонтай? Очень большую глупость ты сделал, Дыбенко.

Павел ответил не Сталину, а той, которую «бросил»:

— Это ты во всем виновата, товарищ Коллонтай!

— Идите и разберитесь, — заключил Сталин, пожелав обоим счастливого пути.

Обратный путь Коллонтай шел через Ленинград — оттуда она решила плыть в Стокгольм пароходом. Ей хотелось увидаться с Кировым, которого она почти не знала. Дыбенко сказал ей, что Киров любимец Сталина. Это побудило ее во что бы то ни стало добиваться с ним встречи. Был для этого пристойный повод: жена Кирова, Мария Маркус, несколько лет возглавляла в Ленинграде кампанию по спасению проституток, и главная российская специалистка в этом вопросе хотела узнать, сколь успешным был опыт ее соратницы. Но малограмотная, бестолковая, с на редкость отталкивающей внешностью Мария Маркус не столько «спасала» заблудших, сколько провоцировала еще большую их агрессивность. По совету мужа она давно уже укротила свой гуманный порыв и, отойдя от дел, предпочитала не вспоминать о позорной странице жизни.

Попытку установить контакт с Кировым Коллонтай предприняла еще несколько лет назад. Она дала

рекомендательное письмо к нему сыну своей давней знакомой по Петербургу Елены Симеон, вышедшей замуж за норвежского инженера Даниэльсена. Коля Даниэльсен переименовал себя в Николая Данилова и, когда дорос до девятнадцати лет, пожелал вернуться в Советский Союз. Письмо Коллонтай помогло ему устроиться шофером в гараже Смольного. Но мостом между Кировым и Коллонтай Данилов-Даниэльсен так и не стал. Когда ему доводилось возить Кирова, он неизменно передавал ему привет от товарища Коллонтай. Киров говорил «спасибо», и на этом «контакт» завершался.

Киров принял настойчиво рвавшуюся к нему Коллонтай, приготовив ей сюрприз, который в то же время избавлял его от бесед на серьезные темы. Он назначил ей свидание в опере, пригласив в свою ложу. Сюрприз состоял в том, что оркестром дирижировал племянник Коллонтай, сын ее брата, — он остался в ее памяти мальчиком в коротких штанишках. Теперь это был один из лучших молодых дирижеров страны Евгений Мравинский, только что принятый на работу в театр: Коллонтай попала на его первое выступление. Киров охотно говорил о музыке, о внимании к молодым талантам, но решительно уходил от политических тем. На домашнем обеде, едва заговорив о шведских лесах и лесопромышленности, встал из-за стола и умчался в Смольный, сославшись на срочный вызов.

Проводить Коллонтай на пароход пришла только Вера Юренева — Дяденьки не было в городе, он где-то проводил свой отпуск вместе с семьей. Коллонтай была чем-то раздражена, говорила бессвязно, на вопросы отвечала невпопад. В письме Зое Юренева воспроизвела лишь две красноречивые фразы, вне видимой связи с их разговором произнесенные Коллонтай, когда она уже ступила на трап: «Если нет отдушины для творческой энергии, жизнь кажется тюрьмой. Разве у тебя нет такого ощущения, будто кругом нет воздуха?» Ответа дожидаться не стала, только махнула рукой...

Коллонтай понимала, что ее судьба во многом зависит от того, как она выполнит главное поручение Сталина — закрыть дорогу Троцкому в Швецию. Такие же точно задания он дал другим советским полпредам — на всем пути своего заклятого друга вокруг Европы и по Европе. Их ли стараниями или страхом Запада перед Демоном Революции, но путешествие Троцкого действительно превратилось в преодоление расставленных повсюду барьеров. Его не пустили в Афины, полицейский конвой неотлучно сопровождал его в Италии, перед ним закрыли Марсель, а в Париже позволили пробыть не более часу. В Дании, несмотря на протесты советского полпреда, ему все-таки дали возможность прочитать по-немецки лекцию перед двухтысячной аудиторией — даже недруги признали эту лекцию шедевром ораторского искусства. Однако просьба Троцкого и его адвоката о продлении датской визы для лечения в клинике была решительно отвергнута.

В шведском посольстве в Копенгагене, едва он там появился, навстречу вышел молодой дипломат и уведомил, что шведское правительство уже приняло решение запретить ему въезд в страну. Дипломат даже не скрыл, что причиной был официальный демарш советского полпреда госпожи Коллонтай. Ее личные связи с премьером и министром иностранных дел обеспечили успех этой акции, тем более что Швеция нуждалась в выгодных торговых контрактах с Советским Союзом и не хотела ради какого-то Троцкого упускать свой шанс. На победный рапорт, который Коллонтай отправила Сталину в Москву, очень скоро пришел весьма необычный ответ: великий вождь наградил ее орденом Ленина «за активную работу по приобщению женщин к социалистическому строительству». Женщин она давно уже ни к чему не привлекала, награда ЗА ЭТО опоздала по крайней мере на десять лет, но кто придавал значение условности официальной

формулировки, зная подлинную причину сталинской щедрости?

Благодарственное письмо Коллонтай сочиняла несколько дней — никак не шли те слова, которые отражали бы всю меру ее волнения и душевного подъема. Наконец пришли: «<...> Здесь, за границей, препоганая, нервная и безисходная для капитализма и его защитников обстановка. От нее устают нервы, но умом торжествуешь: до чего верны, правильны, безошибочны прогнозы нашей партии <...>»

Это письмо писалось как раз в те дни, когда из партии в ходе очередной ее чистки были изгнаны друзья Коллонтай и соратники по «рабочей оппозиции» — Александр Шляпников и Павел Медведев. Главным обвинителем выступал председатель комиссии по чистке Николай Ежов, чья звезда на политическом небосклоне Москвы разгоралась все ярче и ярче. Когда-то Ежов воспитывался в семье Шляпникова, теперь он его поучал: «К тебе, Шляпников, со стороны партии было проявлено исключительно терпеливое отношение. <...> Этим терпением ты все время злоупотребляешь. <...> Если мы сейчас оставим Шляпникова в партии, ни один член партии этого не поймет».

Шляпников не мог даже ему ответить, ибо к тому времени уже оглох на оба уха и просто ничего не слышал. Сказал лишь, что все равно остается большевиком. А Медведев даже не стал подавать апелляции: он давно уже все понял. «В случае попытки вернуться <в партию>, — объяснял он своим мучителям два года спустя, — это заставило бы подвергнуть себя всему тому гнусному самооплевыванию, которое совершили над собой все «бывшие» <...> Я знал, что обречен как жертва царящего у нас режима».

На все эти события Коллонтай вообще никак не откликнулась. Не нашла для оглохшего (результат давней контузии), вышвырнутого из жизни Саньки хотя бы двух слов утешения. Писала совершенно

другое. Орден ей дали за заслуги в «женском вопросе», — вот и решила она доказать, что вопрос этот ей по-прежнему не безразличен. Родился замысел создать нечто художественное — на первой странице будущей рукописи она написала: «Женская проблема: современные мужчины не на высоте. Моральные восприятия новой женщины. Героиня — Маша. Герой — Иван». Но автором был задуман еще один герой — ему предстояло служить укором тем мужчинам, которые «не на высоте». Звали его Василий Васильевич. Под этим именем в «повести» должен был выступить Сталин.

Повести не суждено было дойти до финала — государственные дела неотложной важности отвлекали автора от письменного стола. Но сохранившиеся фрагменты заслуживают того, чтобы о них узнали потомки. Действие происходит в некоем наркомате, где трудятся Иван, женатый на заскорузлой мещанке, и влюбившаяся в него при полной взаимности коммунистка Маша. От ее лица и ведется рассказ.

«Вдруг что-то прорвалось и стало тепло и родно. Только беглое объятие, только купание в глазах другого, а какое счастье!.. Но это было все дальше и дальше. Оба уходим. Он бессознательно. Я — отдавая себе отчет в этом. Это не просто. Это больно. Это мучительно. <...> Уехать! Уехать! Это было бы сейчас самое правильное. Пока не просочится горечь обиды, пока не усохнет самое русло, по которому текли ее ручейки. <...> Но я привязана. Мы оба на ответственных постах. Мы нужны родине. Я счастлива. Мои силы идут на сто процентов на наше великое дело — служение родине. Но я замерзаю. Мне надо, как воды, близкого человека».

Сюжетная канва слишком прозрачна — некоторые пассажи из писем Маши к Ване текстуально совпадают со строками писем Коллонтай к Дыбенко или с фрагментами ее дневников.

«Мы ехали на днях на машине. Ваня и вся его семья. Заговорили о браке. Его жена, эта противная

пиявка Нинуся, совсем его не понимающая и в душе, по-моему, нам, советским людям, совсем чужая, развивала теорию о прочности брака, потому что любовь «ДОЛЖНА» быть вечной. Я не выдержала и стала говорить против буржуазной морали, за новые, свободные отношения в любви без цепей. <...> Когда я их подвезла и одна возвращалась домой, я вся дрожала внутренне. <...> Я вовек не забуду, Ваня, вечера и ночи, что мы могли провести с тобою вдвоем в беседах и теплых ласках. А ты поехал, Ваня, к товарищам на ужин и выпивку. <...> Я уже отмежевываюсь от тебя. Я уже вне тебя. А ты вдруг снова стал ласков и мил. Но поцелуями мостика в душе не построишь».

Вот тут-то и появляется новый герой — Василий Васильевич. Появляется в самый подходящий момент, когда Маша, казалось, совсем уже «замерзла». Василий Васильевич — «самый главный из всех главных партийных авторитетов». Он полон гуманности, но «строг и справедлив, когда дело доходит до ответственных заданий и проверки их исполнения». «Теперь я работаю с мыслями о том, как отнесется к моей работе Василий Васильевич. Я работаю успешно, с воодушевлением. И достигаю! План выполнен! Василий Васильевич одобрил! Я чувствую себя Человеком с «большой буквы», по Горькому. Я счастлива. Надо излечиваться от любви. На смену ей идет любовь и глубокое уважение к Василию Васильевичу».

Воодушевление, которое она безуспешно пыталась воспроизвести на страницах своей вымученной «повести», в реальной жизни было глубочайшей тоской, усугубленной отсутствием хоть одного близкого человека, с которым можно было бы отвести душу. В Семене Мирном она разочаровалась, «поймав» его на слишком большом любопытстве и на неумело скрываемых контактах с новым резидентом Лубянки в Стокгольме Крамовым, женатым на сестре Семена Урицкого — заместителя начальника (а потом и начальника) военной разведки. Самым большим

потрясением было то, что на тех же контактах она «застукала» Пину, которой доверяла свои самые сокровенные — пусть только личные, а не политические — тайны. Ни ей, ни Мирному не сказала ни слова, но выводы сделала...

Пришло письмо от Раскольниковова — со своей молодой женой Музой он пребывал на посту полпреда в Эстонии. Получив новое назначение в Копенгаген, он по дороге решил заглянуть в Стокгольм. Коллонтай никогда не чувствовала к нему особой симпатии, а тут обрадовалась, точно встрече с давним и добрым другом. С Раскольниковым у нее было общее прошлое и, как она надеялась, общие мысли.

Ей очень понравилась юная Муза, целиком посвятившая себя мужу, но не превратившаяся в совещанку, а сохранившая живой интерес к политике, истории, культуре, искусству. Коллонтай водила их по Стокгольму, обнаружив в себе талант профессионального гида, ездила за город, угощала ужином в лучших ресторанах столицы. Но главное — отправив Музу с Пиной на «экскурсию» в магазины, уединилась с Раскольниковым в пустынном по будням парке, на широких аллеях которого не могла остаться незамеченной ни одна человеческая фигура. О чем они говорили? Раскольников уже и тогда хорошо понимал, кто такой Сталин и как стремительно ведет он страну к термидору. Не умевший фальшивить, Раскольников вряд ли скрывал перед Коллонтай свои мысли. Его дипломатическая карьера успешно продолжалась еще пять лет, так что Коллонтай, скорее всего, не предала огласке их разговор. «Нам было хорошо вдвоем», — эта короткая запись в ее дневнике отнюдь не про любовные чувства.

Вскоре после отъезда Раскольниковых Коллонтай задумала «бегство» в Норвегию — всего на одну неделю, чтобы отвлечься и отдохнуть. Возвратившись, описала свою поездку в письме к Щепкиной-Куперник, отправленном обычной почтой. Значит, позво-

лила спецслужбам обеих стран ознакомиться с его содержанием. «Захотелось, — сообщала она, — сказать «доброе утро» любимым очертаниям гор, повидать знакомые места, обнять друзей. Это большая моральная роскошь. <...> Здесь <в Осло> ответственная, деловая, строгая атмосфера. Красивый, пышный, немного холодный в своей торжественности город. Там — фиорд, дорога в другие страны, связь с миром и его событиями, зеленый городок с по-своему изящными новыми домами или старенькими, деревянными виллами, где еще чувствуются Ибсен и Бьернсон. А главное: там много тех, для кого я, лично я, независимо от моего положения, мила и близка».

Письмо читается, как тоска по прошлому, по тем местам, где она прожила свои самые счастливые годы. В Осло действительно оставалось еще немало близких и милых ей людей. Но вряд ли кто-нибудь знал, что среди «тех, для кого я...» был отнюдь не норвежец, — тот, на тайную встречу с которым Коллонтай и поехала в Осло. Очень сложным путем, через Норвегию, Германию, Швейцарию, при содействии преданной Эрики, Коллонтай списалась с Боди и договорилась о встрече. Из всех потайных ее встреч с Боди в разных странах Европы эта была самой дерзкой и тщательно подготовленной. Оба конспиратора преуспели в своих надеждах: никаких сведений о ней не просочилось ни по одному каналу. И о содержании их разговоров нет никаких, даже косвенных, свидетельств.

Трудно поверить, что то была просто встреча стосковавшихся друг по другу влюбленных. Время, когда она состоялась, условия, в которых находилась Коллонтай, мысли, мучившие тогда не только ее одну, — все это позволяет предположить, что она была на распутье и нуждалась в совете, чтобы сделать решительный выбор. Во всем мире не было ни одного человека, кроме Боди, который знал и понимал не какую-то одну грань вставшей перед нею проблемы, а все в совокупности — без ретуши, без

идеологических догм и без всяких иллюзий. И пользовался притом ее полным доверием.

Судя по тому, чем свидание завершилось, планам ее (или только надеждам) было не суждено осуществиться. Боди, как видно, опять вернул ее в проклятую реальность, подвергнув жестокому и жесткому анализу возможное развитие дальнейших событий. Теперь, похоже, она приняла окончательное решение — оставить несбыточные надежды и в еще большей мере заслужить доверие «кремлевского горца». «...Когда я села в поезд и на перроне остался с десятков знакомых и милых мне лиц, я почувствовала — тепло позади. Теперь снова — в мундир. На пост. В холод равнодушия и бесконечной цепи обязанностей <...>». Так заканчивается ее письмо-отчет Щепкиной-Куперник, и лишь зная мучившие ее мысли, можно понять потайной смысл этих слов.

Сделав свой выбор, Коллонтай сразу же увидела его ощутимые результаты. Конечно, никакой связи между принятым ею решением и очередным вызовом Сталина в Москву не было и быть не могло, но что-то закономерное и вместе с тем едва ли не мистическое в этой последовательности ей открылось. Формальным поводом для вызова послужила подготовка договора о предоставлении Швецией займа на 100 миллионов долларов. Условием была закупка Советским Союзом большой партии шведских товаров, чему противился нарком Литвинов. Но Сталин, и без того не любивший Литвинова, куда больше верил своему протеже Канделаки, а стало быть, и Коллонтай.

Ей не хотелось конфликтовать с Литвиновым, но личный престиж был дороже: она рекомендовала заключить долгосрочный торговый договор, закупив при этом у шведов большую партию племенного скота. Торгпред был того же мнения, а высоким шведским друзьям она намекнула перед отъездом,

что непременно добьется согласия Сталина на контракт. Вместе с Канделаки ее вызвали на заседание политбюро.

«<...> Я подхожу к Сталину, — писала она по горячим следам в дневнике, — показать ему фотографии племенных шведских коров и свиней, которые входят как обязательный ассортимент в договор по нашим закупкам.

— Отчего, — спрашивает Сталин, разглядывая снимки, — у ваших шведских коров такая прямая линия от головы до хвоста по всей спине?

Я отвечаю, что это и есть отличительная черта племенного шведского скота.

— Значит, я сразу угадал, в чем их особенность, — шутит Сталин. — Купим.

Торгпред сиял, а Литвинов, не прощаясь со мной, уходит нахмуренный». (Литвинов считал, что надо расширять торговлю не «с какой-то там Швецией», а с Америкой, только что признавшей Советский Союз.)

Это была очередная победа в уже достаточно длинном ряду, но и она не несла никакой радости. Куда большее впечатление оставило письмо от Дыбенко, которое застало ее в Москве. Он сообщал, что получил новый пост — командующего Приволжским военным округом — и что снова в Самаре, той самой Самаре, где шестнадцать лет назад они вместе воевали за революцию. Но главная новость состояла в другом: с Валентиной произошел уже и формальный разрыв, та нашла себе другого «красного командира», а Дыбенко женился на двадцатисемилетней учительнице, которая ушла от первого мужа, забрав ребенка. Став матерью сына Дыбенко от связи с Ерутиной, Зинаида Карпова нашла в новом муже заботливого отца и для своего сына...

В Стокгольме Коллонтай встречали чуть ли не как национальную героиню. Договор был очень выгоден Швеции, а «госпожа министр» показала, что слова ее не расходятся с делом и что она весьма и весьма влиятельна при кремлевском «дворе». В пол-

предство зачастили шведские знаменитости — из высшего света и из культурной элиты. Она была нужна всем — всюду желанная гостья: один прием следовал за другим. Если на какой-либо шумный раут не присылали ей приглашения, она впадала в отчаяние, получив же, изнывала от тоски среди одних и тех же знакомых лиц, отсчитывая время, когда пристойно уйти.

Себя она взбадривала мыслью о том, что «делает полезное дело». «<...> Оять началась рабочая проза, — писала она Зое, которая получила в Москве заметный пост генерального секретаря Всесоюзной торговой палаты. — Но она ведь у нас полна поэзии, если есть интересные задачи. <...> И мой труд войдет в огромное и полезное дело, хоть одна страничка будет экстрактом моих знаний и труда. Это очень подымает».

Все реже появлялись — даже в личном дневнике и в письмах близким — столь характерная для нее рефлексия и стремление запечатлеть свои подлинные чувства. Зато все больше чуждых «жанру» лирической исповеди ламентаций о «великой пользе труда» и партийных лозунгов с набором привычных штампов. Побывав, будучи в очередном отпуске, на пленуме ЦК (на столь высокий форум ее допустили после многих лет перерыва), Коллонтай отразила в дневнике свои впечатления:

«Никогда еще не чувствовала я так отчетливо всю силу мысли нашей партии в строительстве социализма. Пленум — живая вода. Поразило меня также, как аудитория слушала Сталина, как реагировала на каждый его жест. От него исходит какое-то магнетическое излучение. Обаяние его личности, чувство бесконечного доверия к его моральной силе, неисчерпаемой воле и четкости мысли. Когда Сталин близко, легче жить, увереннее смотришь в будущее и радостнее на душе.

<...> За улыбкой Сталина прячутся большие мысли, большие решения. В ней чувствуется снисходительность к человеческому недомыслию <...>».

На фоне различных кремлевских сановников она была сама по себе — как некий экзотический фрукт, — на нее с интересом смотрели, внимая рассказам о непостижимой и недостижимой светской жизни. Но на слишком серьезные разговоры никто не шел. После прогремевшего на весь мир Лейпцигского процесса в Москву прилетел Георгий Димитров, которого она смутно помнила по Коминтерну. Ей захотелось встретиться с ним, тот откликнулся на ее просьбу, но и с ним разговаривать было не о чем — разве что выразить восхищение его мужеством и выслушать в ответ слова благодарности.

Возвращаясь в Стокгольм, Коллонтай снова попыталась встретиться с Кировым, но его в Ленинграде не оказалось. Пришлось довольствоваться встречей с Иваном Кодацким — ленинградским «мэром», — который «в общем и целом» рассуждал о готовности развивать со Швецией «добрососедские отношения». Коллонтай показалось, что аппаратчики разных уровней — и в Москве, и в провинции — ее сторонятся. Единственным (зато каким!) исключением был Сталин.

В Стокгольме ее ожидало множество новостей. Канделаки внезапно получил новое назначение — торгпредом в Германию. Коллонтай лишалась человека, к которому привыкла и который служил надежным мостом между нею и Сталиным. Она не знала, что Канделаки дал ей в Москве самую лучшую аттестацию и этим еще больше укрепил ее положение. Уезжая, он познакомил полпреда с некоторыми из шведских «деловых людей», на которых, по его словам, «можно рассчитывать». Коллонтай понимала язык прозрачных намеков и включила этих «деловых людей» в число официальных гостей советского полпредства.

Почти одновременно с Канделаки ее покидала и Пина Прокофьева. Приехав сюда в качестве секретаря полпреда, Пина невесть каким образом обрела самостоятельный статус и получила должность в со-

ветском торгпредстве в Испании. Ходили слухи, что туда же — полпредом — отправится и Коллонтай. Литвинов ей даже писал об этом, хотя и сомневался, что католическая Испания примет полпредом женщину, да к тому же еще и воительницу за женские права, за разрешенный аборт и вообще за все то, что было в полном разладе с официальной испанской политикой. Опасения его подтвердились, но они никак не касались Пины: та перестала быть спутницей Коллонтай и уезжала как знаток внешней торговли, каковым, разумеется, не была. Вряд ли Коллонтай сомневалась, что торгпредство лишь крыша для работы иного рода.

Третья новость была, пожалуй, похлеще первых двух. Ее дожидался Николай Данилов. Тот самый, который — Даниэльсен. Он разминулся с ней в Ленинграде, уехав в отпуск, в Норвегию, и по пути сделал остановку в Стокгольме. Николай рассказал, что в Смольном его вербовали в агенты, а некто Котов, вызывая на откровенный разговор, не раз повторял — вроде бы совершенно не к месту: «Без Кирова партия мало что потеряет, без Сталина — потеряет все!» Коллонтай ничего не поняла, но на всякий случай категорически отсоветовала своему подопечному возвращаться в Ленинград.

Весть об убийстве Кирова дошла до нее поздним вечером 1 декабря — Сталин еще мчался в литерном поезде из Москвы в Ленинград, никаких подробностей не передало ни одно телеграфное агентство. Ей сразу же вспомнился недавний рассказ Николая, хотелось узнать подробности, но Данилов был в Осло, а сама она никак не могла соединить тот рассказ и свершившееся убийство в какую-то понятную цепь. Коллонтай провела бессонную ночь у радиорепродуктора. На рассвете взялась за письмо Зое — надо же было кому-нибудь излить свои чувства. Похоже, она и впрямь еще не поняла, что на самом деле произошло.

«Дорогая, дорогая, <...> неужели еще не ясно, что отдельные убийства хотя бы самых блестящих,

сильных наших работников не остановят исторически необходимой для всего человечества победной работы нашей? <...> Мне скоро будет 62 года, но именно этот удар, этот змеиный укус врагов сделает меня сильной, как 30-летнюю. <...> Неужели мы забываем, что мы в крепости, осажденной врагами, что их бешенство и хитрость не умерились, что исторические законы им не ведомы?»

9 декабря немедленной встречи наедине потребовал прибывший накануне пароходом из Ленинграда дипкурьер. Он передал Коллонтай «личное письмо», хотя оказывать подобные услуги дипкурьерам категорически воспрещалось. Удивление Коллонтай было тем большим, что автором письма, написанного на папиросной бумаге, была ленинградский врач Соня Якобсон, с которой она не виделась больше пятнадцати лет: в 1918 году они несколько недель работали вместе в наркомате государственного призрения. Зачем-то Соня считала нужным сообщить, что ее, сотрудника Выборгского райздраотдела, вызвали в Смольный после рокового выстрела и она лично видела пулевое отверстие в затылке убитого. О том, что в Кирова стреляли сзади, писали все газеты, и Коллонтай никак не могла понять, в чем же тогда скрытый смысл этого сообщения. Соня писала еще, что находившийся в Смольном известный хирург Иустин Джанелидзе запретил везти тело Кирова на вскрытие без разрешения Сталина. Коллонтай и в этом не увидела ничего необычного.

Снова она оказалась перед мучительным выбором. Промолчать о загадочном послании значило подвергнуться огромной опасности — ведь, по крайней мере, двое могли ее выдать: Соня и дипкурьер. Сообщить — наверное, это чем-то грозило Соне, вряд ли случайно она выбрала Коллонтай своей конфиденткой. Победило то, что принято называть разумом: она отправила клочок папиросной бумаги в «группу по расследованию обстоятельств злодейского убийства товарища Кирова». О том, что стало с

доверившейся ей Соней, Коллонтай никогда не узнала.

Месяц с лишним спустя, получив из Москвы инструкции, Коллонтай выступила с речью перед членами советской колонии. Она не кривила душой, обвиняя Зиновьева во всех смертных грехах: этого человека она всегда ненавидела и была искренне убеждена, что тот способен на все. Зиновьев только что был осужден на десять лет тюрьмы (а Каменев — на пять), поэтому, обличая его, можно было не слишком стесняться в выборе каких угодно ругательств.

Но сверхзадачей ее выступления было другое — отвести подозрения от себя. «Отличительной чертой прежних группировок в партии (читай: «рабочей оппозиции») являлось то, что они не скрывали своих разногласий с партией, открыто отстаивали их <...> А зиновьевцы шельмовали свою платформу, лишь бы остаться в партии и гадить <...> Зиновьевцы вели себя как белогвардейцы и поэтому заслужили, чтобы с ними обошлись, как с белогвардейцами». Напомнив, что «партбилет это еще не гарантия, если поведение субъекта подозрительное», Коллонтай закончила страстным призывом: «Бдительность — наша путеводная звезда! О всех подозрительных случаях и лицах надо немедленно информировать партию».

Она произносила эту речь, уже зная, что творится в Москве. В частности, с близкими ей людьми. «Вычищенный» из партии (а затем и сосланный в Карелию), Шляпников был арестован в новогоднюю ночь вместе с тем же Медведевым и другими единомышленниками в качестве руководителя мифической «московской контрреволюционной группы рабочей оппозиции». Не существовавшая уже с 1922 года рабочая оппозиция сидела занозой в сталинском мозгу, поскольку из всех других оппозиций эта была единственной, которая не прикрывала политическими лозунгами откровенную борьбу за власть, а отражала еще не изжитые утопические

идеи «пролетарской свободы». Она была в самое болезненное место: засилье партийных чиновников, жиреющих за счет обманутых ими масс. Расправа с несдавшимися лидерами рабочей оппозиции смертельно напугала Коллонтай, поскольку во всех партийных документах она по-прежнему относилась к их числу.

Вовлеченная ею в ту оппозицию Шадурская получила назначение в Стокгольм на правах представителя Всесоюзной торговой палаты. Радость от приезда самого близкого человека была омрачена страхом за судьбу их обеих: Большой Террор еще не начался, но предвестием его уже служили смертные приговоры, о которых едва ли не ежедневно сообщала советская печать.

Литвинов вызвал Коллонтай в Москву для участия в переговорах с английским министром иностранных дел Иденом. Уезжала с тяжелым предчувствием, но ежедневная рутина переговоров, приемов и «культурных мероприятий» вынуждала забывать обо всем постороннем. Иден уехал, но в Стокгольм ее не отпустили: «партия» вспомнила про ее ораторский дар. Снова она была в своей стихии — на митингах и конференциях, где клеймили презренных убийц и проклинали троцкистско-зиновьевских их вдохновителей. Со всей не изжитой еще страстью пламенного трибуна Коллонтай обличала, клеймила и проклинала. В тот день, когда она произносила одну из своих речей, Особое Совецание (то есть «тройка» НКВД) приговорило Шляпникова к пяти годам тюрьмы как «лидера рабочей оппозиции, превратившейся в контрреволюционную банду заговорщиков». На секретном «Информационном бюллетене ЦК» о состоявшемся приговоре Коллонтай оставила краткий автограф: «Ознакомилась».

В Москве на этот раз у нее уже не было дружеских встреч. Петенька явно к ним не стремился, Павел не мог покинуть свой округ, Шляпников сидел в тюрьме. Сообщила о своем приезде Крупской, но от той не последовало никаких приглаше-

ний. Щепкина-Куперник лечилась в санатории, один раз удалось поговорить с нею по телефону. Коллонтай поймала себя на мысли, что за границей у нее во много раз больше друзей и знакомых, чем дома. Впрочем, где теперь у нее был дом? И был ли вообще?

Зачастила, однако, набиваясь в подруги, известная поэтесса Вера Инбер, уже бывавшая у нее и в Стокгольме, и в Осло, и вообще беспрестанно мотавшаяся по заграницам. Коллонтай не обратила бы на это особого внимания, если бы не одна деталь: Инбер доводилась кузиной Льву Троцкому, который жил в одесском доме ее отца — известного издателя Моисея Шпенцера, с его помощью получил образование, а затем скрывался у него же от царской полиции. Уже после того, как даже самые дальние родственники Троцкого подверглись жестоким гонениям, Вера Инбер не только не разделила их участь, а, напротив, еще более укрепилась на советском литературном олимпе. Ее положение не поколебалось и после того, как муж, журналист, стал невозвращенцем в Париже. Чем приторнее были комплименты, которые Инбер расточала Коллонтай, чем задушевней ее разговоры, тем больше опасений она вызывала.

Многому Коллонтай не могла найти объяснения. Загадка Веры Инбер была чистой чепухой в сравнении с загадкой журналиста Давида Заславского: этот меньшевик, обливавший помоями Ленина в 1917 году и обвинявший большевиков, Коллонтай в том числе, в шпионских контактах с немцами, получил партийный билет, стал официальным рупором Сталина и громил на страницах «Правды» верных ленинцев, чья фанатичная преданность большевизму не вызывала ни малейших сомнений. Но с кем могла она поделиться своим недоумением, кому задать хоть один вопрос?

Сталин больше с ней не встречался, все ее попытки пробиться к нему остались безуспешными. Даже начальник его секретариата Александр По-

скребышев, который демонстрировал раньше свое (свое ли?) расположение, не удостоил ее телефонного разговора: к аппарату подходил лишь один из мелких сотрудников. Только Литвинов коротко бросил во время одной из бесед, что Сталин доволен «нашим полпредством в Стокгольме» и тесным сотрудничеством ее с Канделаки. Он дал, однако, понять, что в обход наркоминдела Канделаки выполняет в Германии какие-то специальные поручения Сталина. О том, что это за поручения, оставалось только гадать.

Состоялся очередной (и, как оказалось, последний) конгресс Коминтерна, на котором, по указанию Сталина, произошла принципиальная перемена стратегии: вместо обличения социал-демократии как злейшей агентуры буржуазии был взят курс на союз с ней для образования единого фронта против угрозы фашизма. Можно ли было подумать, что именно в это время Канделаки по личному поручению Сталина ищет контактов с Гитлером и ведет тайные переговоры с самыми близкими к фюреру людьми — Шахтом, Герингом и другими?

Чтобы убежать от мучающих ее вопросов и спастись от пугающих мыслей, Коллонтай вернулась к своей неоконченной повести про любовь Ивана и Маши. Запершись в миниатюрном кабинете, куда не имел доступ никто, она могла наконец дать волю фантазии, вкладывая в монологи и диалоги героев свои несбывшиеся мечты и неутоленные страсти.

«Как мне противны наши мужчины, — записывает в дневник Маша доверительное признание «совслужащей Анны», — с их грубостью и опрошенностью дикаря. Поухаживают с недельку, потом назовутся к вам «чай пить» и без дальнейших церемоний — не только без ласковых слов, но даже не потрудившись снять грязные свои сапоги, — валят вас на диван. Потом выкурят папироску и, узнав, что у вас нет ничего «крепкого» в запасе, уйдут, даже не поцеловав».

Зато у Маши с Иваном все было конечно же по другому: «Твои глаза!.. — восклицает Маша все в том же дневнике, но уже от себя, а не от совслужащей Анны. — Если бы меня сжигали на костре, я увидела бы твои глаза — и улыбалась. Так я люблю тебя, милый. До экстаза люблю... Я во власти крылатого, чудесного, ясного, радостного переживания. Это неожиданно чарующе, я сдалась без оглядки. Любовь наша — это созвучие мысли, любовь наша — это горящее пламя. Все эти недели жила в экстазе. Они из тех, что вписаны в жизнь золотом и изумрудами. <...> Я не хотела полюбить. Но он заставил. Взял своими милыми руками мое сердце и, как властелин, положил в свой карман. <...> Любовь — это крылатое счастье. Любовь — это экстаз. Любовь — это великая мука».

Она так увлекалась своей повестью, что забыла и про политику, и про страхи. Но тут вдруг пришла телеграмма от Литвинова: ее включили в состав советской делегации на Ассамблею Лиги Наций. Никакой особой чести в этом не было: предстояло обсуждение вопроса о равноправии женщин, и лучшей кандидатуры, чем известная всему миру Коллонтай, подобрать было трудно. Но по советским нравам это означало «доверие партии». И каждый знак такого доверия в разгар начавшейся «охоты за ведьмами» снимал, пусть только на время, камень с груди.

Неменяющаяся Женева, отель Ричмонд, вид из номера на Монблан, безмятежные лица прохожих, тишина и покой... На заседаниях, где она энергично защищала советские позиции и делала вид, что внимательно слушает делегатов, Коллонтай отбывала повинность. Вечерами, гуляя по улицам хорошо знакомого города, отдыхала душой, возвращаясь в мыслях к тем далеким годам, когда надежды казались вполне достижимыми, а жизнь — прекрасной. Литвинов, несмотря на свою капризность, ничуть ее не

раздражал. Суховатый Яков Суриц, полпред в Германии, добивавшийся летом 1917 года ее освобождения из-под ареста, всегда помнил о своем меньшевистском прошлом, но оживлялся, лишь речь заходила о музыке или литературе. Ближе всех был Борис Штейн, недавний полпред в Финляндии, переехавший в Рим: они понимали друг друга с полуслова.

В Стокгольме все было иначе, уровень присылаемых из Москвы дипломатов удручал своей примитивностью, воспитанность и культура к ним даже не прикасались. Зою, с которой Коллонтай была неразлучна, отозвали в Москву, теперь рядом не оставалось ни одного близкого человека, к тому же никто не мог предсказать, что ждет Зою в Москве. Уезжая, она оставила Александре послание, в котором привычная политическая риторика скрывает страх перед грядущим.

«Бесстрашный ты мой трибун! <...> Своим пылающим сердцем, ясной логикой ума и обаянием своей личности ты несешь пролетариату <...> уверенность в победе, тепло горячего сердца, любящего каждого человека и потому умеющего ненавидеть всех, кто защищает изуверство, тиранию, эксплуатацию <...>»

Из Москвы тем временем шла информация, не оставлявшая ни малейших сомнений: массовый террор начался. По этой ли причине или по случайному совпадению, Коллонтай свалилась с двумя приступами сразу: тяжкого нефрита и столь же тяжелой невралгии. Непостижимым образом сообщение о ее болезни появилось в советских газетах. Кто и зачем дал на этот счет указание редакторам? Сообщения подобного рода вообще не характерны для большевистской прессы, исключения были сделаны лишь дважды: по случаю болезни Ленина (тринадцать лет назад) и по случаю болезни Горького (только что). Кому-то — ради явно не мелкой игры — понадобилось к ним «приравнять» Коллонтай. Ничего не зная

об этом, а просто тревожась за Павла, она написала ему письмо и довольно быстро получила ответ.

«Шура милая, родная, я безумно рад получить твое письмишко. Получил его в поле, во время поездки и здесь, в степи, со всей яркостью ожили все моменты нашего красивого и незабываемого общего. <...> Когда я прочитал в газетах о твоей болезни, тут же написал тебе телеграмму и стал в тупик с адресом, на второй день уехал. Так телеграмма и не была отправлена, но я прошу поверить мне <...> Вот уже месяца два и у меня невероятные головные боли, нарушилась нервная система. <...>» Коллонтай умела читать между строк, да и кто бы не догадался, от чего теперь начинают шалить нервы?

Сообщение о состоявшемся в Москве первом из больших политических процессов совсем подломило ее. Зиновьева она не терпела, но казнь по вздорному обвинению в шпионаже, диверсиях и терроре привела в содрогание. К Каменеву вообще относилась с душевным теплом и его гибель ощутила как потерю близкого человека. С каждой диппочтой приходили известия о новых арестах, о людях, чьи имена полагалось вычеркивать из всех словарей, а их книги уничтожать. Неведомая сила побуждала ее при получении очередного крамольного списка прежде всего отыскивать букву «К»: она боялась найти там свою фамилию...

В состоянии особого нервного возбуждения она вспомнила о Боди. Заранее обговоренным способом — на чрезвычайный случай — Коллонтай дала ему знать, что просит о встрече. Тем же способом он сообщил, что сигнал принят и что приезд его состоится в ближайшие дни.

Чтобы восстановить силы после перенесенной болезни, Коллонтай уехала в санаторий и попросила не беспокоить ее без сколько-нибудь важной причины. Санаторий был расположен неподалеку от Гетеборга, в густом сосновом бору. По давней договоренности Боди должен был прибыть паромом из

Норвегии. Так он и сделал. В том же санаторном отеле «Турист» для него уже была заказана комната на вымышленное имя. Боди ожидал увидеть подавленную болезнью и переживаниями старуху, но встречавшая его на шоссе Коллонтай поразила поистине неувядающей молодостью. Ее вид находился в полном контрасте с тем паническим письмом, которое позвало его в дорогу.

Каждый день они уходили в лес на прогулку, только там позволяя себе говорить о главном. Суждения Коллонтай поразили его своей отчаянной жесткостью и отсутствием каких бы то ни было иллюзий. Больше всего угнетала ее та обстановка, в которой ей приходилось работать. «Старые работники постепенно исчезают, — говорила она, — приходят новые люди, не способные ни к критическому анализу, ни к самостоятельному принятию решений. Им нужны только указания из Москвы. Товарищеских, а тем более дружеских отношений с этими людьми у меня быть не может. Ни у кого ни к кому нет доверия, все следят друг за другом и друг на друга доносят. Это не жизнь, это пытка».

Еще более жесткими были ее суждения о том, что происходит в Советском Союзе. «Я наконец поняла, — сказала Коллонтай, — что за несколько лет Россия не сможет перейти от абсолютизма к демократии. Это нереально. Диктатура Сталина — а на его месте мог бы оказаться и кто-то другой — была, увы, неизбежной. Да, она сопровождается морем крови, но кровь лилась и при Ленине. Вспомните казни заложников, устроенные Зиновьевым в Петрограде в ответ на «белый террор». Сколько лет потребуется России, чтобы придти к свободе? Не знаю. Наверное, бесконечность».

Еще в предыдущее их свидание, при всем своем пессимизме, Коллонтай сохраняла веру в возможность каких-либо положительных перемен. Теперь от этой веры буквально ничего не осталось. «Россия с ее неисчислимыми массами, — утверждала она, —

не приученными ни к культуре, ни к самодисциплине, вообще не создана для демократии. Настоящей демократии не будет здесь никогда». Называя Сталина тираном и деспотом, она тем не менее считала, что в интересах страны, диктатором которой ему привелось стать, он действует как государственный муж.

Это заявление показалось Боди нелепым, он попросил уточнений и получил их. Коллонтай выдала ему самую большую государственную тайну, которой тогда обладала, пусть и без важнейших подробностей, ей, естественно, неизвестных. Она рассказала Боди о той тайной миссии, с которой Сталин направил в Германию Давида Канделаки. Сталин панически боится войны, утверждала она, и поэтому делает все, чтобы ее избежать: он готов на любые условия Гитлера, лишь бы только отодвинуть войну, повернув нацистское оружие на Запад. Ради этого, без конца повторяла Коллонтай, Сталин не остановится ни перед чем.

О возможности своего бегства на сей раз она не сказала ни слова. Вероятно, окончательно отказалась от этого замысла, сочтя его абсолютно неосуществимым. Она вверила Сталину свою судьбу, внутренне готовясь к любому ее повороту. Но мысль продолжала фиксировать происходящее и оценивать его. «Мы проиграли, — сказала она Боди. — Идеи рухнули, друзья превратились во врагов, жизнь стала не лучше, а хуже, мировой революции нет и не будет, а если бы и была, то принесла бы неисчислимые беды всему человечеству. Но все равно надо жить и бороться». С кем и за что? Про это она ничего не сказала.

Коллонтай и Боди собирались провести вместе еще несколько дней, но внезапный звонок из Стокгольма изменил все планы. Первый секретарь полпредства, о чьей принадлежности к соответствующим службам Коллонтай знала, предупредил о своем приезде через несколько часов по делу первостепенной важности. Времени для размышлений не

было — Боди спешно собрал свой чемодан и вызвал такси. «Расскажите норвежским друзьям то, что услышали от меня» — такой была последняя просьба Коллонтай.

Эта просьба, находившаяся в кричащем противоречии не только с хорошо ей знакомыми правилами конспирации, но и с элементарной заботой о своей безопасности, наглядно свидетельствовала о том отчаянии, которое ее охватило. Она жила в свободной стране, но сознавала всю призрачность этой свободы: ведь лубянские щупальца нашли бы ее везде. Она верой и правдой служила Сталину, но в глазах людей, чьим мнением дорожила, хотела остаться человеком, не изменившим простой порядочности и основным человеческим ценностям. Она жила сегодняшним днем, но видела себя с исторической высоты, стремясь сохранить для потомков образ жертвы романтических заблуждений, а не соучастника творящихся преступлений. Она была искренней во всех своих ипостасях, даже самых несовместимых, но для любого нормального человека такая искренность выглядела как фарисейство, и она тоже понимала это, не утратив способности видеть себя со стороны. Понимала, но отказаться от роли, которую избрала сама для себя, в состоянии не была...

Секретарь полпредства прибыл через час после бегства Боди, но дело «первостепенной важности» оказалось самым рутинным и заурядным: подписать несколько пустяковых бумаг. Коллонтай еще больше укрепила в своем подозрении: скорее всего, из Москвы пришло указание не оставлять ее без контроля, и лубянские агенты в полпредстве не смогли найти никакого другого предлога. Но знали ли они о приезде Боди или так случайно совпало? Тревожные мысли терзали ее, но ясности не было и быть не могло.

Боди в точности исполнил ее просьбу. Добравшись в Осло через Гетеборг, он сразу же связался с лидером рабочей партии фру Грепп. На обед, ко-

торый та устроила для Боди, пришел и другой лидер рабочей партии Транмель, и еще несколько норвежских друзей Коллонтай. В Париже, не имея ее поручения, но чувствуя, что она одобрила бы его поступок, он рассказал о том же в доверительной беседе с Леоном Блюмом. В отличие от норвежцев, Блюм не поверил, что Сталин ищет контакта с Гитлером. «Это неправдоподобно, — сказал он Боди. — Между ними столько антагонизма, что ни о каком союзе, даже временном, не может быть и речи». Наивный Блюм!.. Во всяком случае, Коллонтай сделала то, на что была способна. Подвергая себя смертельной опасности, она попыталась предупредить западные демократии о готовности Сталина к сговору с Гитлером. Не ее вина, если мир ее не услышал.

Зато услышали другие. Боди проболтался об ошеломительной новости, которую доверила ему Коллонтай, своему приятелю — жившему в Париже польскому троцкисту Марку Зборовскому, внедренному Лубянской в ближайшее окружение сына Троцкого Льва Седова. Естественно, очень скоро весть об этом дошла до Москвы. Возможно, дошла в искаженном виде. Или все же Боди скрыл от Зборовского источник своей информации, как и вообще свой шведский вояж? Когда Коллонтай снова оказалась в Москве, с ней пожелал побеседовать только что назначенный наркомом внутренних дел Николай Ежов. «Кровавый карлик» был предельно вежлив и чуть ли не ласков. Он просил всего-навсего дать подробную информацию о «предателе Марселе Боди», который, как он заметил, демонстрируя свою осведомленность, «вовсе не Марсель, а не то Жан, не то Александр». Ежов не спрашивал, приезжал ли недавно в Швецию этот «предатель», сама же она ничего о том не сказала. Лишь дала «служебную характеристику».

До конца своих дней Коллонтай жила под впечатлением этой беседы. Скорее всего, именно из-за нее оборвала с Боди всякую связь, которая для Коллон-

тай могла оказаться фатальной. Больше они не виделись никогда.

Ее переживания, связанные с этой потерей, отражены в сумбурной, но все же достаточно ясно читаемой записи: «Что заслонило, смяло улыбку в сердце? <...> Нет уже хождения на крыльях, нет больше «числа», которое ждешь с нетерпением. И нет уже «интереса» к телефонным звонкам. Жизнь взяла да и провела мокрой губкой по сердцу и смыла летний рисунок в легких, нежных, теплых тонах. Нет больше рисунка. Но нет и пустоты».

Пройдет совсем немного времени, и мысль именно о пустоте, образовавшейся вокруг нее, станет самой навязчивой и самой гнетущей.

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ

Приезд на очередную Ассамблею Лиги Наций в Женеву не принес даже той скромной радости, которую она испытала в предыдущем году. Тот же отель «Ричмонд», та же комната номер 103... И в основном те же люди... Но чувство давящей тоски не покидало ее. Франкистский мятеж в Испании не только служил предвестием неизбежной войны — он сразу же принес Коллонтай личную потерю: в Овиедо как советская шпионка одной из первых была расстреляна Пина Прокофьева. Некоторое отчуждение, наступившее в последние месяцы ее пребывания в Стокгольме, не перечеркнуло их былой дружбы. Мысль о том, что Пина погибла на боевом посту, несколько скрашивала горечь потери. Исчезновение старых друзей в Москве было куда большей загадкой и куда большей трагедией.

Говорить, однако, об этом с кем бы то ни было Коллонтай не могла. Никто об этом и не говорил — все старательно избегали опасной темы. Даже Штейн — самый близкий из всех, кто приехал на ассамблею. Впрочем, ближе, пожалуй, — хотя бы по стажу их дружбы — был Литвинов, но и он не дал ни малейшего повода затеять такой разговор. Разве

что одна мрачная шутка позволяла понять ход его мыслей. Вспомнив недавно умершего Чичерина, симпатией к которому он никогда не отличался, Литвинов за завтраком обронил: «Георгий Васильевич всегда был везунчиком. Успел даже вовремя умереть». Никто за столом не улыбнулся — все мрачно склонились над чашкой кофе...

Надежда отойти душой хоть и в нелюбимой, но возвращающей в молодость Женеве рухнула уже потому, что приходилось ежедневно общаться с выдвинувшимся на крупные дипломатические роли Владимиром Потемкиным. Философ средней руки с внешностью аристократа и громкой дворянской фамилией приобщился к партии лишь в послереволюционные годы, но быстро оттеснил старых партийцев. Коллонтай не любила его и боялась, сразу же распознав в нем завистливого наушника и подхалима. Даже здесь, в Женеве, он приниженно льстил Литвинову, высокомерно демонстрируя при этом свою голубую кровь — не чета плебею Литвинову, по старой привычке аскета-подпольщика жующего колбасу, нарезанную на обрывке газеты.

Потайные мысли мужа выдала жена Потемкина — Мария Исаевна, — пригласившая Коллонтай на «женский чай». Наркомы и послы, заявила она, должны жить в богатстве и даже в роскоши, поднимая тем самым престиж Советского Союза. Так считает не только Владимир Петрович, многозначительно добавляла она, но главное — сам Иосиф Виссарионович. По чести сказать, и Коллонтай была не чужда тех же мыслей, но в изложении самодовольной Потемкиной, выставившей напоказ свои бриллианты и жемчуга, они выглядели до омерзения пошло. Сам новоявленный дипломат не отставал от своей жены, бестактно подчеркивая по каждому поводу свою образованность.

— Ваша ненависть к Германии чрезмерна, — вроде бы невпопад заявил он Литвинову, когда советская делегация отправилась на ужин в загород-

ную таверну. Потемкин обещал угостить всех теплым сыром, а угостил перепалкой с Литвиновым.

— Вам что-то передали из Москвы? — догадался Литвинов. — Говорите прямо, не виляйте.

— Ну, кто же мне что-то передаст через вашу голову? — хихикнул Потемкин. — Я же не нарком, но имею, однако, личное мнение. Нам Германия еще пригодится, чтобы прищемить хвост Англии.

— С Гитлером против Чемберлена? — Литвинов прищурился. — Все еще мечтаете умиротворить агрессора?

— Ваша ненависть к гитлеризму туманит ваш мудрый взор, — многозначительно заметил Потемкин. Никогда бы он не позволил себе так разговаривать с наркомом, да еще в присутствии его подчиненных, если бы не обладал информацией, пока еще не доступной его собеседникам.

Коллонтай вспомнила про Канделаки, про его секретную миссию, про торговый договор, который он заключил в Германии, — о содержании этого договора ничего не знали даже в узком кругу дипломатов. Вскоре, оказавшись в Москве, она получила новое подтверждение слухов об «особой миссии» чрезвычайного эмиссара: при упоминании его имени аппаратчик любого ранга лишь опускал глаза.

Не выходили из головы вопросы Ежова, которые она никак не могла связать в единую цепь. Нового любимца товарища Сталина интересовал не только Боди, но еще и такие подробности, которые вряд ли имели отношение к ее тайной встрече с французским другом. «Не припомните ли какой-нибудь комфортабельный, но укромный отель в Копенгагене?» — спросил Ежов, и, теряясь в догадках, она назвала несколько, в которых когда-то останавливалась еще до революции и имена которых не успела забыть. «А известен ли вам какой-нибудь укромный (именно так: непременно укромный!) аэродром в Норвегии, неподалеку от Осло?» Ей припомнилось, что крохотный аэродром в Хеллере действительно существовал еще в двадцатые годы, но о том, что с

ним стало теперь, ей не было ничего известно. Как ни странно, ее уклончивые ответы вполне удовлетворили Ежова, но при чем тут Боди и их тайная встреча, Коллонтай понять не могла.

Никакой связи, как оказалось, и не было — даже в воспаленном мозгу наркома внутренних дел. Читая тщательно отредактированные газетные отчеты со второго московского процесса, где судили Радека, Пятакова, Сокольникова и других ее старых друзей, Коллонтай поняла, в какую сеть ее заманили. На этот злополучный аэродром, витийствовал перед судом прокурор Вышинский, приземлился частный самолет, когда Пятаков летал в Норвегию на свидание к Троцкому! Норвежские власти тотчас опровергли эту выдумку, представив документ, подтверждавший, что вот уже несколько лет заброшенный аэродром в Хеллере не принимал ни одного самолета. Но московских фальсификаторов опровержение ничуть не смутило: оболганный Пятаков был расстрелян, и — так получалось — к фальсификации, его погубившей, приложила руку и Коллонтай. Разумом она понимала, что ни в чем не повинна, сердце говорило другое...

Арестовать в Стокгольме ее не могли — опасность подстерегала только в Москве. Или на самой границе. Поэтому каждый день начинался с тревожного ожидания московских шифровок: нет ли вызова? Еще совсем недавно она ждала его с радостью: он нес не только встречу с сыном, внуком и близкими, но еще и со Сталиным. В Москве обычно ей давали новые поручения, возвышавшие ее в собственных глазах. Теперь вызов мог означать мучительный и позорный конец.

1 апреля 1937 года ей исполнялось 65 лет — этот день она решила провести в полном одиночестве, избрав для уединения небольшой санаторий в местечке Мессеберг. Она отметила свой юбилей письмами сыну, Зое и Татьяне Щепкиной-Куперник: никого ближе у нее не было. Все три письма похожи

друг на друга, в них подведение итогов и попытка отвлечься от гнетущих дум.

«Годы нехороши тем, что «тело мешает». Но сегодня я хочу видеть только хорошее: солнце, снег, уже поют птицы и текут ручейки. <...> Жизнь была богата, насыщена, красочна и интересна. Кое-что сделала, меньше, чем хотела, меньше, чем мечтала, но маленький след остается. Для женщин, для великого строительства социализма, для укрепления мощи нашего любимого отечества — Советского Союза. С юности мы мечтали о социалистической революции и вот стали ее участниками. Мало того — мы строители социализма. Богатая эпоха, и быть в нее вкрапленной — само по себе счастье».

Трудно поверить, что в такое время, в таком состоянии, в такой рубежный для каждого человека день у нее не нашлось — даже для самых близких людей — ничего, кроме привычной риторики и надрывной патетики. Но страх, как наркотик, возбуждал, взвинчивал, побуждал любым способом доказывать уже многократно доказанную верность. Не только ИМ, но и себе самой.

Ночью она написала еще письмо Боди. Всего несколько строк. О том, что больше писать не сможет. И надеется быть понятой. Мог ли Боди ее не понять? Ведь о том, что происходит в Советском Союзе, с большими или меньшими подробностями знал весь мир. «Что бы ни случилось, — добавила она в пост-скриптуме, — я навсегда сохраню к Вам, дорогой друг, самые лучшие, самые теплые чувства».

Это был не только душевный порыв, но и вполне недвусмысленный отклик на появившиеся в западной печати сообщения, что ее ожидает неминуемый арест. И что, возможно, он уже произошел. Слухи были не так уж беспочвенны: к началу 1937 года из членов бывшей рабочей оппозиции на свободе остались лишь Александра Коллонтай и Зоя Шадуурская.

Страхи страхами, а жизнь продолжалась. Несколько месяцев ушло на то, чтобы создать регу-

лярную воздушную линию Стокгольм — Москва через Ригу, а не через Хельсинки, что давало обеим странам весомую экономию. Потом Коллонтай стала готовиться к визиту министра иностранных дел Швеции Сандлера в Советский Союз. Тем временем в Москве вакханалия арестов продолжала набирать темпы. От сердца отлегло, когда пришло письмо от Павла: он получил новое — притом очень почетное — назначение. Приказом наркома Ворошилова командарм Дыбенко был утвержден командующим Ленинградским военным округом, а освобожденный им пост получил внезапно впавший в немилость и резко пониженный в должности заместитель — теперь уже бывший — наркома обороны маршал Михаил Тухачевский. Павел писал, что ждет со дня на день приезда своего преемника и следующее письмо прийдет уже из Ленинграда.

Это известие от Павла Коллонтай получила в тот день, когда пришел вызов в Москву. Проститься (быть может, навсегда?) в Стокгольме ей было не с кем. Одна только мысль не покидала ее: успеет ли повидаться с сыном и внуком или арестуют сразу же — на границе? на московском вокзале? Но ее встретили с обычным — казенным — радушием, и все дни уходили на подготовку визита в Москву шведского министра иностранных дел. На этот раз Коллонтай поселили не в особняке на Спиридоновке, а в только что построенной громаде гостиницы «Москва», в самом престижном номере люксе (комната 1001) с видом на Красную площадь. Сталин, как теперь уже повелось, не удосужился ее принять, но чиновник из наркоминдела, передавая ей пропуск на почетную первомайскую трибуну, счел нужным особо отметить, что выполняет поручение товарища Сталина.

Она любовалась военным парадом, а все мысли были о том, про что рассказали ей накануне: начались повальные аресты финских друзей — несгибаемых коммунистов, работавших в Коминтерне или поселившихся в Карелии и занявших там высокие

посты. Арестовали Куллерво Маннера, который в 1918 году возглавлял правительство советской Финляндии, и его жену Ханну Малм. Исчез Эйно Рахья, который при ее участии организовал бегство Ленина в Финляндию из Петрограда, когда Временным правительством был выписан ордер на его арест. Врагом народа объявлен Эдвард Грюллинг, один из основателей финляндской компартии, возглавлявший в течение 12 лет карельский совнарком. В застенках Лубянки оказались Юрье Сирола, с которым Коллонтай работала в Коминтерне, Густав Ровио, вместе с Рахья укрывавший когда-то Ленина, Иоганн Лумивуокко, возглавлявший финские профсоюзы...

Все это были хорошие знакомые и друзья — ведь Финляндия всегда была особенно ей близка, за каждым именем стояли события, к которым она лично была причастна. Чуть позже аресту подвергнется Ниило Виртанен: в 1933 году, выполняя секретную миссию Коминтерна, он был арестован нацистами в Германии, и Коллонтай участвовала в борьбе за его освобождение. Год спустя Виртанена выслали в Финляндию, откуда он с величайшим трудом перебрался в Советский Союз. На свою гибель...

Дневниковая запись, сделанная после этого визита в Москву, содержит пометку: «В поезде на Або». Лишь миновав границу, она доверила свои мысли бумаге.

«В Москве все просят: «Похлопочи у Молотова». Даже самые ответственные товарищи: «Похлопочи! Похлопочи!» Но что я могу? <...> Слез и горя, безисходности, обреченных людей, безвинности личной — но попали под колесо — всего этого было достаточно. Рвали сердце и душу. И знаешь: бейся головой об стену — не пробьешь. «Полоса!» Все равно что бороться с океаном. В политике свои законы. Беспощадные. <...> Власть, государственные интересы раздавливают личность. Неужели так будет всегда? А я-то, а мы-то в молодости шли храбро присту-

пом на этот неизбежный закон. «За справедливость». Теперь над этим смеются.

<...> Я знаю многих честных, трудолюбивых, чудесных работников, но жизнь их безрадостна. Вечный страх: происхождение! чистка! высылка! арест! расстрел! За что?

<...> Прежняя культура, мораль, идеологические понятия сметены без остатка. Новая эпоха, новые люди... Новые — значит ли лучшие? <...>

Ни один вопрос, ею самою поставленный, не имеет ответа. В дневнике. Но себе она их дала. Никакого влияния на ее повседневье они не оказали. Жизнь продолжалась. Она шла по своим законам, не считаясь ни с кем и ни с чем.

Тухачевский приехал в Куйбышев (так теперь стала называться Самара) утром 26 мая и после завтрака, во время которого Дыбенко успел рассказать ему о состоянии дел, отправился на окружную партконференцию, где произнес краткую речь. По дороге в штаб округа Тухачевского попросили заехать в обком. Через несколько минут оттуда вышел Дыбенко и, едва разжимая губы, сообщил ожидавшей его жене, что Тухачевский арестован.

Две с половиной недели спустя — в составе специальной военной коллегии Верховного суда СССР — Дыбенко судил Тухачевского и еще семерых крупнейших советских военачальников по обвинению в измене. На следующий день после их казни Ежов доносил Сталину о том, как вели себя судьи. Дыбенко, отметил он, в течение всего процесса не проявлял никакой активности и задал лишь несколько ничего не значащих вопросов Якиру и Уборевичу.

Через месяц после облетевшего весь мир сообщения о казни Тухачевского, Якира, Уборевича, Эйдемана, Корка, Примакова, Фельдмана и Путны Коллонтай улетала в Москву. Не по специальному вызову, а в связи с визитом министра иностранных дел

Швеции Сандлера. Запись в дневнике перед отлетом передает то состояние, в котором она тогда находилась.

«<...> Жизнь изменилась резко. <...> Уже никогда, никогда не вернется беспечная радость. Я за эти годы много, много пережила. Но и многое поняла. Многое похоронила. Сердце сковано, и не могу, да и нельзя страдать лично, как раньше. <...> Все иначе, чем было в нашем наивном представлении. Отсутствие справедливости, неперемнная, неизбежная нетерпимость. А боль остается за «безвинно виновных». Что ждет в Москве?

<...> Как мы могли, как мы смели страдать тогда, в годы до мировой войны, от своих личных болячек? Ведь <...> готовился пожар и впереди были годы безмерных мук для миллионов. <...> Страдаю за других, за всех безвинно виновных, в этот жестокий период истории, очень жестокий. И очень трудный для нас, кто в молодости шел на борьбу «за справедливость», «за человечность», против насилия. Наивно? Да. Очень».

В ожидании официальных встреч Коллонтай показывала гостю Москву и ее музеи. Больше всего она боялась, что Сандлер заговорит об арестах и о расстрелах, но шведский министр знал толк в дипломатии и неуместных вопросов не задавал. Лишь однажды спросил, что мадам Коллонтай думает о только что вышедшей в Париже и уже прогремевшей на весь мир книге Андре Жида «Возвращение из СССР». «Ложь, ложь и еще раз ложь!» — поспешила заверить его Коллонтай, которая книгу эту еще не читала. «Возможно, — согласился с ней Сандлер, — но ведь он только что так восторгался Союзом. Может быть, здесь что-то произошло?» Зондаж был слишком очевидным, и Коллонтай тотчас перевела разговор на достоинства московского метро.

Других поводов для беспокойства Сандлер не создавал. Беседам на острые темы он предпочитал восторги по поводу русских женщин, прельщавших его

своими хорошими формами: «В Стокгольме все помешаны на худобе, и в результате наши женщины лишились не только груди, но и боков». Коллонтай не любила подобных фривольностей, но сейчас они были ей куда милее любых разговоров о реалиях здешней жизни.

Приемы, завтраки, обеды в честь высокого гостя позволили ей встретиться с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Калининым и другими «соратниками». «Настроение у всех хмурое, — отметила Коллонтай, — разговор не клеится». На завтраке у Молотова она оказалась за столом рядом с Ворошиловым. Он наклонился к ней, вымолвил шепотом «Бдительности в нас мало... Я очень страдаю». Коллонтай попыталась включиться в его тональность: «Я тоже очень страдаю — за вас. Ничего нет страшнее в жизни, чем потерять веру в моральный облик близких друзей. Это больно, очень больно. Это жуткое горе». Красный маршал чуть не заплакал: «Вы понимаете? Спасибо. Спасибо. Жуткое, кошмарное горе».

Не об этом ли диалоге — ее строки в «Записках на лету»: «Ни одного искреннего словечка, ни одной не фальшивой ноты. Дурной спектакль для других и для себя?»

Впрочем, друг с другом они бывали и искренни. Коллонтай слышала, как, повернувшись к Кагановичу, Молотов, жуя, сказал: «Невероятно скучная фигура этот министр». — «Обзеваетесь», — охотно подхватил Каганович. «Что с него взять? — подытожил Молотов. — Транзитная страна». И, подняв бокал, без паузы громко продолжил: «За ваше здоровье, глубокоуважаемый господин министр. За процветание прекрасной страны, которую вы представляете и дружбой с которой так дорожит весь советский народ». «Сандлер был восхищен теплотой и искренностью оказанного ему приема», — завершила Коллонтай рассказ об этом завтраке в своих заметках.

Свое восхищение Сандлер выразил мероприяти-

ем, не предусмотренным предварительно согласованной программой. Он закатил грандиозный прощальный бал в гостинице «Метрополь». Еще не оказавшаяся в казематах Лубянки московская политическая и культурная знать, как и весь дипкорпус, веселилась до утра, поглощая несметное количество напитков, обедаясь икрой и танцуя фокстрот и танго под сменяющие друг друга оркестры. Прямо с бала, в пять утра, Сандлер проследовал на аэродром. Проводив его, Коллонтай завалилась спать.

Пробуждение вернуло ее в реальность. В гостиничном холле дождалась жена Шляпникова — Катя. Коллонтай с трудом узнала в опустившейся, сторбленной женщине былую хохотунью, которую, казалось, не могла сломить никакая беда. Информация была короткой: Шляпникова снова будут судить, но — за что? Ведь в политической жизни он давно уже не участвовал, несколько лет провел в ссылке, не только оглох, но почти и ослеп...

Помочь Коллонтай ничем не могла. Обреченность Шляпникова была для нее очевидна, но не потянет ли он и ее за собой? Понимала, что логики в той вакханалии нет никакой, что все решает слово вождя, и ничто больше. И НИКТО больше! И все же мучила мысль: полощут ли там, на следствии, ее имя?

Не «полоскали»... На вопрос: «С кем из прежних участников рабочей оппозиции вы поддерживаете связь?» — Шляпников перечислил с десяток имен — имени Коллонтай в этом перечне нет. Среди всякого прочего ему вменили и «клевету на советскую действительность». Клевета состояла в том, что в дневнике он сделал запись о впечатлениях от последнего посещения Ленинграда: «Лица испытые... Бледные, бескровные губы у женщин и детей говорят о плохом питании... На улицах много нищих...»

«Дело» Шляпникова военная коллегия Верховного суда СССР слушала целых два часа — вместо двадцати минут, установленных для конвейера. Воз-

главлявший судилище Василий Ульрих явно имел высочайшую установку добиться от Шляпникова традиционных признаний. Ничего не добился: Шляпников отверг все обвинения, назвал их вздором, «беспросветной глупостью предателей революции». Он даже выразил сожаление, что двумя годами раньше, травимый партконтролерами, сосланный сначала в Карелию, потом в Астрахань, он взывал к Хозяину: «Сталина лично прошу хотя бы во имя того прошлого, когда он не отказывал мне в помощи и товарищеском совете, оказать мне поддержку и сейчас». «Революционер не должен просить о том, что заведомо не будет исполнено» — так объяснил он свое сожаление. От принципа этого не отступил. Приговоренный к расстрелу 2 сентября 1937 года, он ходатайства о помиловании не подал и был казнен в ту же ночь.

Через несколько дней после его казни Коллонтай снова оказалась в Женеве на очередной Ассамблее Лиги Наций. Ей досталась в отеле «Ричмонд» комната, соседняя с той, в которой она обычно жила. Попытки получить комнату с видом на ее любимые Альпы успехом не увенчались, и ей пришлось довольствоваться созерцанием гор лишь во время завтрака из ресторана: все дни с утра до позднего вечера были заполнены до предела.

Непосредственной причиной ее включения в делегацию было обсуждение вопроса о равноправии женщин. Лишь приехав в Женеву, Коллонтай узнала, что с повестки дня ассамблеи вопрос снят по инициативе французского министра иностранных дел Поля Бонкура. «Француженки и без равноправия хорошие патриотки, мадам Коллонтай» — так объяснил ей Бонкур свой поступок. Можно было, наверно, оспорить, затеять дискуссию, но «ведь мир действительно занят сейчас другим», — решила Коллонтай и спорить не стала, чувствуя, что любая активность ей сейчас не под силу. Но в пра-

вовом комитете все же произнесла страстную речь о том, какого равноправия во всем (во всем!) добились советские женщины благодаря великой сталинской конституции.

Потемкина, к счастью, не было. Его заменил новый посол в Париже Яков Суриц, человек ее круга, ее культуры, ее воспитания. С ним всю ночь напролет проговорила о «московских делах». Суриц каким-то образом был информирован лучше — это он сообщил ей поистине ошеломительную новость, хотя никого и ничем уже нельзя было, кажется, удивить. В тот самый день, когда советская делегация прибыла в Женеву, был арестован Давид Канделаки, только что получивший повышение по службе, сменив пост торгпреда в Германии на пост заместителя наркома внешней торговли. Никакого сомнения не было: его «повысили» лишь затем, чтобы заманить в Москву.

Коллонтай почувствовала, что не способна более ничего понимать. Ведь Канделаки был личным посланцем Сталина, он был предан ему бесконечно — если даже и не по идее, то по здравому смыслу, — падение Сталина означало бы и его, Канделаки, падение, настолько прочно был он прикован к сталинской колеснице. Чем же он провинился? «Холодно. Жутко. Не хочется жить» — такова реакция Коллонтай на это известие, отраженная в дневнике.

Но утром она снова наслаждалась видами Альп, пила кофе со сливками и заказала еще одну, любимую с детства, ватрушку. Завтрак был деловой, обсуждалась программа текущего дня, оттого так невпопад был вызов Литвинова курьером советской делегации. «Пусть подождет», — отмахнулся Литвинов, но гостиничный бой был непреклонен: «Господин министра просили спуститься немедленно».

Литвинов вернулся через несколько минут с расшифрованной телеграммой в руках. «Открылась еще одна вакансия полпреда, — мрачно пошутил он, — любая страна на выбор. Нет ли желающих?» На этот раз «скоропостижно скончался» пол-

пред в Эстонии Алексей Устинов. Тот самый Устинов, который в 1918 году отправился вместе с Коллонтай в Швецию через Финляндию и вместе с ней же застрял в балтийских льдах. «Продолжим завтрак? — спросил Литвинов. — У вас еще есть аппетит?»

«Следствие» по делу Канделаки тянулось полгода — срок редкий для тех времен. Когда речь шла о людях из самого близкого его окружения, Сталин не слишком спешил с завершающей «следствие» пулей. Все те, с кем Канделаки был дружен, родственники Сталина прежде всего, уже пребывали в лубяньских камерах или ждали ареста. Канделаки был обречен хотя бы потому, что был слишком близок к тирану и знал то, что не должен был знать никто. По той же причине был так зверски уничтожен в Швейцарии порвавший с Москвой советский агент Порецкий-Рейс: он был в курсе тайных переговоров, которые вел Канделаки с гитлеровской верхушкой, и собирался предать их огласке.

Как это часто тогда практиковалось, вмененные в вину Канделаки факты частично имели место, но не содержали никакого предательства, поскольку он действовал по личному указанию Сталина. «Установил связь с фашистскими кругами в Германии...» Действительно, установил — встречался даже с самим Герингом, но отнюдь не по заданию «врага народа» Пятакова, а по заданию «отца всех народов» Сталина. И выгодный Германии торговый договор заключил, конечно, не по своей воле, а все по той же, по той же... За этот договор Канделаки сначала был награжден орденом Ленина, потом за него же — расстрелян.

Имя Коллонтай снова замелькало в западных газетах: была пущена утка, что ее назначают полпредом в Китай. Никто не знает, где зародился этот

слух и с какой целью был запущен: ни малейших планов о таком ее перемещении не существовало, вопреки утверждению посвятившей ей целую страницу газеты «Пари-суар», что сведения получены из надежного источника. Журналисты, как видно, не слишком заботились о достоверности сообщаемых фактов, иначе не напичкали бы ее биографию таким количеством домыслов. «Ленин играл с ней в шахматы в монпарнасских кафе...» В шахматы Коллонтай вообще не играла, с Лениным — тем более, а Монпарнасу Владимир Ильич предпочитал в Париже совсем другие кварталы.

Но эти огрехи особой опасности не представляли. Куда опаснее было другое: в целом благожелательный тон, с которым газеты нескольких стран писали о ней. За такие симпатии тогда приходилось платить слишком высокую цену.

«Опять подлые <...> газеты доставили заботы, — писала Коллонтай Зое Шадурской, — и злость, и хлопоты, и протесты <...> Жизнь только тогда полноценна, если живешь и оставляешь след. Я любила записывать события, переживания, но уже давно забросила это <...> — не всегда полезно и даже опасно, но если все несешь в себе — задыхаешься».

Время от времени она все же возвращалась к своим заветным тетрадкам — чтобы не задохнуться. Плохо завуалированные намеки на душевные муки, которые она испытывала от потери ближайших друзей, перемежались в ее дневнике и в «Записках на лету» с описанием балов, приемов и раутов, с жалобами на скудость своего гардероба, который остро нуждался в немедленном обновлении. Жизнь брала свое, отвлекая от горьких дум.

Но можно ли было от них отвлечься? Зоя в очередном письме, соблюдая максимум доступных ей иносказаний, сообщала о самой страшной из всех новостей последнего времени: общая участь постигла и Дяденьку. Его взяли на работе — в перерыве между лекциями, которые он читал в Ленинград-

ском институте инженеров гражданского воздушного флота.

Не в силах переживать свои муки на людях и боясь нервного стресса, Коллонтай уехала в курортный городок Сальтшебаден. Рядом не было ни одного знакомого человека, и она могла дать волю своим чувствам. Здесь следила она за газетными сообщениями о ходе последнего из трех больших московских процессов, где клеветническим обвинениям подвергся самый близкий ей по духу и лучше других знакомый из бывшего ленинского окружения Николай Бухарин. Здесь же перед глазами прошло все, что связывало ее с единственной за всю жизнь подлинной любовью, так трагически завершившейся.

Осталась запись, сделанная ею на бланке отеля 25 марта 1938 года. Доверить ее дневнику, рассчитанному на сохранение, она не решилась. Но и записку не уничтожила тоже. Из всех ее «монологов» подобного рода этот — самый искренний и самый отчаянный.

«Страшно за многих друзей. Мучаюсь, рвется сердце за них.

Далекий друг А. А. — я не могу помириться, не могу охватить, что и он попал под «колесо истории».

Он — такой безупречно преданный, такой честный...

Я страдаю, я живу в пытке страданий. За многих. За то, что это неизбежно и непредотвратимо, как стихийное бедствие. Но от этого не легче.

Если я не попаду под колесо, то только чудом. Знаю, за мною нет деяний, никаких поводов фактически. Но в этот период истории не надо деяний: другой критерий.

Поймут ли это будущие поколения? Поймут ли все происходящее? Жить — жутко.

<...> Я вечна на людях. <...> И ни одного близкого, никого, для кого я, лично я, а не начальство, не руководство, а я — была бы дорога. Но одной и здесь жутко».

И здесь!..

Сотни тысяч дел, сфабрикованных в эпоху Большого Трора, поражают своей очевидной нелепостью, но дело Дяденьки по своему абсурду превосходит все, известное до сих пор.

Почти семидесятилетний профессор, один из лучших военных инженеров России, продолжал работать с прежней активностью: не только читал лекции, но стал еще и администратором, возглавив в институте отдел, руководивший учебным процессом. После этого, согласно обвинению, он был завербован военруком института в «контрреволюционную офицерскую монархическую организацию» для «повстанческой диверсионной деятельности методом вредительства в области учебного процесса». И на поприще диверсанта так преуспел, что «количество неуспевающих студентов дошло до 70 процентов, а из двадцати аспирантов института учебные планы выполнили только двое». За это генерал Саткевич был расстрелян, причем фальсификаторы, понимая, видимо, что даже по меркам тридцать восьмого года это «обвинение» поражает своим идиотизмом, не решились передать его дело в безропотно штамповавший смертные приговоры суд: Дяденька был казнен по постановлению, подписанному лично наркомом внутренних дел Ежовым и прокурором СССР Вышинским.

Когда в 1955 году бывшие коллеги и ученики профессора Саткевича потребовали его посмертной реабилитации, военная прокуратура стала тщательно проверять «обоснованность» обвинения, хотя всегда и везде, даже в Советском Союзе при Сталине, успеваемость студентов зависела от них самих, а не от администраторов, составляющих расписание лекций и семинаров. Институтские архивы сохранились: оказалось, что число неуспевающих студентов не превышало тогда и пяти процентов! Лишь на этом основании Дяденька был реабилитирован. Стало быть, окажись там двоечников больше, казнь одного из благороднейших людей России надо было бы считать справедливой.

Друзей и недругов уравнивала общая судьба. Под «колесо истории» попал и так не любимый ею Крыленко — могла ли она испытать от этого хоть какую-то радость? Одного за другим поглощала бездна и тех, кто судил Тухачевского: лишь теперь мы знаем, что они были обречены еще до того, как оказались за судьейским столом. О некоторых из них — в том числе и о Дыбенко — как о соучастниках «заговора» допрашивали Тухачевского еще накануне суда, но на следующий день, вряд ли что-то поняв, тот увидел их в роли судей, а не подсудимых. В живых они задержались не надолго.

Судьба Дыбенко пока что складывалась благополучно. Его удостоили «избрания» в Верховный Совет СССР, и он даже присутствовал на его первой сессии. Почти сразу же после ее завершения он внезапно был вызван на заседание политбюро, где Сталин предложил ему «открыться перед партией» и рассказать, когда именно его завербовали американцы? Потрясенный Дыбенко не мог вымолвить ни слова, и Сталин добил его, напомнив, что еще Керенский называл Дыбенко немецким шпионом, а партия, наивно веря в искренность красного командира, не придавала значения этим разоблачениям.

С заседания политбюро его отпустили к «месту службы» — оставалось ждать неминуемого конца. Дыбенко успел отправить письмо Сталину: «Дорогой товарищ Сталин! Решением Политбюро и Правительства я как бы являюсь врагом нашей родины и партии. Я живой, изолированный в политическом отношении, труп. Но почему, за что? Разве я знал, что эти американцы, прибывшие в Среднюю Азию с <...> официальными представителями НКВД и ОГПУ, являются специальными разведчиками? В пути до Самарканда я не был ни одной минуты наедине с американцами. Ведь я американским языком не владею <...>

Неужели через 20 лет честной, преданной Родине и партии работы белогвардеец Керенский своим

провокааторством мог отомстить мне? Это же ведь просто чудовищно. <...>

Товарищ Сталин, я умоляю Вас дорасследовать целый ряд фактов дополнительно и снять с меня позорное пятно, которого я не заслуживаю ...»

Сталин письмо получил и отправил его Ворошилову, а тот просто-напросто сдал в архив. Через несколько дней Дыбенко арестовали как «участника военно-фашистского заговора», завербованного царской охранкой еще в 1915 году! Поскольку однажды Дыбенко ездил на стажировку в Германию, его, естественно, обозвали германским шпионом. И еще американским — раз виделся с американцами. Арестованная вслед за ним жена Зинаида обвинялась в том, что не донесла на мужа. Могла ли она знать, познакомившись с Дыбенко в середине тридцатых годов, что он делал в пятнадцатом и даже двадцатом?

Дыбенко все «признал», включая связь с «заговорщиками» во главе с маршалом Буденным. Ни один из них арестован не был, просто Лубянка готовила впрок дела на всех без исключения: авось пригодятся... В ночь с 28 на 29 июля 1938 года Дыбенко был казнен. В ту же ночь были казнены командующий военно-морскими силами Советского Союза Владимир Орлов, командармы Иоаким Вацетис, Михаил Великанов, Иван Белов, Иван Дубовой, Яков Алкснис, член политбюро Ян Рудзутак, члены ЦК Валерий Межлаук, Иосиф Уншлихт. Вместе боролись за советскую власть, вместе от нее и погибли.

Та же судьба постигла большевиков — членов президума Петроградского Совета, готовивших вместе с Коллонтай в 1917-м революционный переворот. Их было всего тринадцать — и вот итог: расстреляны девять, один убит агентами Сталина, один загадочно умер («залечен» или отравлен), один покончил с собой. Выжила только она одна...

В скорбных откликах на гибель спутников ее жизни имени Дыбенко нет, но обрывочные записи

Коллонтай и ее редкие письма того периода не оставляют сомнения в том, кому они адресованы. «Я очень одинока. Очень, — писала она из Сальтшебадена новому своему секретарю, шведке Эми Лоренссон, к которой почувствовала доверие. — У меня такое ощущение, что вокруг меня возникают все новые и новые пустоты».

Все, что она могла себе позволить, — краткосрочное бегство в Норвегию, неизменно возвращавшую ей душевный покой. «Я <...> всегда бежала от страданий <...> — честно призналась она здесь своему дневнику, — я любила жизнь, я хотела счастья, я не хотела страдать». Но есть ли в мире хоть кто-нибудь, кто хотел бы страдать? Все дело, видимо, в том, какая цена пригодна для того, чтобы избавить себя от страданий.

С мыслью о том, что когда-нибудь подойдет и ее очередь, она встречала и провожала каждый прожитый день. Теперь мы знаем, что для этого были все основания. Громкое дело «изменников-дипломатов» уже было полностью подготовлено, и на Лубянке ждали сигнала из Кремля, чтобы оповестить о нем весь мир. Скамью подсудимых должны были разделить нарком иностранных дел Максим Литвинов, посол в Англии Иван Майский, посол во Франции Яков Суриц, посол в Швеции Александра Коллонтай, посол в Италии Борис Штейн и еще многие другие — дипломаты и недипломаты, — в том числе и Вера Инбер, совсем не случайно, как видно, включенная во «вредительскую группу» наркомата иностранных дел, а вовсе не Союза писателей.

Процесс не состоялся — прежде всего потому, что после морального провала суда над Бухариным и Рыковым Сталин вообще отказался от публичных кровавых шоу: «мокрые» дела стали вершиться только тайно, без свидетелей и без публикации в печати. Погибло множество дипломатов первого советского призыва, в том числе близкие знакомые Коллонтай Лев Хинчук (бывший полпред в Германии), Константин Юренев (бывший посол в Австрии и Японии),

Владимир Антонов-Овсеенко (бывший генеральный консул в Барселоне; вместе с Коллонтай и Дыбенко он входил в состав первого советского правительства), Александр Аросев (бывший посол в Чехословакии), не говоря уже о дипломатах «второго ряда».

В следственных материалах некоторых репрессированных дипломатов — Юренева, Аросева, бывшего посла в Испании Марсея Розенберга и других — имя Коллонтай как «сообщницы» и «активного члена группы заговорщиков» — фигурирует многократно, так что в том, какая судьба была ей уготована, сомневаться нет оснований. Есть еще и прямое свидетельство. Проведшая многие годы в ГУЛАГе жена секретаря Коминтерна Отто Куусинена, советская шпионка на Дальнем Востоке Айно Куусинен оставила мемуары, в которых рассказала, со слов мужа, что по первоначальному сценарию ГУЛАГ ждал вовсе не ее, а Коллонтай. Самой же Айно предстояло занять место посла в Стокгольме: тоже женщина, тоже «верная коммунистка», тоже знает язык...

Многие годы спустя поэт-сталинист Феликс Чуев поинтересовался у престарелого Молотова, почему не расстреляли Коллонтай. Молотов вопросу не удивился и дал «рациональное» объяснение: «Она все-таки выдающийся человек. Да, выдающийся, безусловно <...> У меня с ней были довольно хорошие отношения, но она, конечно, не настоящий революционер. Со стороны подошла. Но честный человек. Полина Семеновна <жена Молотова — Жемчужина> была ее поклонницей, ходила слушать ее — она замечательный оратор». Чуев не унимался: «Но почему ее все-таки не расстреляли?» (Мол, как же так: Коллонтай — и вдруг жива осталась?) Молотов ответил: «Она у нас была не вредной».

Лишь один из друзей и коллег не стал дожидаться пули в затылок и не принес покорно на блюде свою голову дожидавшимся ее палачам. У отозван-

ного для получения «нового назначения» Федора Раскольников на пути из Софии в Москву была пересадка в Будапеште. На вокзале он купил советскую газету и узнал из нее, что уже объявлен врагом народа. Он сменил поезд и вместо Москвы отправился в Париж.

Некоторое время спустя было опубликовано его открытое письмо Сталину: «Вы повар, — писал он вождю народов, — готовящий острые блюда, для нормального человеческого желудка они несъедобны. <...> Вы оболгали, — продолжал Раскольников, — обесчестили и расстреляли <...> Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которые они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

<...> Где Крыленко? — спрашивал, не надеясь на ответ, Раскольников. — Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?

Вы арестовали их, Сталин. <...>

Вы растлили и загадили души ваших соратников.

Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних соратников и друзей».

Называя Сталина «тираном, дорвавшимся до единоличной власти», Раскольников предрекал: «Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго».

Как мы знаем, он ошибся. И все равно это было единственное живое и честное слово, сказанное одним из бывших друзей, не предавшего ни себя, ни товарищей, ни то, чему была посвящена его жизнь. Остальные предпочитали «ложь во спасение», какую бы цену ни пришлось за нее заплатить.

Что думала Коллонтай, читая очередное письмо от своей лучшей подруги в разгар самых жестоких, самых кровавых и беспощадных репрессий?

«С наступающим великим праздником <годовщины Октября>, мой дорогой дружок! Я понимаю, что

европейским дипломатам сейчас не до «чаев», обедов и вечеров. Когда на сердце такие кошки скребут, даже им, многоиспытанным лицемерам, вести разговоры о собачках, погоде и взаимными комплиментами обмениваться тяжело <...> Вообще сейчас время, когда маски слетают. Только у нас в СССР дышится легко: говори, что думаешь, поступай, как чувствуешь!»

Кому они все-таки лгали? Себе? Друг другу? Или такие письма предназначались совсем для иных читателей? Но и в этом случае выбор слов для выражения своей лояльности зависел все же от автора. Адский страх повелевал каждому в его рабском усердии превзойти своего соседа. Вслед за этим письмом, не считая, видимо, что оно в достаточно полной мере отражает ее советский патриотизм, Зоя отправила Коллонтай еще одно.

«Много читаю: «Краткий курс истории ВКП(б)», Байрон, Моруа. Да, Моруа неплохо, но наивно в историческом и социальном плане. С «Кратким курсом» <в основном сочинен лично Сталиным> не идет ни в какое сравнение. <...> Когда я думаю о капиталистических странах, у меня чувство такое, как было на аэроплане: лечу спокойно на крепком, чудесном корабле вперед, в чистом, ярком воздухе, а там, внизу, пожары, люди барахтаются, мучаются — хочется им крикнуть: глупые, порвите свои путы и взлетите, как мы, в светлую высь».

«Взлететь» на этот раз предстояло Семену Мирному: без объяснения причин его срочно отзывали в Москву. Отношение к нему Коллонтай за последние годы значительно изменилось, но отправлять на заведомую голгофу своего многолетнего сотрудника было ей тяжело. Принимать решение — ехать или бежать — мог только он сам. Мирный выбрал возвращение — как тысячи других, оказавшихся в том же положении. Со дня на день Коллонтай ждала сообщений о его аресте, но для него судьба выбрала щадящий вариант: по обвинению в потере бдительности и идеологических срывах его всего-навсего

исключили из партии и даже дали возможность работать в качестве журналиста.

Места отозванных или уехавших за истечением срока службы дипломатов занимали совсем новые люди. Те, «старые», были тоже не графских кровей, но они обычно стремились хоть как-то дотянуться до цивилизации и усвоить манеры воспитанных людей. «Новые» не видели в этом ни малейшей нужды. Сочиненный Коллонтай трактат «Чего не надо делать на приемах» заменил собою философские эссе члена Всемирной лиги сексуальных реформ, повести из жизни совслужащих и статьи о счастливой женской доле под солнцем сталинской конституции. Он не только свидетельствует о ее стремлении отвлечься, но и дает исчерпывающую характеристику среде, в которой ей теперь приходилось жить и работать.

«На коктейлях или чаях в совмиссии члены совколонии не должны:

1) подходить к накрытым столам и угощаться раньше гостей;

2) садиться группами и разговаривать, забывая гостей;

3) брать с подноса рюмку и передавать ее гостю. Напротив, передать пустую тарелку гостю, чтобы он мог взять торт или бутерброды, вполне допустимо;

4) оставлять недоеденные бутерброды прямо на скатерти.

<...> Если рюмок не хватает, надо дождаться, когда принесут чистые, а не наливать себе водку или вино в уже использованные рюмки. <...>

Нельзя плевать на пол, кашлять, не отвернувшись от другого, тушить папироску, бросая ее на пол и притоптывая ногой. В случае насморка лучше не идти на прием или обед, так как чихать за столом или зевать не годится.

<...> На лестнице и в доме не должно пахнуть кушаньем или папиросным дымом. <...> В лифте и на лестнице не должны валяться окурки. <...>

Перед тем, как отправиться на прием, в гости, а

также перед приходом гостей рекомендуется принять душ. Несоблюдение этого правила будет замечено и даст основание вынести неправильные суждения о культуре в нашей стране.

Женщины должны быть одеты аккуратно и причесаны как следует. <...>

Не забыть, что при стирке белья в квартирах по дому разносится запах мыла и сырость.

<...> Не хлопать дверями, это производит впечатление некультурности».

Зоя оставалась последней отдушиной, связывавшей Коллонтай и с прежней жизнью, и с тем, что происходит в Москве. Ее благополучие вселяло надежду, что «колесо истории» минует, быть может, их обеих. Приближалось шестидесятилетие любимой подруги, Коллонтай послала ей модные туфли, теплое белье и разные женские мелочи, вызвавшие Зоин восторг. Благодаря за посылку, Зоя сообщала, что по случаю своего юбилея, наверно, получит давно ей обещанную путевку в санаторий и наконец-то подлечится и отдохнет.

Она по-прежнему жила, как и тысячи ее соотечественников, прислушиваясь вечерами, а то и ночами, к шуму лифта. Уже близилась полночь, когда лифт остановился на ее этаже, и через мгновение раздался звонок в дверь. Упавшим голосом Зоя спросила, кто звонит. Мужской голос назвал другую фамилию: звонивший просто ошибся номером дома. Когда лифт стал спускаться, Зоя почувствовала, как сжимается сердце. Она успела позвонить Вере — сестре. Юренева приехала через час и застала Зою уже мертвой.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Даже из тех ограниченных материалов, которыми ее снабжали, а в еще большей мере из прессы и из бесед с хорошо осведомленными шведскими политиками Коллонтай знала, что Сталин озабочен позицией своего ближайшего соседа — Финляндии. Тайные зондажи, которые непрерывно велись в Хельсинки, преследовали цель склонить эту страну к ориентации на Советский Союз и согласиться на «укрепление безопасности морских и сухопутных подступов к Ленинграду». В переводе на нормальный язык это означало: добровольно отдать Сталину часть своей территории. Пока что в эту аферу Коллонтай втянута не была, но с тревогой ждала соответствующих поручений. Ослушаться она бы не смогла, участие же в этой кампании означало снижение ее авторитета во всех скандинавских странах.

Через своих финских друзей, часто навещавших Стокгольм, прежде всего через возвращающуюся в самых высших правительственных кругах писательницу Хеллу Вуолийоки, Коллонтай была в курсе, что Сталин пошел на совершенно невероятный шаг, не имевший аналогов в истории международных отно-

шений. В Кремль был вызван резидент НКВД, занимавший более чем скромный дипломатический пост, — Борис Ярцев (второй секретарь советского полпредства в Хельсинки). Сталин, Молотов и Ворошилов поручили Ярцеву добиться личной встречи с министром иностранных дел Холсти и сообщить ему, что Германия готовится оккупировать Финляндию для последующего нападения на Советский Союз. Чтобы предотвратить агрессию, Москва предлагала заключить военное соглашение и пропустить в Финляндию советские войска, которые покинут ее «после окончания войны».

Разумеется, финны отвергли это «дружеское» предложение: они очень хорошо знали, что означает реально «временный» ввод советских войск. Но еще более они были потрясены тем беспримерным фактом, что подобные предложения — втайне от посла Деревянского — делаются министру дипломатом столь ничтожного уровня. Однако уровень их собеседника был, напротив, весьма и весьма высоким: «второй секретарь» Борис Ярцев на самом деле являлся доверенным лицом Сталина, полковником НКВД Борисом Рыбкиным, одним из новых асов советского шпионажа. В тот момент Коллонтай этого еще не знала, но подлинное место службы «парламентера» не вызывало у нее никаких сомнений. При всей беспрецедентности сталинской авантюры, с точки зрения правил мировой дипломатии, для самого Сталина этот шаг не был уж столь исключительным: ведь и тайные переговоры торгпреда Канделаки с рейхсмаршалом Герингом по важнейшим политическим проблемам тоже никак не укладывались в рамки дипломатического протокола.

То обстоятельство, что Коллонтай — полпред в соседней стране и лучший, видимо, в то время знаток Финляндии — не получала серьезной информации о закулисных переговорах в Хельсинки, служило для нее еще одним свидетельством неустойчивости своего положения. С одной стороны, она страши-

лась дискредитации, которой подверглась бы, став участником бесцеремонного нажима на Финляндию. С другой — отстранение от этого процесса, где она могла бы сыграть нужную Москве роль ничуть не хуже, чем Ярцев, наводило — не без основания — на мысль, что доверием Сталина она не пользуется.

Из Москвы тем временем пришла весть о новой потере. На этот раз, впрочем, «почетной»... В день своего семидесятилетия умерла Надежда Крупская. По некоторым весьма убедительным признакам ей помогли умереть. Она давно уже сошла с политической сцены, но иногда все же позволяла себе заступаться за арестованных — особенно ей близких или за тех, кто оказывал некогда личную услугу ее мужу. Почти ни одна ее просьба не была уважена, а однажды Сталин даже повелел передать, что, если Крупская не угомонится, «партия» в состоянии подыскать для Ленина другую жену. По некоторым, окончательно, правда, не подтвержденным, данным на роль «подлинной» ленинской жены намечалась давняя подруга Коллонтай Елена Стасова, та самая, которая, в сущности, и направила ее на революционную стезю. Вероятно, уход Крупской не только с политической сцены, но и из жизни был все же более предпочтительным для Сталина вариантом, чем замена ее в качестве ленинской жены другой партдамой.

Но лично Коллонтай смерть Крупской нанесла иной, совсем неожиданный, удар. По какой-то ему одному доступной логике Сталин дал указание сразу же вслед за похоронами «верной подруги великого Ленина» опубликовать его дореволюционную переписку с Инессой Арманд на любовные темы. Хотя это были не письма, раскрывавшие историю их личных отношений, а всего лишь обмен мнениями о том, насколько поцелуи вне брака лучше постылой супружеской любви, Коллонтай была уязвлена самым фактом их существования и огласки. Получалось, что за главного «любовного теоретика партии»,

пусть и допускаявшего ошибки, Ленин держал вовсе не Коллонтай, а Инессу...

За публикацией, как водится, последовало «изучение новых ленинских документов» во всей сети партийного и непартийного просвещения. Несколько месяцев в институтах и школах, на заводах и фабриках упоенно спорили о брачных и внебрачных поцелуях, хотя итог «споров» был заранее predetermined суждениями на этот счет Владимира Ильича. Расчет был точен: «спорщикам» было куда интереснее повторять ленинские трюизмы о любви и браке, чем задумываться над тем, что происходит в Кремле. Но к этим «дискуссиям», в которые вовлекли всю страну и к которым Коллонтай, казалось, должна была быть причастна в первую очередь, она не имела ни малейшего отношения. Про ее экзерсисы на ту же тему напрочь забыли.

Зарубежные газеты сообщили, что из Рима отозван советский посол Борис Штейн. По печальной традиции последних лет это означало только одно: пришел и его черед. Но на сей раз традиция дала сбой. Едва возвратившись в Москву, Штейн ночью был вызван к Сталину. Они проговорили несколько часов, а утром наркоминдел запросил для Штейна финляндскую визу: бывший полпред в Хельсинки (1932—1934 годы) вдруг воспыал желанием провести в полюбившейся ему некогда стране свой двухнедельный отдых, предпочтя итальянскому солнцу промозглость ранней финской весны. Но, прибыв в Хельсинки, Штейн вместо отдыха пожелал встретиться с новым министром иностранных дел Элясом Эркко. Он сообщил ему об очередном предложении Сталина — заключить пакт о взаимопомощи и передать Советскому Союзу в аренду несколько островов. Предложение было отвергнуто. Штейн возвратился в Москву ни с чем.

Сталин его не принял — ограничился информацией, переданной ему по телефону Литвиновым. По

телефону! Нежелание выслушать личный доклад того, кто выполнял его секретное поручение, как и отказ встретиться с наркомом иностранных дел, говорили о многом. Исчезновение Ежова и приход на Лубянку никому не ведомого дотеле Лаврентия Берии находились в какой-то загадочной связи со сталинским гневом, обращенным к дипломатам «ленинской генерации». Почти все они уже либо гнили в безвестных могилах, либо ждали неизбежного конца в пыточных камерах. Оставшиеся пока на воле должны были последовать за теми, чья очередь уже подошла.

В середине апреля 1939 года Коллонтай получила сообщение из Лондона от советского полпреда Ивана Майского. Внезапно, без всякой видимой причины (будто бы для «консультаций по советско-английским переговорам»), он был вызван в Москву и сообщал, что решил лететь самолетом до Хельсинки с посадкой в Стокгольме, а оттуда добираться поездом до советской столицы. Коллонтай не ошиблась: он избрал этот совершенно необычный путь лишь для того, чтобы встретиться с нею, хотя информировал Москву, что просто хотел «сократить время в пути».

В их распоряжении был только один вечер. И одна ночь. Они не сомкнули глаз. В дневниках и Майского, и Коллонтай об этой ночи фактически одна и та же запись: «Нам было о чем поговорить» (Коллонтай), «В уютной квартирке А. М. не могли наговориться» (Майский). О чем? Остается только гадать. Впрочем, догадаться нетрудно: оба безошибочно чувствовали надвигавшуюся катастрофу.

Не боясь ошибиться, можно предположить, что именно в эти дни Сталин принимал решение, какой будет участь еще не арестованных послов. Разрешение Майскому вернуться в Лондон означало, что смерч пронесся мимо. Об этом он рассказал Коллонтай на обратном пути. Об этом же — послу Сурицу во время своей остановки в Париже. Но кто

знал, что взбредет Сталину в голову не то что через несколько дней, а даже через несколько часов?..

Прошло всего лишь десять дней после того, как Майский отбыл из Москвы, когда Литвинова разбудил посреди ночи телефонный звонок. Сталин повелел ему немедленно ехать «на работу». Там его дожидались Молотов, Берия и Маленков — новый любимчик Сталина, заправлявший в ЦК всеми кадровыми вопросами. Не стесняясь в выражениях, Маленков сообщил наркому — то есть уже БЫВШЕМУ наркому, — что принято решение «навести порядок в его синагоге». Днем были арестованы руководящие работники наркоминдела — в основном еврей. В том числе заведующий отделом печати Евгений Гнедин — сын Александра Парвуса, с которым Коллонтай занималась переправкой немецких денег для большевистского переворота.

Фальшивая зашифрованная информация об отставке Литвинова («по личной просьбе наркома») была послана советским полпредам во всех основных столицах мира. Коллонтай эту зашифровку не получила: в списке адресатов, составленном самим Сталиным, ее фамилии нет. По канонам того времени это могло означать только одно: отказ в доверии, сигнал о том, что она вскоре последует за смещенным Литвиновым.

Куда? Знала ли она, что уже через несколько часов после того, как был подписан указ о его отставке, против Литвинова было заведено дело по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Англии и США? Знала — вряд ли, но догадаться было не так уж сложно.

Теперь достоверно известно, что Сталин отказался от замысла арестовать и судить Литвинова примерно в середине лета 1939 года, когда зондаж Риббентропа встретил полный восторг в Кремле и предварительные переговоры о заключении советско-германского пакта шли к благополучному финалу. Судить Литвинова в этих условиях было бы слишком большим подарком для Берлина, делать ко-

торый Сталин не собирался. Кроме того, Литвинов мог бы еще пригодиться как противовес эйфории, охватившей Гитлера и его окружение. Спасение Литвинова оказалось спасением и для тех дипломатов, которые должны были разделить с ним скамью подсудимых. На этой скамье Коллонтай занимала бы одно из центральных мест. Но ей была уготована иная судьба.

Только она, наверно, своим огромным авторитетом могла успокоить в Швеции и сопредельных странах тех антинацистов, которых потряс пакт Молотова и Риббентропа, хотя его правильней было бы назвать пактом Сталина и Гитлера. О том, что такой пакт будет подписан, ее никто не предупредил. Она узнала об этом из газет, как рядовой читатель. Была к этому готова — тайный сговор был слишком уж очевиден, — и все же свершившийся факт поразил своим неприкрытым цинизмом. Групповой снимок новых друзей — Сталина, Молотова и Риббентропа обошел газеты всего мира. Льстивый тост Сталина в честь фюрера, которого любит весь немецкий народ, ошеломлял своим беспардонным цинизмом.

В посольском дневнике Коллонтай записала, однако, совершенно иное: «Шаг с нашей стороны вернейший». А что могла еще написать? Ведь она-то знала, кто сделал этот «вернейший» шаг! В «совершенно секретной» депеше Молотову, отправленной 23 августа, в день подписания пресловутого пакта, она назвала его без обиняков «блестящим политически ходом <для> укрепления мира». О том же, что она на самом деле думала в эти дни и как чувствовала себя, будучи обязанной защищать политику своего правительства, говорит, пожалуй, с исчерпывающей красноречивостью только один факт: 25 августа Коллонтай отбыла «на отдых» в уединенный приморский пансион, заявив, что не примет ни одного журналиста и ни одного официального лица...

Сюда, в пансион «Лидингэ», дошла до нее весть о

нападении Германии на Польшу и о смерти в Ницце Федора Раскольников. Как ни разномасштабны эти два события, оба они невероятно взволновали ее и вызвали сильный сердечный приступ.

В Советском Союзе о гибели Раскольникова, естественно, не было сказано ни одного слова. Согласно официальной, не отвергнутой до сих пор, московской версии, почему-то настойчиво поддерживаемой здравствующей в Страсбурге его женой Музой (во втором браке Канивез), Раскольников умер не то от инфаркта, не то от воспаления мозга. По версии Нины Берберовой, разделяемой некоторыми авторами, он выбросился из окна в состоянии сильной душевной депрессии, осознав полную бесперспективность дальнейшей жизни. Но третья версия была, видимо, куда ближе к истине: рука Лубянки, направленная мстительным Сталиным, который ничего не забывал и терпеливо доводил все до конца, настигла последнего из красных командиров Балтфлота на французской Ривьере, когда миру было не до отчаянного бунтовщика, бесстрашно бросившего вызов тирану.

Версии могли быть самые разные. Но одно не вызывало ни малейших сомнений: нигде, ни в одной точке земного шара, ни в одном укромнейшем уголке планеты от подосланных Москвою убийц не было и быть не могло никакого спасения, если только Сталин вынес беглецу свой приговор.

Секретный протокол к советско-германскому договору, существование которого отрицали и в Москве, и в Берлине, начал осуществляться с молниеносной быстротой. Советские войска вторглись в Польшу под предлогом защиты братьев украинцев и братьев белоруссов, а несколькими днями позже Молотов с Риббентропом заключили еще один договор — на этот раз «о дружбе». Очередной передел мира начался. Встревоженные шведские власти пытались получить от Коллонтай хоть какие-то разъяснения, но никаких указаний из Москвы она не получила.

«Шведы чувствуют себя все тревожнее. Говорить не о чем. Могу повторять лишь то, что пишут в газетах. Это, конечно, никого не удовлетворяет. Меня саму в первую очередь».

Однако в Москву она посылала ту информацию, которую там ждали. Точнее, которую хотели иметь. Еще совсем недавно в своих посольских шифровках Коллонтай клеймила «прогерманские» настроения в шведских «правительственных и влиятельных общественных кругах», называла Германию агрессором и сообщала о крепнувшей надежде шведов на то, что договоренность о совместных действиях между Советским Союзом и Англией «преградит путь агрессии тоталитарной Германии». Теперь с той же категоричностью она клеймила «проанглийские» настроения шведов. «<...> здесь создалась, — доносила она Молотову в октябре 1939 года, — нервная атмосфера, которую Англия использует для раздувания антисоветских настроений. <...> Шведская общественность растерянна и напуганна. Англия ловко разжигает традиционные симпатии шведов к «свободной» Финляндии». Получившая широкую известность еще до революции своей борьбой именно за независимость и СВОБОДУ любимой Финляндии, она поставила теперь это слово в кавычки!..

Отказавшись от договора с Москвой на условиях, ею предложенных, Финляндия заключила иной — прямо противоположный — договор с Германией. Продолжая осуществлять нажим на Финляндию, Сталин, в сущности, выступал против союзника своего союзника! Наперекор Гитлеру в новых условиях он действовать не мог. Стало быть, прямо или косвенно давление Москвы на Хельсинки чем-то было на руку Берлину. Не хотел ли Гитлер испытать реальную силу Советского Союза, способности его полководцев — после того, как Сталин уничтожил весь советский генералитет, — его военно-техничес-

кий потенциал, боевой дух его солдат? Коллонтай видела, что дело идет к войне, но никто не призвал ее ударить палец о палец, чтобы предотвратить надвигавшуюся военную авантюру. О полпреде в Швеции, казалось, просто забыли.

Тогда она решилась на шаг чрезвычайный, крайне редко используемый дипломатами. Советскими, да еще в сталинскую эру, — кажется, вообще никогда. Никого не спросив, Коллонтай сама полетела в Москву для консультаций. Однако Молотов, ставший вместо Литвинова наркомом иностранных дел, явно не спешил встретиться с нею, заставляя часами ошиваться в приемной. Удостоив наконец встречи, язвительно спросил: «Приехали хлопотать за своих финнов? Не беспокойтесь, за три дня все будет кончено!» И резко оборвал, когда она попробовала заговорить о демократических силах в Европе: «Это вы империалистов Англии и Франции величаете прогрессивными силами? Их козни нам известны...» На прощанье, повелев немедленно возвращаться в Стокгольм, дал основное задание: «Удержать скандинавов от вмешательства в неизбежную нашу войну с Финляндией». Стало быть, финнов он к скандинавам не относил: у Москвы были свои представления о географии.

Накануне советского нападения на Финляндию Коллонтай уехала «отдохнуть» в свой любимый Сальтшебаден. Невозможно поверить, что она это сделала самовольно — в такой критический момент. Скорее всего, знала в точности дату и решила как-то смягчить тот удар, который должен был обрушиться на нее в первые же часы. Война, как известно, началась после «семи выстрелов» в приграничном финском местечке Майнила. Ясное дело, Москва тотчас объявила, что выстрелы сделаны с финской стороны, и ответила на них мощным наступлением сосредоточившейся у границы Красной Армии. Точно так же тремя месяцами раньше Германия начала войну с Польшей — «нападением» поляков (то есть немцев, переодетых в польскую

форму) на немецких солдат в местечке Гляйвиц, неподалеку от Данцига. Почерк один и тот же!..

Ее вызвали для объяснений премьер и министр иностранных дел. Что иное она могла сказать, кроме как отстаивать официальную советскую версию?

— Если вы не хотели войны, — спросил премьер Пер Альбин Ханссон, — почему вы отказались от шведского посредничества?

— Для ответа на ваш вопрос, — с обескураживающей прямоотой сказала Коллонтай, — мне нужны указания от своего правительства. Я их не имею.

Может быть, именно прямота и откровенность помогли Коллонтай сохранить лицо.

Не было никаких оснований заблуждаться насчет того, как отнеслись в Швеции к советской агрессии против дружественной соседней страны. Все, буквально все были возмущены сталинской наглостью, решительно ничем не отличавшейся от наглости бесноватого немецкого фюрера. Одни — их было огромное большинство — возмущались агрессором вслух и публично, другие — фанатичные друзья красной Москвы — стыдливо пожимали плечами и старались уйти от разговора на столь щекотливую тему. «Я ненавижу эту войну», — записала Коллонтай в дневнике, естественно умолчав о том, кто в ней повинен. *Sapienti sat!*¹

Многотысячные толпы осаждали советское полпредство, выкрикивая лозунги: «Агрессоры-большевики, вон отсюда!» Страсти еще больше накалились, когда в захваченном наступавшими советскими войсками городке Териоки (а точнее — в одном из кремлевских кабинетов) было образовано марионеточное «правительство» Финляндии во главе с давним сталинским холуем Отто Куусиненом, с ног до головы вымазанном кровью своих бывших товарищей и друзей. Полиция ограждала со всех сторон подступы к советской миссии, «тогда как в Париже

¹ Для умного достаточно (лат.).

и Лондоне, — сокрушенно писала Коллонтай в дневнике, — толпа била окна в наших посольствах». Лига Наций исключила агрессора из своих рядов. «Мы вышли из Лиги Наций», — в созвучии с советской версией откликнулась на это событие Коллонтай. Панически боялась «разоблачений»? Или настолько уже вжилась в свою роль, что и сама стала думать по-сталински? Ее двойная жизнь зашла так далеко, что отличить теперь маску и суть не было ни малейшей возможности. Похоже, и сама она перестала в этом разбираться.

О ее подлинных чувствах, пожалуй, говорит другая запись: «На Карельском перешейке идут бои. Наши войска продвигаются по направлению к Выборгу. В газетах то и дело мелькают названия местечек и дорог, знакомых мне с детства: Кюреле, Пелекелле, Кузанхови — Кууза (усадьба дедушки), дом с белыми колоннами, вся моя юность там. <...> Темные дни. Бои, бои. Знакомые названия местечек близ усадьбы дедушки — дорога на Вуоксу, красный деревянный мост через речку Канилан. На этом мосту финские девушки и парни плясали под гармошку, и мы, молодежь из усадьбы, нередко присоединялись к ним в светлые летние ночи. <...> А сейчас через красный мост над быстрой речкой, громыхая, переправляются орудия и танки. Там мне знаком каждый поворот. Но нет уже ничего, даже тех поворотов. Все уничтожено войной, все, все <...>» И сразу же вслед за этим лирическим пассажем: «Куусинен не имеет поддержки в народе». Никаких иллюзий насчет подлинной роли этой марионетки и его реальных возможностей у Коллонтай не было. Удивляло только одно: как такую очевидность не понимают и не хотят понимать в Москве?

Резидент советской разведки попросил полпреда принять «одного товарища», прибывшего из Хельсинки со специальной миссией. «Один товарищ»

оказался милостивой молодой женщиной, во взгляде которой легко читались снисходительность и самоуверенность. Держаться так перед полпредом ей, видимо, позволяли ее пост на Лубянке и предоставленные Москвой полномочия. По установленным еще в начале двадцатых годов правилам агенты, имевшие за границей советскую — дипломатическую или служебную — «крышу», обязаны были представляться полпреду, не вводя его в курс выполнявшихся ими заданий.

— Зоя Ивановна, — представилась посетительница.

Не предлагая ей сесть, Коллонтай спросила:

— Чем могу быть вам полезной?

— В той острой ситуации, которая сейчас сложилась, — напрямик заявила Зоя Ивановна, — необходимо установить более тесную связь с нашей шведской агентурой. В этом смысле я рассчитываю на вашу активную помощь.

Коллонтай уклонилась от продолжения разговора.

— О вашем приезде я не была предупреждена. Прошу пожаловать дня через два.

Даже в порядке вежливости она не спросила, где и как устроилась гостя, это было заботой резидентуры. Но немедленно отправила Молотову шифровку: «Прошу отозвать из Стокгольма сотрудницу соседней <вошедшее в обиход дипломатов наименование советских шпионских служб>, так как в данной обстановке деятельность советской разведки в Швеции может привести к осложнениям». Ответ не замедлил: «Сотрудница выполняет задание своего руководства и отозвана быть не может. Окажите ей всю возможную и необходимую помощь».

— Выполняйте свою миссию, — сухо сказала Зоя Ивановне, когда та явилась к ней снова. Сесть ей она так и не предложила.

— Уже выполняю, — иронично ответила «сотрудница». — Надеюсь, мы подружимся с вами. Я ведь давняя ваша поклонница.

Мысль о том, чтобы использовать Коллонтай в качестве посредника-миротворца, пришла в голову Кремлю и финским руководителям почти одновременно. Не имеет значения, кому именно раньше. Важно, что — пришла. Ни та, ни другая сторона не имели в пределах своей досягаемости ни одной иной, столь же влиятельной, личности, которая в равной мере могла бы общаться с руководством обеих воюющих сторон.

Брат шведского короля, принц Евгений, талантливый, кстати, художник, лично попросил Коллонтай принять знаменитого артиста Карла Герхарда — популярнейшего эстрадного певца и директора музыкального театра. Никакой надобности в специальной рекомендации не было: Коллонтай и Герхард были очень хорошо знакомы, ни одна премьера его театра не обходилась без присутствия советского посла, а он, в свою очередь, блистал на всех приемах в советском полпредстве. Рекомендация принца означала: Герхард будет представлять не только себя самого.

Тем скромнее — на первый взгляд — и тем значительней по своим последствиям оказалась просьба артиста: пожаловать к нему на интимный ужин. Предложение о полнейшей конфиденциальности говорило о многом. В тот день, когда в Москве праздновали шестидесятилетие вождя народов, она запросила согласие на такую встречу. Положительный ответ пришел немедленно. Радость, однако, была омрачена телеграммой, текст которой чуть ли не каждый час передавали по радио: фюрер Адольф Гитлер горячо поздравлял своего великого друга Иосифа Сталина с юбилеем и желал ему всяческих успехов в проводимой им политике.

Назначенный ужин состоялся через несколько дней на вилле Герхарда в том же самом Сальтшебадене, куда так часто сбегала Коллонтай в поисках тишины и покоя. Поздним морозным вечером (температура упала до тридцати градусов) к ярко освещенной вилле подъехала дипломатическая машина

советского полпредства с потушенными фарами. Коллонтай дожидались еще двое гостей: новый министр социального обеспечения (Коллонтай называет его министром внутренних дел) Меллер с женой.

— С Рождеством, госпожа Коллонтай, — приветствовал ее хозяин дома.

— С наступающим Новым годом, товарищ Александра, — многозначительно уточнил Меллер, — ведь мы, социалисты, не празднуем церковные даты.

Уже одно то, что в священный для шведов сочельник собрались за столом не члены семьи, а «деловые друзья», говорило о значимости предстоящей беседы. Реплика Меллера еще больше подчеркнула цель этой встречи. Уединившись после ужина в приготовленной заранее уютной комнате с зажженным камином, Меллер предложил Коллонтай посредничество шведов для мирного завершения трагического конфликта. Только что состоялось назначение финского министра иностранных дел Эркко послом в Стокгольме, и Меллер не скрывал, что главной целью этого акта были переговоры с товарищем Александрой. «В счет идут не дни, а часы», — заметил он.

Наступал ее звездный час — в ней снова была нужда, ей снова предстояло оказаться в центре событий, за которыми следил весь мир. Коллонтай знала, что роль посредника старается играть и германский посол в Хельсинки Блюхер, но почему-то была уверена, что Москва предпочтет шведов. Куда опаснее представлялся внезапный визит в Стокгольм двух загадочных личностей: все того же Бориса Ярцева и некоего Грауэра, которых Москва прислала в качестве «туристов» и которые самым интересным туристическим объектом шведской столицы сочли здание посольства Финляндии. Эркко догадывался и о значении миссии двух визитеров, и об их полномочиях, но предпочитал иметь дело все-таки с Коллонтай, веря в ее гибкость, а главное — в личное сочувствие. Но и Сталин с Молотовым тоже

хорошо понимали ее разлад между сердцем и долгом, предпочитая жестких и дисциплинированных исполнителей международному авторитету, который Кремлю всегда представлялся скорее опасным, чем полезным.

Каково же было удивление Коллонтай, когда она узнала, что «сотрудница» Зоя Ивановна и «турист» Ярцев — муж и жена, выполняющие в этом регионе задания чрезвычайной важности. Об их полномочиях и о силах, стоявших за ними, говорило не только право вести переговоры на очень высоком уровне, предоставленное мужу, но и право не давать никакого отчета полпреду, предоставленное жене, которая уже тогда имела на Лубянке такое же воинское звание, как и ее муж: полковник. Коллонтай была обязана лишь «помогать», ни о чем не спрашивая, ни в чем не возражая и не делая никаких замечаний. В этом унижительном состоянии ей предстояло, однако, вести официальные переговоры, выводя из войны и агрессора, и его жертву.

Вслед за Ярцевыми в Стокгольм примчалась Хелла Вуолийоки. Еще со времен эмиграции она считала себя подругой Коллонтай, и та отвечала ей взаимностью. Не столько специальная миссия этой писательницы, втянутой в сложнейшие политические интриги, сколько то, как исполняла она свои поручения, побудило Коллонтай изменить свое отношение к ней. Нет никаких достоверных, тем более письменных, свидетельств о том, что она знала точное место Вуолийоки в кремлевских и лубяньских списках. Но как умный и наблюдательный человек не могла не догадываться — хотя бы по ее поведению, хотя бы по делам, в которые та вторгается, — что это не просто «друг Советского Союза». А если и «друг», то не на «общественных» же началах. Более или менее полно о работе известной финской писательницы на советскую разведку Коллонтай доведется узнать лишь годы спустя. Пока что она просто приняла это как данность.

Внешне, разумеется, ничего не изменилось — со-

ветский полпред был так же приветлив со своей давней финской подругой и так же дружелюбно настроен по отношению к ней. Но демонстративная секретность, с которой Вуолийоки вела переговоры с Рыбкиным (Ярцевым) в советском полпредстве, где, по крайней мере формально, единоличным хозяином была Коллонтай, выводила ее из себя. Никого не спрашивая, Вуолийоки уединялась с Рыбкиным в никому не доступной комнате шифровальщика (то есть в помещении представителя НКВД) и вела переговоры, не ставя о них в известность формально уполномоченного Молотовым на переговоры полпреда. Эта двусмысленная ситуация приводила Коллонтай в ярость, но помешать тайным агентам она не могла, сознавая, чьим alter ego был «Ярцев» и чьим доверием (не только в Хельсинки, но и в Москве) пользовалась Вуолийоки.

Вот короткая запись об этом в ее дневнике. Запись примечательна тем, что при фрагментарной публикации дневника в официальной советской прессе (уже в эпоху горбачевской гласности) именно этот пассаж был исключен без всякой редакторской оговорки. Исключен, разумеется, лишь потому, что раскрывал подлинное место знаменитой финской писательницы в системе советских спецслужб: «Все больше совещаются за моей спиной Ярцев и Вуолийоки. Часами строчат донесения в Москву, а о чем, — не говорят. Она и Ярцев не доверяют искренности шведов. Тем более не доверяют мне. Не хотят понять, что Хансон кровно заинтересован в мирном разрешении конфликта. Обо мне нечего и говорить. Этого ни Ярцев, ни Грауэр понять не хотят. Зачем Таннер <новый министр иностранных дел Финляндии> прислал сюда Вуолийоки? Может быть, у нее есть поручения не только из Хельсинки? Мне она не помощь, а эти совещания за моей спиной в секретной части советского полпредства меня нервируют и злят».

Устранить Вуолийоки она не могла — на эту популярную романистку возлагали, похоже, большие

надежды финские руководители. Но было ли им известно (догадывались ли хотя бы?), что точно так же надеются на нее в Москве? В чью пользу она все-таки играла? Быть может, сама убеждала себя, что действует в обоюдных интересах двух враждующих стран? Зачем тогда была нужна Коллонтай? Могли бы обо всем договориться в секретной части...

Так, однако, не получалось. Авторитета Коллонтай не могло заменить ничто. Главное — никто. О миссии кремлевско-лубянского эмиссара Вуолийоки писала впоследствии, выслуживаясь перед своими хозяевами: «<...> они проявили исключительно глубокое понимание и дружбу в отношении нашего народа, выражали сожаление по поводу положения дел и самое гуманное стремление помочь заключению мира». Словом, плакали слезами удава, заглатывающего свою жертву. Но даже их слезы не могли заменить дипломатии Коллонтай: без посредничества шведского правительства об официальных переговорах не могло быть и речи, а шведские власти хотели разговаривать не с Вуолийоки, а с советским полпредом.

Спасать положение прибыл в Стокгольм сам Таннер. Коллонтай встретила с ним, получив предварительное согласие Москвы, в Гранд-отеле, в номере, который занимала Вуолийоки, и в ее присутствии. Это было не только унижительно — хуже: получалось, что секретная сотрудница-иностранка пользуется большим доверием Москвы, чем свой же посол! Таннеру эта свидетельница была совсем не нужна, но не мог же он выгнать хозяйку из ее помещения. С Коллонтай Таннер был давно знаком: в 1910 году они вместе участвовали в социалистическом конгрессе в Копенгагене, потом неоднократно встречались в Финляндии в исторические дни 1917—1918 годов. Тогда в общении друг с другом они были «товарищи», теперь он к ней обращался «мадам»...

Каким-то образом Коллонтай удалось намекнуть Таннеру, что для пользы дела им лучше вести диалог

сугубо наедине. Несколько дней спустя они встретились на квартире стокгольмского адвоката Матильды Сталь, которая оставила их вдвоем. В промежутке между этими встречами «Ярцев» и лубянский резидент в Стокгольме успели за спиной Коллонтай отправить множество шифровок в Москву, призывая относиться к ее действиям с большой осторожностью и даже с недоверием, поскольку ее «профинские симпатии общеизвестны». Они действительно были известны — Сталину и Молотову ничуть не меньше, чем Рыбкину, — но Кремль, однако, был вынужден считаться с ее уникальным положением во всех скандинавских странах.

Считались — и окружили несметным количеством соглядатаев и надзирателей. Кроме официальных представителей НКВД, слежка за Коллонтай была вменена в обязанность советника, второго секретаря, помощника военного атташе и, по крайней мере, еще двух дипломатических сотрудников полпредства. Не справившийся, по мнению Москвы, с обязанностью надзирателя и стукача первый секретарь посольства Иван Сысоев в разгар переговоров без всякого предупреждения был отозван в Москву, и на его место с несвойственной для таких перестановок быстротой был прислан другой «товарищ».

«Новый секретарь, — с откровенностью, выразившей всю меру ее негодования, записала Коллонтай в дневнике, — самоуверенный зазнайка и ничего не знает в дипработе (он из другого ведомства). Он беспомощно плавает в бушующих волнах окружающей нас атмосферы и бессильно злобствует на шведов, считая, что их следует держать в строгости, делать им выговоры, грозить и т. д. Он не понимает, не схватывает, что Швеция не губком. <...> Он все пристает ко мне и допытывается, как идут переговоры, но именно этого я не могу ему сказать. «Я прислан сюда, — говорит он мне с подкупающей наглостью, — чтобы помочь вам, а если я не буду в курсе, вам же будет хуже. У вас могут получиться крупные неприятности, от которых именно я смог

бы вас избавить». Он ревнует меня, следит за всеми моими беседами. «Почему военный атташе <Николай Никитушев> вам ближе, чем я? Какие у вас с ним от меня тайны? Надо проверить и его. А вам я искренне советую ничего от меня не скрывать». Он поразительно назойлив. Никто еще не смел так говорить со мной».

Рабочий день начинался в семь утра и заканчивался глубокой ночью. Приникая ухом к плохо работавшему радиоприемнику, она жадно ловила новости с фронта на нескольких языках. Из мозаики сводок, составленных в Москве и Хельсинки, Стокгольме и Осло, Берлине, Лондоне и Париже, Коллонтай получала ту оперативную информацию, которой не хватало в получаемых ею бумагах.

«Зима не сдает. Наше продвижение замедлилось из-за лютого мороза. На финнах тулупы, подбитые овечьими шкурками, и шапки белые бараньи из США. Наши замерзают стоя <...> В темных лесах Финляндии много братских могил финнов и наших. Жуткие долгие черные ночи в безлюдных густых лесах, где над убитыми и ранеными вьются вороны. Откуда налетели в заснеженные и обычно затихшие зимою леса Финляндии эти стаи зловеще каркающих хищников? <...> Кууза давно позади нашего фронта, и о знакомых местах больше не пишут в газетах. Уцелела ли усадьба, белый дом с колоннами, парк с липовой аллеей и березовая роща, что в год моего рождения своими руками посадил мой отец?»

Ей приходилось протестовать против отправки на фронт шведских добровольцев, хотя чувства, владевшие шведами, были ей хорошо понятны. Одна миссия была особенно неприятной. Походные госпитали решил послать в Финляндию шведский Красный Крест, и Коллонтай, стиснув зубы, отправилась к его председателю — брату короля принцу Карлу, — чтобы уговорить его отказаться от этой затеи.

— Вас обвинят в нарушении шведского нейтралитета, — предупредила Коллонтай.

— Помогая раненым, Красный Крест выполняет свою гуманитарную миссию. Мы можем организовать такие госпитали и для помощи раненым советским солдатам, — ответил принц Карл.

— Вы ищете логики, ваше высочество, тогда как она уместна лишь в научных дискуссиях. Тут действуют другие мерки. Поверьте, если вы не прислушаетесь к моему доброму предупреждению, я не поручусь за безопасность Швеции и ее подданных, — заявила советский полпред.

— Мы прислушаемся, — уныло сказал принц.

Новая встреча с Таннером — снова наедине — оставила горький осадок. Коллонтай понимала его боль, но здравый смысл и трезвый расчет, а вовсе не только служебный долг повелевали ей не смягчать жесткость сталинских условий умиротворяющими оговорками. Аппетиты Москвы росли день ото дня, и она уговаривала Таннера принять сегодняшние условия, которые, конечно, хуже вчерашних, но зато заведомо лучше завтрашних.

— Что же Москва наконец хочет от Финляндии? — взмолился Таннер. — Карельский перешеек мы вам уступаем, Ханко и острова отдаем. При чем тут Выборг и Сортавала? Стратегически это не обосновать, а Выборг для финского народа — это святыня. Отдать старую, ненужную вам, но дорогую сердцу каждого финна крепость, — это бьет по гордости народа. Он никогда не простит тем, кто подпишет такой договор.

— Неужели я вас не понимаю, господин министр? — грустно сказала Коллонтай, и у Таннера не было оснований усомниться в искренности ее слов. — Вы хорошо знаете, что такое для меня Финляндия. И насколько мне близки чувства гордого и мужественного финского народа. Но поймите: вы все равно отдадите Выборг. С большими или меньшими потерями, но Красная Армия его возьмет. Отказавшись сегодня от мира на этих жестоких усло-

виях, вы потеряете суверенитет. Независимость — вот что важнее всего для Финляндии. Ради этого... — Она вспомнила Ленина, Брест, мучительную борьбу вокруг постыдного договора, кратковременность его бумажного существования. — Ради этого стоит идти на жертвы. Независимость дороже Выборга, разве не так?

Ее ежедневные телеграммы на имя Сталина и Молотова все равно шли через шифровальщика, так что скрывать содержание бесед с Таннером или шведскими руководителями от лубянских соглядатаев было полной бессмыслицей. Но формально она не обязана была ни о чем их ставить в известность — более того, не имела права. Нарушив этот запрет, подвергала себя опасности быть обвиненной в нарушении государственной тайны. Советник меж тем не отцеплялся, ежедневные поединки с ним приводили ее в ярость. Отчаявшись, она рискнула написать личное письмо Берии и отправила его с очередной дипломатической почтой. Через несколько месяцев — как видно, после мучительных раздумий и консультаций со Сталиным — Берия своего посланца решил отозвать. Вскоре на его место придут другие.

Ее прогнозы сбывались. Каждый день проволочки приносил новые условия, которые ставила Москва. Не было ни малейших сомнений: Сталин чувствовал за своей спиной поддержку Берлина, и это разжигало его аппетит. 7 марта финская делегация наконец-то вылетела в Москву из стокгольмского аэропорта Бромма. Потянулись мучительные часы ожидания у радиоприемника, который Коллонтай не выключала ни на одну минуту. В ночь с 12 на 13 марта договор был подписан в Кремле. Финляндия лишалась большей части своих исконных земель, но спасала независимость своего народа. Коллонтай оказалась права. Выслушав сообщение из Москвы, она расплакалась — от усталости, от боли,

от счастья, от всего того, чему нет и, наверное, не может быть точного названия.

В четвертом часу утра она заснула в кресле, так и не раздевшись. Час спустя ее разбудил шифровальщик: пришла телеграмма из Москвы с пометкой — «вручить немедленно». Вот ее текст: «Коллонтай. С Финляндией подписан и опубликован мирный договор. Ввиду ваших больших заслуг во всем этом деле горячо поздравляю вас с этим новым международным успехом Советского Союза. Молотов».

Еще через несколько дней она узнала, что оккупированная советскими войсками — теперь уже легально — финская Кууза переименована в русское село Климово. Так Кууза называется и в настоящее время. Ни сожженного белого дома с колоннами, ни взорванного красного моста, где танцевала и веселилась беззаботная молодежь, больше не существует — ни пепла от них не осталось, ни воспоминаний. Вообще — ничего...

Конечно, мир с Финляндией после позорной для Советского Союза «зимней войны» был бы подписан в любом случае. Может быть, на еще худших условиях для Финляндии, которая, теряя под нажимом агрессора свои территории, выигрывала уважение порядочных людей во всем мире и морально сплывала свой народ, объединенный общей бедой. Намного превосходившая финнов — в живой силе, авиации, наземной технике — Красная Армия понесла чудовищные потери: около 150 тысяч убитых — в шесть раз больше, чем финны. За два дня до вступления в силу мирного договора, по которому Выборг все равно отходил к Советскому Союзу, Сталин повелел взять его штурмом, ни за что ни про что принеся на алтарь пирровой победы еще много тысяч бессмысленных жертв.

Если бы не энергия, выдержка и высокое мастерство искусного дипломата, проявленные Коллонтай, этих жертв было бы еще больше, а судьба Финляндии могла бы оказаться плачевной — ведь Сталин с жертвами не считался и к цели своей шел напролом.

По человеческим костям — не в метафорическом, а в буквальном смысле.

За все, что она сделала, Коллонтай не досталось никакой награды. Разве что телеграмма «каменной жопы» — это меткое прозвище давно уже закрепилось за Молотовым в партийной среде. Впрочем, избавление от лубянских застенков — одно это можно считать вполне достойной наградой.

Но была и еще одна — реальная, осязаемая, самая, пожалуй, ей дорогая. С согласия Сталина ее сыну Мише с женой разрешили приехать в Стокгольм: он стал представителем «Станкоимпорта» и «Машиноимпорта» и получил несколько странно звучащую должность «инженер торгпредства». Впервые в жизни, соединившись на короткое время с самыми близкими ей людьми, Коллонтай обрела нечто подобное семье.

ГНЕЗДО ШПИОНОВ

За столь интенсивную и столь плодотворную работу, которую провела той зимой Коллонтай, ей конечно же полагался долгий и заслуженный отдых. И годы давали знать о себе: через несколько дней после того, как с Финляндией был подписан мирный договор, ей исполнилось 68 лет. Но об отдыхе не могло быть и речи: она даже не осмелилась поставить перед Молотовым этот вопрос. К тому же в Москву вообще не хотелось. Ждать ее там было некому. Жить негде. Проводить свой отпуск не с кем.

Известия, пусть обрывочные и неполные, которые до нее доходили, не предвещали вообще ничего хорошего. Правда, в огне раздутого им же костра сгорел и сам омерзительный карлик Ежов, при одном имени которого ее прошибал холодный пот, но слухи о «послаблениях», связанных с приходом на Лубянку его преемника Лаврентия Берии, не подтверждались. В западных газетах писали, что из лагерей стали возвращаться те, кого уже считали погибшими. И действительно — кто-то вернулся. Но среди освобожденных не было ни одного знакомого ей человека. Зато исчезли новые, хорошо известные не только ей, но и всему миру. В те самые дни,

когда она, забыв обо всем ином, вела переговоры с финнами, были расстреляны Исаак Бабель, каждая строчка которого всегда восхищала ее; Всеволод Мейерхольд — ни один его спектакль она старалась не пропустить, бывая на родине; Михаил Кольцов, с которым она встречалась и в Москве, и в Берлине, и в Стокгольме. Продолжались аресты дипломатов. Все меньше оставалось людей, которых она хорошо знала.

И на внешнеполитической сцене обстановка тоже становилась тревожнее день ото дня. 9 апреля 1940 года нацисты оккупировали Данию и Норвегию — война вплотную приблизилась к Швеции. Из Москвы Коллонтай получила шифровку о том, что германский посол Шуленбург гарантировал Кремлю «уважение нейтралитета Швеции войсками рейха». Коллонтай поспешила обрадовать этим известием шведского министра иностранных дел. Но кто всерьез верил «гарантиям», которые раздавал гитлеровский Берлин?

Меж тем предусмотренный секретным советско-германским протоколом раздел «сфер влияния» продолжался. Советские войска оккупировали страны Прибалтики, к которым шведы в силу множества факторов — исторических, географических, психологических — всегда испытывали особые чувства. Лишь единицы успели бежать: эстонцы в Финляндию, латыши в Швецию. Их встречали как близких, вырвавшихся из ада. Коллонтай опять была вынуждена протестовать. Всем, чем могла — интонацией, жестами, мимикой, осторожным выбором выражений, — она старалась показать, что выполняет лишь протокольную функцию. Впрочем, и так в этом вряд ли кто-нибудь сомневался.

Из дошедшего до нее номера популярного советского журнала «Огонек» Коллонтай узнала, что «дальний кузен» Игорек Лотарев — прославленный некогда поэт Игорь Северянин, — с которым она почти все тридцатые годы была в переписке (и с ним, и с дамой его сердца), а потом, страшась пос-

ледствий, ее прекратила, благополучно здравствует и даже, став внезапно «советским» поэтом, сочинил вполне угодные режиму стишки. Они мало походили на поэзы бывшего «короля поэтов», но теперь сообщение о каждом из некогда близких и знакомых людей, кто был жив и здоров, кто работает, кто остался на воле, грело ее душу.

События в Прибалтике имели и прямые последствия для нее лично. В Стокгольм прибыл новый резидент НКВД в ранге советника полпредства. Это был один из крупнейших чинов советской разведки Иван Чичаев. До этого он выполнял роль резидента в Риге, изнутри подготавливая вторжение советских войск и сотрудничая с прибывшим туда на красноармейских штыках сталинским гауляйтером Латвии Андреем Вышинским. Еще раньше (впрочем, Коллонтай об этом и не подозревала) Чичаев отличился своей весьма плодотворной миссией на Дальнем Востоке, создав огромную агентурную сеть в Корее, Японии и Китае. Назначение такого аса в Стокгольм уже само по себе означало, какую роль отводила Лубянка на ближайшие годы этой стране.

Человек весьма невысокой культуры, грубый солдатфон, он весьма бесцеремонно обращался с «выжившей из ума старухой», ничуть не жалуя ее заслуги и хорошо зная цену тем словам благодарности, которые в ее адрес шли из Москвы. Не названный по имени, он фигурирует во множестве ее дневниковых записей того времени как неуч, бездарь и выскочка, как «советник», изматывающий полпреда своими замечаниями, придирками, назойливыми рекомендациями, прямым вмешательством в ее работу, сознающий при этом, что жаловаться на него она не посмеет — некому и чревато последствиями. В своих «мемуарах», многие годы спустя изданных в Чувашии, откуда он родом, Чичаев, умолчав о том, какими делами он занимался в Стокгольме, развязно писал, как дружно, в полном согласии, работал под мудрым и чутким руководством высококочтимой Александры Михайловны Коллонтай. Как

он ее уважал и как она его уважала. И как он ей благодарен за полученный опыт.

При всем при том продолжалась обычная посольская жизнь — с ее рутинными традициями, протоколом, визитами и приемами. На одном из них — в советском полпредстве — новая обслуга, присланная из Москвы, подала шампанское не слишком холодным, и Коллонтай взволновалась от этого ничуть не меньше, чем от случившихся неудач во время серьезнейших переговоров. В другой раз она отчитала обслугу за то, что не вовремя разложили на стульях пальто покидающих прием гостей.

Как и прежде, Коллонтай блистала на приемах, поражая изысканным гардеробом и своей неувядающей молодостью. В черном, сером, синем бархатном платье, неизменно обрамленном кружевным испанским воротником, с букетом роз в руке, она легко и свободно вальсировала, меняя партнеров и успевая при этом поддерживать на разных языках очень важные деловые разговоры. Вернувшись домой, она еще полночи составляла доклады в Москву и ложилась спать лишь после того, как разбуженный ею шифровальщик принимался за свою работу.

Один из этих докладов был поистине судьбоносной важности. В марте 1941 года на приеме в германском посольстве ее пригласил на вальс только что вернувшийся из Берлина шведский дипломат Гуннар Хэгглоф. «Не присядем ли отдохнуть?» — вдруг предложил он ей во время танца, многозначительно заглянув в глаза. Оставшись наедине, Хэгглоф сообщил, наклонившись к самому ее уху, что по абсолютно достоверным сведениям, которые он получил в Берлине, Гитлер нападет на Россию в начале лета. «Будьте спокойны, дорогой господин Хэгглоф, — нашлась Коллонтай, — вы не имеете права говорить мне это, а я не имею права слушать вас». Той же ночью ее спешная телеграмма на имя Молотова ушла в Москву. Как известно, к тому времени скопилось немало телеграмм такого же содержания,

поступивших из самых разных столиц мира от советских шпионов и дипломатов. Еще больше — и еще более точных! — их поступило в апреле, мае, июне. Но последствий они не имели. Авторам телеграмм оставалось утешиться тем, что они исполнили свой долг.

В то время как Коллонтай стремилась предупредить советские власти об опасности, которая реально угрожает стране, ее окружение — как специально к ней приставленные надсмотрщики, так и делающие карьеру доброхоты — писало на нее доносы в Москву, видимо зная заранее, что их с интересом прочтут адресаты. И действительно — их читали. 19 июня 1941 года, за три дня до вторжения нацистов в Советский Союз, когда обстановка на границе накалилась до предела и первого выстрела можно было ждать с минуты на минуту, заместитель наркома иностранных дел Вышинский получил очередной донос на Коллонтай от одного из ее сотрудников. По всем имеющимся данным, автор был не штатным сотрудником спецслужб, а «добровольцем». Он сообщал, что Коллонтай «игнорирует» коллектив полпредства, лишает его информации, падка на лесть и восхваления. Но самые главные пункты обвинения звучали так: 1) «окружила себя шведской обслугой, не считая советских граждан достойными угождать ее прихотям, убеждена, что советский технический персонал работает хуже, чем шведский» и 2) «поселила в здании миссии сына с невесткой». Вышинский помчался с доносом к Молотову, и они, не имея, видимо, для обсуждения в тот день более актуальных вопросов, совещались о том, как им следует поступить. Наконец Молотов наложил резолюцию, предназначенную для Сталина, Берии и Вышинского: «Надо о товарище Коллонтай подумать. Кстати, почему ее сын с семьей находится там?» Ответа на поставленный им вопрос Молотов не дождался: началась война, и донос сдал в архив.

Германское нападение на Советский Союз ее ничуть не удивило — удивило, что в Кремле его не ждали, сочли «вероломным», и что Москва оказалась совершенно неготовой к отражению агрессии. Никаких специальных инструкций не было, и на все недоуменные вопросы шведских друзей и официальных лиц ей пришлось отвечать языком сводок Советского Информбюро.

Но тяжелее всего отражалась на ней обстановка, сложившаяся в полпредстве. Об этом — запись в ее дневнике:

«Тяжесть на душе большая. От всего вместе взятого. От той тяжелой, ответственной работы, которая пала на меня здесь. А за последнее время и от тех «инцидентов», какие имели место в связи с дилетантизмом моих сотрудников в серьезнейшей отрасли нашей работы. И от того несозвучия, более — той враждебности, какая установилась между мной и одним из сотрудников <речь идет о Чичаеве>. Это нервирует, это отвлекает, это подрывает мои силы и сердит, так как тормозит мою работу во вне, большую, ответственную сейчас и очень тонкую.

Я бы лучше справлялась, больше делала, если бы меня не отвлекали, не брали мое время и силы эти ненормальные отношения и интриги за моей спиной.

<...> Мне сейчас невероятно трудно. Но «во-вне» справляюсь вполне удовлетворительно. Расту и учусь на крайне сложной задаче: борьба с немцами за то, чтобы Швеция не была втянута в войну».

Она не могла знать с достоверностью, но чувствовала, что в Москве ей не доверяют, что Сталин просто ее терпит на этом посту, не находя в данный момент лучшей замены. Теперь этому есть документальные подтверждения. Вскоре после начала войны посла Англии в СССР Криппса сменил Арчибальд Кларк Керр, до этого занимавший пост посла в Стокгольме и тесно общавшийся там с Коллонтай даже во время кратковременной советско-германской «дружбы». При первой же встрече Сталин

спросил его, не вступит ли Швеция в войну на стороне Германии. «Нет», — решительно ответил Керр и добавил: «Госпожа Коллонтай тоже так считает». Можно представить себе, как поразила Керра реплика Сталина, вопреки всем дипломатическим правилам дезавуирующая действующего посла своей страны: «Эта госпожа не очень хорошо видит». Запись беседы Сталина с Керром, сделанная советским переводчиком, сохранилась в архиве.

Казалось, ей повезло: ненавистный Чичаев получил новое назначение и покинул Стокгольм. Его возвысили до уровня резидента в Лондоне — городе, который по лубянским понятиям был важнее Стокгольма. Формально Чичаев получил статус советника советского посла при союзных правительствах в изгнании Александра Богомолова, будущего посла СССР во Франции, и Коллонтай, по всем правилам протокола, дала Чичаеву прощальный прием. К ее удивлению, — но и радости тоже! — на прием почти никто не пришел.

Радость, однако, была преждевременной: и пост советника, и пост резидента недолго, естественно, оставались вакантными. Только теперь их заняли два разных лица.

В качестве советника прибыл совершенно ей незнакомый Владимир Семенов — тридцатилетний «выдвиженец», каких немало появилось повсюду после кровавого смерча, пронесшегося над страной и унесшего в могилы почти всех старых профессионалов. Этот преподаватель «марксистской философии» в городе Ростове-на-Дону был срочно переведен в Москву на замену дипломатам, «вычищенным» из литвиновской «синагоги». Он стал правой рукой переехавшего в Москву из Грузии — вместе с Берией — Владимира Деканозова, который совмещал руководящие посты в НКВД и в наркоминделе. В 1940 году Деканозов стал на короткое время гауляйтером оккупированной Литвы, где Семенов служил его заместителем, потом, опять же на короткое время, советским послом в «дружественном» Берли-

не, куда он прихватил и преданного ему Семенова, тоже вполне успешно совмещавшего роль дипломата с ролью чекиста. Теперь, утвердившись заместителем Берии, Деканозов отправил верного человека в Стокгольм.

Слывший почему-то интеллигентом, знатоком и любителем изящных искусств, Семенов был классическим образцом сталинского партаппаратчика, а в повседневном служебном общении откровенным хамом. Его тупость и ограниченность, выдаваемые за образованность и культуру, бесили Коллонтай еще больше, чем солдафонство Чичаева: тот, по крайней мере, не выдавал себя за интеллигента.

В тандеме с Семеновым работал и новый резидент Лубянки, получивший пост второго секретаря полпредства. Это был уже знакомый Коллонтай «Ярцев», прибывший в Стокгольм из ставшей снова вражеской державой Финляндии — разумеется, через Москву. С ним прибыла и его супруга, Зоя «Ярцева» (Рыбкина), получившая смехотворно звучащий для этого времени пост представителя Интуриста: нетрудно догадаться, сколько шведских туристов приезжало тогда в СССР и сколько советских в Швецию. Потрясенная этим, ничем не прикрытым, абсурдом Коллонтай сама предложила Рыбкиной стать пресс-атташе полпредства, чтобы лишить газеты, да и просто своих шведских знакомых, повода для издевок. Этот вынужденный шаг, корректировавший хоть как-то цинизм и глупость Лубянки, позволил Рыбкиной в ее «мемуарах», изданных полвека спустя, утверждать, что она всегда находилась под добрым и чутким покровительством ее близкой подруги Александры Михайловны Коллонтай.

Сознавая, что другого пути нет, что жаловаться некому, что нужно примириться с реальностью и ей подчиниться, Коллонтай сменила тактику, изобразив готовность «служить общему делу», олицетворением которого и стала теперь в Стокгольме эта чета. А может быть, тут была и не только тактика. Бесконечно уставшая от непрерывной борьбы, абсолютно,

в сущности, одинокая, мечтавшая в свои 70 лет лишь о том, чтобы выжить (дожить!), она уже не хотела и не могла ни за что бороться, ни на что надеяться, ни к чему стремиться. Оставалось плыть по течению, предоставив себя в распоряжение тех, кто был при власти и у власти.

Теперь Зоя «Ярцева» неотлучно бывала с ней в качестве пресс-атташе на приемах и благотворительных вечерах, на вернисажах, спектаклях, концертах. Роли были распределены заранее, и обе женщины действовали совместно и слаженно, как хорошие партнеры в теннисе, без слов знающие, кому ударить по летящему мячу. Коллонтай знакомила «нашего милого пресс-атташе» со своими приятелями из элитарного круга и больше не задавала лишних вопросов: теперь уже «Зюечке» по своему усмотрению и возможностям предстояло использовать эти знакомства. Страдала лишь оттого, что приставленная к ней и фактически командующая ею чекистка носит имя любимой и незабвенной подруги.

Похоже, никого, кроме приставленных, рядом с нею вообще уже не было. Штат служащих из внешнеполитического, а не соседнего ведомства сократился до предела. Ей хотелось верить, что производивший приятное впечатление молодой выпускник Ленинградского университета Андрей Александров-Агентов, присланный референтом корпункта ТАСС, не относится к «специальным» службам, и она помогла его жене устроиться на работу в торгпредство, где та сотрудничала с ее сыном. Но, увидев, как благожелательно относится к референту Семенов, разуверилась и в нем...

Прибыл еще один новый сотрудник — шифровальщик Владимир Петров. Эту должность могли занимать только служащие госбезопасности. От своих предшественников присланный шифровальщик отличался тем, что совмещал легальную работу еще и с нелегальной. Под именем Петрова скрывался видный лубянский агент Афанасий Шорохов, у которого были «про запас» паспорта разных стран, в том

числе и шведский на имя Свена Эллисона. Одна из главных его функций состояла в том, чтобы следить лично за Коллонтай. Доподлинно об этом стало известно лишь много позже. Годы спустя, уже работая в советском посольстве в Австралии, Шорохов-Петров стал перебежчиком и выпустил мемуары, где рассказал о своих приключениях. Он уверял, что был вынужден отправлять в Москву доносы на Коллонтай приставленных к ней агентов, Рыбкиной в том числе, но, шифруя, по мере возможности смягчал злобные инвективы. Кто знает?.. Коллонтай, во всяком случае, относилась к нему с симпатией, быть может, смутно догадываясь, что он хоть чем-то отличается от своих коллег.

Обстоятельства сложились так, что Коллонтай лишилась и той единственной отдушины, которая позволяла ей не чувствовать своего одиночества. Почти полностью прекратилась ее переписка. Мало того что в условиях войны это становилось порой неразрешимой проблемой. Но и писать-то было некому, будь даже условия совершенно иными. Компенсируя эту потерю, Коллонтай установила переписку с людьми хотя ей и симпатичными, но все же относительно далекими в личном плане. От этого письма лишались какой бы то ни было сердечности, обретая характер вежливых посланий уважающих друг друга людей.

По ответному письму советского посла в Лондоне Ивана Майского от 15 октября 1941 года можно судить о стиле той переписки, которая теперь стала уделом Коллонтай.

«<...> Стараюсь делать для нашей героической страны все, что могу, — писал Майский в личном, а не официальном письме. — Однако события так грандиозны и носят такой стихийный характер, что нередко чувствуешь себя песчинкой, кружащейся в вихре исполинского самума. Тем не менее и песчинка должна иметь волю, мужество, целеустремленность. <...>

С большим вниманием и — не скрою — с из-

вестной тревогой слежу за Вами и Вашей работой. Положение Швеции очень сложное, и возможны всякие неожиданности. Я тоже слышал из самых разнообразных уст самые лучшие отзывы о Вашей деятельности и нахожу, что они вполне заслуженны. Желаю Вам дальнейших успехов и достижений».

Переписываться в подобном — сухо вежливом, официальном — стиле не представляло для нее ни малейшей сложности, но и не давало ни малейшего удовлетворения. Оставался единственный верный клапан — всегда доступный и всегда ее выручавший даже в самые горькие минуты отчаяния и тоски: дневник. Но, похоже, она разучилась общаться и с ним. То, что является маской, при слишком частом и неразборчивом употреблении неизбежно и незаметно становится сутью. Так случилось и с Коллонтай. Ее записи в дневнике этих лет мало чем отличаются по содержанию и по стилю от статей, которые она могла бы предложить как советским, так и шведским газетам. Впрочем, Сталин, скорее всего, не допустил бы их до печати, но вовсе не за чрезмерное вольнодумство, а, напротив, за митинговую одержимость времен революционного романтизма и коминтерновских догм.

«Война — неимоверная. Жуткая. Кровавая. Какой еще не бывало. И это лишь преддверие — впереди перерастание этой войны стран и держав в войну гражданскую.

<...> Моя любимая, горячо любимая Норвегия! Как ее топчут нацисты! И как норвежцы упорны в своем сопротивлении! <...> Но это вступление в новую эпоху человечества. Это подготовка социальной революции. Где, как будет переход? По существу <...> восстание против системы капитализма с ее высшим политическим выражением — нацизмом — уже началось. <...> Буржуазия во всех странах еще не ухватила, что происходит. Она боится «большевизма», и две самые могущественные страны — Америка и Англия — вынуждены помогать Совет-

скому Союзу. Вынуждены укреплять тот строй, то мировоззрение, которое таит в себе их гибель.

Война — ужасна. Чудовищна. И все же... Я вижу ее превращение — неизбежное — в социалистическую революцию. Через это надо пройти человечеству.

Интеллигенты здесь часто вопрошают меня: «Как, чем окончится война?» Они мыслят себе «мирную конференцию», может быть даже в Стокгольме. Ничего подобного! <...> И в Германии, и в Англии, и повсюду уже идет брожение. <...> Начавшееся народно-национальное движение перерастает неизбежно в классовое.

Рабочие, крестьянская беднота, малоимущие классы, передовая интеллигенция не удовлетворятся борьбой с завоевателем, с немцами. Они захотят «сами» решать свою судьбу. Не оставлять ее в руках Штрассеров, Рузвельтов, Бенешей и Черчиллей. Новые люди возглавят движение. Как у нас в 17-м году.

<...> Война жуткий, безумно ужасный факт. Эта война — сплошная кровь и разрушение. Но она расчищает в Европе, во всем мире путь к новому строю. Она наносит смертельный удар капитализму. Уже никогда не будет «прежней Англии». <...> Уже не сможет Уолл-стрит дирижировать политикой мира через банки и тресты. Чем скорее Союз победит <...> тем легче и скорее вступит человечество в новый этап своей истории: переход к социалистическому строю. И к победе всех тех великих и чудесных принципов, какие заложены в мировоззрении коммунизма <...>»

Скорее всего, Коллонтай все же не была столь наивной, чтобы всерьез рассуждать о глобальных политических перспективах на уровне партийного ликбеза для сельских ячеек двадцатых годов. Идеологические штампы не покидали ее, жесткие конструкции, с которыми она сжилась, оставались не только в сознании, но и в подсознании. Но десятилетия, проведенные на Западе не в качестве полит-

эмигранта, а посла, близкое общение с государственными деятелями высшего ранга освободили ее ум от догматического примитива и дали возможность видеть реальность, не зашоренную очередными решениями партийных съездов. Как же тогда объяснить убогость ее «прогнозов», доверенных к тому же не докладной записке в ЦК, а личному дневнику?

Ответ может быть только один. Он объясняет к тому же и содержание писем Майского, отправленных ей кружным путем через Москву дипломатической почтой, и другие письма, время от времени приходившие к ней или отправлявшиеся ею. Страх от все более ужесточавшегося контроля, потребность каждый день доказывать свою верность, окончательно вошедший в норму отказ от всякой индивидуальности и подчинение «спускавшимся сверху» нормам самовыражения — все это толкало на такой образец письма, где личность автора растворялась в привычных стереотипах и свидетельствовала о том, что он полностью поддался нивелировке. Сами «нивелированные» не всегда даже сознавали это, но исправно подчинялись новым установкам, вошедшим в жизнь.

Многочисленные документальные свидетельства подтверждают, каким полчищем доносчиков был окружен в Лондоне Майский, откуда на него клеветали не только люди типа Чичаева, но и сам посол при эмигрантских правительствах Александр Богомолов, ничем не отличавшийся от рядового стукача. Ничуть не меньшая слежка была установлена за Коллонтай (как и за Литвиновым, которого в ноябре 1941 года Сталин был вынужден извлечь из политического небытия и отправить послом в Вашингтон). Она не раз замечала, возвратившись с какого-нибудь приема или деловой встречи, что в ее отсутствие кто-то рылся в ее вещах, в шкафах и письменном столе. На всякий случай она нашла способ часть личного архива укрыть у шведской подруги — доктора Ады Нильссон. Это был конечно же акт от-

чаяния, ибо мог ли кто-нибудь поручиться, что и Аду не завербует Лубянка или, на самый худой конец, так запугает, что она безропотно отдаст все, что хранит?..

В августе 1942 года случилось несчастье. Поднимаясь в лифте посольского здания на свой третий этаж, Коллонтай внезапно потеряла сознание и упала на руки оказавшихся вместе с ней в кабине лифта Зои Рыбкиной и горничной-норвежки фрекен Рагна. Они внесли ее в спальню и вызвали «скорую помощь». Это был смелый шаг — разрешение на вызов «иностранной» медицинской помощи мог дать в подобных случаях только советник. Но Семенова в полпредстве не оказалось, и Рыбкина, хорошо зная свои полномочия, взяла всю ответственность на себя. В бессознательном состоянии, с почерневшим лицом, Коллонтай отправили в больницу. Ее сопровождали сын, секретарь Эми Лоренссон и, конечно, «наш милый пресс-атташе», не отходившая от больной ни на шаг.

Доктор Ада Нильссон и профессор Нанна Свартц поставили мрачный диагноз: тромбоз сосудов головного мозга, вызвавший тяжелый инсульт. Консилиум врачей предупредил сотрудников полпредства, что в любую минуту можно ожидать самого печального исхода. Семенов отправил срочную шифровку в Москву и получил столь же срочный ответ: установить возле постели больной круглосуточное дежурство абсолютно верного человека. Стоит ли говорить, что таковым опять оказалась Зоя Рыбкина, практически поселившаяся не просто в больнице, но в той же палате, где лежала Коллонтай. Опасались всего: вдруг больная в беспомощности о чем-то проговорится? Вдруг врачи ей впрыснут какой-нибудь препарат, который вынудит ее проболтаться? Но, кажется, обошлось.

В ответной шифровке Семенову за подписями Сталина и Молотова содержалось и еще два важных

указания: регулярно информировать их лично о состоянии здоровья Коллонтай и немедленно, соблюдая строжайшую секретность, вскрыть ее личный сейф, сфотографировав содержимое. Указание было выполнено, но ничего компрометирующего в сейфе не нашли. Не было там и вообще никаких серьезных личных бумаг, в том числе и дневников. Даже за очень далекие годы!.. Скорее всего, они были заблаговременно укрыты у Ады или у совершенно неведомых лиц, близких к преданной Коллонтай ее секретарше Эми Лоренссон. Участвовавший в акции шифровальщик Шорохов («Петров») писал впоследствии, как огорчила агентов спецслужб пустота вскрытого сейфа: Сталин мог заподозрить исполнителей в обмане.

Полное отсутствие личных бумаг было, впрочем, еще большим компроматом, чем содержание тех, что были припрятаны: значит, автору было что скрывать, значит, Коллонтай имеет какие-то тайные связи, неведомые или не полностью ведомые надзирающим за нею. Реакция Сталина на эту несомненно заинтриговавшую его новость не известна, зато известно, что впоследствии, по крайней мере, часть (причем немалая часть) ее ненайденных бумаг оказалась у Коллонтай и что она смогла привести их в приемлемый, с ее точки зрения, вид. Значит, человек, спрятавший у себя взрывоопасную часть архива, имел возможность беспрепятственно ее вернуть.

Профессор Нанна Свартц совершила чудо — таким было общее мнение медицинских светил. Коллонтай постепенно возвращалась к жизни. Инсульт стоил ей неподвижности левой руки и ноги и некоторой замедленности речи, но она сохранила полностью сознание, память, живость ума — словом, ту работоспособность, которая была необходима послу. Она стала к тому времени дуайеном дипломатического корпуса как старейшина по времени пребывания в стране и получила формально звание

Чрезвычайного и Полномочного Посла, ранее вообще не существовавшее в советской дипломатической терминологии. Сталин постепенно возвращал страну к «доброму старому времени», вводя прежние чины — не только военные, но и гражданские, — прежние мундиры для чиновников, разделив школы на мужские и женские и даже вызвав из небытия допотопные бальные танцы, которые стали усиленно насаждаться на вошедших в моду балах — в тылу продолжавшей изнемогать от кровавой войны многогражданской России.

Во время длительной болезни Коллонтай ее функции выполнял шарже д'аффер Владимир Семенов. О стиле его работы Коллонтай догадывалась и без всякой конкретной информации, рассказ же навестившего ее в больнице Александрова-Агентова, ставшего теперь атташе и выполнявшего функции переводчика, привел ее в ужас и чуть не лишил дара речи. Семенов был вызван к министру иностранных дел Гюнтеру, который официально протестовал против действий советских подлодок в территориальных водах нейтральной Швеции. «Ваш протест, господин министр, — пренебрежительно ответил советский дипломат, — это гром не из тучи, а из навозной кучи». Александров-Агентов проявил вольность и, пользуясь тем, что Семенов не знал по-шведски ни единого слова, так перевел Гюнтеру слова своего шефа: «Господин министр, господин поверенный в делах говорит, что подобного рода громогласные угрозы нас совершенно не пугают». Столь вольный перевод был нарушением установленных правил, и Александров-Агентов, забыв о том, в каком состоянии находится Коллонтай, поспешил заручиться ее поддержкой. Поддержку он получил, зато после свидания с ним она не спала всю ночь. Это признание, однако, сблизило их обоих — она прониклась доверием к начинающему свой путь дипломату.

Для восстановления здоровья и сил Коллонтай перевели в санаторий Мессеберг неподалеку от Стокгольма, а в соседнем номере опять поселилась

Рыбкина, заручившись — для алиби — врачебной рекомендацией «подлечиться». В том же самом санатории оказалась и примчавшаяся из Хельсинки Хелла Вуолийоки, которой почему-то именно в это время и именно тут надо было срочно лечить свою печень. Печень у этой грузной, злоупотреблявшей кофе и алкоголем дамы действительно была больная, но столь поразительные «медицинские» совпадения выглядели довольно комично. Однако слишком вольно себя чувствовавших в нейтральной Швеции советских эмиссарш это, как видно, ничуть не смущало.

Теперь Рыбкина «подлечивалась» тем, что металась из комнаты Коллонтай, за которой требовался глаз да глаз, в комнату Вуолийоки. Та снабдила полковницу подробнейшей информацией о положении в Финляндии. Вслух говорили о светских пустяках и на традиционные «женские» темы. А истинный разговор шел с помощью «палочек» — портативных грифельных «блокнотов», моментально уничтожающих написанное простым поднятием прикрывающей их пленки. Рыбкина передала своей confidentке новый шифр — книгу Стриндберга «Витгенбергский соловей». Потом, выкатывая коляску Коллонтай на балкон, Рыбкина при помощи тех же «палочек» весьма скупой и выборочно пересказывала послу содержание своих бесед с их общей «подругой».

В это время Сталин уже был одержим идеей найти ход к Гитлеру для заключения сепаратного мира. Одновременно разрабатывался план физического устранения Гитлера, для чего, в частности, в Германию был заброшен завербованный Лубянкой боксер Игорь Миклашевский, оказавшийся очень способным агентом. Выбор пал на него из-за счастливого совпадения: он был сыном последней любви Сергея Есенина — артистки Августы Миклашевской, которая состояла в родстве с перешедшим к немцам артистом Всеволодом Блюменталь-Тамариным, а тот был близок с актрисой театра и кино

Ольгой Чеховой (бывшей женой прославленного Михаила Чехова и племянницей Ольги Книппер-Чеховой). Ольга Чехова, эмигрировав, стала звездой немецкого театра и кино, была завсегдаем в семье Германа Геринга, подругой Евы Браун и часто встречалась в узком семейном кругу с самим Гитлером. Но самое главное — она была тщательно законспирированным советским агентом.

План покушения на Гитлера уже был близок к реализации, когда Сталин дал отбой, приказав отменить разработанную Лубянкой дерзкую операцию. Он исходил из того, что после устранения Гитлера американцы сами заключат сепаратный мир с его преемником. Живой Гитлер как бы служил гарантией того, что эта крайне нежелательная Сталину акция не состоится, поскольку на мир с самим фюрером американцы не пойдут. Зато сам Сталин искал возможность опередить и перехитрить своих заокеанских союзников. Работа шла по нескольким направлениям сразу. Стокгольм в этих замыслах (и не только, разумеется, в этих — из-за уникального положения столицы нейтральной страны, поддерживавшей тесные контакты с Германией) играл очень важную роль.

Поиск путей — и конкретных людей, эти пути прокладывавших, — вела, естественно, резидентура: супруги Рыбкины прежде всего. Но осуществить хотя бы первые зондажи мог только человек, облеченный каким-либо официальным статусом. Таким образом, тандем Зоя Рыбкина — Коллонтай был идеальным вариантом, а действовать порознь — в конкретно сложившейся ситуации и с учетом особого характера задачи — они не могли. Ситуация значительно осложнялась тем, что Коллонтай была прикована к своей коляске и по-прежнему не владела левой рукой. Кто-то должен был действовать от ее имени, снабженный ее полномочиями. Рыбкина годилась как «наводчик», но не как исполнитель хотя бы уже потому, что со своим беглым немецким, навыками агента исключительно высокой квалифика-

ции и огромными тайными связями была zaangażирована для совсем других, ничуть не менее важных, операций, где ее не мог заменить никто. В частности, именно она вместе с мужем поддерживала связь сначала с Красной капеллой, с Корсиканцем (Арвидом Харнаком), со Старшиной (Харро Шульце-Бойзенем), а после их провала и с другими ценнейшими советскими агентами в Германии. «Засветиться» в переговорах с доверенными посланцами фюрера она не могла.

Выбор пал на Андрея Александрова-Агентова (официально просто Александрова) — никому еще не известного молодого дипломата, хорошо говорившего по-шведски, обладавшего приятными манерами и легко вступавшего в контакт с незнакомыми людьми. Предполагалось, что первые зондажи будут проведены со шведами, имеющими связи в высших германских сферах, или, по крайней мере, в их присутствии. Весьма возможно, что визит Александрова к Коллонтай с «повинной» за неточный перевод на самом деле преследовал цель войти в доверие к ней и при необходимости влиять на нее.

Поиском партнеров с немецкой стороны занимался вездесущий Карл Герхард. Один из лучших теннисистов страны, он регулярно играл с восьмидесятипятилетним королем и обычно проигрывал ему, с блестящей актерской «искренностью» переживая свою неудачу. Это в еще большей мере делало его любимцем короля и всего королевского двора. Аристократические круги Швеции имели хорошие связи в рейхе, так что поиск партнера для потайных переговоров имел вполне реальные шансы завершиться успешно. Но, видимо, реальных условий для такого выхода из войны не существовало, оттого и некоторое время спустя куда более перспективные попытки нацистов и американцев в Швейцарии выйти на встречу друг другу результатов тоже не дали.

Коллонтай смирилась с неперемнным присутствием Рыбкиной и с ее повседневной опекой. Что она — неподвижная — могла бы практически сде-

лать, чтобы избавиться от нее? Кин (агентурная кличка Рыбкина) и Ирина (агентурная кличка Рыбкиной) извещали Москву, что Коллонтай полностью находится под контролем и будет исправно выполнять любые поручения, которые ей будут переданы не только официальным путем (это-то сомнения не вызывало), но и через них. Быстро менявшаяся ситуация побудила Сталина сменить тактику и переключить свое внимание на более реальную задачу — вывести из войны Финляндию. Этому замыслу способствовала информация, полученная через цепочку Рыбкины — Вуолийоки, о том, что сепаратного мира с Финляндией — на своих, невыгодных Москве, условиях — ищут якобы американцы.

То был период вынужденного сближения Коллонтай с приставленным к ней агентом. На смену десяткам, сотням ее знакомцев в разных странах — очень разных, но всегда отличавшихся индивидуальностью, образованностью, культурой, принадлежностью к элитарному кругу — пришла «подруга» совсем иного склада, ставшая таковой по должности, а не по взаимному тяготению. Всю жизнь общение с близкими людьми позволяло Коллонтай снять внутреннее напряжение, раскрыться, отвести душу. Теперь «дружеское общение» — изо дня в день и в одном и том же составе — она имела с женщиной, искусно имитировавшей задушевность, но жестко и целенаправленно решавшей свои служебные задачи.

Многие годы спустя Зоя Рыбкина, вернув себе свою девичью фамилию и став детской писательницей, автором книжек о Ленине Зоей Воскресенской, издаст перед смертью тощие мемуары под многообещающим названием «Теперь я могу сказать правду». Там нет, увы, даже занятой неправды, поскольку нет ничего... Она постарается создать иллюзию, что была интимной наперсницей Коллонтай, которая, едва познакомившись, доверилась ей полностью и безоглядно. «Я до сих пор гадаю, — будто бы говорила она Рыбкиной, — в чем провинился Михаил Николаевич Тухачевский... Знаете, страшно

открывать газеты. Еще один... Еще несколько... Враги народа! <...> Безумно горько терять друзей. И наконец это выстрел Павла Дыбенко. Он понимал, что за ним пришли, и покончил с собой».

Коллонтай не могла так сказать хотя бы уже потому, что доподлинно знала: Дыбенко с собой не кончал, а был арестован и получил «десять лет лагерей без права переписки» — этот трагический эвфемизм был тогда известен любому. Но она не могла произнести такой монолог еще и по другим причинам: место службы «милого пресс-атташе» ей было очень хорошо известно — и сама Рыбкина этого ничуть не скрывала. Даже того не желая, полковник НКВД был обязан донести о таком признании своим шефам, и последствия ее доклада не задержались бы: позволить вслух высказывать подобную крамолу Сталин не мог никому. Коллонтай не была самоубийцей и не выжила из ума... А об ее отношении к «подружке» в дневнике есть такие слова: «С кем мне теперь приходится иметь дело! <...> Кошмар. Беспросветный кошмар».

Едва оправившись, все еще прикованная к коляске, Коллонтай решила, однако, вернуться к публичной деятельности и напомнить Стокгольму о себе. Повод был вполне подходящий: очередная годовщина Октябрьской революции. На прием, устроенный в Гранд-отеле, был приглашен весь бомонд. По свидетельству прессы, пришло более 400 гостей. Под бурные аплодисменты присутствовавших ввели Коллонтай — жизнерадостную, улыбающуюся, в элегантном атласном сиреневом платье с серой отделкой. Опять рекой лилось вино, манила икра в серебряных бочонках, в глазах рябило от золота мундиров и блеска драгоценных камней. Каким-то неведомым образом, без специального уведомления, «весь Стокгольм» прознал, что Сталин снова вводит навсегда, казалось, забытый помпезный этикет. И в других столицах прознали тоже. Прибывший в Лон-

доне на такой же прием в советское посольство Герберт Уэллс почувствовал себя совершенно потерянным в своем «обычном» пиджаке и тут же сбежал...

Королем бала, как всегда, был, естественно, Карл Герхард. Он ухаживал за «нашим милым пресс-атташе», ничем не выдавая, что хорошо знаком с ней по совместной службе. К тому времени все они — и Коллонтай, и Рыбкины, и Герхард, каждый в отдельности и по своим каналам, получили задание Москвы искать путь к финским руководителям для строго конфиденциальных сепаратных переговоров. Именно Герхард и предложил на этом приеме — порознь послу и заместителю резидента — действовать через его хорошего знакомого, крупнейшего шведского банкира Маркуса Валленберга. Это имя было известно Коллонтай не только потому, что оно было известно всей Швеции. В 1942 году, благодаря активности Герхарда, именно его банк Эншильда профинансировал и осуществил одну из самых дерзких торговых сделок времен войны: в обмен на советскую платину была осуществлена поставка в СССР высококачественной стали, необходимой для авиапромышленности. Это грубейшее нарушение шведского нейтралитета находило «оправдание» лишь в том, что тот же банк и, стало быть, те же банкиры имели прямое касательство к одновременной поставке Германии производимых Швецией шарикоподшипников для гитлеровской военной машины.

Мысль о выходе из войны одновременно пришла в голову и финнам: поражение под Сталинградом, а потом и на Курской дуге породили сомнение в непременной германской победе. Заместитель министра иностранных дел Швеции Бохеман подошел к Коллонтай, но вместо светских любезностей выразил желание «встретиться и поговорить». Она тут же пригласила его на завтрак. Через несколько дней Коллонтай уже имела возможность сообщить Москве, что во время завтрака Бохеман пытался понять, согласится ли господин Сталин на встречу его пред-

ставителей с представителями Финляндии для предварительных переговоров.

Тем временем Герхард делал все возможное, чтобы пристойным образом, никого не спугнув, познакомить Рыбкину с Валленбергом. Было решено, что на очередной дипломатический коктейль, где заведомо будет присутствовать Валленберг, Коллонтай из-за очевидного для всех нездоровья отправится не одна, а вместе с пресс-атташе. На коктейле Герхард познакомил Валленберга с «настоящей русской красавицей», умевшей производить впечатление на мужчин. Банкир пригласил ее провести с ним уик-энд в его загородной резиденции — все в том же Сальтшебадене, — приглашение было принято, и этим, можно сказать, историческим уик-эндом остались довольны, похоже, все.

Молотов срочно запросил у Коллонтай дополнительные сведения о Валленберге. Одновременно по своим каналам эти сведения отправила на Лубянку и Рыбкина. Информация совпала. Обе «подружки» — каждая порознь — сообщали о том огромном влиянии, которое и Маркус Валленберг, и его брат Якуб имеют в Швеции, во всей Скандинавии и даже в других европейских странах. Особенно не скупилась на характеристики Коллонтай: она называла Маркуса «некоронованным королем Швеции», а всю его банкирскую семью «подлинной династией, управляющей страной».

Предложение Москвы вступить с Валленбергом в официальный контакт означало, что Рыбкина свою миссию уже выполнила и что теперь дело за дипломатическими шагами. Коллонтай пригласила Маркуса Валленберга на завтрак. Для шантажа она использовала тот непреложный факт, что у Валленберга были огромные вложения в финскую промышленность и большие активы в финских банках. Разгром Финляндии и ее оккупация, которыми Коллонтай пугала своего гостя, привели бы банкира к катастрофическим потерям. Отличавшийся непоказным благородством и высокими душевными качествами, гу-

манист в подлинном значении этого слова, Маркус Валленберг и без личной корысти был готов всячески способствовать миру в Скандинавии. Но, зашоренная догмами марксистского «классового подхода», Коллонтай нажимала главным образом на сулящие банкиру материальные потери, если война будет продолжаться. Так или иначе, Валленберг выразил готовность использовать свои личные связи с президентом Финляндии Рюти и пообещал тотчас вылететь в Хельсинки.

Эта информация, которой Коллонтай не замедлила поделиться с Рыбкиной, опять-таки по двум каналам быстро достигла Москвы. Сталин отреагировал на нее по-сталински: на следующий день после приезда Валленберга в Хельсинки советская авиация нанесла мощнейший бомбовый удар по финской столице. Высокопоставленный эмиссар уцелел, но испытанное им потрясение дало запланированный результат: Рюти поручил Паасикиви вступить в переговоры с Коллонтай для подготовки соглашения о перемирии.

Болезнь пришлась на редкость кстати, послужив вполне благовидным предлогом: Коллонтай переселилась для лечения в санаторий Сальтшебадена, где ночами шли ее строго секретные переговоры с Паасикиви. Конспирацию обеспечивали как официальные шведские власти, так и частные детективы Валленберга, из виллы которого Паасикиви конспиративно пробирался в санаторий, где в своих апартаментах его поджидала Коллонтай. Утром она отправлялась в посольство и диктовала там шифровки в Москву.

Переговоры шли все лето. Паасикиви сменил финский посол в Стокгольме Грипенберг, приезжали и другие эмиссары. Рыбкин покинул Стокгольм, получив другие задания. Время от времени в неизвестном направлении отлучалась и Рыбкина — есть основания полагать (деяния этой четы все еще тщательно засекречены), что она летала в Германию на встречу с Ольгой Чеховой. Тем временем Коллонтай

шаг за шагом отвоевывала у финнов условия, поставленные Москвой. Даже постигшее ее воспаление легких при все еще парализованной левой руке и полупарализованной левой ноге не остановило хода переговоров.

Профессор Свартц безуспешно пыталась удержать ее вообще от всякой работы, вновь констатируя предыдущее состояние: кровяное давление доходило до двухсот сорока, новый удар мог случиться в любую минуту. Свартц понятия не имела, какую работу на самом деле выполняла тогда Коллонтай, иначе она вряд ли вообще взялась бы следить за своей пациенткой, сознательно обрекая себя на отчаянный риск. Не только азарт, не только повышенное чувство долга, но и сознание, что это финальный аккорд всей ее жизни, повелевали Коллонтай, несмотря ни на что, оставаться на боевом посту. Финская делегация подписала в Москве перемирие в начале сентября, и Коллонтай имела все основания считать, что сыграла большую (решающую, быть может) роль в выводе гитлеровского союзника из войны. Ей удалось то, что не удалось американцам, безуспешно пытавшимся договориться с финнами в 1941 и 1943 годах.

Осознание успешно проведенной акции мирового значения омрачалось двумя обстоятельствами. Наградив ее еще одним (не самым высоким) советским орденом, ни Сталин, ни Молотов не прислали ей на этот раз благодарственной телеграммы, ограничившись указанием лично поблагодарить шведского короля Густава, который в ходе затягивавшихся переговоров с финнами сам обращался к Рюти с рекомендацией как можно скорее идти на мир с Москвой. Это поручение Коллонтай выполнить не могла, ибо на приеме у короля полагалось стоять, а левой ногой она все еще не владела. Пришлось устно передать благодарность Москвы через посетившего ее премьер-министра.

Второе обстоятельство, однако, было для нее куда более огорчительным. Оно не имело никакого отношения к международной политике, но глубоко задевало Коллонтай как признанного во всем мире борца за права женщин. 8 июля 1944 года по указанию Сталина был подписан указ, перечеркнувший все, за что Коллонтай воевала до революции и после нее. Признанным объявлялся только формально зарегистрированный брак, развод сопрягался с унижительной бюрократической процедурой, дети, рожденные вне брака, лишались всех прав, установление отцовства по суду было запрещено. Исключалась возможность взыскания алиментов с отца, который не признавал себя таковым. Списанный чуть ли не дословно с соответствующих гитлеровских законов, этот сталинский указ преследовал очевидную цель — стимулировать рождаемость, спекулируя на естественной потребности женщины в любви и материнстве, и таким образом восстановить колоссальные людские потери, понесенные во время войны. Находившийся в полном противоречии с незыблемыми для Коллонтай принципами социализма — в ленинской их трактовке, — этот указ сводил на нет все, что она считала своим вкладом в раскрепощение русской женщины. Но ничего другого, кроме как промолчать и смириться с реальностью, ей уже не оставалось.

Москва между тем требовала новых сведений о «реальной шведской королевской династии» — о Валленбергах. Цель не указывалась — запрашивать о том, что не сообщалось, было не принято. Полагалось исполнять — без излишних вопросов. Коллонтай сообщила все, что ей было известно. И про то, что брат Маркуса — Якоб Валленберг — вел крупные дела с Германией, занимался реэкспортом немецких товаров в другие страны и товаров других стран в Германию и уже тем самым тяготел к прогерманскому лагерю. Он же способствовал укрытию германских капиталов в Латинской Америке на случай военного поражения Германии и лично из рук

Гитлера, сообщала она, получил орден Орла «за особые заслуги».

О задуманных в Кремле и на Лубянке крупномасштабных секретных операциях послам, да и вообще кому бы то ни было, естественно, не сообщалось, но какая-то информация — в той части, которая на непредвиденный случай могла оказаться полезной и даже необходимой, — до Коллонтай должна была все же дойти. Запросы последовали, когда она проинформировала Москву о специальной миссии, с которой направлялся в Будапешт молодой шведский архитектор, племянник Маркуса, Рауль Валленберг, получивший дипломатический пост. Назначенный сотрудником шведского посольства в Венгрии, он получил задание спасти около 100 тысяч венгерских евреев, предназначенных для депортации и уничтожения. Деньги для этого выдали могучие американские финансисты еврейского происхождения и благотворительные фонды. Речь шла фактически об откровенном выкупе, и для осуществления своей миссии Рауль Валленберг не мог не войти в контакт не только с официальными немецкими представителями в Венгрии, но и с нацистскими спецслужбами.

Теперь есть возможность восстановить логическую и психологическую связь между самыми разнородными фактами, казавшимися не стыкующимися друг с другом. Как раз в это время — воспользуемся выражением ставшего известным во всем мире Павла Судоплатова — Сталин начал «разыгрывать еврейскую карту». Стремясь привлечь для восстановления разрушенной страны крупный еврейский капитал, он пустил утку о создании в Крыму еврейской республики и различными путями заигрывал с готовыми клюнуть на этот крючок западными кругами. Информация о могучем влиянии Валленбергов на шведскую политику вселила в Сталина, Берию и других, разрабатывавших эту операцию, честолюбивые надежды овладеть через Рауля — возможного наследника могучей династии — рычагами воздейст-

вия на шведские власти, на шведские банки, а через них и на влиятельные еврейские круги в США и других странах. Сама Коллонтай к этой вербовочной операции отношения, конечно, не имела, но она со своими восторженными шифровками стояла у истоков замысла, родившегося в сталинской голове.

При всем кажущемся безумии лубянский план был весьма ординарен. Во всяком случае, он мало чем отличался от множества ему подобных, дававших не раз прекрасный результат. Если в той же Скандинавии можно было поставить на службу Москве крупнейших политиков (например, шведского министра социального обеспечения Густава Меллера и его жену, известную журналистку Эльзу Кляйн), прославленных писателей, актеров, художников, ученых, то почему этой участи должен был избежать дипломат из банкирской семьи, на которого сначала решили воздействовать лестью, пробуждением в нем благородных и гуманных чувств, а потом, в случае неудачи, угрозами и шантажом? Как мы знаем, даже обещание выставить Рауля немецким агентом (раз уж он вел переговоры с нацистскими спецслужбами!) и двойником не дало результатов. Замысел сорвался, и, по трагической иронии судьбы, человек, спасавший (и спасший) десятки тысяч евреев, погиб в советских застенках от рук двух палачей-евреев: считавшийся профессором медицины полковник Григорий Майрановский и подполковник Дмитрий Копелянский впрыснули ему смертельную дозу яда. Таким был результат неумело проведенной вербовки.

Не имея представления о том, что происходит (с ее невольной «подачи») сейчас в Будапеште, Коллонтай взялась за мемуары. Уже первый и очень урезанный их вариант она отправила Молотову — официально и Майскому — для «дружеских критических замечаний»: тот уже был отозван из Лондона и стал заместителем наркома иностранных дел. Мо-

лотов вообще не откликнулся, а Майский прислал с диппочтой вежливый отзыв, который правильнее всего назвать разгромным.

«Воспоминания стоит напечатать, безусловно, как за границей, так и у нас. Правда, судя по вашему письму к т<оварищу> Молотову, Вы как будто собираетесь для СССР написать другую версию Вашей работы. <...> Вы выступаете резко против Англии, Франции и США. Правда, одновременно Вы выступаете не менее резко и против Германии <...> Удобно ли Вам это, поскольку Вы посол на посту? А во вторых, вообще верно ли то, что Вы пишете?»

Это письмо датировано 9 марта 1945 года и прибыло в Стокгольм с дипломатической почтой 16 марта. Из письма заместителя наркома иностранных дел с очевидностью вытекает, что Коллонтай «посол на посту» и что, стало быть, никакого плана убрать ее с этого поста не существует. Во всяком случае, заместитель наркома не имеет о нем ни малейшего представления. Что же должна была подумать Коллонтай, получив вечером 17 марта телеграмму Молотова о том, что утром следующего дня за ней прилетит специально посланный советский самолет, который срочно доставит ее в Москву? И что этот вопрос уже согласован со шведскими властями, представитель которых будет ее сопровождать. Для оказания ей медицинской помощи в пути ей рекомендовалось взять на борт шведского врача, который согласился бы лететь вместе с ней. Конечно, верная Нанна Свартц тотчас собрала дорожный чемодан и отправилась вместе с нею. Как и не менее верная Эми Лоренссон, полностью посвятившая ей свою жизнь. Но чем же все-таки был вызван этот ее поспешный отъезд, похожий на паническое бегство?

О том, что Коллонтай была доставлена в Москву специально посланным за ней самолетом, говорится во всех ее биографиях. Но ни один автор не задал элементарно напрашивающегося вопроса: почему? Дуайен дипломатического корпуса, посол, без перерыва проведенный на этом посту пятнадцать лет,

осуществивший за это время по крайней мере две беспримерные операции, достойные войти в историю мировой дипломатии, ни с кем не попрощавшись, внезапно покидает страну, и никто не дает этому никакого объяснения. И она сама тоже — в позднейших своих мемуарах, пусть скорректированных, пусть фальшивых, но в любом случае требовавших хоть какого-то объяснения этого не имеющего аналогов акта. Даже из Мексики Коллонтай отбывала — для видимости — в отпуск и потом рассказывала (с большей или меньшей правдоподобностью), чем это было вызвано на самом деле. Бегство из Швеции — принудительное, конечно, и все-таки бегство — она не объясняла никак. И никто не объяснил, словно так и положено послу уходить со своего поста.

Что же тогда случилось? Ни один документ, позволяющий ответить на этот вопрос, пока не известен. Можно лишь предложить одну из гипотез.

В конце 1944 года, когда советские войска приблизились к Будапешту, а затем и вошли в него после жестоких уличных боев, шведские власти через Коллонтай обратились к сталинскому руководству с просьбой взять Рауля Валленберга под особое покровительство. У шведов были все основания рассчитывать на удовлетворение их просьбы, имея в виду ту исключительную роль, которую сыграли Валленберги на советско-финских переговорах. Предвидеть злокозненные замыслы Москвы они, конечно, не могли.

В середине января Валленберг, за которым уже охотились советские спецслужбы, был обнаружен и арестован по специальному распоряжению заместителя военного министра Николая Булганина, согласно ордеру на арест, подписанному самим начальником кошмарного СМЕРШа Виктором Абакумовым. Затем он был с почестями, в специальном вагоне люкс, препровожден в Москву и помещен в камеру Внутренней лубянской тюрьмы, напоминавшую скорее номер комфортабельного отеля. Весь февраль

шла его обработка. Приблизительно в начале марта вербовщики сменили тактику, перейдя от «дружеских» бесед к грубому шантажу. Хода назад теперь уже не было, и со дня на день можно было ожидать усиление дипломатического нажима на Москву для выяснения судьбы, постигшей шведского дипломата.

В середине февраля личной встречи с Коллонтай попросила жена министра иностранных дел Ингрид Гюнтер. Неформальные отношения, сложившиеся за долгие годы у Коллонтай со шведскими политиками любого ранга, вполне позволяли такие контакты. Ингрид Гюнтер просила Коллонтай использовать все свои возможности, чтобы прояснить судьбу внезапно исчезнувшего Рауля Валленберга. Единственная возможность, которой располагала Коллонтай, — запросить шифровкой Москву, что она и сделала. Пришел лаконичный, лишенный какой-либо конкретности ответ: о судьбе господина Валленберга можно не беспокоиться, он находится в полной безопасности. Сразу же после этого — внезапно и без всяких объяснений — в Москву был отозван Владимир Семенов. Формально — «для консультаций». Но в Стокгольм он больше не вернулся.

28 февраля дядя Рауля Маркус Валленберг, имевший все основания считать себя личным другом Коллонтай, встретился с ней в помещении советского посольства и просил как можно скорее сообщить о месте пребывания племянника и о его здоровье. Коллонтай дала ему обещание тотчас исполнить его просьбу. Не удовлетворившись этим ответом и обеспокоенная полным отсутствием новостей, свидания с советским послом добилась мать Рауля — баронесса Май фон Дардель. Коллонтай могла лишь повторить то, о чем она уже сказала Ингрид Гюнтер и Маркусу Валленбергу, и тут же сообщила о своей беседе в Москву. На этот раз в ответе Молотова звучало ничем не прикрытое раздражение: послу предлагалось не вступать в беседы с кем бы то ни было на подобные темы.

Импульсивно (правильнее сказать: истерически)

меня не только тактику, но и позицию, Москва искала каналы, по которым можно было бы довести до шведов информацию, диаметрально противоположную той, которая давалась раньше. Этим каналом стал Бухарест, куда из-за боев переехало шведское посольство в Венгрии: на одном из приемов советские дипломаты сообщили своим шведским коллегам, что о Рауле Валленберге в Москве ничего не известно и что он «куда-то исчез». Сенсационная новость немедленно полетела в Стокгольм. Это было 12 марта 1945 года.

Оставлять Коллонтай в этих условиях на ее посту Сталин не захотел. Он всегда не доверял ей, но для высоких дипломатических переговоров — под контролем спецслужб и при теснейшем «сотрудничестве» безупречно преданных асов разведки — она оказывалась незаменимой. Ее участие в безумной игре, затеянной на этот раз, представляло большую опасность. Собственно, в самой игре никаким образом она участвовать не могла. Ее нельзя было и информировать о каких бы то ни было аспектах игры, даже в крайне ограниченных пределах. Что-то она все равно знала, о чем-то догадывалась, но в Стокгольме, где любые дипломатические шаги пришлось бы осуществлять с ее участием, Коллонтай была теперь для Сталина крайне нежелательной фигурой. Прежде всего потому, что в ее общении с любым официальным или полуофициальным шведским лицом неизбежно присутствовал бы личный элемент: слишком тесно, не так, как положено «просто послу», она была связана с ними. Все то, что приносило огромную пользу предыдущим миссиям, на нее возложенным, теперь становилось не только помехой, но и угрозой.

Дипломатические акции со стороны шведских властей не заставили себя долго ждать. Во второй половине апреля шведский посол в Москве и одновременно шведский министр иностранных дел в Стокгольме попросили разъяснений соответственно у советского наркоминдела и у Временного Пове-

ренного в делах СССР в Швеции (им стал сменивший Семенова Илья Чернышев) относительно судьбы пропавшего Рауля Валленберга. Ответ был все тем же: о его судьбе советским властям ничего не известно. Лживая и постыдная акция, дящаяся вот уже более полувека, началась. Коллонтай заблаговременно вывели из нее — совсем не для того, чтобы избавить от несмываемого позора, а для того, чтобы не путалась под ногами. Такова представляющаяся наиболее вероятной гипотеза ее поспешной эвакуации.

Никакой официальной встречи на Внуковском аэродроме в Москве не было. Коллонтай встречали внук Владимир и санитарная машина. «Где больная?» — спросил врач «скорой помощи». «Больных здесь нет», — с удивлением ответила Коллонтай, которая сама вышла на летное поле, опираясь на плечо Нанны Свартц здоровой рукой. С опозданием примчался поприветствовать «дорогую коллегу» Владимир Семенов — он уже заведовал отделом в наркомате иностранных дел. Широко улыбаясь, Семенов осчастливил Коллонтай своим дружеским поцелуем. Таким был поистине царский подарок, которым встретила Москва Валькирию Революции после четвертьвекового ее служения на дипломатических постах.

КРОВАВАЯ ПУСТЫНЯ

Свою 73-ю годовщину Коллонтай встречала в наконец-то (впервые за всю жизнь!) обретенном ею «собственном» доме: с аэродрома ее привезли в выделенную ей квартиру, куда за ночь успели доставить мебель. Этот дом на Большой Калужской, 11, был только что построен руками немецких военнопленных для политической, военной и научной элиты. Скромная (большая — по советским критериям) трехкомнатная квартира номер 149 позволяла кое-как устроиться самой Коллонтай и ее секретарю Эми Лоренссон и — главное — удовлетворяла честолюбие отставного посла, которая чувствовала бы себя ущемленной, живя в непрестижном доме.

Круг близких людей сузился до предела. Из самых дорогих остались только Петенька и Танечка. Вернувшийся из эвакуации Петр Павлович Маслов и сам-то был не слишком ходячим, пришлось ограничиться телефонной беседой, убедительно показавшей, что говорить им, в сущности, не о чем. Заехала «проведать больную» Елена Стасова, вышедшая на пенсию два года назад, после роспуска Коминтерна, где она занимала декоративную должность члена

«контрольной комиссии» (то есть партийного трибунала). Но и с ней разговора не получилось: время беспощадно их развело.

Зато Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, по-прежнему деятельная и энергичная, стала завсегда-таем дома на Большой Калужской, служа незримым мостом между прошлым и настоящим. Наносили визиты и «последние из могикан» — немногие выжившие и дожившие до этих дней люди ее круга, с которыми ее связывали в прошлые годы какие-то отношения и общаясь с которыми она не чувствовала себя неудобно: Литвинов, Майский, Илья Эренбург, художник Петр Кончаловский, историк Евгений Тарле, «красный граф», бывший царский военный атташе в Париже Алексей Игнатьев, мемуары которого пользовались тогда большой популярностью. Изредка приходил Семен Мирный, с которым она, не вдаваясь в политику, вспоминала любимый Осло и прочно оставшийся в сердце Стокгольм. Из Ленинграда иногда приезжал племянник Евгений Мравинский, оправдавший надежды тех, кто предрекал ему большое будущее: он стал выдающимся симфоническим дирижером.

Лишь 27 июля 1945 года — через четыре с половиной месяца после ее внезапного бегства из Стокгольма — Москва уведомила шведские власти, что с этого дня госпожа Коллонтай перестала быть Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза и, стало быть, дуайеном дипломатического корпуса. Ей дали — опять же декоративную, но поднимавшую дух — должность советника министерства иностранных дел. Все понимали (и она сама не хуже других), что ни Сталин, ни Молотов, ни кто-то еще не имеют нужды в ее советах, но к новому своему посту она относилась, однако, с полнейшей серьезностью, время от времени напоминая о себе деловыми письмами и откликами на какие-либо внешнеполитические события. Но главное — взялась привести в порядок свой архив и продолжить свои мемуары.

Впрочем, прежде, чем их продолжить, Коллонтай решила отредактировать то, что уже написано, сделав его созвучным сталинскому «взгляду» на историю партии и революции. То есть, иначе сказать, — всюду, где только возможно, вставить имя вождя как неперемennого участника, еще лучше — руководителя, всех важнейших событий. Получалось комично — совсем в духе известного каламбура: «Врет, как очевидец». Вспоминая, к примеру, похороны жертв февральской революции в Петрограде, Коллонтай вписала в написанный ранее текст фразу о плачущем Сталине, идущем во главе колонны («помню, как сейчас...»). Но Сталин в похоронах не участвовал и плакать, стало быть, мог лишь где-то в другом месте. Один из тех, кому Коллонтай давала на прочтение новую версию своих мемуаров (Стасова — скорее всего), обратил ее внимание на «ошибку». В рукописи «ошибка», однако, осталась: зачеркнутой, но неуничтоженной.

Попытка задним числом исправить не просто историю, а личный дневник — это самое безжалостное, что могла она теперь проделать со своим прошлым. Пошла и на это... Зачем? Вопрос этот лучше задать психологу. В дневниковую запись об учредительном конгрессе Коминтерна Коллонтай добавила: «Ни по одному вопросу не возникало разногласий, потому что направление давали Ленин и Сталин». В запись о поездке к Павлу на Украину (1919): «Надежда красных командиров и всего народа оправдалась. ЦК партии решил послать на юг товарища Сталина для спасения фронта. <...> Сталин спас Донбасс. Сталин разгромил Деникина». И дальше — вставки, похожие друг на друга, как две капли воды: «Все надежды на Сталина», «Отстояли Петроград — это дело Сталина, молодец!», «В<ладимир> И<льич> очень долго и дружески тряс руку Сталина». От множества вставок на один и тот же манер рябит в глазах: Сталин, Сталин, Сталин...

Вместе с тем, и это нельзя не отметить, она не только не вытравляла из своих дневников запретные

имена, но в начатых заново мемуарах смело писала о низвергнутых, оплеванных и убитых в самом уважительном тоне. Так, как будто эти дорогие ей люди — Шляпников, Дыбенко и другие — не причислены к заклятым врагам, не брошены в безымянные могилы с клеймом изменников и шпионов, а покоятся в пантеоне славы и по-прежнему числятся героями революции. Видимо, оказаться «под колесом» она уже не боялась, и пред ликом вечности ей хотя бы в этом не хотелось лгать самой себе. Хотя бы в этом... Ибо более близкие по времени события, сопряженные так или иначе с ее дипломатической работой, она по-прежнему трактовала и препариовала в духе «советника министерства иностранных дел», не считаясь ни с логикой, ни с правдой, ни со здравым смыслом.

Однажды ей позвонили из Стокгольма. О том, что это был за звонок и как она к нему отнеслась, видно из ее панического письма в МИД, сочиненного и отправленного немедленно после того, как краткий телефонный разговор завершился.

«Заведующему 5-м Европейским отделом МИД СССР товарищу Орлову П. Д.

Многоуважаемый Павел Дмитриевич! <...> Час тому назад из Стокгольма мне позвонил мужской голос. Он спросил, сама ли это мадам Коллонтай. Я ответила «да», уверенная, что это от моих друзей Линдерутов или доктора Ады Нильсон.

Мужской голос сказал: «Я говорю по поручению жены Гюнтера. Ингрид Гюнтер шлет вам привет и напоминает разговор перед вашим отъездом из Стокгольма».

Я: «Когда это было и о чем?»

Он: «Это было в 1945 году и вы обещали узнать о судьбе Рольфа <так в тексте> Валленберга. Мадам Гюнтер спрашивает, нет ли у вас каких-либо сведений о нем?»

Я: «Никаких новых сведений я не имею и вообще к этому вопросу не имею касательства <...>

Прошу по этому вопросу меня больше не беспокоить».

Считаю своей обязанностью, многоуважаемый Павел Дмитриевич, незамедлительно поставить Вас об этом в известность».

Этот, наводящий на грустные размышления, текст, написанный в смешанном жанре доноса и оправдательной записки, свидетельствует не только о том, что Коллонтай достаточно хорошо знала о взрывоопасном характере пресловутого «дела» и о том, кто в нем заинтересован, но и о том еще, что безумие страха, порожденного эпохой Большого Террора, так и не могло быть преодолено теми, кого коснулось дыхание того кошмарного времени. Простейший вопрос: неужели хоть что-то могло угрожать прикованной к постели старухе, если она проявит какую-то более пристойную реакцию в ответ на звонок из любимого ею Стокгольма по столь тревожному поводу, — такой вопрос перед ней не стоял и стоять не мог. Для людей той генерации, живыми выбравшихся из преддверия ада, существовали другая логика, другие нравы, другие правила поведения. И слова — тоже другие.

Даже для личного дневника... «Взволновал <еще бы!> телеграфный запрос гетеборгской газеты о судьбе молодого Валленберга. Телегр<амма> провокационная и все дело «нехорошее» — из него делают шум. Под суфлерство Валленберга <...>» Эта запись не оставляет сомнения в том, что, пусть и без важных деталей, Коллонтай знала самое главное о «нехорошем» деле (то есть о том, что это работа спецслужб по высочайшему указанию). И что пред этим знанием на второй и на третий план отступают мораль и порядочность, совесть и чувство долга по отношению к людям, так прочно вошедшим в ее жизнь. Даже простейшее сострадание к безвинным жертвам.

Она продолжала оставаться дисциплинированным членом партии и соблюдающим все правила дипломатом, заботясь лишь о том, чтобы не впасть

окончательно в забвение. В сущности, она была готова на все, даже на потерю лица, лишь бы ее имя в любом контексте продолжало появляться в печати и быть на слуху. «Приятный момент на несколько часов!» — радостно записала она в дневнике. Что же так вдохновило ее? «Задание МИД «открытым письмом» в редакцию «Известий» дементировать пасквиль американского журнала <...>»

Журнал «Либерти» опубликовал статью журналистов Пауля Шварца и Гея Ричардсона о том, что в 1943 году при активном участии Коллонтай предпринимались попытки начать сепаратные переговоры с Берлином на шведской территории. Естественно, этот весьма щекотливый для Кремля факт по всем правилам дипломатии полагалось «опровергнуть». Но для какого порядочного человека такая служебная необходимость могла бы стать «приятным моментом» — хоть и «на несколько часов»?

Немедленно сочиненная Коллонтай статья — с характерными для советской печати словечками типа «наглая клевета» и «сухая чепуха» — застряла в редакции, подвергаясь правке и согласованию в различных инстанциях. Вместо того чтобы считать это редкой удачей (вот он где — действительно «приятный момент!»), Коллонтай испытала жестокую боль. «Как это возможно?! — сокрушалась она в дневнике. — Пусть бы хоть по телефону сказали, что по <таким-то> соображениям статья не пойдет. Удивительно холодные, формальные развились в Москве отношения к людям».

Сокрушалась она, однако, напрасно: статью напечатали. Не совсем в том виде, в каком была написана, но все же за подписью Коллонтай. «Я очень довольна...» Чем?! Американские журналисты перепутали даты, события осени отнесли к весне, и это позволило Коллонтай доказывать свое алиби: «весной <1943 года> я была тяжело больна, находилась в клинике, не могла искать посредников...» О достоверности своего «опровержения» она, похоже, не

слишком заботилась: Андрея Александрова, который неотлучно находился в Стокгольме, она «отослала» в Австралию, заявив, что «в 1943 году он работал там советником посольства и поэтому не мог вести переговоры в Швеции». Ложь «опровержения» легко опровергалась — чем же в таком случае Коллонтай могла быть «очень довольна»?

Перспектива бесславно исчезнуть с политической и дипломатической сцены, остаться в забвении — простой пенсионеркой в своей «престижной» квартире — повелевала ей все время напоминать о себе. Эта мания усилилась после того, как она была уязвлена отказом высокого жюри присудить ей Нобелевскую премию мира за 1946 год. На эту премию ее выдвинули депутаты норвежского стортинга и шведского риксдага, женский секретариат Норвежской рабочей партии, социал-демократический и радикальный союзы женщин Швеции, многочисленные общественные деятели двух стран. Были все основания считать, что премия достанется именно ей. Сталин вряд ли был бы доволен таким выбором, и Коллонтай не могла этого не понимать. Но честолюбие помешало ей снять свою кандидатуру (хотя формально о своем выдвижении она знать не могла), а Сталин в условиях первого послевоенного года не мог из-за этого затевать шум.

Но все счастливо обошлось: лауреатом стал Джон Моутт — видный протестантский деятель и председатель Христианского союза молодых людей (Young Men Christian Assotiation — YMCA), который в 1921 году основал в Праге издательство YMCA-PRESS, чтобы издавать за границей и посылать в Россию «запретные» книги и журналы. Таким образом, советскому «борцу за мир» Нобелевский комитет предпочел борца антисоветского, и этим весь инцидент был исчерпан. «Вы не представляете себе, — писал Коллонтай, «подслащивая пилюлю», ее преемник, новый посол СССР в Стокгольме Илья Чернышев, — как нам, работающим в Скандинавии, обид-

но за Вас <...> Я так разозлился на этот нобелевский комитет, который, как Вы знаете, в этом году присудил семь премий американцам, что решил не идти на нобелевские торжества 10 декабря <...> Хотя известно, что премию мира дают не шведы, однако все здесь подчеркивают, что с ними наверняка советовались норвежцы. <...> Шведские реакционеры окончательно разоблачили себя».

Ей никак не удавалось доказать свой партийный стаж с 1915 года — без этого просьба о пенсии, на которую она рассчитывала, не могла быть удовлетворена. Оказалось, что для такой пенсии всех ее заслуг на дипломатическом поприще, вместе взятых, еще не достаточно. А вот чисто механический срок пребывания в партии — сам по себе, даже если он не сопряжен вообще ни с какой активностью, — это право дает. Но ни документов о ее вступлении в партию, ни каких-то следов оформления не существовало. Ее стаж с 1917 года пенсионные партийные службы готовы были признать: как никак, в том году ее избрали в ЦК. Но тогда она не «добирала» двух лет: высшая партийная пенсия давалась лишь при минимальном тридцатилетнем стаже. После многомесячных мытарств, не без помощи Стасовой, этот постылый бюрократический барьер удалось преодолеть: никому не ведомый ареопаг признал Коллонтай большевичкой с 1915 года.

Дружеская переписка, которая всегда доставляла ей удовольствие и компенсировала отсутствие личных связей, практически прекратилась. Больше писать было некому — даже сыну после того, как он возвратился из Стокгольма в Москву. Зато более объемными стали ее дневниковые записи и более интенсивной переписка с первыми лицами государства. Впрочем, можно ли это назвать перепиской, то есть обменом корреспонденцией? Почта Коллонтай шла только в одну сторону: она писала, не получая

ответов. Писала снова и снова, не чувствуя ни смущения, ни унижения, ни бессмысленности очередных своих посланий.

Безответных писем к Сталину множество, все они выдержаны в одной и той же тональности.

«Дорогой и высокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Не могу не поделиться с Вами отрадным впечатлением <...> Вчера премьер Пеккала, Лейно, Свенто и посланник Сундстрем <члены финской правительственной делегации> посетили меня. Никогда еще я не видела всегда сумрачных и молчаливых финнов в таком подъемном и радостном настроении. Они полны благодарности за оказанный им дружеский прием <...> с одушевлением говорят о каждой встрече с Вами. Вы их совершенно обворожили. Пеккала то и дело цитирует Ваши слова <...> Сердечно преданная и неизменно благодарная Вам за все <...>»

«Высокопочитаемый и дорогой Иосиф Виссарионович, не могу не высказать вам своего восхищения Вашим интервью <...> Четкость, логика мысли и неопровержимость фактов — это сильнейший удар по политике империалистов <...> драгоценный исторический документ, характеризующий политику нашего государства, вами направляемую в великую эпоху перехода от социализма к коммунизму.

Мысленно жму Вашу руку и шлю душевные пожелания преодоления всех трудностей и дальнейших великих и славных успехов. Неизменно Вам признательная и преданная...»

Никакой надобности в этих письмах не было — они не только оставались безответными, но, скорее всего, и не прочитанными их адресатом: дальше секретариата они пойти не могли. Но какая-то непреодолимая сила повелевала Коллонтай их писать и писать в надежде извлечь себя из забвения. Впрочем, была в них и еще одна потайная мысль: напоминая о своем существовании и педалируя свои восторги, она надеялась «выбить» жалкие, в сущности, но

такие важные тогда для физического выживания блага. Не себе — сыну и внуку.

Постигшие Михаила инфаркты — два, один за другим — сделали его инвалидом уже в пятьдесят с небольшим лет. Обычная пенсия, полагающаяся в этом случае, делала ее обладателя и бесправным, и нищим. Для людей «с заслугами» на этот случай были придуманы «персональные» пенсии, которые, в свою очередь, делились на три категории: «союзного, республиканского и местного значения». Коллонтай просила для Миши, разумеется, «всесоюзную».

«Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, Ваша всегдашняя забота о человеке и Ваше неизменно внимательное отношение ко мне за все эти годы позволяют мне надеяться, что Вы отнесетесь к моей горячей просьбе положительно, дав соответствующее указание.

С сердечным приветом и пожеланием успехов и побед на всех поприщах Ваших великих трудов на благо человечества и для укрепления мира, всегда и за все Вам благодарная...»

Сталин не отозвался, но чиновники снизошли и без его указаний. Отвергнув просимую «всесоюзную», они дали Михаилу утешительную «республиканскую»...

Коллонтай подводила итоги своей жизни, убежденная в том, что жизнь эта уже принадлежит истории, для которой надо оставить как можно более полный свой образ.

«Главное, что сделала за жизнь, — писала она для будущих историков, не слишком заботясь ни о грамматике, ни о стиле. — Подняла в России и помогла двинуть разрешение вопроса равноправия женщин во всех областях, включая и кладя особый вес на разрешение равноправия в сексуальной морали.
<...>

МОЕ. Настойчивость. Рабочая дисциплина. Чтение — любимое занятие. Запоминание лиц и имен.

МОЙ ХАРАКТЕР. Сильно развитая фантазия. Самостоятельность мышления и смелость в этом. Крепкий организм. Бесстрашие моральное и физическое. Уменье отдыхать. Отдых: общение с людьми, созвучными вне областей работы. Общение с природой. Творчество в писании вне намеченного дела и работы. <...> Не считаю себя талантливым <...> писателем. Слог хороший, чистый, это у меня есть. Образы — бледны».

Насчет чистоты слога она, конечно, погорячилась. Но и это замечание интересно — значит, так она относилась к своему перу.

«ХАРАКТЕРИСТИКА МОЯ. Дружелюбие, благожелательность. <Так> легче жить, чем со злобой (примеры: Семенов, Сталь <...>). Ко мне много недоверия, враждебности, особенно со стороны женщин <...> Авторитетов привыкла смолоду не признавать. <...> Патриоткой я не была никогда. Патриот — это ненавистное для меня обозначение: реакционер, монархист, враг всего передового, революционного. <...> Родина это пролетариат всего мира. <...> Россию я полюбила только после революции 1917 года, потому что она стала страной социализма. <...>

Партия была моей семьей. Созвучие ума и души крепче уз родства. Советская Россия мне дорога как осуществленная греза. Это и есть государство моих грез. <...> Семейную жизнь и брак всегда ощущала как помеху моей главной цели: работе политической и писательской <...>».

Никакой горечи в этой холодной и безжалостной констатации нет, хотя плоды своего «о щ у щ е н и я» в полной мере она могла о щ у т и т ь как раз сейчас: ничто не мучило ее с такой силой в эти последние годы, как одиночество, отсутствие семьи, пустота, в которой она оказалась. Осознавая вину перед сыном, она не могла тем не менее пробудить в себе чувств, которых не было. Эти никогда не ис-

пытанные ею чувства она перенесла на внука, который вырос уже в подающего надежды продолжателя рода: Владимир Коллонтай учился в созданном Сталиным под конец войны институте международных отношений, готовившем будущих советских дипломатов. Наряду с немногочисленными комсомольскими выдвиженцами «из низов» и амбициозными «анкетными» мальчиками, здесь ожидали будущих взлетов дети знатных номенклатурщиков и потомственных карьеристов.

Парализованной бабушке во что бы то ни стало хотелось обратить внимание высоких — нет, самых высоких! — товарищей на своего внука. Созрел план, позволявший, казалось, одним выстрелом убить двух зайцев. Коллонтай сочиняла тогда мемуары, втыкая повсюду имя вождя. Ей показалось, что Сталину будет интересно узнать, что она навспоминала про него самого. Но не пересылать же столь секретные документы по почте! Вполне доверенным курьером мог бы стать внук. По ее убеждению, он сумел бы произвести хорошее впечатление и тем открыть себе дорогу наверх.

«Многоуважаемый и дорогой Александр Николаевич, — написала она секретарю Сталина Поскребышеву. — Довожу до Вашего сведения, что я закончила свои записки <...> Вам не трудно будет получить мои тетради, если бы Иосиф Виссарионович захотел просмотреть эти записи о моих беседах с ним. <...> Их может передать мой внук, кандидат партии Владимир Коллонтай <...>».

Ответа не последовало.

«Дорогой Георгий Максимилианович! — взывала она к Маленкову, который был тогда в партии вторым после Сталина человеком. — <...> Надеюсь с Вашей помощью передать Иосифу Виссарионовичу для просмотра выписки из моих дневников о встречах и беседах с ним. <...> Тетради может передать мой внук Владимир Коллонтай, кандидат партии, аспирант-диссертант по кафедре политэкономии Института международных отношений ...»

Ответа не последовало. Уязвленная гордость повелела ей наконец написать письмо в другом тоне.

«Уважаемый товарищ Маленков! Спешу сообщить Вам, что моя просьба о передаче рукописи моим внуком для пересылки указанному адресату отпадает. Я уже передала все эти материалы в секретный архив ИМЭЛ <Института Маркса-Энгельса-Ленина>, так что незачем Вас беспокоить. А. Коллонтай».

Единственным из «верхушки», кто отвечал хоть как-то на ее обращения, был Ворошилов. Правда, «ответы» его на ее восторги («Обаяние вашей личности и Ваше историческое имя завоевали сердца», «Вы такой молодой, подтянутый и торжественный...») сводились к поздравлениям по случаю советских праздников — 1 Мая и 7 Ноября. И все-таки — ответы за личной подписью! Теперь вся надежда у нее была на него.

«Дорогой Климент Ефремович! <...> На сердце у меня забота о моем внуке Владимире Коллонтай. Он второй год является аспирантом экономических наук в государственном институте международных отношений, кандидат партии ВКП(б) и секретарь <партбюро? комсомольского бюро?> факультета. Ему 23 года, и он на хорошем счету. Но юноша рано женился на комсомолке, дочери заместителя <директора> Высшей Дипломатической школы тов<арища> Поповкина.

И вот уже два года молодая чета не имеет собственного крова, а ютится попеременно то на жилплощади (очень притом тесной) моего больного сына, личного <так в тексте> пенсионера <...>, то в перенаселенной квартире Поповкина. <...> Временно я приютила внука с женой у себя, но лишаюсь этим необходимого мне покоя и рабочего кабинета <...> Писала т<оварищу> Молотову, но на два письма не получаю ответа, что на Вячеслава Михайловича совсем не похоже. К Вам моя просьба: выяснить, есть ли надежда на получение еще этой зимою жилплощади (1 или 2 комнатки) для научного работника и

по-видимому дающего хорошие надежды Владимира Коллонтая <...> Буду сердечно и горячо благодарна Вам, дорогой соратник первых боевых годов Революции и установления первой в мире Советской республики...»

«Дорогой соратник» ответил через месяц — благо подоспела очередная праздничная годовщина: «<...> Приветствую и поздравляю <...> всей душой желаю здоровья, здоровья, здоровья, а оно определяет и самочувствие, и душевные силы. <...> Успехов в работе и всяческого счастья!» Пожеланий было много, но о просьбе, к нему обращенной, — ни одного слова.

Коллонтай крепилась больше года, не напоминая о ней. Наконец отважилась: «Дорогой Климент Ефремович <...> Сейчас готовы для заселения две секции правительственного дома на Донской улице <...> Мой внук <уже> член партии, он заканчивает диссертацию. Моя самая большая забота, давящая на душу и на нервы, — это обеспечение внука нормальной жилплощадью <...>».

Ответа не последовало.

Время от времени ей давали путевки в подмосковные правительственные санатории «Барвиха» и «Сосны» — это тоже требовало многократных унижительных просьб, далеко не всегда дававших положительный результат. За нее не раз безуспешно хлопотал Литвинов — кто теперь обращал внимание на его просьбы? Раз или два ее поддержал Микоян — благодаря ему она получала возможность провести месяц в году за городом, на воздухе и при полном уходе. Здесь же она могла наблюдать за «верхушкой», иметь хоть какое-то общение — пусть и с весьма специфичной средой, — видеть не только безрадостно серую улицу из московского своего окна...

«О Хозяине <так с почтительным страхом за глаза называли Сталина> ничего не слышно, — писала она в своем дневнике. — И не пишут. Внук его от первого брака живет в Соснах. <У Сталина

был только один «внук от первого брака» — Евгений, сын Якова Джугашвили и Ольги Гольшевой: ему было тогда девять лет и он вряд ли жил в «Соснах». >... Все работают много, нигде в мире так не работают. И хорошо, и плохо физически. В колхозах голодно пока <...> Удивительно: в церквях много народу, особенно в субботу и воскресным утром <...> Народу очень трудно. Все дорого, хлеба мало. Недоедание <...> Литература <...> сейчас скучная, хоть и «героическая». Плохо освещает проблемы, нужды дня и выход. Не психологично <...>».

Поразительно: в одном и том же дневнике точные и честные наблюдения соседствуют с претенциозной, лживой туфтой, напрокат взятой из газетных агиток. И — что еще поразительней: в одном и том же дневнике об одном и том же она писала совершенно разными словами, давая оценки, противоречившие друг другу. «Советский Союз живет пафосом строительства и умной политикой Сталина. <...> Безмерная душевная радость от нашей политики. Это дело ума Сталина». Но — она же и там же: «Абсолютно неразумная, не гибкая политика. Испытываю страх, точнее беспокойство, за наши отношения с США. <...> У нас холодная, чрезмерно умственная внешняя политика. Мы слишком мало придаем значения эмоциям, а они огромная сила».

Очень скудные свидетельства, дошедшие до нас, убеждают в том, что, запертая в своей домашней «клетке», ограниченная в движениях (иногда ее вывозили в коляске на прогулку по соседним улицам), Коллонтай видела то, о чем умалчивала и что извращала печать. Однажды без всякого спроса к ней пришла ее давняя знакомая Айно Куусинен, уже освобожденная из лагеря, но не имевшая права жить в Москве. От своей нелегальной гостьи, которую она не прогнала, а тепло приветила, Коллонтай не скрыла то, что знала и что ее угнетало: хлеба не хватает, зато повсюду вдоволь дешевой водки; навалом до-

рогих духов и кремов, но нет обычного мыла; всевластие и хамство чиновников превзошло все границы, даже ей, Коллонтай, не удалось получить «галюны» на продукты к праздничному столу...

Коллонтай уже не жила — доживала, но потребность в каком-то деле была по-прежнему неистребимой, и каждый знак внимания еще больше стимулировал тягу к перу: ведь никакого иного дела у нее уже быть не могло. Посол Мексики прибыл к ней домой, чтобы вручить орден «Агила Ацтека» за заслуги на посту советского посла в этой стране. Заслуг этих, по правде сказать, было не Бог весть, куда более к стати пришились бы ей ордена Норвегии, Швеции или Финляндии. Но их-то как раз она не дождалась. Зато болгарский посол Николов доставил почетную медаль Софии — за заслуги перед страной не самой Коллонтай, а ее матери и отца...

Она много — непрерывно — писала, но за все время после ее возвращения из Стокгольма удалось напечатать лишь шесть небольших статей. К восьмидесятилетнему юбилею Крупской Коллонтай подготовила большую мемориальную статью. Вряд ли Сталину могли прийтись по душе эпитеты, которыми автор наградил свою героиню: «необыкновенный, большой человек», «самый значительный и прекрасный образ русской женщины нашей великой революции», «стойкий, неутомимый сподвижник Ленина», «целеустремленный, бескомпромиссный, мужественный человек» и так далее, и так далее... Статью, конечно, не напечатали. Может быть, еще потому, что в ней ни разу не упомянуто имя вождя. Не того, который муж Надежды Константиновны, а лучшего продолжателя его дела...

Пожалуй, лишь два раза за все это время она испытала подлинное удовлетворение.

В 1947 году Сталин в пропагандистских целях — и на очень короткий срок — отменил смертную

казнь. Это событие Коллонтай отметила восторженной записью в своем дневнике: «Великий День — знаменательный и необычайно дорогой для меня: отмена смертной казни по законодательству СССР. Годами смертная казнь была моим кошмаром. Меня преследовала вся нецелесообразность и средневековщина этого акта. Я исписывала тетради в минуты, когда муки перехлестывали через край души, а поделиться было не с кем. <...> Осенью 17-го года в Питере мы с Горьким долго говорили о том, что же сделать, чтобы молодая Республика не шла по пятам жестокостей, не оправдываемых здравым смыслом. <...> И когда я раз высказала Ленину свои мысли, он ответил мне: «Революцию нельзя делать в белых перчатках». И Горький позднее иначе разъяснял вопрос. И я понимала умом, но и до сего дня каждая казнь <...> больно ударяла по сердцу. Это — то, чего я никогда не приму в жизни».

Еще одну радость доставили ей публикации о переменах, происходивших в Югославии. Тито не стал еще агентом Уолл-стрита и всех мыслимых и немыслимых буржуазных разведок, он пока что пребывал руководителем братской страны. В так называемом «рабочем самоуправлении», насаждавшемся Тито, Коллонтай увидела попытку осуществить на практике все еще ей дорогие, но публично ею же многократно оплеванные идеи «рабочей оппозиции». Радость, однако, была недолгой: Тито быстро отлучили от «реального» (сталинского) социализма.

«Что я больше всего ненавижу?» — задавала себе вопрос в дневнике Коллонтай. И отвечала — вполне прозрачно и однозначно: «1) фарисейство и хамство, 2) жестокость и всяческую несправедливость, 3) унижение человеческого достоинства».

Ее инвективы насчет фарисейства особенно впечатляют при чтении ее писем к ставшему в 1949 году министром иностранных дел Андрею Вышинскому и откровенных заметок о нем же в ее дневнике.

«Глубокоуважаемый и дорогой
Андрей Януарьевич,

пишу Вам под свежим впечатлением живых рассказов окружающей меня молодежи, аспирантов и студентов Института международных отношений, о Вашем интереснейшем выступлении перед <ними>, так много им давшем. <...> Мне хочется искренне приветствовать Вас за то, что Вы уделите время <...> нашей молодежи, среди которой находится и мой внук Владимир Михайлович Коллонтай, аспирант по кафедре экономики. <...>

Неизменно восхищаюсь той мудрой внешней политикой, которую Вы проводите, Вашими, всегда блестящими, речами. <...>

Примите мой сердечный привет и искренние пожелания успехов в Вашей ценной и большой работе».

Запись в дневнике: «Во внешнеполитической линии я очень боюсь узкого догматика Вышинского. Боюсь вреда, который он причинит своей жесткостью, непримиримостью, прямолинейностью».

«Глубокоуважаемый и дорогой
Андрей Януарьевич,

<...> с неизменным восхищением читаю Ваши, как всегда, глубокие речи в ООН, они высоко поднимают престиж нашей социалистической Родины <...>».

Запись в дневнике: «Если бы с момента окончания войны <...> мы повели бы более гибкую, вернее «здравую», внешнюю политику, без натужно неумелых осложнений вопросов «юристами» <юрист в высшей дипломатии у нас был только один — Андрей Януарьевич Вышинский>, мы могли бы оттянуть <...> процесс вражды и реакции. Дипломатия в том и состоит, чтобы при неблагоприятной обстановке суметь извлечь для своей страны наибольшую пользу. Наша дипломатия с конца 1945 года шла по другой линии. Незнание психологии вождей других стран <...> вот что вносило ненужные трудности,

где их можно было избежать. «Юрист» — плохой дипломат».

Коллонтай не знала, что дипломатию Вышинского в ООН и вообще на Западе называли тогда ПРОКУРОРСКОЙ.

Все чаще приходили мысли о смерти. «Смерти никогда не боялась, — записала она в дневнике, — и не боюсь. Это неизбежно и естественно, а потому входит в круг задач человека. Но смертную казнь ненавижу даже больше войны». Эта запись сделана сразу после того, как Сталин перестал заигрывать с внешним миром, пересмотрел поспешно изданный свой указ об отмене смертной казни, и зловещие «тройки» заработали с новой силой, готовя давно ожидавшийся ренессанс Большого Террора.

Забвение давали только книги. Не беллетристика, не политические трактаты, а строго научная литература, уносившая мысли в другие эпохи. Но и другие неумолимо возвращали в свою...

«Я — в первом веке нашей эры, то есть в христианстве, — писала Коллонтай Татьяне Щепкиной-Куперник. Их разделяло всего несколько улиц, но преодолеть это расстояние своими ногами они обе уже не могли. — Это эпоха величия Рима цезаря Октавия Августа, палестинского царя Ирода и борьбы двух могущественных в те времена восточных народов — армян и парфян. <...> Напрашивается много аналогий с нашим переходным периодом истории человечества <...>».

Один за другим уходили из жизни «последние могики» — Коллонтай «примеривала» их смерть на свою, пытаясь увидеть и свой конец, и свое «потом» уже ОТТУДА, ОТТУДА...

«Грустная потеря. Умер Лебедев-Полянский. Некролог положительный, но сухой. Нет ничего от имени партии, а он большевик с 1902 года. Неуже-

ли и обо мне ПАРТИЯ ничего не скажет в некрологе?»

«<...> Умер Литвинов. Мир опустел для меня. Лишиться такого большого человека и личного друга! Пусто... И больно...»

Она не добавила, что и на этот раз не было никакого некролога от ПАРТИИ. Да что там от партии — даже от «группы товарищей» не было тоже! Лишь «биографическая справка»...

Петенька умер еще в 1946 году — через год после ее возвращения из Стокгольма. Проводить его в последний путь она не могла — только верная Эми положила от ее имени на гроб букет красных гвоздик.

И все-таки жизнь продолжалась. Близилась «круглая дата» — восьмидесятилетие. Из секретариата Вышинского сообщили, что ее просьба уважена: министр разрешил отпраздновать юбилей в особняке на Спиридоновке, где не раз доводилось ей участвовать в переговорах и бывать на пышных приемах. Друзей, она знала, соберется немного — их вообще уже никого не осталось. Но придет кое-какая элита, придут из посольств — шведы, норвежцы, финны, мексиканцы, болгары...

Воодушевленная этой перспективой, Коллонтай рискнула обратиться к Молотову, который, как и Сталин, не ответил до сих пор ни на одно ее письмо, с просьбой дать указание журналу «Советская женщина» подготовить о ней юбилейную статью. Еще совсем недавно о Коллонтай вздох писали крупнейшие газеты и журналы разных стран, теперь она клянчила о статейке в журнале, который вообще никто не читал. Из секретариата Молотова позвонил не назвавший себя товарищ и звонким, молодым голосом разъяснил Коллонтай, что «по закону все вопросы публикаций решаются исключительно редколлегиями журналов», что «у нас, в Советской стране, существует свобода печати» и, стало быть, «ни ЦК, ни сам Вячеслав Михайлович не могут давать редакциям каких-либо указаний».

Несколько дней Коллонтай не могла прийти в себя. Потом написала письмо Майскому: «Глубокоуважаемый и дорогой друг Иван Михайлович, обращаюсь к вам не с письмом, а со своим завещанием. Посылаю весь мой личный архив — дневники, письма, записки и прочее. Товарищ Эми Генриховна Лоренсен знает, где находятся все материалы по моему архиву <...>».

Таким образом, загадку укрытия ее бумаг от слишком любопытных глаз в Стокгольме можно считать раскрытой: были укрыты при участии верной Эми у кого-то из ее друзей. Теперь мы знаем у кого: в Швеции нашлись два ее письма по-немецки, адресованные Аде Нильссон, в которых Коллонтай просит укрыть свои «письма, заметки, дневники, все личные материалы» и передать их в Москву не раньше чем через десять лет после ее смерти. Они будут опубликованы, добавляла Коллонтай, «когда в Советском Союзе наступят подходящие времена».

Мысль о том, чтобы успеть устроить карьеру внука, не покидала ее. Владимир уже работал научным сотрудником института мировой экономики и международных отношений Академии наук, но и внук, и бабушка мечтали о большем...

«Глубокоуважаемый и дорогой
Андрей Януарьевич,

<...> не могу не выразить Вам моего поздравления за совершенную Вами огромную ценную работу в Париже. Если сопоставить, что было год тому назад у наших противников и что у них имеется сейчас, нельзя не почувствовать, как успешно и целеустремленно ведется наша политика и сколько Вы в нее привнесли за это время. <...> Вы себе не представляете, как москвичи с жадным интересом читали Ваши блестящие доклады в Париже. С искренним уважением и преданностью...»

Эти льстивые, абсолютно неискренние строки, адресованные человеку, которого она глубоко пре-

зирала, оказались последними в ее долгой и драматичной жизни. Через пять дней, не дожив трех недель до своего юбилея, Коллонтай умерла от сильнейшего сердечного приступа.

Как она и предвидела, на ее смерть в Советском Союзе откликнулась не ПАРТИЯ, а анонимная «группа товарищей», от имени которой было опубликовано миниатюрное траурное сообщение. Причем не в «Правде» — партийном органе, а всего лишь в «беспартийных» «Известиях». Тридцать газетных строк вместили в себя перечисление бывших дипломатических (только дипломатических!) должностей и еще две оскорбительные для ее памяти фразы. Первую: «...была в эмиграции и ПРОЖИВАЛА <«проживала», а не делала все то, о чем рассказано в этой книге> в Англии, Дании, Норвегии и других странах». И вторую: «В последние годы не имела возможности принимать активное участие в работе».

Зато о кончине Коллонтай известили своих читателей едва ли не все крупнейшие газеты мира. «Бурная молодость, покойная старость» — под таким заголовком извещал об уходе Валькирии Революции один французский журнал. «Она играла, — отмечал журнал, — важную роль во время войны в этой нейтральной стране <то есть в Швеции>, где встречались эмиссары воюющих держав и где предпринимались попытки к заключению сепаратного мира».

В тесном конференц-зале министерства иностранных дел устроили гражданскую панихиду. Скорбную речь держал ее самый заклятый друг Владимир Семенов. Все завершалось так, как и должно было завершиться по всем правилам социалистического реализма. Но кто и к кому мог бы предъявить какие-то претензии? Семенов напомнил, естественно, что она была первой в мире женщиной-послом. И что «на всех дипломатических постах, которые ей доверила партия, она отстаивала интересы Советского Союза». Никто не вспомнил, что бывала она в

оппозиции. Впереди несли ордена и несколько пышных венков. Вышинский, заручившись высоким согласием, определил для ее погребения самое почетное — «правительственное» — Новодевичье кладбище.

Похоронили Коллонтай рядом с Чичериным и Литвиновым — на «аллее дипломатов». И скромный памятник, поставленный сыном и внуком, увенчал ее земной путь.

Ровно через год ушел Сталин, и почти сразу вслед за этим началось возвращение имен, обреченных, казалось, на вечное забвение. Увы — только имен... «Вернулись» Павел и Дяденька, много позже «вернулся» Санька. «Возвращался» и снова уходил с ярлыком прокаженного Федор Раскольников. Наконец заговорили и о ней самой, определив для нее все ту же, все ту же удобную нишу: первая в мире женщина-посол. И только... Чтобы пробиться к ее архиву и рассказать о подлинной жизни, которую она прожила, понадобилось еще полвека.



Генерал М. А. Домонтович —
отец А. М. Коллонтай



А. А. Домонтович —
мать А. М. Коллонтай



Шура Домонтович, 17 лет,
1889 год



А. М. Коллонтай, сын Михаил и сестра Евгения Мравина. На даче Кууза.



А. М. Коллонтай с мужем В. Л. Коллонтаем, его матерью и ее внучкой



А. М. Коллонтай, 1906 год



• А. М. Коллонтай, 1910 год



Коллегия Народного комиссариата государственного призрения.
В центре (*сидит за столом*) А. М. Коллонтай, 1918 год



А. М. Коллонтай с группой беспризорников. Москва, 1919 год



П. Е. Дыбенко и А. М. Коллонтай.
Сидят: отец и мать Дыбенко, его сестра с ребенком.



А. М. Коллонтай в Норвегии, 1926 год



А. М. Коллонтай после вручения верительных грамот беседует с президентом Мексики. 1926 год



**Эми Генриховна Лоренсон, секретарь и близкий друг Коллонтай
Торгпред СССР в Стокгольме М. А. Никитин. Снимок сделан в го-
ды гражданской войны, когда он был бойцом Чапаевской дивизии.
Шведский актер Карл Гернхард
Мария Андреевна Попова с дочкой Зиной**



А. М. Коллонтай с внуком Владимиром



**А. М. Коллонтай в Женеве. Рядом с ней посол СССР в Италии
Б. Е. Штейн.**



А. М. Коллонтай в своем кабинете в Советском посольстве у радиоприемника слушает сообщения о положении на фронтах Великой Отечественной войны. Тревожные дни октября 1941 года.



А. М. Коллонтай после вручения ей мексиканского ордена Орла ацтека послом Мексики в Москве. 1946 год



Сын и внук А. М. Коллонтай — Михаил и Владимир

Содержание

<i>От автора</i>	5
Запретный плод	9
По дорогам Европы	41
Цепи любви	67
Расставания и встречи	105
Валькирия Революции	153
В западне	189
Орел и Голубь	233
Диалоги глухих	272
Вот и конец!	311
Экзотическое изгнание	359
Война мышей и лягушек	382
Осколки разбитого вдребезги	414
По лезвию бритвы	454
Двойная жизнь	479
Гнездо шпионов	503
Кровавая пустыня	536

Литературно-художественное издание

Ваксберг Аркадий Иосифович

ВАЛЬКИРНЯ РЕВОЛЮЦИИ

Редактор *Л. К. Тихонова*
Художественный редактор *Н. С. Антонов*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Г. И. Иванова*

Подписано в печать 28.02.97. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура «Балтика». Усл. печ. л. 29,4. Печать офсетная.
Тираж 21 000 экз. Заказ 336.

«Олимп». Изд. лиц. ЛР № 07190 от 25.10.96.
123007, Москва, а/я 92.

Фирма «Русич». Лицензия ЛР № 040432.
214016, Смоленск, ул. Соболева, 7.

При участии ТОО «Харвест». Лицензия ЛВ № 729.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.



Ж Е Н Щ И Н А - М И Ф

Аркадий Ваксберг «Валькирия Революции»

Неразгаданная тайна России – Александра Коллонтай. Магическая женщина, до глубокой старости сводившая с ума и юных, и седовласых. Искусный и ловкий политик, быстро меняющий правила «партийного» поведения.

Каждая глава ее жизни – отдельный роман: любовный, революционный, авантюрный, сентиментальный, шпионский... И роман ужасов – в конечном итоге...

